

**ЗЕМЛЯ,  
С КОТОРОЙ  
СТАРТОВАЛ  
„ВОСТОК“**

●  
**СВИДЕТЕЛЬ  
ИЗ КАПОВОЙ  
ПЕЩЕРЫ**

**В ПОДВОДНЫХ  
ДЖУНГЛЯХ**

●  
**ПУТЕМ ПРЕДКОВ**

●  
**ДЕЛО, КОТОРОЕ  
ВСПЛЫЛО  
В НАВОДНЕНИЕ**



**БРИГАНТИНА**













ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1968



**Сборник  
рассказов  
о путешествиях,  
поисках,  
открытиях**

**Бригантина**

Составитель  
Вл. Стецеино

Художник  
А. Гангалюка

В книге использованы  
фотографии:

И. Запорожца,  
В. Круглинова,  
А. Лехмуса,  
Н. Медведева,  
В. Мишина,  
В. Орлова,  
В. Санка,  
Вл. Стецеино,  
К. Толстинова,  
Л. Шерстениниова  
и др.

и фотографии Всесоюз-  
ных фотовыставок:

А. Гивенталья,  
В. Лазарева,  
В. Тетерина.

Фотографии отобраны  
и подготовлены  
В. Оленевым

## СОДЕРЖАНИЕ

Ануар Алимжанов.	
Земля, с которой стартовал «Восток» . . . . .	5
Константин Паустовский. Ильинский омут . . . . .	10
И. Осипов. Северная Сосьва . . . . .	19
В. Оленев. Имена комсомольцев на карте . . . . .	26
Тур Хейердал. Главные черты истории пасхальской культуры . . . . .	33
Борис Воробьев. Путем предков . . . . .	56
Е. Парнов, М. Емцев. Дело, которое всплыло в наводнение . . . . .	63
Михаил Александров. Дели — Джаббальпур — Бомбей . . . . .	92
Ефим Дорош. Размышления в Загорске . . . . .	113
Борис Громов. Коротко об истории открытия Земли Франца-Иосифа . . . . .	149
Владимир Левин. Свидетель из Каповой пещеры . . . . .	179
Борис Носик. На европейском перекрестке . . . . .	186
Бернар Горски. В подводных джунглях . . . . .	216
Вальтер Бонатти. Пилигрим на белом пути . . . . .	230
Роже Фризон-Риш. Большая охота индейцев племени чипавеев на карибу . . . . .	242
Люциан Волановский. Черная жемчужина . . . . .	281
Фолько Куиличи. Рабы, которых я видел . . . . .	297
Даниил Гранин. Месяц вверх ногами . . . . .	316

БРИГАНТИНА. Сборник рассказов о путешествиях, поисках и открытиях.

М., «Молодая гвардия», 1968. 400 с., с илл.

Редактор С. Митрохина

Художественный редактор Г. Позин

Технический редактор В. Лубкова

Сдано в набор 6/V 1968 г. Подписано к печати 17/X 1968 г. А0467В.  
Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага № 2. Печ. л. 25 (усл. 23,25)+24 вкл.  
Уч.-изд. л. 27,2. Тираж 100 000 экз. Заказ 653. Цена 1 р. 14 к. Типо-  
графия изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Су-  
щевская, 21.

# ЗЕМЛЯ, С КОТОРОЙ СТАРТОВАЛ «ВОСТОК»

Ануар  
АЛИМЖАНОВ



— Горы у нас величавы. Степи выровнены копытами коней. А пески хранят много тайн, — говорили раньше старики нашего аула. — И есть еще волшебный уголок на нашей земле — Кокшетау.

Но мы не могли представить себе места краше, чем родные горы и долины, где стоит наш аул. Когда-то аул называли Уш-каин, что означает «три березы». Но это было давно, еще когда зарождалась наша республика. Мы же родились позже. Говорят, что тогда эти земли были собственностью бая Торегельды. Но поверить тому, что эти родники и горные луга принадлежали одному человеку, было очень трудно. А еще старики говорили, что у них иное детство, иная юность была, чем у нас, трудная, что у «трех берез» было пролито много слез.

Собственно, и наше детство было нелегким, его поглотила война. Лишь когда кончилась война, мы, ставшие подростками, впервые ощутили нежность солнечных лучей (раньше оно лишь беспощадно опаляло нас, не давая работать), впервые увидели во всем величии красоту родного края, впервые задумались над тем, почему наши отцы переименовали наш аул в Карлыгаш — «ласточку».

Видимо, создатели колхоза вложили в это слово всю свою мечту о прекрасном будущем, полете человеческого счастья, о свободном труде, окрылявшем человека. Этим же словом они выразили свою любовь к маленькой, веселой и стремительной птице. В каждом доме ласточки вьют себе крепкие гнезда из гли-

ны и трав. Через открытые окна они вылетают на простор и стремительно уносятся в степь.

Птицы с детства манили нас в безбрежную, чуть серую даль, укутанную в пелену голубого марева. Нам хотелось мчаться им вслед, парить над степью.

Тонкой нежной кисеей проплывали по утрам облака над нашим аулом, цепляясь за скалы, прячась в густой траве альпийских лугов и оставляя холодные капли на лепестках здельвейсов.

С могучих вершин мы смотрели, как, расправив крылья, плыли орлы в поднебесье. В такие минуты, стараясь казаться взрослыми, стремясь охладить свое воображение, мы часто повторяли слова стариков:

О мечта, в постоянной борьбе  
Ищешь то, что достичь  
невозможно... —

еще не зная, что эти строчки взяты из стихов, написанных полвека назад нашим замечательным поэтом-революционером Сакеном Сейфуллиным в минуты горестных раздумий о жизни народа.

Однажды мы видели орлиный бой. Это была страшная схватка. С высоты к нам летели окровавленные перья. Раненая птица тяжело опустилась на землю.

— Наверное, погибнет, — тихо произнес друг.

— Орлы умирают только в вышине. Он жив, — сказал отец друга — табунщик, пригнавший сюда, на джайляу, своих коней.

Он не любил мальчишек, которые боялись вскочить на необъезженную лошадь, не умеющих ловко забрасывать лассо на шею скакунов.

Как бы подтверждая его слова, вдруг из зарослей, неровно размахивая ранеными крыльями, вновь поднялся орел. Напрягая силы, он набирал высоту. Добравшись до маленькой тучки, он на какой-то миг расправил крылья и поплыл над горами и степью. Но крылья не выдержали, рана была смертельна. И тогда орел сомякнул их и камнем упал вниз, на скалы.

— Орлы живут в одиночку и потому часто погибают, а у человека много друзей, и он сильнее орла, — сказал чабан.

Человек сильнее орла. Человек — могущественное существо земли. И если он свободен от оков рабства, если у него много друзей, он совершает великие дела. Все прекрасное на земле создано его руками, подчинено его разуму.

Чтобы убедиться в этом, не надо странствовать по свету, нигде вы не найдете лучшего доказательства этих слов, чем сегодняшняя жизнь нашей — моей — земли, с которой стартовал «Восток». Он поднялся в межпланетную высь с Байконура. Байконур — это земля моих предков, мечтавших о счастье, о высотах, о крыльях для полета. Их мечту осуществили наши отцы.

На корабле «Восток», впервые пробороздившем неведомые небесные дали, сидел Гагарин — наш современник. С Байконура впервые началась дорога в космос. Байконур сегодня — космический порт в казахской степи.

Что же рассказать о ней, степи нашей? Я много ездил по седым, безлюдным ковыльным просторам. Вместе с друзьями совершил путешествие от истоков казахской реки Есиль по Целинному краю до самой тюменской тайги. Мы шли вдоль реки по безбрежному морю золотой пшеницы, занявшей место ковыля. Вдоль дороги стояли белые дома новых совхозных поселков. Так преображалась степь.

Ее история — это история моей республики, это судьба моего родного Карлыгаша, живущего ныне полиокровной жизнью. Наконец, это судьба наших отцов, бывших кочевников; это и наша судьба — судьба наследников великих завоеваний романтиков и мечтателей.

Вспомните, как осваивалась целина, как был получен первый миллиард пудов казахстанского зерна!

Для иных, возможно, это лишь пожелтевшие газетные страницы с призывами; кинофильмы, которые оцениваются «с художественной точки зрения». Но для нас, для всей республики нашей, для всех тех, кто знает настоящую цену куску горячего хле-

ба, — это величайший подвиг во имя жизни, во имя изобилия, во имя счастья будущих поколений советских людей.

Я счастлив, что был очевидцем этой битвы с трудной, дерзкой, своеиравной степью, любовью к которой впитал в себя вместе с молоком матери.

Размытые, раскисшие дороги, грязь, всасывающая в себя колеса машин, а потом морозы, oh какие морозы! И снова буря и снег. Землянки под снегом. А в степи бураи, а в степи оледеневшая машина с мукой и маслом, с керосином и книгами, лопатами и топорами. Казалось, что ветер — извечный господин степи — хотел смести с лица земли тех, кто пришел властвовать над степью.

Седые степяки с растрескавшимися от холода лицами, спасая от бури, вели сверстников внуков своих к горячим очагам.

Я помню, как в годы войны вот так же наши седые матери вели в свои дома детей, женщин и раненых бойцов с земли белорусской и с полей Украины, разоренных войной, и делили с ними последний глоток молока и тепло очага. Но тогда не слышно было смеха, тогда горе сделало людей молчаливыми.

Покинув родные места, шли в нашу степь коммунисты и комсомольцы. То были дни и месяцы великих свершений.

Какими же словами можно рассказать об этом подвиге, какой

кистью и какими красками можно описать его? Я думаю об этом, и перед моими глазами встает юное, светлое, родное лицо того русского парня, который, спасая своих товарищей, погиб в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году подо льдом в реке за Кокшетау. А затем вдруг возникает другое лицо, нежное детское лицо нашей Алины Молдагуловой и ее подруги Маншук Маметовой — двух девушек-казашек, первых Героев Советского Союза из среды женщин советского Востока. Они похоронены на земле священной России.

Но пришла весна — вечная спутница Победного Солнца. Солнце растопило лед, и сверстники погибшего юнца своими руками вонзили плуг в кусты седого ковыля. Вместе с лучами весеннего солнца они вышли с простуженной песней из землянок на великую битву с природой. И земля, освободившись от векового панциря, вздохнула полной грудью, одарила человека золотыми россыпями зерна.

Говорят, что армия, победившая под Волгоградом, была самой молодой армией мира. Я не знаю, правда ли это, но я видел другое — видел великую победу шестнадцатилетних в битве за хлеб.

Так кто же в силах описать величие этого подвига советских людей, юности нашей?

Казахский народ в одиночку не смог бы вернуть степи эту прекрасную пору цветения, хотя он и подобен орлу. Но я горжусь тем, что на протяжении веков, отбиваясь от конниц чужеземцев, шедших с востока, запада и юга, он сумел сохранить за собой эти великие просторы, которые сегодня щедро плодоносят во имя нашего общего счастья.

Дружба, завоеванная кровью отцов, друзья и братья помогли нам освоить степь, засеять хлебами, построить на ней города и села, создать заводы и прорыть реки.

Когда-то, более ста лет назад, великий сын казахского народа, ученый, бесстрашный путешественник и неутомимый просветитель Чокан Валиханов мечтал о европейском просвещении своего народа. А через полвека после этого другой талантливый сын казахов, поэт-демократ Султанмахмуд Торайгыров, с горечью говорил, что в казахской степи нет читателей книг, нет и книг. Оба они были молоды и не достигли даже до тридцати лет.

Но сбылись их мечты. Творения наших писателей я видел на книжных полках Праги и в далеком африканском городе Конакри, а картины наших художников я встречал на выставках в Вене и Будапеште. Имена Мухтара Ауэзова и Каныша Сатпаева известны во многих странах мира.

Уже раскрыты богатства недр



нашей древней земли. Разгаданы тайны пустынь и песков и найдены великие моря, лежащие под ними. Рвутся ввысь, в поднебесье, могучие фонтаны, несущие влагу пескам, жизнь людям. Перекрыт древний Иртыш. Иртыш — это Ер Тис, что по-кипчакски означает «богатырский зуб». Он течет, вгрызаясь в скалы, разрывая землю и пески. Иртыш называли «черным» и «слепым» за его необузданную силу. А ныне он дает людям свет. Над морями, созданными в степи руками человека, трепещут на ветру белые паруса яхт. Гигантские домны высятся на краю золотой степи — Сары-Арки.

И куда бы сейчас ни пришли, в какой бы уголок нашей золо-

той степи ни заглянули, вы встретите моих сверстников — русских и казахов, латышей и узбеков, украинцев и киргизов — детей всех наций, населяющих нашу Родину. Во всем том, что сделано в этой степи, немало и их заслуг.

Казахская земля — это в буквальном смысле слова земля юности, подвигов и славы. Республика наша — родина сильных и смелых людей, идущих по трудным, но прекрасным дорогам коммунизма. И не вслед орлам мы теперь обращаем наши взоры, а еще выше. Мы любимся нашими спутниками. Мы мечтаем продолжить и расширить трассу «Востока», стартовавшего с наших полей.

## ИЛЬИНСКИЙ ОМУТ

Константин  
ПАУСТОВСКИЙ



Людей всегда мучают разнообразные сожаления — большие и малые, серьезные и смешные.

Что касается меня, то я часто желаю, что не стал ботаником и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих растений,

по приблизительным подсчетам, чертова уйма — больше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти деревья, кустарники и травы со всеми их свойствами.

Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето — то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства.

Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.

Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они разгораются. И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. Это сожаление о том, что не удалось — да, пожалуй, и не удастся — увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном разнообразии.

Да что там — весь мир! На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.

Я, например, не видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермон-

това в Тарханах, широкого монотонного разлива Оби в ее устье, около городка Салехарда — бывшего Обдорска.

Самое это название — Обдорск — вызывает представление о чем-то скудном, о безлюдной северной земле, что погружена в величавое уныние и тонет в водянистой мгле.

Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно много. Все зависит от пыливости и от остроты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается kaleidoscope света и красок, — вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на детские ладошки — с их нежной припухлостью между тоненьких жилок.

Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето.

Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России.

Мы не любим пафоса, очевидно, потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы переживаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородин», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили: «Великое солнце Аустерлиц».

Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим ее звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боев последней войны и с тех пор никто ее не нарушал.

То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский омут.

Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой плес около Кинешмы.

Оно не связано ни с какими историческими событиями или замечательными людьми, а просто выражает сущность русской природы. В этом отношении оно, как принято говорить, «типично» и даже «классично».

Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость, я сказал бы об этих местах, что они благодатны, успоко-

ительны и что в них есть нечто священное.

Имел же Пушкин право говорить о «священном сумраке» царскосельских садов. Не потому, конечно, что они освящены какими-либо событиями из «священной истории», а потому, что он относился к ним, как к святыне.

Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой.

К Ильинскому омуту надо спуститься по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки.

Поверьте мне, я много видел просторов под любимыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу.

Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание: если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке, среди этой высокой травы.

Кажется, что цветы и травы — цикорий, кашка, незабудки и таволга — приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь оттого, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы

и озабоченно сосут жидкий пахучий мед.

Но не в этих травах и цветах, не в краястных вязах и шелестящих ракетах была заключена главная прелесть этих мест.

Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они подымались ступенями и порогами одна за другой.

И каждая даль — я насчитал их шесть — была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и в воздухе.

Как будто какой-то чудодеец собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму.

На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг — суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина.

Внизу за сухополом виднелась пойма реки, вся в зарослях бледно-розовой таволги. Она уже отцветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков.

На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты. Их обливал зной. Листья висели, как в летаргии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив

и раки́т превращалось в бурлящий водопад листвы.

На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От нее медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести.

Дальше, на третьем плане, подымались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленной великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, где сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой.

Над лесами все время настойчиво парили коршуны. И день парил, предвещая грозу.

Леса кое-где расступались. В этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными пластами, плавно подымаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле — постоянной спутнице отдаленных пространств.

В этой мгле поблескивали тусклой медью хлеба. Они созрели, налились, и сухой их шелест, бесконечный шорох колосьев непрерывно бежал из одной дали в соседнюю даль, как величая мучника урожая.

А там, за хлебами, лежали, при-

корнув в земле, сотни деревень. Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал — так, по крайней мере казалось — запах только что испеченного ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая, лебединые торжественные облака.

Однажды летом я жил в степях за Воронежем. Все дни я проводил или в одичалом липовом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сучом кургане.

Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы.

В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на глиняный теплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой.

В нем непрерывно возникали все новые очень белые и выпуклые облака и медленной чредой уплывали на север.

Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по мое-

му лицу, и я закрывал глаза, чтобы уберечь их от резкого света. Я растирал на ладони венчик чебреца и с наслаждением вдыхал его запах — сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море и что пахнут чебрецом не степи, а его наглаженные прибойми пески.

Иногда я задремывал около жерновов. Высеченные из розового песчаника жернова переносили мою мысль ко временам Эллады.

Несколько лет спустя я увидел статую египетской царицы Нефертити, высеченную из такого же камня, как и жернова. Я был поражен женственностью и нежностью, какая заключалась в этом грубом песчанике. Гениальный ваятель извлек из сердцевины камня дивную голову трепетной и ласковой молодой женщины и подарил ее векам, подарил ее нам, своим далеким потомкам, так же, как и он, взыскующим нетленной красоты.

А два года спустя я увидел во Франции, в Провансе, знаменитую мельницу писателя Альфонса Додэ. Когда-то он устроил в ней свое жилище.

Очевидно, жизнь на ветряной мельнице, пропахшей мукой и старыми травами, была удивительно хороша. Особенно на нашей воронежской мельнице, а не на мельнице Альфонса Додэ. Потому что Додэ жил в каменной мельнице, а наша была деревян-

ная, полная милых запахов смолы, хлеба и повилики, полная степных поветрий, света облаков, перелива жаворонков и цви канья каких-то маленьких птичек — не то овсянок, не то королек.

Но на Ильинском омуте не было, к сожалению, ни ветряной, ни водяной мельницы. И это очень жаль, потому что ничто так не идет русскому пейзажу, как эти мельницы. Так же, как русской крестьянской девушке очень идет цветистая шелковая шаль. От нее глаза становятся темней, губы — ярче и даже голос звучит вкрадчиво и нежно.

На самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи стоял на меже узловатый вяз. Он шумел от порывов ветра темной листвою.

Мне все казалось, что вяз неспроста стоит среди этих горячих полей. Может быть, он охраняет какую-то тайну — такую же древнюю, как человеческий череп, вымытый недавно ливнем из соседнего оврага. Череп был темно-коричневый. От лба до темени он был рассечен мечом. Должно быть, он лежал в земле со времен татарского нашествия. И слышал, должно быть, как кликал див, как брехали на кровавое закатное солнце лисицы и как медленно скрипели по степным шляхам колеса скифских телег-колесниц.

Я часто ходил не только к ветряку, но и к этому вязу и подолгу просиживал в его тени.

Скромная невысокая кашка росла на меже. Старый сердитый шмель грозно налетал на меня, стараясь прогнать человека из своих пустынных владений.

Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце подымалась какая-то родственная любовь к каждому колоску.

Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом.

За Ильинским омутом была видна в отдалении зеленая стена. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом пряталась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский дом с террасой и венецианскими окнами.

В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином» — бесконечно грустный рассказ о любви к милой девушке Мисюсю.

Мисюсю уехала из этих мест навсегда, но чеховская грусть осталась. Она живет в глубине сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стеклах. Если вы прикоснетесь

к этой бабочке, то увидите, что она мертвая.

Пруд застлан огромным зеленым ковром ряски. Потомки тех карасей, которых здесь удил Чехов, тихонько чавкают, поедая водоросли и подставляя солнцу то один, то другой бок из литого темного золота.

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвернулся и ушел, чтобы пережить в одиночестве свое непоправимое, безысходное горе.

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он был не только гениальным писателем, но и совершенно родным человеком.

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги.

Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и притом неожиданные.

Каждый раз, собираясь в далекие поездки, я обязательно приходил на Ильинский омут. Я просто не мог уехать, не попрощавшись с ним, со знакомыми ветлами, со всероссийскими этими полями. Я говорил себе: «Вот этот

чертополох ты вспомнишь когда-нибудь, когда будешь пролетать над Средиземным морем. Если, конечно, туда попадешь. А этот последний, рассеянный в небесном пространстве розовеющий луч солнца ты вспомнишь где-нибудь под Парижем. Но, конечно, если и туда ты попадешь».

И все сбылось. Действительно, самолет шел над Тирренским морем. Я посмотрел в круглое окно — иллюминатор. В бездонной синеве и глубине появились желтые очертания острова, похожего на цветок чертополоха. Это была Корсика.

Потом я убедился, что острова с воздуха принимают причудливые формы, так же как и кучевые облака. Эти формы им сообщает наше человеческое воображение.

Изорванные многими тысячелетиями, покрытые окалиной жары берега Корсики, ее замки, защищавшие остров, как колючки, алый цвет каких-то кустарников, ливень синего средиземноморского света, прорвавшего невидимую небесную плотину и рухнувшего всей своей тяжестью на остров, — все это не могло оторвать мои мысли от маленькой сыроватой ложбины на Ильинском омуте, где пахло болиголовом и стоял одинокий чертополох высотой в человеческий рост, — неприступный, ошестинившийся своими колючками, своими острыми налкотниками и забралами.

На западном берегу острова горстью выброшенных небрежной рукой игральных костей был рассыпан маленький город. Он выходил из-под крыла самолета, как пчелиные соты. Это было Аяччо — родина Наполеона.

— Все завоеватели — клинические сумасшедшие, — сказал, поглядев на Аяччо, мой сосед — толстый и шутливый итальянец в черных очках. — Как только человек, родившийся и выросший среди такой красоты, стал мировым убийцей? Невозможно понять!

Он с шумом развернул газету, просмотрел одну страницу, отбросил газету в сторону и сказал, ни к кому не обращаясь:

— О-хо-хо! А де Голль, кажется, неплохой католик.

Рим сверкал вдали яростными отражениями солнца в стеклянных стенах многоэтажных новых домов. Радио часто и нервно повторяло, что синьора Парелли ждет у главного выхода аэровокзала его собственная машина.

И мне нестерпимо захотелось домой, в бревенчатый простой дом, на Оку, на Ильинский омут, где меня ждут ивы, туманные русские равнинные закаты и друзья.

Что же касается розовеющего луча солнца, то я тоже увидел его несколько дней спустя вблизи Парижа, в городке Эрменонвиле, где в старинном поместье провел последние свои годы и умер Жан-Жак Руссо.



Консьержка открыла нам железную калитку, молча взяла плату за вход и сердито махнула рукой — показала, откуда надо начинать осмотр парка. Потом она так же сердито сказала, что дом закрыт и мы можем только погулять по парку.

Парк был пуст. Мы не встретили в нем ни одного человека. Никто бы не помешал нам побеседовать с тенью Руссо, если бы она существовала в этих местах.

Под ногами трещали желтые листья платанов. Они усыпали не только всю землю вокруг, но и гладь туманных прудов.

Никогда в жизни я не видел таких огромных платанов. Они быстро облетали, обнажая свои исполнинские кроны. Казалось, они были отлиты из светлой бронзы великим мастером, каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Их вершины окутывал туман, и это придавало деревьям призрачный вид.

Серая тишина стояла вокруг. Парк погружался во мглу. Изредка с ветвей падали нам на руки прозрачные ледяные капли. И всё слетали желтые лапчатые листья. Легкий их треск шел за нами по пятам.

Свинцовое небо простиралось над головой, но цвет этого свинца был все же парижский — легкий и очень светлый.

На острове среди пруда белела гробница Руссо. К ней можно было подъехать только на лодке.

Но лодок на пруду не было. И праха Руссо тоже на острове уже не было. Его давно перевезли в Пантеон.

Потом сквозь тюловую мглу облаков начал просачиваться розовый свет солнца, и платаны вдруг как бы ожили и переменялись в лице — покрылись медным блеском.

Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце — тоска по нашей простой земле, своим закатам, своем подорожнике и скромном шорохе палой листвы.

Прекрасная Франция, конечно, оставалась великолепной, но равнодушной к нам. Тоска по России легла на сердце. С этого дня я начал торопиться домой, на Оку, где все было так знакомо, так мило и простодушно. У меня холодало под сердцем при одной только мысли, что возвращение на родину может по какой-либо причине задержаться хотя бы на несколько дней.

Я полюбил Францию давным-давно. Сначала умозрительно, а потом вплотную, всерьез. Но я не мог бы ради нее отказаться даже от такой малости, как утренний шафранный луч солнца на бревенчатой стене старой избы. Можно было следить за движением луча по стене, слушать голосистые вопли деревенских петухов и невольно повторять знакомые с детства слова:

На святой Руси петухи кричат —  
Скоро будет день на святой Руси...

С платанов изредка слетали  
листья. Сады Эрменонвиля, свя-  
щенные сады, овеянные памятью  
Руссо, погружались в сумрачный  
осенний день, такой же короткий,  
как и у нас в России. Он был так

же печален, как и у нас. Что-то  
родное виделось нам в этом без-  
звучном тумане, курившемся над  
прудом, и в молчании безликой  
ночи.

Нет! Человеку никак нельзя  
жить без родины, как нельзя жить  
без сердца.

## СЕВЕРНАЯ СОСЬВА

И. ОСИПОВ



Полтора месяца я провел на маршрутах тюменских геологов, открывших огромные залежи нефти и газа. Они найдены там, где не ступала нога человека, — в тундре Заполярья, в приобской тайге, среди непролазных болот,

за тысячи километров от человеческого жилья.

Тюменская нефть уже бьет из скважин, наполняет цистерны, плывет в баржах по рекам. Самое время позаботиться сейчас о том, чтобы эти сибирские фонтаны не вступили в конфликт с живой природой.

Прежде всего нужно иметь в виду, что такое столкновение не обязательно, хотя и кажется на первый взгляд неизбежным.

Всякий раз, когда заходит речь о судьбе лесов, озер и рек в районах бурного развития индустрии, вспоминается мне деревня Бавлы.

В конце сороковых годов были открыты в Татарии залежи нефти. Богатейшая находка прославила неизвестную деревню Бавлы. Вскоре здесь вырос крупнейший промысел. К деревне проложили шоссе, привезли вышки. В короткий срок все вокруг приобрело обычный облик быстро развивающегося очага индустрии, и старые бревенчатые избы бавлыньских крестьян выглядели на этом фоне чем-то чужеродным.

Разведчики проникли и в сосновый бор, расположенный неподалеку. Здесь тоже нашли нефть.

— Погибнет наш бор, — говорил старый лесничий. — Нефтяники быстро управятся с ним...

На протяжении многих лет довелось мне наблюдать, какой

урон наносят живой природе нефтяные фонтаны. Лесничий из Бавлов высказал в общем-то справедливое опасение. Искатели нефти безжалостно рубят лес, заливают все вокруг мазутом, грязным глинистым раствором, такой же грязной грунтовой водой. Так случается всюду, где мы берем полной пригоршней богатства недр и нисколько не стараемся сберечь то, что украшает землю. Что поделаешь — не отказываться же, в самом деле, от миллионов тонн «черного золота» ради сохранения какой-то рощи, озера, речки!

А нельзя ли оставить в неприкосновенности и эту «мелочь» без особых затрат и без ущерба для драгоценной нефти? Ответы на такой вопрос не отличаются разнообразием, всегда они сводятся к одному: игра не стоит свеч. Слишком много пришлось бы, дескать, потратить денег, чтобы по-прежнему шумели на ветру сосны или отражались в чистой реке. На такие деньги знаете что можно понастроить!

Я уехал из деревни Бавлы, навсегда простившись с ее махровыми соснами. «Газик» начальника нефтепромысла взобрался на придорожный холм, исполосованный тракторными гусеницами, и мы увидели позолоченный солнцем густой бор. Сосны были ростом выше разведочных буровых, между ними затерялись вырубленные кое-где просеки, и

могло показаться, что никто еще не замахнулся на рощу. Словно бы подтверждая такую догадку, вышел на дорогу лось, постоял немного, спокойно глядя на нас, и неторопливо удалился в свои владения.

Вдоль шоссе лежала большая труба, протянувшись к соседнему холму, где белели цистерны тысячетонных резервуаров. Слышно было, как шумит в трубе быстрый поток.

Его называют животворным, и это не противоречит истине. Он действительно питает кровеносную систему промышленности. Трудно представить себе современный мир без всего, что дает нам нефть.

Все это так, но, помнится, в тот осенний полдень, слушая, как шелестит в железном русле животворный поток, я подумал о другом. О том, что он погубит бавлынский бор. И как ни убедительно выглядело сопоставление ценности девонской находки и бронзовых сосен, не хотелось примириться с тем, что их дни сочтены...

Через десять лет я вернулся в эти края. По дороге из Бугульмы в Бавлы пришлось несколько часов ждать на обочине, пока бульдозер расчищал занесенное снегом шоссе. Уже стемнело, когда машина одолела крутой подъем у въезда в поселок. Отсюда видны были впереди огни вышек, а справа от дороги, на

том месте, где показался тогда лес, по-прежнему стоял лес. Нельзя было разглядеть отдельные стволы, но их строй как будто не поредел.

Еще не веря, что сосны в Бавлах уцелели не только у дороги, что их не истребили за минувшие годы, я отправился рано утром на нефтепромысел.

Бревенчатая контора диспетчера стояла на прежнем месте, у развилки дорог. Здесь, на лесной опушке, и всюду, насколько хватал глаз, снег был удивительно чистым. Не верилось, что в двух шагах отсюда бьют нефтяные фонтаны.

Сосновый бор не погиб. Бавлынци применили новейший способ добычи нефти с помощью воды, нагнетаемой в землю. Когда выталкивала нефть, позволяя уменьшить количество скважин. А так как давление в подземных пластах сохранено, то всем фонтанам гарантирована долгая жизнь. К тому же здесь не загрязняют территорию промысловой водой, отправляя ее обратно в глубокие скважины, в землю.

Вот что спасло бавлынскую рощу. Обнаружилось, что техника способна не только вступать в конфликт с живой природой. Техника в умелых руках может сохранить в первозданной красоте все, что радует глаз и приносит, кстати сказать, немалый доход.

Роща в Бавлах уцелела еще и

потому, что не опоздали позаботиться о ее судьбе. Самое важное в подобных случаях — не откладывать на завтра то, что надо сделать сегодня. Как трудно, а подчас и невозможно вернуть утраченное, возродить погубленное! Чтобы вырастить в Бавлах такую же рощу — если бы ее не уберегли, — понадобилось бы лет сорок-пятьдесят.

Часто вспоминал я на тюменских маршрутах давнюю поездку в Бавлы.

На обрывистом берегу Оби, возле поселка разведчиков Усть-Балык стоят большие резервуары. У причала швартуется самоходная баржа. Подали ей с берега брезентовый шланг. Вскоре помощник капитана сигнализирует: взяли триста тонн. Шланг сброшен с палубы, и черная струя оставшейся на нем нефти потекла за борт.

Стоит ли придавать значение этаким мелочи? Ну, пролилось немного. Так здесь ведь триллионы тонн! Невелика потеря...

Велика, очень велика беда от этих пролитых в реку килограммов, от капелек нефти, оставляющих радужный след за кормой баржи, от брошенной в воду маслянистой жижи из катеров и буксиров, когда промывают трюмы. Сведущий человек говорил мне, что кружка нефти, выплеснутая в реку, — это тонна потерянной рыбы. Там, где маслянистая пленка покрыла речную гладь, не выживет рыба икра.

Никто не взялся подсчитать, сколько мы уже сегодня теряем рыбы на Оби из-за нефтяных караванов и какое зло причиняют только что построенные здесь заводы, которые не очищают сточных вод перед тем, как сбросить их в реку.

Зато известны некоторые потери на других реках. Ну хотя бы на Волге. В июле шестьдесят пятого года Волгоградский химический завод однажды сбросил «залпом» несчищенную сточную воду. Люди, охраняющие рыбные богатства, подсчитали, что тогда погибло огромное количество осетров.

Можно ли надеяться, что подобные катастрофы минуют Обь с ее осетрами, севрюгами, белугами? К сожалению, то, что видишь сегодня за Уралом, внушает серьезную тревогу.

Богатства тайги, сибирских рек и озер кое-кому кажутся неистощимыми. И вот к чему приводит это опасное заблуждение.

Отряд разведчиков высадился на берегу Мулымья. Здесь впервые нашли тюменскую нефть. Мулымья, петляющая в лесу, среди болот, оказалась единственной на первых порах транспортной артерией для понсковых партий. Ирека добросовестно выполняла все, что ей поручали, — несла на себе тяжелые баржи с оборудованием, пропускала к верховьям буксирные катера, шлюпки.

Вскоре плавание по Мулымье стало очень затруднительным. То

и дело баржи, буксиры застревают в самых неожиданных местах. Часто волей-неволей приходилось впрягать трактор в прицепные сани. Для того чтобы он не увязал на болотах, к его гусеницам, расширяя их сколько возможно, приклепывали дополнительные «башмаки». Эти ухищрения не спасли от аварий. Сколько раз вытягивали из трясины потерпевших бедствие! Сколько погибло времени в этих рейдах! Да и труб ушло немало в торфяные тиспы...

Почему же люди обрекали себя на такие испытания в летнюю пору, когда лучше всего пустить груз по воде? Потому что река становилась «непроезжей». Как это произошло?

Лесорубы облюбовали Мулымью для сплава. Всю зиму к реке везли по санному пути заготовленную древесину. А в предвесенние дни, когда труднозато таскать стволы издалека по раскисшей колее, рубили деревья у самой реки, в запретной зоне. Уж кто-кто, а лесники хорошо знают, что это совершенно недопустимо. Оголенный овраг превращается в болото, река мелеет. Лесорубов наказывали штрафом. Но и взыскивали за недорубленные кубометры: план есть план.

Из двух зол обычно выбирают меньшее. Но такая логика не всегда в дружбе с разумным отношением к народному добру. Выбирали как раз то зло, которое приносит больший вред. Отделы-

ваясь штрафами («казна выдержит!»), лесорубы нажимали на пилы и рубили всюду, где можно до ледохода перетаскать древесину к реке.

Плывут по Мулымье тысячи и тысячи стволов молевого сплава. Кора с них отваливается и гниет, отравляя воду. В долгом пути тонет множество бревен. Упадет одно, уткнется в него другое, третье — и возникает в этом месте «деревянное дно». Можно назвать его и мертвым, потому что здесь рыба никогда не положит икру. Затонувшие стволы — неодолимая преграда для речной флотилии. Губительный молевой сплав сделал Мулымью непроезжей.

Скажет кто-нибудь: «Ну стоит ли шуметь из-за какой-то речки! Вои сколько этого добра в сибирской тайге... Хватит на наш век».

Что ж, нам с вами, пожалуй, хватит. А что останется потомкам?

Вторые сутки поднимаемся по Северной Сосьве на «Спутнике». Это плоскодонное суденышко чуть побольше обыкновенной шлюпки. Его мотор соединили не с винтом, а с насосом, он заглатывает речную воду и с силой выталкивает за корму. «Спутник» движется наподобие ракеты, оставляя широкий пенный след.

Мы вышли из Березова студеным августовским утром. Осень высоких широт уже зажгла крас-

ные факелы в темной хвое по обе стороны реки. «Спутник», идя налегке, часто обгонял буксиры с двумя-тремя баржами. Поисковые отряды спешили опередить заморозки, перебросить водой в тайгу походное снаряжение — станки, вышки, трубы.

Северная Сосьва, как и Мулымья, стала помощницей геологов, но не вышла из строя, ее не погубило «деревянное дно». Можно довериться фарватеру, отмеченному справа и слева пучками еловых веток, привязанных к тонким кольям. С наступлением темноты плавание не столь безопасно, потому что нет светящихся бакеинов, но опытный капитан, зная наизусть все «меляки», пройдет и ночью к верховьям Северной Сосьвы.

Не похожи ее берега на то, что видишь вдоль Мулымьи. Нетронутая, поистине девственная тайга стережет реку. У самой воды выстроились кедровые два обхвата, мохнатые лиственницы попеременно с елью и березой. На поворотах низкие берега впереди как бы смыкаются, и тогда кажется, будто тайга перехватила Сосьву, спрятав свою красавицу от постороннего глаза.

Что спасло ее от топора и электропилы, от лавины бревен? Видимо, здешние лесники хозяйничали разумнее. А может быть, крепче одергивают тех, кто выбирает из двух зол большее и думает, что не стоит поднимать шум из-за какой-то лесной речки.

Так или иначе, но Северная Сосьва живет, принимает на себя весь груз поисковых отрядов, пропуская тяжелые караваны в самую сердцевину тайги. И не перевелась в реке прославленная сосьвинская сельдь. Скромные уловы здешних рыбаков, конечно, не идут ни в какое сравнение с богатствами, найденными по соседству в нефтяных и газовых пластах. Но радует также и попытка сохранить единственное на земном шаре сельдяное стадо.

«Спутник» причалил к пристани поселка Игрим. На крутом берегу среди изб с резными потемневшими наличниками стояли приземистые бараки рыбного завода. Только что привезли изпод Березова утренний улов, и можно было увидеть, как укладывали в маленькие, трехкилограммовые бочонки серебристых рыбок. Они были, как на подбор, совершенно одинаковые — в каждой тринадцать сантиметров от узкого хвостового плавника до головы. Весь улов маринуют, и в цехах завода никогда не выветривается запах гвоздики и лаврового листа.

Уникальное сельдяное стадо за последние десятилетия поредело и, наверное, вовсе исчезло бы, как это произошло с иными столь же беззащитными породами, если бы человек не позаботился о его судьбе.

В чем эта забота? Прежде всего сельдь спасают от прожорли-

вых хищников. В реке расплодились щуки, нельмы, ерши, налимы, окуни. В брюхе крупного налима находят три-четыре сельдки. У других охотников полакомиться жирной рыбкой тоже аппетит немалый. Теперь объявлена им война.

На Сосьве проводят биологическую мелиорацию: и летом и зимой на всем ее течении вылавливают хищную рыбу. Чем меньше будет в реке прожорливых, живучих щук и налимов, тем вероятнее станет увеличение сельдяного стада. При этом, полагают ученые, нисколько не нарушится общее биологическое равновесие — не пострадают другие ценные обитатели реки.

Из Игрима «Спутник» пошел к верховьям Сосьвы. Долго не было дождей, но фарватер оставался вполне надежным, убеждая, как полезно избавить реку от пагубного молевого сплава и варварского уничтожения водозащитной зоны.

По-прежнему охраняли ее кедр, лиственница, ель. Лишь кое-где на перекатах чернели выброшенные на песок полуводьем корневища.

На пологом берегу показалась вышка, и оттуда донесся к нам приглушенный расстоянием грохот бурового станка. В этих местах геологи нашли нефть, и где-то рядом в тайге проложен трубопровод от газовых скважин к заводам Урала.



Индустрия включила в свой конвейер, но не губит Северную Сосьву. Сегодня вода в ней еще не отравлена гниющей корой и пролитой за борт нефтью. Хочется верить, что и завтра положение не изменится к худше-

му и газовые, нефтяные фонтаны так же, как в Бавлах, не вступят в конфликт с живой природой. И уцелеют для нас и для потомков красота и богатства этой тихой реки Северного Зауралья...

## ИМЕНА КОМСОМОЛЬЦЕВ НА КАРТЕ

В. ОЛЕНЕВ



Землепроходец и мореплаватель, изыскатель и рудокоп, строитель, археолог, этнограф, зоолог — это целая армия. В первых рядах ее — молодежь, комсомольцы. Следы их труда и признание его остаются на карте: остров Комсомолец в Арктике и станция Комсомольская в Антарктике; Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Волге и Комсо-

мольск-на-Днепре; Комсомольск в Ивановской, Кемеровской, Мурманской областях; Комсомолабад в жарком Таджикистане; небольшой остров Комсомольский в Аральском море и залив Комсомолец на северо-востоке Каспия; Комсомольское — город в Чувашии и Бурятии, в Винницкой и Саратовской областях и в Донбассе; Комсомольский — на востоке Прикаспийской низменности и Комсомолец в центре ее; Комсомольский — в республике Коми, близ заполярной Воркуты и у Волги, напротив Жигулей; Комсомолец — на севере Казахстана...

Северная Земля была открыта экспедицией Вилькицкого еще в 1913 году, и с тех пор люди долго о ней ничего не знали. Не знали ни контуров, ни размеров ее; геология и климат, фауна, флора — все оставалось загадкой...

И вот серым августовским днем 1930 года ледокол «Седов» подошел к крохотному и доселе неизвестному островку. Осколку земли на краю света, на восьмидесятом градусе северной широты. А кругом льды да торосы — бескрайняя полярная пустыня, ледяное сердце Арктики.

Четверо высадились с корабля — полярник Ушаков, геолог Урванцев, радист Ходов и промышленник-зверобой Журавлев.

Они остались здесь на зимовку, на два долгих полярных года. На востоке, в тумане, лежала земля, нехоженная и неизведанная, хранившая много тайн.

Прошло два года... Два года борьбы, лишений и постоянного риска, подвига во имя науки, титанического труда четырех исследователей; два года — один из одних с Арктикой.

Семь тысяч километров прошли они, исколесив всю землю вдоль и поперек, на собаках, иногда пешком. В пути исцеляли прямо в снегу под прикрытием тонких парусиновых палаток, которые надежно защищали от ветра, но не от свирепых морозов, временами достигавших 47 градусов. Палатки были единственным убежищем и тогда, когда мертвое ледяное безмолвие смеялось, подчас неожиданно, диким воем пурги или ревом полярной бури. Их не останавливала крошечная тьма полярной ночи и коварство весенней распутицы, гигантские торосы и бесчисленные шипы заструг, гололед и полыньи, бездонные трещины, огромные скалы — опасности, подстерегавшие их на каждом шагу. Они определили рельеф, детально изучили геологию этой земли, обнаружили полезные ископаемые, собрали богатейшие материалы о режиме морских льдов и не менее богатые коллекции фауны и флоры. Они открыли бесчисленное количество островов, проли-

вов, мысов, фиордов, заливов, гор... Они внесли на карту Советского Союза 37 тысяч квадратных километров новой, доселе неизвестной земли, определив ее конфигурацию. Однако основным и главным результатом всех этих исследований, сейсацией юмер один, облетевшей весь мир, было открытие: Северная Земля состоит из четырех больших островов, а не из двух, как это много лет предполагали ученые. Старая гипотеза не подтвердилась. Четыре новых острова появились на карте мира. Имея их — Октябрьская революция, Большевик, Комсомолец, Пионер.

Остров Комсомолец. «Странно было видеть такое море в первой половине мая за 31-м градусом северной широты.

Еще через несколько часов мы подошли вплотную к подножию давно замеченной возвышенности. Она оказалась новым ледниковым щитом. Погода к этому времени разгулялась. Решили воспользоваться солнцем и провести астрономические наблюдения.

16 мая 1931 года стало для нас торжественным днем. Район вокруг нашего нового лагеря был сложен небольшим ледниковым щитом, и только в одном месте, в северо-восточной части, образовал отвесный шестиметровый обрыв. Около него тихо лежало открытое море. Здесь сливались воды двух морей — Карского и Лаптевых. К северу начинался

Центральный бассейн Северного Ледовитого океана. Мы стояли на крайней точке суши в этом секторе Арктики.....» — так описывал Г. А. Ушаков открытие самой северной точки самого северного острова Северной Земли.

...Это было в 1932 году. 10 мая близ села Пермского-на-Амуре остановились два парохода. На берег сошли люди — тысяча молодых строителей. Девятьсот из них были комсомольцами... А кругом тайга да топкие болота. Люди сказали: «Будет город!» Из палаток и шалашей «Копай-города» вырос юный романтический город. Его знает весь мир. Имя его Комсомольск. Он сложен из стали, гранита и бетона, город проспектов и площадей, светлых многоэтажных домов и клубов, промышленных комбинатов и больших заводов.

...Декабрь 1933 года. Не хватало рабочих рук строителей, и лютой зимой тысячи молодых покорили 400 километров льда и торосов, пурги и сорокаградусного мороза.

Комсомольск... Лом да кирка, топор да лопата — вот нехитрая техника наших первых строителей. С тех пор изменилось многое — масштабы строительства и темпы его. Теперь эстафета передана строителям Дивногорска

и Новой Каховки, Рустави, Солнечного...

Когда-то Фома Кампанелла мечтал о «городе солнца», городе счастья. Тогда это было утопией. И вот совсем недавно там, где 50 лет назад нужда жила рядом с нищетой, в Донбассе появился новый молодежный город с романтическим названием Счастье.

966 новых городов построено у нас за 50 лет. Такого строительства не знала история. Наши комсомольцы — главные и первые строители новых городов.

Магнитогорск и Кировск, Днепрогэс, Турксиб, Ферганский канал... Когда-то по зову партии сюда пришла молодежь, комсомольцы. Первые и уже по тем временам грандиозные комсомольские стройки. Разве и они не связаны с именем комсомола?! И вот строители первых пятилеток передали эстафету строителям Иркутского алюминиевого комбината и белорусского Нефтеграда, Братской и Саяно-Шушенской ГЭС, строителям дороги Абакан — Тайшет, Волго-Донского канала...

Саянские горы.

Енисей, Карлов створ... Крутые склоны. Отвесные скалы. Идут изыскатели — делать промеры, брать пробы грунта, определять режим реки... Так начинается ГЭС.

Саяны. Шушенское... Некогда здесь, в глухом краю, в ссылке

находился Владимир Ульянов. «Вспоминая те далекие годы, — писал Г. М. Кржижановский, — я думаю: да, есть что-то глубоко символическое в том, что именно на Енисее будет сооружаться величайшая в мире ГЭС. Здесь, на берегах великой русской реки... Ленин думал о завтрашнем дне России. И вот этот день наступил». Кржижановский писал о Красноярской ГЭС, которая уже в юбилейном году дала первый ток. Но еще более мощной, чем Красноярская, будет Всесоюзная ударная комсомольская стройка — Саяно-Шушенская гидроэлектростанция.

В скалах левобережья уже вырублены первоклассные шоссе, подведена железная дорога из Абакана. Поднимается домостроительный комбинат, а Майна, поселок строителей, играет красками своих разноцветных коттеджей.

Горы сдавили реку. 300 километров Большого каньона — 300 километров безумной пляски воды. Карлов створ. Сужение. Здесь уже начались строительные работы. И Енисей будет перекрыт, вырастет 230-метровая плотина-гигант; 6 миллионов 300 тысяч киловатт — такова будет мощность этой гидростанции.

Бескрайняя тюменская тайга, предательские топи. Ревут на подъемах, буксуют, скользя на спусках, мощные ЗИЛы и «Ура-

лы». Строители прокладывают трассу...

В сентябре 1953 года в Березове ударил первый газовый фонтан. В апреле 1960 года в Шаиме, на реке Конда, забила первая нефть. И дальше открытие опережало открытие: в Тюменской области уже насчитывается 100 месторождений газа, 35 — нефти.

Ожила тайга. Рассыпались по ней буровые. Возникли промыслы. Но ко многим из них еще нет дорог. Да и расстояния здесь меряются сотнями, а то и тысячами километров. А чтобы проложить тракт, нужно время.

Зима 1965 года. Оборудования требует Сургут, требует Нефтеюганск. По воздуху такие грузы не доставишь. Реки скованы. Выход один — зимник. А чтобы его проложить, надо буквально прорубаться сквозь вековую тайгу, пройти топкими болотами, четыре раза «форсировать» Иртыш, два раза — Тобол, один — Обь. И это все на тяжело груженных ЗИЛах и «Уралах».

...До Демьянского дорога была сносной: где грунтовая, где проселочная. За Иртышом началось настоящий зимник — «дорога по бездорожью». «Люди проби-вали просеки. Пускали тракторы и бульдозеры на расчистку снега. В гиблых местах устраивали гати: валили тайгу, бросали в снежные провалы стволы и вет-

ки. На реках и речушках намо-  
раживали лед: рубили лунки, вы-  
качивали помпами воду, затап-  
ливали ненадежный пласт водой.  
Через овраги и ручьи наводили  
мосты...» — писал один из участ-  
ников этих событий.

Затем бесконечные подъемы и  
спуски перед Горно-Филинском.  
За тайгой пошло редколесье, и  
с ним снова топи. Потом опять  
леса. Наконец тайга кончилась.  
Обь. Переправа через реку, ско-  
ванную льдом. В Сургуте дорож-  
ников и шоферов встретили с  
транспарантами. Так закончился  
один из эпизодов освоения су-  
рового края.

Зимник проложен. Зимник дли-  
ной почти в 1000 километров.

Первый шаг корабля, еще од-  
ного из многих, уже бороздящих  
моря под советским флагом...

Недавно министр морского фло-  
та СССР В. Бакаев писал: «Полу-  
вековая история развития мор-  
ского транспорта — одна из  
ярких страниц в летописи сверше-  
ний советского народа. Дорево-  
люционная Россия, обладая не-  
объятным морским побережьем,  
веками не могла создать собст-  
венного торгового флота и стать  
полноценной морской державой.  
Ее внешняя торговля почти пол-  
ностью зависела от иностранного  
торгового флота, зарубежным су-  
довладельцам ежегодно выплачи-  
валась огромная фрахтовая дань.

Только после Великого Октября  
и осуществленной в невиданно

короткие сроки индустриализации  
страны в Советском Союзе был  
создан мощный и технически со-  
вершенный морской торговый  
флот».

Херсон не только важнейший  
черноморский порт, но и круп-  
ный центр судостроения.

Раньше срока завершена удар-  
ная комсомольская стройка на  
судоверфи Херсона: спущен на  
воду очередной торговый ко-  
рабль. Имя его — «Октябрьская  
революция».

Застыл океан песков. Туркме-  
ния. Каракумы — гигантская, го-  
рячая сковорода. Черное днище  
ее — почти нетронутая нефтя-  
ная целина...

...Середина 30-х годов. Увядал  
Небит-Даг — истощалась нефть  
в старых скважинах. Многие ут-  
верждали, что нефтяная чаша  
Туркмении испита до конца. Од-  
нако академик И. М. Губкин еще  
в 1934 году добивался широкой  
геологической разведки Туркме-  
нии, считая, что детальные ис-  
следования «могут подарить Со-  
ветскому Союзу новую нефтенос-  
ную область».

И предсказания ученого сбы-  
лись. Как капли чернил на листе  
бумаги, расплзаются на геологи-  
ческих картах темные пятна неф-  
теносных районов. Разрослись  
леса вышек Небит-Дага, все даль-  
ше в море уходят вышки.

Открыты новые месторождения

в барханах Котур-Тепе и Барса-Гельмеса.

...Возвращается с разведки бу-  
ровик. Только что закончено раз-  
ведочное бурение. Скважина да-  
ла первую нефть.

Волга... «Мели растут и в Са-  
репте, и в Царицыне, и в Дубов-  
ке, и в Саратове — сло-  
вом, всюду, на всем протя-  
жении, и, может быть, не особен-  
но уж далеко то время, когда и  
эту великую реку поглотит азиат-  
ская пустыня, надвигающаяся  
медленными, но верными шага-  
ми и иссушающая не только ре-  
ки, но и самые моря», — так  
писал до революции агроном  
А. Маликов в книге с печальным  
названием: «Край без будущего».

Советские люди задумали и осу-  
ществили проект создания Волж-  
ского каскада — из восьми  
ГЭС и восьми морей. Пло-  
тины, волюломы, каналы с прича-  
лами и дамбами, сложнейшая  
система шлюзов и, наконец, мо-  
ря-водохранилища. Современная  
Волга — это почти непрерывная  
цепь искусственных морей. Они  
дают возможность точно регули-  
ровать сток реки, поднять уро-  
вень ее, проложить новые фарва-  
теры для теплоходов — одним  
словом, дать удобный режим ре-  
ке, удерживать «стоводиую удаль  
безудержной Волги». Гидростан-  
ции Волжского каскада приносят  
нашему хозяйству миллиарды

киловатт-часов электроэнергии в  
год.

Горьковское море длиною в  
400 километров и шириною в  
22 километра. В его чаше почти  
10 миллиардов кубометров воды.  
Настоящее море, прекрасно впи-  
савшееся в волжский пейзаж. Мо-  
ре, которое создал человек.

Навстречу колючей пурге и  
ледяному ветру через сугробы  
идут люди. Метеоролог долж-  
жен записать показания приборов,  
магнитолог — добраться до па-  
вильона, чтобы провести очеред-  
ные наблюдения. Ведь данных,  
полученных учеными, ежедневно  
ждет Большая земля.

...21 мая 1937 года. Над Север-  
ным полюсом снижается самолет.  
Он высаживает четырех смельча-  
ков. На их жилище-палатке на-  
пись: «СССР. Дрейфующая экспе-  
диция Главсевморпути 1937 года».  
Папанин, Крейкель, Ширшов, Фе-  
доров — они первыми соверши-  
ли беспримерный ледяной дрейф  
«сквозь Арктику». Это была пер-  
вая станция «Северный полюс»,  
теперь очередь дошла до шест-  
надцатой. «СП» сегодня — это  
полярные городки с «населением»  
20—30 человек, с домиками, па-  
латками, складами и даже элект-  
ростанциями.

Значение «СП» велико. Дрей-  
фуя вместе со льдами, полярники  
ведут круглый год исследова-  
ния атмосферы и океана. Диапа-  
зон исследований необычайно

широк: верхние слои атмосферы и рельеф морского дна, радиоволны и ледовая обстановка. Масштабы изучения Арктики все более расширяются.

За редколесьем видны строительные краны и первые два дома... Так начинался Талнах...

Посреди бесконечной таймырской тундры стояла гора. Харайлах звали ее. Дурная слава некогда ходила о здешних местах среди долган и нганасан. Слыла гора пристанищем злого духа, и лежал на ней «талнах» — запрет.

Но однажды пришли сюда люди. Они не знали, что такое «талнах», и поэтому не верили в него. Они были искателями. Раскинули палатки. Потом поставили вышки: Буры вонзились в недра горы. Геологи искали земные клады. Искали — и нашли. Буровая дала первые зеленовато-голубые срезы. Это была руда.

— Она значительно богаче медью и никелем, чем та, которую привозят в Норильск, — говорили они, — и залегает неглубоко. Она содержит кобальт, платину и золото! Прав был первооткрыватель Николай Урванцев, когда назвал эти места «кладовой кладовых».

И потом пришли еще люди и стали строить шахты. Казалось, действительно злой дух защищает гору. С трудом вырубались базальт и диабаз. Проходили по 50—55 сантиметров в сутки. Но люди оказались тверже этих кам-

ней, и они победили. И гора отдала свою первую руду.

Здесь, за 69-й параллелью, где царит вечная мерзлота, а мороз в 50 градусов — нередкий гость, молодые инженеры и плотники, дорожники и лэповцы построили склады, бетонный завод, проложили дороги, воздвигли мосты, протянули электролинии.

У самой подошвы горы, поросшей жалким подобием леса, леса, обожженного пургой и ледяными ветрами, там, где чахлая лиственница сменяется чахлой березой, построен большой, современный поселок.

В домах электричество и паровое отопление, горячая вода и ванны. Открыт клуб-кинотеатр «Юность» — ведь почти все строители юны. В заполярном ателье и парикмахерской шьют одежду и делают модные прически, совсем как на Большой земле. Есть у поселка и своя эмблема: человек, раздвигающий гору, в недрах которой сверкают сказочные сокровища.

Коротким летом здесь царят белые ночи, а долгой зимой в окнах отражается мерцающее и трепетное северное сияние.

Быть может, чтобы доказать, что люди не верят в «запрет», в «память» злого духа, которого никогда не было, молодые строители назвали поселок Талнах.

Завтра здесь будет город.



# ИМЕНА КОМСОМОЛЬЦЕВ НА КАРТЕ (50 лет ВЛКСМ)

*Карта Северной Земли  
1929 года. Вплоть до  
1930 года никто в мире  
не знал, что она собой  
представляет, каковы  
ее размеры.*



**В 1930 году ледокол  
«Седов» завез на Се-  
верную Землю первую  
экспедицию из четырех  
смельчаков — началь-  
ника экспедиции  
Г. А. Ушакова, заме-  
стителя начальника, ге-  
олога Н. Н. Урванце-  
ва, радиста В. В. Ходо-  
ва и промышленника-  
зверобоя С. П. Журав-  
лева, оставшихся на не-  
известных до того остр-  
овах Каменева.**



*В 1936 году по призыву комсомолки Хетагуровой на строительство Комсомольска-на-Амуре приехали 400 девушек.*

*В таких палатках, шалашах и землянках жили первые комсомольцы, приехавшие на строительство города (1936).*





*Комсомольск-на-Амуре сегодня.*

*Антарктида. Станция Комсомольская.*





*Антарктида. Санно-гусеничный поезд.*

*Антарктида. Мирный. Сопка Комсомольская.  
Между трещинами и океаном.*



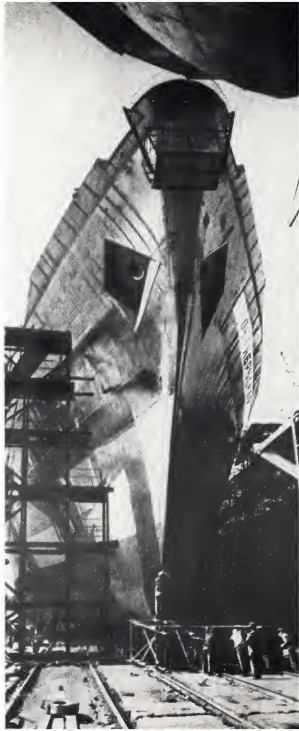


*Енисей. Карлов створ. Идут топографы.*



*По зимнику из Тюмени в Сургут.*

*На судоверфях  
Херсона.*





*Золотые пески Барса-Гельмеса.*



*На станции  
«Северный полюс».*



*Так начинался  
Талнах.*





*Вдали «Товарищ».*

*«Товарищ». Курсанты крепят паруса.*



*Здесь будет Токтогульская ГЭС.*



*На строительстве Токтогульской ГЭС.*





*На строительстве Токтогульской ГЭС.*



*В суровом краю  
Верхоянья.*

*На дорогах Якутии.*





*Пастушка.*

*Якутский охотник.*



ЗЕМЛЯ

ФРАНЦА-ИОСИФА



*Р. Л. Самойлович,  
О. Ю. Шмидт,  
В. Ю. Визе,  
В. И. Воронин.*

*В 1929 году советская  
арктическая экспедиция  
на ледоколе «Седов»  
торжественно водрузи-  
ла советский флаг на  
мысе Флора острова  
Гуккера.*





*Земля Франца-Иосифа. Радиостанция в день открытия.*

*Остатки лагеря американской экспедиции Фиала 1903 года в бухте на острове Рудольфа.*





## ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИИ ПАСХАЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тур  
ХЕЙЕРДАЛ



Когда первые люди прибыли на остров Пасхи, уровень моря в этой части Тихого океана был таким же, как теперь. И такие же огромные расстояния отделяли остров от Южно-Американского континента на востоке и ост-

ровов Поллинезии на западе. Первооткрывателям либо очень повезло, либо они шли широким фронтом на многих судах. Весь островок — 22×11 километров, его высочайшая точка — неполных 600 метров над уровнем моря; до ближайшего населенного острова — около 3000 километров, до ближайшего материка — 4000 километров. Холодные антарктические воды направляются от берегов Южной Америки к острову Пасхи, и здесь их температура еще настолько низка, что коралловые полипы не смогли соорудить рифа, который защищал бы берега от бесконечного прибоя. Поэтому участки побережья, сложенные из вулканического пепла, постепенно превратились в отвесные кручи высотой 200—400 метров, и с той поры, когда люди почти две тысячи лет назад впервые узнали остров, он уступил океану не один метр на востоке, севере и юге. Культурные сооружения и монументы, которые в конце прошлого столетия виднелись на берегах над обрывами, теперь лежат на дне моря, да кое-где на склонах остались обломки.

И, однако, то, что сделало море с незащищенными участками побережья, пустыни перед преобразованиями, начало которым положил человек, когда высадился на острове. Эти преобразования немало нам рассказывают

как про культуру, которую люди привезли с собой, так и про направление, откуда эти люди пришли.

Самые первые мореплаватели, прибывшие на остров, увидели эродированный ландшафт; многочисленные потухшие вулканы были покрыты богатой растительностью. В трех кратерах были озера с большим круглогодичным запасом пресной воды, на склонах вулканов зеленели растения, которых ни одному европейцу не довелось здесь увидеть. Пробы пыльцы, взятые вокруг озера в кратере Рано Рараку, показывают, что на склонах росли пальмы, ныне совсем неизвестные на Пасхе: в каждом кубическом миллиметре донных осадков озера содержится тысячи зерен пыльцы пальмы своеобразного вида. Среди пальм и деревьев были заросли различных кустарников. Одно из самых примечательных растений — кустарник, родственник хвойным (эфедра), ныне неизвестный во всем Тихом океане, зато родственный, если не идентичный, одному южноамериканскому виду.

В Государственном музее в Стокгольме профессор Улф Селлинг, по чьей инициативе были взяты пробы, нашел пыльцу того же рода в пробах с Маркизских островов. Изучая материал, взятый нами на Пасхе на глубинах до 8 метров, он показал, что до вмешательства чело-

века на острове была растительность, очевидно напоминавшая первичную низинную растительность, скажем, на подветренной стороне Гавайских островов или на Маркизских островах, хотя многие виды были другими.

Всюду, где сходили на берег полинезийцы, они берегли лес, потому что им нужна была древесина для лодок, жилищ, культовых изображений, больших мисок для кавы и множества иных деревянных изделий, характерных для полинезийской культуры.

Между тем исследование пыльцы и археологические раскопки показали, что первые люди, ступившие на землю острова Пасхи, привезли с собой особый вид камня, который наряду с камнем был их излюбленным строительным материалом. А лес они сводили огнем, расчищая место для своих построек неполинезийского типа. Им не нужна была древесина, они обнажали склоны, чтобы с большим знанием дела, отличающимся настоящим экспертом, добыть базальт, туф и вулканический шлак для своих чрезвычайно совершенных каменных сооружений и скульптур. Неверно думать, что на острове обрабатывали камень из-за нехватки леса. Его здесь, как и на других островах, было вдоволь, но люди сами сознательно свели лес, потому что первыми прибыли каменотесы, а не резчики по дереву. Пожалуй, это одно из самых важ-

ных обстоятельств, выявленных анализом пыльцы в сочетании с археологической стратиграфией.

Когда изучают под микроскопом образцы из кратерных озер Пасхи, пыльца позволяет судить о первичной растительности. На той глубине, которая еще отражает расцвет девственной растительности, в определенном слое вдруг появляется множество частиц золы. С этого же времени резко меняется пыльцевой состав. Пыльца одних видов становится редкой, других и вовсе исчезает. В верхних слоях всецело преобладают травы и папоротники — верное отражение голого, безлесного пейзажа острова Пасхи в исторический период.

Так как вулканы потухли и покрылись растительностью, а кратеры давно заполнились водой, вряд ли можно сомневаться, что частицы золы — след разрушительной деятельности людей. Участки расчищали огнем, и частицы золы говорят о том, что искры и гарь густым облаком летели с горящих лесов на озеро.

Но перед тем как начать сводить лес, на острове Пасхи внезапно появились два привозных пресноводных растения. Первичная флора не включала никаких водных растений на открытых кратерных озерах. Два вида, которые можно проследить по сохранившейся пыльце и торфу, — специфически южноамериканские

полезные растения, их не было ни на одном из островов Тихого океана. Это полигонум амфибум и скирпус тотора. Эти привозные растения с подводной корневой системой потому и уцелели, что они водные, тогда как большую часть растительности острова уничтожил огонь. Гости из Южной Америки размножались так быстро, что характерная пыльца полигонума вскоре образовала заметные слои на дне кратерных озер. Пыльца камыша тоторы не так устойчива, зато у него прочная клетчатка, она откладывалась в виде ковра и в конце концов образовала плавучую трясину на трех кратерных озерах.

Виднейший знаток пасхальской флоры профессор Карл Скоттсберг, обратившись к своему гербарию, установил, что пасхальский камыш тотора не местная разновидность, он полностью идентичен камышу, который растет на озере Титикака и который инки и их предшественники возделывали с помощью искусственного орошения вдоль засушливого побережья Перу. В итоге, как указывает сам Скоттсберг, вряд ли можно сомневаться, что эти два южноамериканских пресноводных растения были доставлены людьми в три кратерных озера на острове Пасхи. Они не могли сами доплыть, не погибнув в соленой воде, и ни ветер, ни морские птицы не могли тут помочь, ведь камыш рас-

пространяется ползучими корневидными.

Вряд ли люди случайно привезли с собой эти растения. Полигонум амфибум использовали для приготовления лекарств коренные жители и Пасхи и Южной Америки. Еще важнее был скирпус тотора — камыш тотора; благодаря замечательной прочности и плавучести он стал очень популярным строительным материалом в названных областях. На озере Титикака и на засушливых берегах Перу, а также на уединенном острове Пасхи камыш тотора был важнейшим строительным материалом для постройки жилищ; и тут и там из него плели веревки, лесу, сети, корзины, циновки. Что особенно важно — он шел на мореходные лодки, которыми пользовались именно в этих географически сопредельных областях.

Древнейшие изображения, дошедшие до нас от доинкских культур Чиму и Наска, известных на тихоокеанском побережье Перу, а также наскальные рисунки древнейшего периода Пасхи показывают один и тот же тип больших серповидных судов из камыша. Теоретически число связок тоторы, из которых вязали лодки, могло быть неограничено. По нашей просьбе старики пасхальцы реконструировали древнюю модель; получилась лодка того же вида, какой и сейчас еще в ходу на озере Тити-

кака. Рыбаки вдоль всего перуанского побережья десятками тысяч изготовляли из камыша маленькие поплавики на одного человека, напоминающие кривой слоистый бивень, и плавали на них либо лежа, либо сидя верхом. И точно такими же поплавками пользовались пасхальцы, которые выходили в море навстречу первым гостям из Европы.

Важный для перуанцев камыш появился в кратерных озерах Пасхи как раз, когда погибли в огне окружающие леса, — это ботанический указатель, откуда пришли поджигатели, и одновременно это позволяет предположить, на каких судах они плыли. Практические эксперименты с камышовыми судами как на озере Титикака, так и у берегов Перу и Пасхи убедили меня, что они обладают поразительной грузоподъемностью и мореходными качествами, почти как бальсовый плот. Волны и буруны им не страшны, их не ломаешь и не разорвешь, связка камыша тотора намного прочнее бревна такой же толщины, а изящная, заостренная, обтекаемая форма делает камышовые лодки быстрее бревенчатых плотов. Недаром, когда европейцы открыли Перу, непотопляемые камышовые суда были там еще более распространены, чем бальсовый плот. Инки не признавали судов со сплошным корпусом — они были менее плавучими и их могло за-

хлестнуть буриями в море. Камыш тотора годами сохранял плavучесть, единственное слабое место камышового судна — поперечные крепления, они-то и стираются, когда судно часто вытаскивают на берег, на острые камни.

На острове Пасхи мореплаватели нашли только одну бухту с песчаным берегом. Но так как гаваней не было, приходилось вытаскивать суда на сушу. И чтобы уберечь крепления от трения об острые выступы, люди соорудили аппарели, тщательно вымощенные гладким булыжником. Многие аппарели сохранились до наших дней, а так как они напоминают уходящие в море мостовые, появились фантастические теории, будто остров Пасхи был вершиной затонувшего материка.

О размерах древнейших камышовых судов Пасхи говорят не только широкие — до 4—5 метров — аппарели, и не только наскальные изображения, где видно, что суда оснащались одной, двумя, тремя мачтами под паруса. Мы можем о них судить также по весу перевезенного ими груза. По морю доставлялись огромные глыбы весом в несколько тонн. Например, около одной аппарели упала на дно статуя из туфа Ранго Рараку и цилиндры из красного шлака Пуна Пау; другие статуи находятся на скальных полках, куда был доступ только с моря.

Еще одним указанием, откуда пришли первые переселенцы, служит своеобразная архитектура и религиозные представления, лежавшие в основе их культовых сооружений. На всех остальных островах Тихого океана люди строили дома либо из бревен и плетенок, причем крыли их пальмовыми листьями, либо из струганых досок (Новая Зеландия). А открыватели острова Пасхи сводили огнем лес и добывали камень, чтобы строить себе дома из камня и тоторы. Каменные жилища вообще были неизвестны среди обитателей всех остальных тихоокеанских островов. На острове Пасхи один тип домов строился только из камня, другой — из камня с камышовой кровлей, третий — из тоторы на чечевицеобразном фундаменте из природного отесанного базальта. Архитектура каменных построек — типично южноамериканская, причем той области материка, которая лежала ближе всего к острову Пасхи.

Камышовая постройка на чечевицеобразном фундаменте, с изогнутой кровлей лока известна только на острове Пасхи, и это единственный тип жилищ, сохранившийся до исторических времен. Может быть, строителей вдохновила такая же форма камышовых лодок, а может быть, это развитие одного из местных типов каменных домов. Их заостряли по концам из технических

соображений, чтобы плиты перекрывали друг друга.

Из двух древнейших типов каменных построек на Пасхе один был вытянутым и низким, с дверным проемом сбоку. Стены и крышу составляли положенные друг на друга плоские плиты, которые постепенно смещались внутрь, так что верхние встречались, образуя ложный свод; сверху все закрывали другими плитами и землей. Такие плитовые дома с крытым землей сводом найдены археологами в развалинах у озера Титикака. В частности, священное здание на острове Солнца, который легенды называют местом рождения первого инки, сооружено по такому же принципу. На острове Пасхи вплоть до прибытия миссионеров жители устраивали религиозные празднества в культовом поселении из таких каменных домов.

Второй тип пасхальских каменных жилищ долго считали остатками небольших кольцеобразных оград для защиты посадок. И только в 1955—1956 годах пробные раскопки Шельсволда и Фердона показали, что это стены домов. Развалины таких доисторических жилищ были разбросаны большими и маленькими группами по всему острову, некоторые и в самом деле в историческое время служили оградой для защиты полезных растений.

Дом этот совсем неполинезийского типа — толстая, низкая кольцевая стена, диаметр — 4—5 метров, двери нет, так как входили через конусовидную камышовую крышу. В одном из круглых каменных домов, раскопанных Шельсволдом, в каменной печи еще лежали остатки пищи, а под упавшей и истлевшей камышовой кровлей была найдена скудная утварь из обсидиана и базальта.

Часто у кольцевых домов были общие перегородки, они напоминали ячейки в пчелином соте, образуя сплошные комплексы или селения. Ничего подобного мы не знаем на примере других островов Тихого океана, зато именно этот тип жилища характерен для области Титикака и участка пустыни, связывающего Тиауанако с тихоокеанским побережьем, то есть для ближайшего к Пасхе материка. После того как Фердон и Шельсволд обнаружили такие комплексы на Пасхе, доктор Мосты и другие чилийские археологи определили и раскопали несколько покинутых «кольцевых» деревень в области между Тиауанако и морем. Один из них глинобитный, другие каменные, и вся архитектура, включая ход через камышовую крышу, та же, что на острове Пасхи.

Пробные и полные раскопки разбросанных пещерных жилищ на Пасхе показали, что в нанбо-

лее древний период в пещерах никто не жил. Очевидно, первоначальный обычай жить вместе в жилищных комплексах или поселениях отражает высокоразвитую общественную организацию, основанную на иерархии, которой была подчинена масса тружеников. Без организованного сотрудничества невозможно было бы вырубать и транспортировать огромные каменные блоки, применявшиеся для сооружения многочисленных культовых террас, отличающих древнейший период острова. Самые замысловатые постройки и наиболее высокая техника каменной кладки, судя по стратиграфическим раскопкам Мэллоя, Смита и Фердона, относятся к этому первому периоду строительства. Дальше в строительной технике наступил заметный локальный спад. (До раскопок считали, что было наоборот.) Именно древнейшая ласкальская культура дает нам непревзойденные по мастерству вытесанные из базальта многотонные блоки, часто сложной формы. И хотя они были неодинаковы по очертаниям и размерам, кладка отличалась таким совершенством, что в швы не проходит даже лезвие ножа. Эта техника не могла сюда попасть с других островов, там ее не знали, зато она в точности повторяет специализированную технику каменной кладки, которая отличает мегалитическую культуру древнего Перу.

Стратиграфические раскопки, которые доктор Карлос Понсе сейчас проводит в Тиауанако, показывают, что древнейшие культовые террасы в этом важном доинкском культовом центре были построены с применением той же техники и по тем же архитектурным принципам, что и сооружения первого ласкальского периода. Как в Тиауанако, так и на острове Пасхи, чрезвычайно искусная каменная кладка служила облицовкой для прямоугольных, ступенчатых и открытых культовых террас из камня и земли, с прилегающей культовой площадкой и каменными скульптурными изображениями человека. И в обеих областях стена фасада была точно согласована с годичным движением солища. Иначе говоря, культовые сооружения Пасхи древнейшего периода — точное повторение того, что было хорошо известно на ближайшем материке.

Тщательная ориентация фронтальной стены древнейших культовых платформ Пасхи с учетом вычисленных астрономами солнцестояний — еще один признак того, что их строили не обычные полинезийцы, так как культовые сооружения Поллинезии не имели астрономической ориентации и солнцепоклонничество не считается одной из черт полинезийской культуры. Между тем Фердон раскопал солнечную обсерваторию в самых древних слоях

на вершине высочайшего вулкана Пасхи. Здесь в коренной породе высечена познция солица во время весеннего и осеннего равноденствия, а также летнего солнцестояния. Он вскрыл также солнечные символы в виде наскальных изображений, скульптур и фресок; они связаны с солнечной обсерваторией, первой когда-либо найденной в Полинезии.

В той же обсерватории Фердон раскопал необычную каменную голову. Вообще экспедиция в ходе раскопок 1955—1956 годов нашла каменные головы, бюсты и статуи типов, которые до тех пор были неизвестны как на Пасхе, так и на всех других тихоокеанских островах. Раскопано много изваяний, сильно напоминающих классические монументы, увиденные первыми европейцами. Старейшие статуи, найденные при раскопках, можно разбить на четыре типа, причем тип I—III раньше вообще не находили на островах Тихого океана.

Тип I (в частности, скульптура из солнечной обсерватории) — плоские, более или менее прямоугольные каменные головы без туловища, с маленькими ушами или вовсе без ушей, с огромными глазами под изогнутыми бровями, которые обычно были выпуклым продолжением носа в виде рогатки.

Тип II — совсем не реалистическая фигура в форме колонны с прямоугольным, слегка закруг-

ленным сечением. Туловище полностью, короткое, усеченные ноги, локти традиционно изогнуты под прямым углом, так что пальцы встречаются на животике.

Тип III — совершенно реалистическое изображение обнаженной тучной коленопреклоненной фигуры с острой бородкой. Фигура сидит на пятках, руки лежат на ногах, лицо обращено вперед и вверх.

Тип IV — самый распространенный, очевидно, предшественник всех позднейших пасхальских скульптур. Традиционный бюст статичной фигуры, руки встречаются на животике, как у типа II, но скульптура безногая, усеченная ниже гениталий. Подчеркнутые плечи, круглая голова, глубокие овальные глазницы. В древнейшем периоде основание бюста часто было более или менее выпуклым, скульптура могла стоять только врытой в почву. Но немало бюстов было плоско среzano ниже гениталий, их можно было устанавливать на земле или культовой стене. В последующем культурном периоде именно этот способ вошел в обычай.

Итак, все три первых типа раньше не были известны на островах Тихого океана, зато и они и четвертый тип встречаются в области прямого распространения культуры Тиауанако вокруг озера Титикака. Типы I—III со всеми их отличительными чертами описаны Беннетом в 1934 го-



ду, он считал их древнейшими типами антропоморфных статуй в Тиауанакском центре. Колено-преклоненного великана Беннет из-за его реализма и отсутствия условности считал наиболее ранним локальным типом. Недавно при раскопках культовой платформы в Тиауанако найдены еще две такие коленоопреклоненные статуи; их перевезли в открытый музей в Ла-Пасе. Все детали: коленоопреклоненная поза фигуры, лежащие на ногах руки, посадка большой головы с глазами, напоминающими полумаску, нос рогаткой, тонкие выступающие губы, заметная острая бородка (примечательная черта в области обитания безбородых индейцев) — все напоминает коленоопреклоненную фигуру, которую Шельсволд нашел под отвалами в древнейшей части одной из каменоломен Пасхи.

Исходя из стилистических соображений, Беннет считал квадратные головы и четырехугольные колонновидные статуи в рост выраждающимися формами в Тиауанако. Верна ли эта гипотетическая хронология или нет, одни и те же формы существовали параллельно с реалистической коленоопреклоненной фигурой как в Тиауанако, так и на острове Пасхи. Причем прямоугольная статуя-колонна с крохотными ногами и сложенными на животе руками, раскопанная Мэллоем на культовой площадке Винапу,

которая из всех пасхальских сооружений больше всего напоминает стиль Тиауанако, — эта статуя даже высечена из специально отобранного красного камня, как это делали и скульпторы Тиауанако, работая над своими старейшими прямоугольными статуями-колонирами, в том числе той, которая изображает бородатого бога солица Кон-Тики-Виракочу.

У четвертого пасхального типа, предшественника позднейших гигантов, мы видим ярко выраженные локальные черты. Этого типа статуи не находили ни на других островах, ни среди статуй Тиауанакского центра, избежавших уничтожения испанцами. Впрочем, в группе тиауанакских статуй, найденных в Тарако на противоположном берегу озера Титикака, есть каменный великан, усеченный в бедрах, с руками, встречающимися под прямым углом на животе. Так что в принципе этот тип был известен, хотя и редок, среди тех же доинкских скульпторов, которые создали три других типа, встреченных нами также на ближайшем к матерiku острове против той части приморья, где некогда находилось государство Тиауанако.

Многое говорит за то, что статуи четырех типов древнейшего периода Пасхи первоначально стояли на земле среди культовой площадки, а не на культовой террасе. К такому выводу археологи пришли, во-первых, из-за

расположения находок, во-вторых, потому, что многие статуи этой поры заострены внизу, в-третьих, потому, что культовые стены древнейшей платформы не были рассчитаны на большую нагрузку. Как и в Перу, сравнительно тонкие блоки, облицовывающие культовые террасы, были поставлены на ребро, чтобы производить наиболее эффективное впечатление. Только фасад был выложен с замечательной тщательностью, а дальше под плитами лежали земля и камень. Иначе говоря, строители направляли свои усилия на создание ступенчатых культовых сооружений в честь Солнца, с упором на эстетическое оформление; их целью не было строительство прочных оснований для каменных гигантов, как это стало в следующем периоде.

Самое уединенное в мире общество оказалось в изоляции, которая обеспечивала ему мирное существование. Это видно как по расточительному использованию рабочей силы, так и по отсутствию в древнейшем периоде предметов, которые можно назвать оружием. Очевидно также, что это были не резчики по дереву, а каменотесы. Об этом говорят большие скопления каменных рубил из твердого андезита, так называемых остроконечников, которые находят повсюду в каменоломнях, среди отвалов и в местах жилья. В других частях

Полинезии этот тип рубил неизвестен, если не считать менее массивные родственные виды, которые Шельсволд и Фигероа нашли в каменоломне, когда мы заходили на Питкерн. Зато этот же тип остроконечников употреблялся в древних каменоломнях как в Мексике, так и дальше на юг, в Андах. В остальном раскопки дали мало орудий, которые уверенно можно отнести к древнейшему локальному периоду. В глубоком слое, отнесенном Мэллоем к древнейшему периоду, он нашел двухгранный топор типа, очень распространенного в Америке, но почти неизвестного в Полинезии; были также найдены скребки и другие простые каменные орудия. Датировка древнего угля, взятого на месте кремации (там же найдены разные рыболовные крючки), относится примерно к 1200 году н. э. С поправкой на возможную ошибку вероятно, что это следы конца первого периода пасхальской культуры.

Но сильная эрозия на безлесном, открытом ветру острове Пасхи никак не благоприятствовала сохранению органического материала или надежной стратификации в нетронутых мусорных кучах. Защищенные от дождя и ветра пещеры стали использовать для жилья лишь в последний период, период упадка; это еще больше сокращает возможность проследить послышное разделе-

ние орудий и отбросов, относящихся к раннему и среднему периодам. Поэтому наши познания о древнейшем пасхальском периоде главным образом основаны на отложениях пыльцы в кратерных болотах и четкой стратификации в мегалитических сооружениях, которую не могли нарушить ни ветры, ни дожди, ни разрушительная деятельность людей.

Мы не знаем, какая судьба постигла людей раннего пасхальского периода. Не найдено ни оружия, ни других признаков разлада, которые могли бы объяснить, что положило конец первому культурному периоду. Но археологи, работавшие независимо друг от друга в разных концах острова, пришли к общему выводу, что большие культовые платформы и солнечная платформа были надолго заброшены около 1100 года нашей эры; об этом говорят признаки оседания и эрозии. Когда люди снова вмешались, это явилось началом совсем другой культуры. Старые боги и культовые сооружения были поруганы, их сменяли новые.

Судя по религиозным и архитектурным представлениям носителей новой культуры, они не были прямыми потомками архитекторов раннего периода. Новые служители культа явно обожествляли предков. Тем не менее культура второго периода во многом так близка предшествующей,

что новая волна скорее всего пришла из той же географической области. Что происходило между первым и вторым периодом, мы, возможно, никогда не узнаем. Может быть, какая-то катастрофа поразила солнцепоклонников, так что они все или почти все вымерли и их культовые сооружения оказались заброшенными. Может быть, они покинули остров, чтобы вернуться к себе на материк. В Тиауанако мы видим признаки точно такой же смены архитектур и перестройки, видим по меньшей мере две различные культурные эпохи, пока этот центр не был вовсе покинут перед приходом к власти инков около 1100 года. Другими словами, инкская династия сменяла Тиауанацкое государство на материке в то же время, когда произошла смена культур на острове Пасхи.

Соблазнительно предположить, что ближайший обитаемый остров напротив приморских областей тиауанаццев и инков был своего рода убежищем, куда уходили материковые иерархические культуры всякий раз, когда их вытесняли превосходящие силы. Если принять такую рабочую гипотезу, то первый период Пасхи начался, когда закончился первый период Тиауанако, а начало второго пасхальского периода отвечает приходу инков к власти в Перу. Хронологически нет данных, которые противоречили бы такой гипотезе.

Если говорить о древнейшем периоде в обеих областях, то как раз присущие ему архитектура культовых сооружений, техника кладки и особые типы статуй в это время исчезают в Тиауанако и появляются в совершенно законченном виде на острове Пасхи. Иное дело — традиционные статуи второго пасхальского периода. Они представляют собой развитие локальной формы, стилистически совсем непохожей на изящно орнаментированные прямоугольные статуи-колонны, изображающие мужчин в длинных плащах и отличающие классический период Тиауанако до инков. Но хронологически все отлично согласуется, это относится также к новым религиозным представлениям и другим особенностям культуры второго периода, о которых мы скажем дальше.

Пока нам неизвестно, почему сменились две культуры как на материке, так и на острове Пасхи. Можно только гадать о возможной связи между переменами в этих двух областях. Но мы знаем: когда на острове Пасхи снова в больших масштабах развернулась деятельность людей, ими руководили совершенно новые религиозные представления, основанные на культе предков и птичечеловека. В итоге появились те самые памятники, которые прославили крохотный остров на весь мир.

Если солнцопоклонники первого

периода всю свою энергию обратили на то, чтобы сооружать отличающиеся изумительной полировкой и кладкой фасады из возможно более крупных базальтовых блоков, причем ориентировали культовые постройки по солнцу, то во втором периоде, когда царил культ предков, людьми руководили совсем другие идеи. Они совсем или частично сносили старые культовые сооружения и бесцеремонно нагромождали друг на друга тщательно отесанные плиты, не считаясь ни с эстетикой фасада, ни с положением солнца. У них была одна цель: сложить массивную прочную платформу, так называемую аху, которая могла бы служить постаментом для посвященных предкам скульптур, становившихся все крупнее. Статуи древнейшего периода повергали на землю или разбивали, а обломки вместе с камнем, добытым при разрушении культовых построек и жилищ, использовали, чтобы соорудить новые культовые платформы, увенчанные гигантскими статуями. Если величественные фасады террас раннего периода смотрели на солнце, то теперь важнее всего стала культовая площадка за стеной и все статуи ставили спиной к солнцу, лицом к этой площадке. Погребальные ниши появились в аху, вероятно, лишь в самом конце второго периода. Зато раскопки обнаружили неизвестные ранее следы кремации перед

стенами аху, где покойного сжигали вместе с принадлежавшими ему предметами. До сих пор следов такого обычая не найдено на островах самой Полинезии, мы видим аналогии только в Новой Зеландии на западе или в Южной Америке на востоке, а до Новой Зеландии от острова Пасхи ровно вдвое дальше, чем до Эквадора, Перу и Чили.

Скульпторам второго периода нетрудно было найти каменоломни. Множество каменоломен, где добывался базальт, вулканический шлак разного рода, туф и обсидиан, осталось после каменотесов первого периода. Люди той поры преобразили весь ландшафт Рано Рараку, так что густые посадки камыша тотора окаймляли остатки заросшего кратерного озера, а склоны, ранее покрытые пальмами и другими растениями, были обнажены, и новые пришельцы увидели расчищенные от земли каменные карьеры. Уже в раннем периоде люди установили, что серо-желтый туф Рано Рараку — идеальное сырье для скульптур-монолитов. Большинство скульптур, которые увидели и уничтожили новые переселенцы, были изготовлены в этой «мастерской», и в ней они теперь принялись ваять изображения своих предков.

В этом периоде бросается в глаза бедность фантазии и стилистического разнообразия. С самого начала были восприняты ос-

новные черты типа IV — безногий бюст с руками, сложенными на животе. Этот образец рабски копировался при изготовлении свыше шестисот гигантских изваяний, относимых ко второму периоду. Впрочем, эти пришельцы ввели одну новую идею: если у всех антропоморфных фигур были маленькие уши (а то и вовсе никаких), то в новом периоде у каждого идола уши длинные, свисающие до самых плеч.

Первые европейцы еще застали на Пасхе островитян с искусственно удлинненными ушами, и во всех пасхальских легендах мы читаем про ханау зепе, то есть длинноухих. Кроме того, новые скульпторы сплющивали макушку своих статуй сзади и сверху, так что она входила в цилиндр из красного вулканического шлака, которым венчали скульптуры. Эти украшения, которые островитяне называли пукао, весили подчас не одну тонну и доставлялись из каменоломни в вулкан Пуна Пау, расположенном в двенадцати километрах от «мастерской» в Рано Рараку. Непроста пасхальцы считали, что красные пукао изображают связанные в узел волосы, ведь именно эта прическа была распространена среди мужчин, когда европейцы впервые прибыли на Пасху. А каштановые или рыжие волосы с самого начала считались отличительной чертой древних родов, которые, по преданию, происходили по

прямой линии от длинноухих предков.

Похоже, что по мере накопления опыта для скульпторов становилось делом престижа вытесать самую высокую статую. Великаны росли, пропорции лица и туловища становились все более вытянутыми. Каждая статуя была символом знатности, это видно по тому, что у них были свои имена и они изображали короля, вождя или какое-нибудь другое видное лицо, память которого увековечивалась таким способом. Вряд ли есть причины сомневаться в сведениях, полученных на Пасхе капитаном Куком и другими мореплавателями, что монументы олицетворяли умерших. Как в Полинезии, так и в Южной Америке статуи изображали главных богов или умерших вождей, которых в обеих областях возводили в ранг богов. Старик на берегах Титикаки, на острове Пасхи или на Маркизах до сих пор могут сказать, каких легендарных героев изображают отдельные статуи. И все имена пасхальских статуй начинаются словом «арики», означающим «вождь».

Высота самых маленьких из этих каменных великанов — 2—3 метра; самый рослый, который остался лежать незаконченным в каменоломне, длиной 21 метр, был бы равен без цилиндра высотой семизатяжному дому. Рост самой большой из стоящих статуй (Шельсволду пришлось ее откапывать,

так как она была наполовину погребена в отвалах) — 12 метров от бедра до макушки. В 6 километрах по прямой от «мастерской» и в 13 километрах от каменоломни, где делали пукао, лежит поваленная статуя, рост которой 10 метров, а вес больше 80 тонн. До того, как ее сбросили на землю, она стояла на верхней ступени аху, увенчанная красным каменным цилиндром, весившим 12 тонн. Другими словами, глыба весом с двух слоёв была поднята на макушку узкого монолита, дотянуться до которой можно было только встав всемером на плечи друг друга.

Никто из приезжавших не мог решить загадку — как совершались такие технические подвиги на почти голом островке посреди океана, где не знали ни металла, ни колеса до прибытия европейцев, которые увидели стоящих повсюду каменных исполинов. Теперь ответ получен благодаря бургомистру острова, пасхальцу Педро Атану. Вместе со своими братьями он показал нашей экспедиции, что в их роду на протяжении двенадцати поколений передавалась тайна длинноухих, бережко охраняемая их уцелевшими потомками.

Правда, островитяне упорно говорят, что прежде статуи передвигались стоймя. И хотя в это трудно поверить, многие брошенные во время транспортировки изваяния выглядят так, словно

они рухнули и разбились. А исследования Мэллоя показали, что основание ряда статуй изогнуто — впереди вмятина, сзади выпуклость, что в принципе обеспечивало им равновесие, если их транспортировали в приподнятом положении. Тут мы опять можем только гадать, но факт остается фактом: несколько сот человек могут тащить статую, а пасхальцы мастерски плели канаты из волокон гибискуса и тоторы.

В 1955—1956 годах наша экспедиция смогла также установить, что двенадцати потомкам длинноухих было под силу воздвигнуть 20-тонную статую, сброшенную некогда с постамента — аху.

Мы уже говорили, что каменные колоссы представляли знатных покойников. Каждое поколение славало своих предков, и часто на одной и той же аху выстраивалось в ряд несколько статуй. Пять-шесть изваяний были обычным явлением, а самые большие аху были увенчаны 15, даже 16 великанами.

Мы говорили также, что, включая размеры, все статуи были похожи, и прообразом, несомненно, служил тип IV раннего периода. Есть веские причины полагать, что скульпторы равнялись на одну определенную статую этого типа, а именно — единственное изваяние, которое стояло в неприкосновенности и было предметом религиозного поклонения в течение всех трех пе-

риодов пасхальской культуры. Если другие фигуры изображали предков, то эта скульптура представляла самого бога Солица. Вплоть до прибытия миссионеров пасхальцы оказывали ей почести как богу-творцу, и она была центром ритуалов плодородия и весеннего равноденствия, в которых участвовало все население острова.

Этот небольшой — 2,5 метра — каменный бог мастерски вытесан из базальта; на его спине высечен символ солища. Основание выпуклое, неотесанное, потому что идол должен был стоять в земле, а не на аху. Возможно, что в ранний период изваяние стояло в храме солища на вершине Раио Као; по мнению Фердоа, он нашел здесь первоначальный постамент. Мы точно знаем, что во втором периоде статую перенесли в самый большой каменный дом, сооруженный по соседству с солнечной обсерваторией, когда новые переселенцы устроили здесь ритуальное поселение Орого для своего культа птичье-человека.

Теперь поверх солнечного символа на спине бога было высечено два птичье-человека, то есть человеческие фигуры с птичьей головой. И солище оказалось в руке птичье-человека, словно яйцо, — типичный символ новой религии, вдруг воцарившейся на Пасхе. Птичье-человеков высекли на основании поваленных статуй

первого периода, рисовали краской на стенах пещер и каменных домов, их сотнями высекали на выходах застывшей лавы вокруг нового культового центра на вершине Рано Као. И в солнечной обсерватории поверх старых символов солнца появились изображения птичеловека.

Все статуи на равнине были повалены и разбиты, но базальтовую фигуру бога Солнца из вершины вулкана почтительно внесли под свод нового культового центра. Это единственная статуя, которая стояла в помещении и почиталась всеми родами до 1868 года, когда триста британских военных моряков с помощью двухсот островитян доставили замечательное базальтовое изваяние на борт британского военного корабля «Топаз» и привезли статую в Англию, где она попала в Британский музей в Лондоне.

Непрерывное поклонение этому идолу ясно говорит, что хотя представители второй волны пренебрежительно относились к изображениям предков своих предшественников, они тем не менее тоже считали себя происходящими от бога Солнца. Того самого бога Солнца, который возглавлял генеалогическое дерево не только правителей Тиауанако, но и сменивших их инков. Еще примечательнее тот факт, что ни солнцепоклонничества, ни культа птичеловека не было в Полинезии, между тем как их комбинация ха-

рактерна для последней фазы культуры Тиауанако перед приходом к власти инков. Религиозные изображения людей с птичьими головами мы видим в доинкском искусстве от области Титикаки на юге до северной границы Перу.

Совсем недавно на маленьком острове в море, напротив той части побережья, где проходила северная граница Тиауанако, найдено замечательное глиняное изделие с рельефным изображением двух горбатых птичеловеков, причем они показаны в очень характерных позах, и если бы не материал, никакой знаток не отличил бы это изображение от типичного пасхальского мотива.

Доинкская культура Чиму на побережье Перу тоже богата изображениями птичеловека. Художники часто изображали, как бог Солнца выходит на рыбную ловлю на камышовом судне, набитом людьми, кувшинами и всяким грузом; обычно его сопровождают мифические птичеловеки — либо они стоят на палубе, либо, впрягшись в канаты, тянут судно по волнам над косяками рыбы. Люди с птичьей головой постоянно фигурировали в искусстве приморской области Перу как мореплаватели на больших камышовых судах, и у них такой же длинный, прямой, изогнутый на самом конце клюв, как у подобных им птичеловеков, изображенных рядом с камышовыми судами в культовом центре на Пасхе.



Если еще учесть, что традиционный ритуал птичеловека на Пасхе заключался в гонке на связках из южноамериканской тороры, то перед нами сложный узел историко-религиозных, навигационно-технических и этно-ботанических параллелей, которые вряд ли могут быть случайными, потому что подобного нет больше нигде в Тихом океане. Добавим сюда также три других религиозных мотива, преобладающих среди стенной росписи в культовом центре Пасхи наряду с камышовыми судами и птичеловеками, а именно — двойные весла, так называемый «плачущий глаз» и животное из породы кошек, с выгнутой спиной и когтями.

Двойные весла были даже высечены на спине упоминавшегося бога Солнца вместе с птичеловеками и символами плодородия. И такие же весла фигурировали во время традиционных ритуальных плясок на Пасхе вплоть до появления миссионеров. На других островах Тихого океана двойных весел не знали, зато они характерны для Америки, где с ними ходили на небольших камышовых и других судах.

Мотив «плачущий глаз» также неизвестен в других местах Тихого океана, а для религиозных изображений американских культур, в частности Тиауанако, он настолько характерен, что археологи и искусствоведы по нему опознают определенную культуру.

Мифическое животное, напоминающее кошку с изогнутой спиной, островитяне в прошлом столетии называли символом Макемаке — самого бога-творца. Интересно заметить, что таких изображений нет ни на одном из тихоокеанских островов, нет и в Австралии, зато пума — с изогнутой спиной и когтями — проходит сквозь религиозное искусство от Мексики до Перу. А в Тиауанако это изображение как раз было символом бога-творца.

Есть основания предполагать, что пришельцы второй культурной волны принесли на Пасху рисуночное письмо ронго-ронго. Большинство знаков ронго-ронго изображают птичеловека в разных позах — мотив, которого в раннем периоде вовсе не было. И очевидно, что письменность не была изобретена в последний период, когда наступил упадок. В этом периоде полинезийцы не могли объяснить значение ни одного из знаков ронго-ронго, когда миссионеры в 1864 году обнаружили несколько деревянных дощечек с рисуночным письмом, бережно хранимых в камышовых домах островитян.

Что знаем мы о письменности острова Пасхи сегодня, после того как эксперты всего мира пытались ее расшифровать? Мы знаем, что дощечки все еще хранят свою тайну и письменность не расшифрована, хотя австралиец А. Керролл в 1892 году и немец То-

мас Бартель в 1956 году на весь мир трубили, что они могут прочесть ронго-ронго. Керролл утверждал, будто дощечки рассказывают, что остров Пасхи был заселен людьми с Анд; Бартель уверял, будто на них говорится об иммиграции из сердца Полинезии. Но обе дешифровки оказались вымыслом, и ни один из них так и не опубликовал текста своих переводов. Позднее группа русских специалистов показала, что эту письменность нельзя расшифровать на основе современного полинезийского языка и ошибочно считать, будто ронго-ронго отражает язык, на котором в наши дни говорят на Пасхе. Они показали также, что в языке современных пасхальцев есть много чужеродных, неполинезийских элементов.

Хотя тексты по-прежнему не прочтены, система письменности и выбор символов говорят о многом. Письменность была неизвестна на всех островах на западе в Тихом океане, до самого Китая и долины Инда на противоположном конце земного шара. На востоке дощечки и обрубки использовались для рисуночного письма от Панамского перешейка на севере Андской области до Перу. Дощечки с надписями с Панамского перешейка сохранены, но дощечки, найденные испанцами в так называемой «библиотеке инков» и содержавшие, по словам авторов

хроник, легенды и историю инков, к сожалению, были сожжены конкистадорами, которых занимали только золото и серебро. На острове Пасхи миссионеры тоже заставили местных жителей сжечь почти все дощечки, и если бы епископ Жоссан на Танти случайно не увидел одну дощечку и не велел миссионерам раздобыть еще, потомки вообще вряд ли узнали бы, что на острове Пасхи когда-то существовала собственная письменность.

Если анализировать стилистические мотивы на примерно двадцати сохранившихся пасхальских дощечках, окажется, что все знаки, исключая условные, отражают религиозные мотивы, характерные для культуры Тиауанако. Для примера скажем, что идеографические орнаменты, высеченные на фасаде ритуальных ворот солнца в Тиауанако, состоят из шестнадцати основных элементов, которые все характерны для пасхальской письменности. В частности, фигура человека с палкой в каждой руке; мифические бегущие птичелюди — на человеческом туловище птичья голова с изогнутым клювом; птичелюди с палкой; чудовище с двумя птичьими головами на раздвигающейся шее; солнечный символ; нагрудное украшение в виде лунного серпа; животное из породы кошек; рыба; перья; символ



«плачущий глаз»; трехпалая рука; длинноухие.

Стоит заметить, что в островной фауне не только нет кошек, но неизвестны также и птицы с изогнутым хищным клювом, которых мы видим в пасхальском письме. Зато в Тиауанако изображали андского кондора, он был перуанским символом бога Солнца. Как известно, у человека на руке не три пальца; искусствоведы обращались к Суматре, чтобы найти параллель трехпалой руке пасхальской письменности. Между тем трехпалая рука настолько характерна для религиозного искусства Тиауанако, что археологи по ней прослеживают влияние Тиауанако на изобразительное искусство других областей Южной Америки.

Что касается длинных ушей, то когда испанцы пришли на берега озера Титикака, они услышали от индейцев легенды о том, что сооружения Тиауанако были воздвигнуты до инков белыми бородатыми людьми, которые называли себя «рингрим», то есть «ухо», потому что они искусственно удлиняли себе уши. Инки переняли этот обычай от древних скульпторов Тиауанако; в Перу испанские авторы хроник называли представителей правящих родов «орехонес», то есть «большеухие», потому что они вплоть до исторических времен сохраняли тиауанаковский обычай.

Но не только мотивы рисуноч-

ного письма Пасхи подсказывают нам, где оно могло родиться. Сама система очень специфична. Знаки одной строки идут слева направо, второй — справа налево, причем каждая вторая строка перевернута вверх ногами. Ю. В. Кнорозов недавно отмечал, что эта система, так называемый «перевернутый бустофедон», использовалась во всем мире только в двух местах — на острове Пасхи и у озера Титикака в Перу.

До конца второго периода на Пасхе практиковалось три способа погребения, из которых ни один не был полинезийским. Мы уже называли кремацию, датируемую началом второго или концом первого периода. Кроме того, в разных концах острова найдены своеобразные каменные склепы, в которых первые европейцы видели прах умерших. Один тип — большая, вместительная цилиндрическая башня с ложным сводом и маленьким квадратным боковым отверстием. Именно этот тип склепа был характерен для области Титикаки в Тиауанаковский период; тамошние индейцы называли эти башни «чульпа». В полинезийском произношении это будет звучать «тупа», и вряд ли случайно на острове Пасхи описанный склеп называется «тупа». Второй тип — овальная или продолговатая платформа с массивной кладкой, тесной камерой внутри для захоро-

нения праха и двумя поперечными вентиляционными ходами. Такие сооружения пока найдены только на острове Пасхи. В камерах часто находили имущество — превосходно отполированные каменные песты, мелкие скульптуры ранее неизвестного вида, орудия из обсидиана, базальта и кости.

Как предания пасхальцев, так и углеродная датировка показывают, что конечная катастрофа постигла высокую пасхальскую культуру около 1680 года. Внезапно прекратились работы в каменоломнях, на дорогах и на аху, начались варварские разрушения, новых статуй больше не высекали, а старые сбрасывали. Впервые на острове в огромном количестве производится оружие — матаа, листовидные копейные наконечники из обсидиана. Третий, последний период, который был отмечен междоусобными войнами, каннибализмом и общим упадком, островитяне сами называют «хуримоани» — периодом «свержения статуй». Еще первые европейцы записали предания о том, что период этот начался с восстания предков островитян против длинноухих, причем почти все взрослые длинноухие были сожжены в двухкилометровом оборонительном рве, прорытом ими поперек полуострова Поике.

Наша экспедиция провела в рве раскопки и нашла, что он

полон золы и угля, возраст которого точно отвечает датировке на основании местных генеалогий — примерно 1680 год.

Если длинноухие пришли из Перу, на что указывают все археологические следы, то кем были короткоухие? На это можно ответить совершенно твердо: они были полинезийцами. Их язык — полинезийский, хотя в нем есть много не поддающихся определению чужеродных слов; антропологический тип тоже полинезийский — правда, многие пасхальцы (в том числе из рода Атан, которые возводят свое происхождение к длинноухим) представляют совсем другой тип, среди них немало рыжих с лицами, непоминающими арабско-семитские. Признаки крови пасхальцев в отличие от азиатских народностей сходны с признаками крови коренного населения Америки, но это относится ко всем полинезийцам.

Проблема заключается в том, что короткоухие, то есть полинезийцы, попав во втором периоде на остров, не привезли с собой свою культуру и религию. Пасхальцы не поклонялись общеполинезийским богам Тане, Тики и Тангароа, здесь в третьем периоде продолжался местный культ птичечеловека и поклонение неполинезийскому богу Макемаке, неизвестному на других островах. У полинезийцев Пасхи не было самых типичных элемен-

тов полинезийской культуры — полированных каменных пестов для приготовления пои, деревянных колотушек для тапы, ритуального погребения кавы. Согласно преданиям самих полинезийцев их предки жили мирно вместе с длинноухими на протяжении «карау-карау», то есть двухсот лет, а потом восстали, потому что длинноухие заставляли их слишком много работать. Напрашивается предположение, что короткоухие не по своей воле попали на уединенный остров, где длинноухие заставили их участвовать в грандиозном строительстве. Поэтому они отошли и от своей веры и от характерных элементов полинезийской культуры, так что мы теперь не можем определить, с какой группы островов они прибыли. Впрочем, новейшие исследования как будто указывают на контакт между Пасхой и Маркизскими островами во втором периоде. Может быть, именно с этого архипелага происходили полинезийцы, которые с 1680 по 1840 год сумели повалить все статуи длинноухих, а сами хоронили умерших в нишах в аху или под животами поверженных великанов.

Новые хозяева Пасхи, вместо того чтобы трудиться в каменоломнях, обрабатывали дерево — это типичная полинезийская черта. Они собирали плавник на берегах и использовали немногие уцелевшие в кратере Рано

Као деревья торомиро для своих замечательных изделий. Обсидиановые скребки и полированные полинезийские топоры — орудия для обработки дерева стали теперь такими же обычными, какими в периоды каменотесов были остроконечные неполированные рубила. Однако мотивы резьбы по дереву были совсем неполинезийские. Они вырезали двойные весла, украшения в виде лунного серпа, длинноклювых птичеловеков, трости и палицы, заканчивающиеся длинноухими головами. Особенно много вырезалось реалистических скульптур народа, который застали их предки, — совсем неполинезийские фигуры с тонким горбатым носом, тонкими губами, острой бородкой и свисающими до плеч мочками ушей.

Как известно, история склонна повторяться при неизменных географических условиях. В 1722 году остров Пасхи впервые посетили европейцы — голландец Роггевен приплыл на парусниках из Южной Америки. Потом остров был забыт и повторно открыт в 1770 году двумя кораблями, высланными вице-королем Перу — преемником инков. Открытие обитаемого острова вскоре было использовано перуанскими работорговцами, которые в прошлом веке начали совершать набеги на Пасху и увозить короткоухих на сбор гуано на островах вдоль засушливого побере-

жья Перу. Решающая катастрофа произошла в 1862 году, когда капитан Айгир, выйдя из Кальяо, застал у берегов Пасхи семь других перуанских работорговцев и сговорился с ними. Вместе они хитростью захватили в плен последнего пасхальского короля и еще двести человек. Их отвезли в Перу, где уже было немало рабов с Пасхи.

Вмешалась церковь, было приказано вернуть около тысячи пасхальцев на их остров. Только пятнадцать человек пережили плавание, причем они привезли с собой оспу. В итоге население Пасхи в прошлом веке сократилось с 4000 до 111.

В 1864 году на Пасхе поселился присланный из Чили миссионер Эжен Эйро. В четыре года он сумел очистить остров от языческих деревянных фигур и дощечек ронго-ронго, прекратил ритуалы, связанные с птичеловеком и обратил в христианскую веру последних уцелевших пасхальцев. Мы можем сказать, что он подвел черту под третьим, последним периодом в истории первоначальной пасхальской культуры.

С 1888 года остров Пасхи стал владением Чили.

Перевел с норвежского  
Лев ЖДАНОВ

## ПУТЕМ ПРЕДКОВ

Борис  
ВОРОБЬЕВ



Веснами, когда вскрывался Кулой, начинали ладить карбасы. Меняли износившуюся обшивку, ставили, новые, вырубленные еще с осени кили, конопатили и смолили. Берег наломанал судов-верфь. Перезвон топоров сли-

вался с дикующими кликами гусиных косяков, днем и ночью летевших на север. Время от времени откладывали топоры и сходились локурить.

Деды суетились тут же, на берегу. Ничто — ни догляд преданных бабок, ни скрюченные ревматизмом ноги, ни старые раны не могли удержать их в ту пору на лечи. Кутаясь в латаные, выдавшие виды лолушубки и собачьи дохи, они гурьбой бродили ло берегу, стучали по днищам свежесмоленных карбасов — прислушивались, не загудит ли медью отвыкшее от воды дерево, смотрели слезящимися глазами на реку, по которой с шорохом и вслесками стремились к океану зеленобокие, тяжелые льдины. Льдины торопились. Их, как и гусей, гнал на север извечный лорядок творенья, и дедам было грустно оттого, что этот порядок вершится без них.

Здесь, на берегу, и услышал впервые шестнадцатилетний Дмитрий Буторин заучное и загадочное слово — Мангазея.

Оказывается, уже много веков назад вдоль берегов Ледовитого океана пролегала дорога, по которой русские и иностранные торговые люди плавали в Карское море, а оттуда — в Сибирь, в устья Оби и Енисея. В те далекие времена и был основан на реке Таз, что впадает в Обскую губу, город-вольница



Мангазея. Двести тысяч соболей в год давала Мангазея царской казне, а сколько драгоценной рухляди уплывало мимо, оседало в бездонных сундуках сибирских воевод и иных государевых прислужников! Каждое лето в Мангазее открывалась пушная ярмарка, на которую съезжались не только русские купцы, но и заморские гости, а больше всего англичан да иорвежцев. Они то и сыграли впоследствии роковую роль в запрещении Северного морского пути: опасаясь конкуренции, сибирские воеводы беспрестанно писали царю жалобы и доносы, требуя запретить путь в Мангазею для всех судов вообще. Царь вынул их мольбам, и в 1620 году путь в Мангазею был закрыт. «Ослушников, — вещал царский указ, — казнить злыми смертями». С каким усердием выполнялась царская воля, можно судить хотя бы по тому, что уже через несколько лет людная некогда Мангазея пришла в полное разорение. Город, где за навигацию собиралось несколько тысяч купцов, перестали наносить даже на морские карты.

На ярмарках в Мангазее бывали и промысловики-поморы — архангельцы, мезенцы да и долгощельцы тоже. Трудный путь проделывали они на своих неказистых плоскодонных кочах: «шли большим морем-окияном из Кулойского устья на Чесский во-

лок», по рекам пересекали полуостров Канин и «бежали парусом» в Карскую губу. Реками да волоком пересекали и Ямал-полуостров, а потом уж шли на Обь, в Мангазею. «Поспеть из Архангельского города в Мангазею недели в полпята мочно» (в четыре с половиной недели), — считали они.

Сильные это были ребята. И посейчас, как версты на столбовой дороге, стоят и на Канине, и на Вайгаче, да и вдоль всего побережья темные покосившиеся кресты из лиственниц, что ставили они вместо мореходных знаков и под которыми упокаивали своих сотоварищей. Мир костям их! Целыми ватагами из десяти, а то и больше судов с шестью гребцами и кормщиком на каждом пускались они в долгий и отчаянный путь. И никому не ведомо, о чем думали они, вглядываясь воспаленными глазами в толчею безжизненных, тяжелых вод. Каким богам молились, когда волины, как щепки, швыряли их кочи, а ветер ломал мачты и срывал самодельные паруса? И что чувствовали, когда впервые открылась их взору невиданная дотоле Мангазея?

Слушая рассказы стариков, Димка живо представлял себе шумные мангазейские торги, бородатых купцов за прилавками, важных иностранцев в чуждой одежде и дюжих земляков своих, враскачку сходявших на берег.

Тогда-то и родилась у него мечта во что бы то ни стало побывать в древней земле, самому пройти путем, по которому плавали в северный Багдад его беспокойные пращуры.

На всю жизнь ушел в Арктику Буторин. Сорок лет провел он на зимовках, зверобойных и рыбацких шхунах. Сорок лет по крупнякам собирал Буторин сведения о Мангазее: читал, расспрашивал, запоминал. Приглядывался к Арктике — изучал дрейфы льдов, направление ветров и течений. Посылал письма в Архангельск, в институт ПИНРО, просил советов. Исползая, искал соратников. Ему повезло: в пятидесятых годах на Диксоне он познакомился с редактором местной газеты двадцатипятилетним Мишей Скороходовым. Редактор был парень как парень — не богатырь, скорее наоборот, немногословный и незаметный. Буторин заметил в нем то, что ускользало от других, — влюбленность молодого редактора в Север. Это и расположило к нему Буторина. С Мишей Скороходовым впервые поделился он своими планами. Только через пятнадцать лет, когда Буторин вышел на пенсию, мечта превратилась в реальность.

Засунув пенсионную книжку подальше от глаз, Буторин поехал в лес вырубать киль для будущего судна. Зима прошла в хлопотах, зато весной, когда карбас спустили на воду, Бутории

только крикнул от удовольствия: ладная получилась посудина.

Маршрут похода был определен давно: вверх по Двине, затем через Пинегу и Кулой в Мезенский залив. По рекам и озерам пересечь Канин, а там морем до самого Ямала. И его не обходить, пройти реками, а где посуху, и выйти в Обскую губу. А оттуда до Мангазеи — рукой подать. В общем ни много ни мало — три тысячи километров предстояло пройти шестиметровому, от руки сработанному кораблику...

День 14 мая 1967 года выдался в Архангельске ненастным: с гирла Белого моря дул сильный ветер попеременно со снегом, двинские волны плескуче наваливались на деревянные бонны. Неуютно чувствовали себя в этот день люди, собравшиеся у причала Архангельского яхт-клуба. Только один из них, высокий, кражистый, в зеленой зюйдвестке, не отворачивался и не заслонялся от ветра. Привычно сощурившись, он нетерпеливо поглядывал на часы и скупое объяснял любопытным:

— Куда пробьемся — зарок не даю, в пути всякое может случиться... Если погонит ветром льды к берегу, переждать придется. Имя почему у карбаса такое? Щелья — это на нашем поморском наречии «берег каменный» значит. Долгощелья — длинный, белощелья — белый...

В стороне тихо стояла невысокая женщина, чьими руками были сшиты паруса для «Щелья».

Так начался поход в Мангазею.

Переход по Пинеге и Кулою занял немного времени: уже на десятый день «Щелья» вышла в Мезенский залив. И тут же на нее обрушился первый шторм. Три часа, взлетая с волны на волну, карбас пробивался к берегу. Отстоявшись в устье реки Семжи, двинулись дальше вдоль побережья Канина и через неделю вошли в реку Чижу. По обе стороны, куда хватало глаз, лежала тундра и просвечивался насквозь мелкий лес-ярусник, а где-то за ним набухали талой весенней водой Парусные озера и древний Чесский волок.

Судя по письменным свидетельствам, волок был невелик: «и волоку Чесского сажень с двадцать», однако преодолевали его в те времена с помощью оленей. «Щелье» олени не понесли — выручила малая, всего двадцать пять сантиметров, осадка. Зато еще до волока, в одном из Парусных озер пришлось потрудиться до пота: озеро еще не вскрылось, и почти двое суток продавливались вперед, раскалывая лед пешней. 2 июля в лицо дохнуло влажным ветром. Чувствовалась близость моря. Под вечер оно открылось вдали — все в белой пене, словно в перьях сказочных гусей-лебедей,

что пролетали здесь когда-то, — синее-зеленое море Баренца.

Тридцать восемь дней, до самого Югорского Шара, носило оно на себе «Щелью», и не раз только опыт и выдержка Буторина спасали положение. Так было у мыса Лудоватый Нос, когда отказал мотор, и неуправляемое суденышко понесло на рифы. Растеряйся тогда капитан — гнить бы «Щелье» до скончания века на каменных острых кlyках. Так было в шторм и снег, когда лишь со второй попытки обогнули другой мыс — Святой Нос. Так было в Печорской губе, когда паковые льды на добрую сотню километров унесли «Щелью» в море, грозя ежеминутно раздавить ее своими чудовищно раздутыми, мокрыми боками. Только 10 июля изрядно потрепанная «Щелья» пришла в Амдерму. Больше половины пути осталось позади.

В Амдерме решили задержаться. Время пока терпело, и нужно было основательно починить мотор. За пятидневку его перетянули заново, и 16 июля при попутном ветре «Щелья» направилась в Кару, большой поселок, стоящий на границе Европы и Азии. На горизонте засинели отроги Полярного Урала, а дальше, за Байдарацкой губой, путешественников ожидал Ямал — 450-километровая полоса препятствий, которую вот уже

350 лет не пересекали люди. Положение осложнялось еще и тем, что у экипажа не было подробной карты полуострова, а на той, что имелась, водная система Ямала выглядела до неправдоподобия простой. Посоветовавшись, решили держать курс на полярную станцию Марре-Сале на западном побережье Ямала — может быть, там им помогут. Весь день шли вдоль кромки береговых льдов и вечером подошли к Марре-Сале. Карты, к сожалению, не нашлось и на станции. Переночевав, пошли дальше на север, к устью реки Морды-Яха. Полярники Марре-Сале сказали, что на реке находится фактория. Долго искали устье, наконец, нашли и рано утром 22 июля были на фактории. У ее начальника оказались две карты — своего района и всего Ямала, но он сразу же предупредил, что она самодельная и верить ей нельзя. Но они все же взяли карту.

Пять суток Морды-Яха, как змея, петляла по тундре, текла то на восток, то вдруг поворачивала на запад, обратно, и все это время «Щелью» сопровождали шум и свист птичьих «рыльев» — тундра была полным-полна линными гусями. Незаходящее солнце днем и ночью кружилось на небе, и под его яростным светом так же яростно взвивались и бушевали громадные серые птицы.

28-го наконец-то увидели Ней-То, систему озер, объединенных общим названием. Их три, все они соединены между собой протоками, а из третьего «Щелью» предстояло перетащить в четвертое озеро — Ямбу-То, из которого берет начало река Се-Яха, впадающая в Обскую губу, — обо всем этом поведали Буторину и Скороходову рыбаки, которых они случайно встретили в тундре.

Ней-То прошли за сутки. У восточного берега встали на якорь, и Буторин тотчас же отправился отыскивать волок. Почему-то всегда представляется, что волок обязательно должен быть ровным, удобным для перетаскивания судов местом. Так думал и Буторин, а когда отыскал его, не поверил: перед ним был обрыв с крутизной в 35—40 градусов, и только дальше — пологий, но все равно подъем длиной в полкилометра. Его-то и нужно было одолеть — перетащить «Щелью» в четыре руки в невидимое пока Ямбу-То.

Снова выручила изобретательность Буторина. Из мачты, пустой бочки и троса соорудили нечто вроде ворота, а запас дров, который всегда везли с собой, использовали вместо катков. Только таким способом удалось за трое суток снова очутиться на воде.

1 августа истертое днище «Щельи» коснулось зеленых вод Ям-

бу-То. Оставалось немного — пройти Се-Яху и выйти в Обскую губу. Но... кончился бензин. Идти под парусом мешал сильный встречный ветер. Двое суток ждали изменения погоды, с горем пополам шли на веслах. На каждом шагу путь преграждали мели и зыбучие пески. В отдельные дни проходили всего по три-четыре километра. Как-то включили «Спидолу». Москва передавала последние известия. В уши ворвались слова диктора: «Судьба «Щельи» неизвестна...» Их искали! Вот когда они пожалели, что на «Щелье» нет радиации.

8-го утром услышали шум мотора. Красный вертолет, как гигантская стрекоза, пролетел над ними, развернулся и сел неподалеку. Из него вышел летчик. Это был командир вертолета МИ-4 Герой Советского Союза В. А. Борисов. Они расцеловались. Борисов прилетел с одного из промежуточных аэродромов по пути на Диксон. Узнав, что у путешественников кончилось горючее, он снова сел в кабину.

— Через час бензин будет, — сказал он.

Через час Борисов действительно прилетел и привез бочку с бензином. Буторин повеселел — с таким запасом можно было идти хоть до Аляски.

Вечером этого же дня пришли в поселок Сеяха. До Мангазеи оставалось не больше сотни ки-

лометров. Два дня провели у полярников, а утром 11 августа пошли дальше на юго-восток, к фактории Яптик-Сале. Опять забарахлил мотор: полчаса ходу — остановка, и так все время. В Яптик-Сале надеялись найти механиков...

В день выхода из Яптик-Сале снова прилетел Борисов. Привез штормовое предупреждение. Посоветовавшись, решили на Каменный не заходить, а идти сразу в Тазовскую губу, благо Обская на этом месте не так уж и широка, всего 60 километров.

На полпути ветер действительно посвежел, но дул он с востра, точно в корму, и Буторин рискнул — поставил паруса «бабочкой». Так, на полном ходу, и влетели в Тазовское. До Мангазеи оставалось восемнадцать километров. Было это 15 августа на девяносто четвертые сутки после выхода из Архангельска...

— Сбылось, Евгений!

— Сбылось, Дмитрий Андреевич!..

Они стояли на пологом, песчаном берегу Таза и смотрели на то место, где три столетия назад был город.

Вырубленный лес вырос, на ярус его был ниже остального, нетронутого, и только по этому да еще по осыпавшимся, заросшим рвам и земляным курганам

можно было определить, что и тут когда-то жили люди. Буйно была из земли трава. Небо висело низко, и вершины деревьев упирались прямо в него. Пахло прелью. И остро ощущались бренность жизни и ее вечное торжество.

На кургане вкопали столб и по старому поморскому обычаю укрепили на его верхушке пилу. Ветер упруго ударил в металл, и он зазвенел — тонко и жалобно, как писк морзянки в эфире...

Наступление осени замечаешь

не сразу, хотя холодеют уже небо и вода, а мазки следов долго не просыхают на серебристой от росы траве. Но однажды вдруг почувствуешь: что-то переменилось в мире. Выходишь в тундру, и она встречает тебя прозрачно и тихо. Бережно колышет на травах серый гусиный пух. Сами гуси теперь целыми днями пропадают на дальних озерах, и от их протяжного, высокого крика, перемешанного со звонким косноязычием чаек, стоит над тундрой.

## ДЕЛО, КОТОРОЕ ВСПЛЫЛО В НАВОДНЕНИЕ

Е. ПАРНОВ, М. ЕМЦЕВ

Да будет твоя добродетель —  
Готовность взойти на костер.

В. Брюсов



Флоренция и Венеция призывают на помощь... От имени ЮНЕСКО... Годы уйдут на восстановление... Масштабы катастрофы... «Распятие Чимабуэ»... Гибель шедевра XIII века... Повержены райские двери Гибер-

ти... Миллионы книг и манускриптов под водой... Почему воды вышли из-под контроля...

В первых числах ноября 1966 года невиданное наводнение обрушилось на провинции Тоскану и Венецию. К человеческим жертвам добавились и материальные разрушения. Погнбли величайшие культурные ценности, неоцененные художественные творения. Нанесен урон 70 библиотекам и научным учреждениям. В общей сложности пострадало 885 выдающихся художественных произведений, 18 церквей и около 10 000 различных предметов искусства. Испорчено более 700 000 томов архивных материалов, содержащих 50 миллионов документов.

Венеция никогда не была в большей опасности... Волны прорвали дамбы и затопили город... Ассигновано 4000 миллионов лир... Здания давно находятся под угрозой из-за оседания лагуны. Эрозия подтачивает фундамент крошечных островков... Нижние этажи и подвалы залиты водой... Затонувшие залы Венеции... Дно оседает... Город медленно погружается в воду... Волны достигают капителей колонн Дворца дождей...

Адрнатические воды размыв древнюю кладку замурованного подвала. Архивы венецианского инквизитора всплыли на поверх-

ность в буквальном смысле этого слова. Большинство документов безнадежно испорчено. И все же весть об одном процессе дошла до нас через пять веков.

А БЫЛО ТАК...

Чума скиталась в тот год по всей Италии. Тяжелый багровый свет заливал по ночам кладбища. Мороз надолго застеклил сухие лужи. Оцепеневшая земля противилась заступу. Смерзшиеся красноватые комки с громом плясали на черных крышках гробов. Мертвые скрюченные лозы. Шуршащие съезжившиеся листья. Черные кипарисы и скорбные пинии.

По узким кривым улочкам неслась выюга. Непрерывно звонили колокола. Заунывный протяжный гул плыл над Феррарой, Мантуей, Венецией, Неаполитанским королевством, Сицилией, Апулией, Калабрией.

Темная мадонна неслышно скользила по городам. Исчезли торговцы горячими каштанами. Факелы рассыпали искры. Веки ставней сомкнулись на слепых окнах притаившихся домов. Только лошади могли увидеть скорбную женщину в черном платке. Заходились в испуге. Вставали на дыбы. И сорванное с оси колесо катилось и грохотало по пустынному мостовым. Еще и собаки чуяли присутствие страшной го-  
стыи. Когда в разрывах истерзанных туч проглядывал бледно-желтый диск, они задирали мор-

ды и выли. Люди поеживались от этой нестерпимой собачьей тоски, пугливо крестились. И даже на заброшенных колокольнях сами собой звонили тогда колокола.

Проблески лунного света зеленоватым гляncем легли на скорбную урну. В один день была изваяна она из фаросского мрамора по велению герцога Метеллы.

Мессир Валерио ди Мирандо закоченевшей рукой перебирал четки. Колючий ветер срывал с него плащ. Третью ночь приходил он на свидание к Горации Метелле, жизнь которой оборвалась на семнадцатом году.

И в эту ночь показалось ему, что белая тень Горации, как легкий пар, поднялась над холодной землей. Он упал на колени и простер к ней руки. Но слова умирали в его горле. Только слезы стояли в переполненных глазах.

Утром нашли его окоченевшего и беспамятного. Он обнимал мраморную урну, украшенную рельефом из опрокинутых факелов. Разжали посиневшие руки и понесли к воротам бенедиктинского монастыря. Но братья-бенедиктинцы не отомкнули тяжелых запоров и не пожелали принять больного. Тогда отнесли его в церковь Страстей господних, где в сумрачном нефе лежали такие же неподвижные, закутанные в плащи или одеяла тела.

Для какого предназначения



сберегло его тогда провидение? Мессир Валерио вскочил со своего убогого ложа и заметался по камере. Острая тоска по жизни, которая осталась там, наверху, над каменным сводом, сдавила грудь. Он кинулся к железной двери и заколотил в нее кулаками.

Горячий поток бредовых речей затопил подземелье. Узник рыдал, проклинал небо и людей, молнил о чем-то. Крик отчаяния временами спадал до истового горячего шепота. Но все гасло в шершавых и серых стенах. Красноватый огонек под самым потолком рисовал колдовские тени. Душная немота обессиливала. Мессир Валерио прижался лицом к холодному железу и медленно сполз на пол. Выхода не было. Его заживо погребли здесь. И все забыли о нем, все забыли... Вечность прошла в этом каменном склепе. Вечность! Он исхудал и постарел. Кожа сделалась дряблой и серой, как крыло летучей мыши.

Почему его не допрашивают? Почему не вызывают в суд? Даже допрос под пыткой не так страшен, как это безвременье...

О милая свобода, лишь со дня, как ты погибла, понял я, какою была прекрасной жизнь, пока <sup>стрелой</sup> неисцелимо не был ранен я.

Он похоронил юную Горацию и сам чуть не умер потом в сумрачном церковном нефе.

<sup>1</sup> Петрарка.

Но последний час его земной жизни еще не пробил тогда. Болезнь отступила. Истощенный, в ставших вдруг удивительно свободными одеждах, вышел он на улицы Феррары. Небо показалось желтым и страшным. Вечерний ветер донес какое-то сладковатое зловоние. Жизнь продолжалась. Голуби сидели на терниях мученического венца Назаретянина. Сновала пестрая людская толпа. Чумазные оборванные ребятишки наполняли воздух звенящим хохотом.

Улица оглушила и испугала его. Ему сразу же захотелось назад, в сумрак и тишину храма. Он поднял голову. На него смотрела фреска работы несравненного Фра Дольчи. Бог-отец в облаках и лучах. Ангельские хоры. Престолы. Власть. Силы. Трубы, готовые возвестить час страшного суда. И библейское небо. Такое же желтое и предзакатное. Невероятное, страшное небо..

В этот миг он возненавидел Феррару.

Только одно-единственное воспоминание еще приковывало его к этому городу. Он навсегда запечатлел в себе тот далекий день. Солнечный день детства. Чуть терпкий запах созревающего винограда. Изумрудные ящерицы на грудах пыльного щебня. Поросшие рыже-зеленым бурьяном холмы. Какое синее и молодое было тогда небо! Красная крыша и белое облако.

Плющ. Холодный сумрак замшелого колодца. Инжирное дерево. Темный кипарисовый крестик на свежевыбеленной стене. Запах трав и оливкового масла. Тепло испеченного хлеба и треск сухих поленьев в добром домашнем очаге.

Милые запахи, мелькающие отблески детства... Отец закричал тогда испуганно и счастливо. Маленький Валерио кинулся на этот внезапно пугающий зов. Дрожащей рукой отец указывал на пламя. Другую руку он прижал к губам: «Тише! Тише... Смотри...»

В прозрачных голубовато-желтых волокнах огня плясала саламандра. Он увидел ее и замер. Еще с минуту волшебное существо плескалось в огненных струях. Потом треснуло полено. Вспыхнули яркие искры поднявшейся сажи, и саламандра исчезла. И тут же отец сильно ударил его по щеке. Но тотчас же подхватил на руки, зацеловал, одарил сладостями.

«Я ударил тебя, чтобы ты всегда помнил этот день. Саламандра принесет тебе счастье. Судьба твоя будет необыкновенной».

И он запомнил этот день. Даже то странное ощущение раздвоенности, которое он испытал тогда. Отец лаской загладил незаслуженную обиду. Валерио все понял и простил. Но смутное ощущение несовместимости пощечины с поцелуями осталось. Одно не искупало другое. И

впервые он подумал, что миру присуща удивительная двойственность.

Ночь прогоняла день, заступала на его место, чтобы уйти с рассветом. Но они не заменяли друг друга. Ночь оставалась ночью, а день — днем. И радость не уничтожала печали, а только лишь временно замещала ее. И зло было несовместимо с добром, хотя порозы они существовать не могли. Противоположные начала взаимно порождали друг друга, сменялись одно другим, но никогда не сливались. Сливание означало бы для них уничтожение.

Валерио не обиделся на отца. Понял, что ласка пришла на смену обиде. Но обида оставалась обидой, а ласка — лаской. Они жили сами по себе. И одна не могла уничтожить другую.

Еще стоит на этой земле дом его отца и деда. Шумит ветер в широких и липких листьях разросшегося инжирного дерева. Бадья роняет светлые капли в сумрачную зелень колодезного зеркала. И домашнее доброе пламя все еще лижет сухие поленья.

Но ветры странствий гудят в ушах. Истощенное болезнью тело ненавидит желтое закатное небо над Феррарой. Успошая возлюбленная неслышно шепчет: «Покинь этот город, в котором не нашлось места для нас двоих».

Он возненавидел Феррару, которая убила ее и пощадила его. Возненавидел этот умеренно шумный и лицемерный город, древнее, наславляемое веками за холустье.

Зловонный и сладковатый ветер весны, беспощадный ветер странствий. Как не послушать его?..

Распахнутая солнцу и морю Венеция. Влажный блеск ее площадей. Солнечный туман над заливом. Немота и спокойствие каналов. Флаги стран полумира. Разноцветные, чуть запущенные дворцы. Тишина. Мессир Валерио закрывает глаза, убаюканный тихим плеском воды, покачиванием гондолы. Бесшумно опускает весло гондольер. Старый дом на большом канале. Палаццо князей Умберти. Подъемный мостик на чугунных цепях. Бронзовые львы с кольцами в ноздрах. Широкие лоджки. Античная мозаика и лимонные деревья на плоской крыше...

...О чем только не думает человек, зажатый сырими стенами каменного мешка! Он может вспомнить даже ночь венецианского карнавала. Фейерверк. Прорезь глаз в маске. Пестрота, вырываемая факелом из тьмы. Танцующие огни в черном лаке залива... Святая служба не дремлет. Ах, об этом лучше было думать раньше. Но зачем он нужен им здесь? Зачем? А может быть, о нем просто забыли? Затеряли

его дело? Умерли те, кто проводил его сюда... Остаться в этой камере до скончания дней?

И опять он начинает метаться. Обреченный, загнанный, близкий к помешательству человек. За что? У него много грехов перед Святой службой. Это так. Но чтобы думать об этом, нужно успокоиться, унять сердцебиение, заставить себя смириться хоть на миг. Если метаться по камере, то ничего не получится. Сосредоточиться — это значит умиротвориться, отрешиться. А сейчас он в отчаянии. Его бьет озноб, душит испарина. Лучше вспомнить о другом. Думать о чем угодно. Только бы хоть на миг унести мысли свои из этих стен. Итак, сверкающая теплая ночь. Зеленый месяц. Колдовская дорожка на воде. Костюм арлекина. Тонкие губы в улыбке. Стальной блеск ненависти в прорези маски. Граф Кавальканти? Что ему напоминает это имя? Флоренция? Гвельды и гиббелины? Явление умершей возле склепа? Нет, только не это... Ах, граф Кавальканти! Намотать красный плащ на левую руку. Стилет по-испански. Острием к себе. Значит, удар будет сверху...

Он поднимает над головой руку и что есть силы обрушивает ее на дверь. Как быстро угасает слабый гул удара! Кровь на костяшках пальцев. Он подносит руку ко рту. Тоска и гнев его

разбились о холодный металл. Опять уйти в память. Выскользнуть из времени, которое, подобно стоячей воде, гниет под этими сводами. И так до следующего приступа отчаяния. А пока можно холодно и трезво все обдумать. В который уж раз, правда... Но главное — не упрекать себя. Мы не властны над нашим прошлым. Все равно исправить уже ничего нельзя. Не случись это в Венеции, случилось бы в Мантуе или Умбрин.

И все же его арестовали именно здесь. К нему в башню постучался капитан Святой службы. За ним стояли два стражника и высоченный гондольер. Капитан вежливо поздоровался и предъявил приказ об аресте. Подписи. Печать... Все законно. Никакого недоразумения быть не может. Нет, это не ошибка.

Кто же его обвинитель? Имена доносчиков и свидетелей не фигурируют даже на процессе. Высочайшее милосердие Святой службы. Надо же уберечь агнцев сих от мести еретиков! Он еретик? Хуже! Много хуже. Нераскаянный еретик. Таких после составления обвинительной формулы передают светской власти. Святая служба не карает! Даже приговора она не выносит в судилищах своих. Это дело светской власти. А там разговор короткий — костер или удушение. Смерть посредством огня или веревки, но без пролития крови.

Кровь! Влага жизни. Дух, наполняющий сосуд скудельный. На Голгофе пролита кровь за весь род людской от первых дней святой нашей церкви до страшного суда. Земля больше не хочет крови. Посредством... но без пролития крови.

Но он же еще не осужден! Ему даже не сказали, за что он арестован. Не предъявили обвинения, не вменили никакой вины. Не могут же его осудить, ни разу не допросив. И вновь неведомый вихрь срывает его с места и кружит по каменному полу камеры.

Фитилек под потолком дрогнул и замигал. Догорает свеча. Закатывается солнце его маленького тесного мира. Наступает ночь. Опять он будет метаться на влажном и горячем ложе. Подумать только! Тонкие простыни. Их регулярно меняют. Какой гуманизм! Нововведение недавно избранного понтифика. «Святая служба не мстит, — сказано в его булле, специально препровожденной верховным инквизитором. — Она спасает заблудших для вечной жизни...»

Он не помнил, когда заснул. Возможно, он вообще не спал. Промучился в поту и кошмаре, пока невидимая рука не зажгла под потолком новую свечу. Он не уследил, когда и как меняют свечи и белье, приносят воду и хлеб. Нет, они не пользуются для этого дверью. С тех пор



как он здесь, дверь никогда не открывалась. Он сам выяснил это. Оторвал от простыни тонкую полоску и привязал ее одним концом к решетке в крохотном глазке, другим — к своему уху. Дверь открывалась наружу и если бы ее распахнули, он бы почувствовал. Но ее не отворяли. Конечно, простынная полоска за «ночь» исчезла. Потом ему долго не давали постельного белья. «Святая служба не мстит...»

Наверное, в потолке устроен тайный люк, через который можно не только сменить свечу, но и попасть в камеру. Ему не удавалось уследить за тем, как пользуются потайным люком. Он всегда спал в это время. Скорей всего ему подмешивали что-то в питье. Как-то он долго не прикасался к воде. Все подстерегал. Сидел в темноте. Но здесь ведь не уследишь за временем. Он мог бы не спать несколько дней. Все равно они бы пронеслись, как одна ночь. Пока он не спал — ничего не было. Потом стала мучить жажда. Потом смирился. Перестал подстерегать. Но одно узнал наверное: за каждым шагом его, за каждым вздохом его бдительно следили. И все же, когда страх помрачал сознание, ему снова и снова мнилось, что все забыли о нем. Эта мысль доводила до неистовства, до темной границы, за которой рассудок начинает распадаться.

— Мирандо! На вопрос.

Сердце сорвалось вниз. Забило где-то в боку. Руки похолодели, а лоб сделался горячим.

Он переступил порог камеры. Стукнули об пол алебарды стражи. Черная замшевая перчатка с широким раструбом легла на плечо. По гулким серым коридорам подземелья провели его к следователю.

Следствие было поручено двум высшим офицерам Святой службы. Вопреки традиции они были без масок. Молча сидели за черным столом. Не начинали допроса. Высокие свечи роняли мутные капли на серебро подсвечников. Поблескивали на желтоватом глянце лежавшего на столе черепа. Узкая тень от распятия пересекала библию. Изломанная, терялась на черном бархате. Один из инквизиторов поднял на него большие грустные глаза и отвернулся. Другой смотрел не отрываясь. Сверлил взглядом. В колющих точках его зрачков колыхалось пламя свечей.

Традиционной формулой начал допрос. Велел положить руку на библию.

— Клянусь говорить правду. Одну только правду. Ничего, кроме правды.

Валерио знал, что они нарушают закон. Только суд мог потребовать от него этой клятвы. Только суд. Но это не смутило его. Он клялся, сознавая, что в случае надобности прибегнет к спасительной лжи.

— Вы обвиняетесь в проповеди ложных учений, направленных на подрыв матери нашей Святой римско-католической церкви.

Слова были холодны и беспощадны, как зрачки этого абсолютно лысого аскета, как и голос его. Мирандо подумал, что этот следователь здесь главный. Другой инквизитор глядел куда-то в сторону. Думал о чем-то своем. Карие глаза его иногда останавливались на лице Мирандо. Казалось, он взглядом хочет заглянуть жестокость слов главного следователя. Время от времени он доставал большой багистовый платок и вытирал тонзуру, обрамленную мягкими на вид каштановыми кудрями. Был он полон и внешне доброжелателен. Иногда морщился, точно слова главного следователя и ему причиняли боль. Но молчал. Только все чаще ловил Мирандо его сочувственный взгляд.

— Вы написали несколько богопротивных книг. Нелегально издали и распространили их, — продолжал перечислять обвинения главный следователь.

Мирандо слушал его, лихорадочно отыскивая слова оправдания. Он не знал, что действительно известно о нем Святой службе, и готовился на крайний случай к самому худшему, хотя и не верил, что они могут знать о нем все.

Пока он сидел в каменном мешке, следствие основательно

поработало. Беспощадный аскет сыпал именами и датами, не глядя в бумаги. Некоторые эпизоды он знал, по-видимому, не хуже, чем сам Мирандо.

— Вы не раз высказывали словесное одобрение учениям ересиархов Савелия и Ария. Подобно последнему, усомнившись в догмате Святой троицы, истолковали священный атрибут треугольника не как триединство Отца, Сына и Духа Святого, а в качестве некоей взаимообусловленности мира физического, мира духовного и астрала. Помещенный в треугольник глаз истолковывали как знак астрального зрения, символ власти над временем и пространством. В нечестивом сочинении своем «Новый астротел»<sup>1</sup>, следуя тайным доктринам сатанистов, называли обращенный вверх треугольник знаком огня.

— Может быть, мы дадим возможность последственному ответить на эти обвинения, прежде чем предъявить ему другие? — склонившись к самому уху главного следователя, тихо сказал другой инквизитор.

Мирандо расслышал эти тихие слова молчавшего до сих пор доминиканца. Заметил он и то, как зло сжались в ниточку губы главного следователя. Тот замолчал, потом, не глядя на коллегу, кивнул головой.

<sup>1</sup> Влюбленный в звезды (греч.).

— Оправдайтесь, если можете, в предъявленных вам обвинениях. Мирандо собрался с мыслями. Долго молчал, опустив голову на грудь. Потом тихо сказал:

— Меня оклеветали, святой отец. — Но смотрел он при этом не на главного следователя, а на того, другого.

И тот, как бы прочитав тайные мысли Мирандо, поспешил прийти на помощь:

— Можете ли вы назвать имя обвинителя вашего или причины, толкнувшие его обвинить вас перед лицом церкви?

— У меня есть недоброжелатели, — медленно протянул Мирандо. Потом, словно решившись на что-то, назвал имя: — Граф Кавальканти — один из них. Полагаю, что он очернил меня.

— Почему вы так думаете? — спросил главный следователь, заполняя протокол.

— Он считал меня повинным в том, что брак его с дочерью герцога Метеллы Горацией разстроился. Поэтому он и преследовал меня своей ненавистью, покушался на мою жизнь.

Нетерпеливым жестом главный следователь заставил его умолкнуть.

— Одно это уже делает вас виновным. При посвящении в сан вы принесли обет отвратить свое сердце от суетной светской жизни.

— Я и не нарушил обета, святой отец. На аудиенции у папы

я получил отпущение грехов и разрешение жить вне монастыря.

— Нам известно об этом. Мы знаем и о прощении вашем, направленном на имя кардинала-камерленго. Почему вы ходатайствуете о снятии с вас сана?

— Я решил посвятить себя наукам. Занятие это требует от человека всех сил и способностей.

— Это не ответ. Многие замечательные ученые мужи наши трудятся во славу церкви в лоне монастырей. Это еретические убеждения ваши привели вас к столь кощунственному решению. Вы отвратили лик свой от бога, потому что ряса жжет вашу еретическую плоть.

— Не могу согласиться с таким истолкованием моего поступка, святой отец. Я по-прежнему служу богу наукой своей. Во славу его и матери церкви пишу свои сочинения.

— И «Новый астрофел»?

— Я не писал этого сочинения и даже незнаком с ним.

— Вы издали его под вымышленным именем, хотите сказать? Но у нас есть неопровержимые свидетельства вашего авторства.

— Только доносы врагов моих.

Тощий инквизитор хлопнул ладонью по столу.

— Как вы ведете себя на следствии? Как отвечаете? Вы принесли присягу говорить только правду! Но вызываяще омрачает слух наш заведомой ложью. Советую помнить, что трибунал мо-



жет применить к вам крайние средства.

Второй инквизитор померщился и отвернулся. Он даже открыл рот, чтобы сказать что-то, но промолчал.

— Вы принесли покаяние в доминиканском монастыре в Ферраре, — спокойно и размеренно продолжал главный следователь. — Но уста ваши говорили одно, а в сердце своем вы оставались нераскаянным еретиком. Вы забыли свои покаянные речи?

Мирандо ничего не забыл. Он стоял в позорном рубище на коленях. Он клялся не произносить больше еретических речей. Он отрекся от заблуждений и смиренно принял тогда тяжелую епитимью. Но что значило все это перед светом истины, которая внезапно открылась ему? Страх перед мучениями плоти диктовал ему слова отречения, но как можно отаратить лицо от истины? Это был его крест, и он нес его, зная, что пойдет на любые муки, и, ужасаясь, изворачиваясь, старался эти муки отсрочить. Поэтому и принес покаяние на холодных плитах монастыря.

— Вы сделали adeptом подрывных учений. Ваши занятия алхимией, по-модному именуемой луллиевым искусством, дают все основания обвинить вас в сношении с врагом рода человеческого.

— Да, мои занятия — искус-

ство и все науки. Но алхимия моя является магией белой. При этом практической алхимией я вообще не занимался. Меня интересовали лишь чисто философские основы луллиева искусства. Я обобщал современные данные алхимии на основе учений Аристотеля, Платона, Фракастро и Авицебронна. С скромные успехи мои в этой области удостоились похвалы его святейшества, которому я посвятил книгу «О новейшем луллиевом искусстве». Книг же под чужим именем, а также анонимных сочинений я не издавал.

— Нам известно, что вы посвятили книгу его святейшеству. Ее содержание не находится в противоречии с учениями отцов церкви. Но остальные ваши сочинения, авторство свое хотя вы и отрицаете, богопротивны. Следствие докажет это суду.

— Я принесу жалобу его святейшеству... Прошу дать мне в камеру чернила, перо и бумагу.

— Ваша просьба будет рассмотрена на заседании конгрегации... Никакие увертки вам не помогут. Каждый ваш ответ заново обвиняет вас. Говоря о своем труде по алхимии, вы прибегли к авторитету Аристотеля и Платона, но умолчали о вашем преклонении перед Николаем Кузанским. Действительно, в книге «О новейшем луллиевом искусстве» вы затрагиваете лишь общеполитические проблемы ал-

химии. Да и сама наука эта интересуется вас лишь в качестве ключа к тайникам материи. У вас совсем иная цель. Вы хотите на новой основе углубить учение Николая Кузаиского о вселенной. Вслед за ним вы доказываете, что Земля не находится в центре вселенной, что такого центра вообще нет. Отсюда вы приходите к идее бесчисленных миров. А это ересь! Опасная ересь! И вы знаете, какая участь постигла адептов сей доктрины... Знаете, тем не менее упорно следуете роковому пути. Почему?

Мирандо вздрогнул. Он понял, что не сможет ограничиться одним отрицанием всякой вины. Что-то нужно было швырнуть на черный алтарь, в чем-то согласиться, может быть, покаяться. Он готов был пожертвовать многим. Отречься от многого. Смириться, принять покаяние. Только одно не подлежало переоценке. Ядро его учения. В муках и невероятном напряжении выношенные им основы. Истина, в которой он не сомневался более. Открывшееся ему сияние.

— Мы живем в такие времена, святой отец, когда чистая философия не может уже больше почитаться запретной. Наука всегда противоречит каким-то каноническим догматам. Но это не значит, что она отрицает их. Здесь противоречие чисто внешнее, я бы сказал, временное. Идея бесчисленных миров лишь

укрепляет основы, выработанные Аристотелем и Платоном. Отрицает на первой стадии, а затем дополняет, суммирует на более высокой основе.

— Вы находитесь в следственной тюрьме, — брюзгливо сказал инквизитор, — а не на философском диспуте. Нас интересует не ваша философия, а ваша вера. Искусство диалектики вам не пригодится. Мы не хотим разбираться в том, что истинно и что ложно. Мы хотим показать, в чем вы расходитесь с церковью и насколько серьезно такое расхождение. Это и только это является критерием вашей вины. Вина же ваша установлена. Даже легальное ваше сочинение позволяет выдвинуть обвинение, чтобы предать вас суду. К сожалению, распространившееся в последнее время свободомыслие, беспринципная широта взглядов дали в этом отношении опасные прецеденты. Поэтому, повторяю, Святая служба не предъявляет вам обвинений по поводу книги «О новейшем лулливом искусстве». Тем не менее эта книга не оставляет никаких сомнений по поводу мировоззрения автора. И коль скоро это мировоззрение следствию известно, мы можем истолковывать в его свете остальные ваши поступки. Речь далее будет идти только о них.

Это была наглая и бессовестная демагогия. Второй инквизи-

тор, очевидно, тоже понял это. Он опустил голову, словно боялся встретиться взглядом с допрашиваемым. Такое явное сочувствие не ускользнуло от узника. Мирандо уже не чувствовал себя столь безнадежно покинутым и одиноким. Чахлым лучиком света брызнула в сердце надежда.

— При обыске у вас обнаружена переписанная Иеронимом Беслером копия запрещенного сочинения «О печатях Гермеса».

— У кого сейчас нет запрещенных книг?

— Отвечайте только на вопрос! — повысил голос главный следователь, — Вы собирались заниматься практической алхимией? Прибегнуть к черной магии?

— Нет! Нет! Вы ничем не можете доказать это. Сам папа посвящает досуг алхимии.

— Алхимия, как и астрология, если они не связаны с черной магией, не являются науками запрещенными, — пришел на помощь второй инквизитор. — Святой отец спрашивает вас, не намеревались ли вы прибегнуть к черным таинствам, описываемым в сочинении «О печатях Гермеса»?

Главный следователь повернулся к коллеге. Нахмурился и, не скрывая раздражения, сказал:

— Именно это я и хотел спросить... Но можете не отвечать. — Он опять уставился на переносицу Мирандо. — Вы же будете от-

рицать, что занимались черной магией?

— Да, святой отец.

— А у нас есть доказательство, что вы лжете! — закричал он, вскакивая из-за стола.

Второй следователь удивленно наморщил лоб и широко открыл глаза. Сочувствие его становилось совершенно открытым.

«Нет у тебя никаких доказательств», — подумал Мирандо.

— На диспуте в Саламанке вы утверждали, что святой дух является неприемлемым атрибутом материи, — опять спокойно и тихо сказал главный инквизитор.

Внезапные переходы от гнева к спокойствию держали Мирандо в состоянии непрерывной тревоги и ожидания. Они мешали ему успокоиться и не давали сосредоточиться. Он не знал, надо ли ему говорить что-либо или дожидаться явного вопроса. На всякий случай он решил осторожно ответить. Он просто не мог сидеть молча. Пауза давила и мучила его.

— Я не помню, что точно говорил на диспуте. Но думаю, что эти слова могли мне принадлежать.

— Я не спрашиваю вас, говорили ли вы это! — Инквизитор опять повысил голос и раздраженно ударил ладонью по столу. Пламя свечей дрогнуло и зашаталось. — Отвечайте только на вопросы! Меня интересует, что вы понимаете под святым ду-

хом!.. Можете теперь ответить, — спокойно добавил он.

— Я понимаю под святым духом мировую душу, как этому учат пифагорейцы и премудрый Соломон.

— Не изворачивайтесь! Слишком умным себя считаете.

Мирандо с ужасом увидел, как черная, непрозрачная тень заслонила вдруг скалящийся череп. Потом в черноте высветилось белое как мел лицо. Незнакомый, коротко подстриженный человек не отрываясь смотрел на него сквозь стекла странных очков без оправы и дужек. Зловещая улыбка искривила рот человека. Блеснуло золото зубов. Мирандо услышал обращенные к нему слова.

Он сначала не понял их, словно произнесены они были на неизвестном языке. Но кто-то внутри его повторил их. И словно сама мысль вдруг вошла в его мозг.

— Слишком умным себя считаете? Но ничего, мы знаем, как обращаться с такими умниками. У нас есть средства развязывать языки, — услышал Мирандо внутри себя, и видение исчезло. (Запись в лабораторной тетради: гиперналожение.)

— У нас есть средства добывать истину у таких, как вы, строптивцев, — сказал главный следователь и небрежно махнул рукой в противоположный угол подземелья.

Мирандо безотчетно обернулся. В красноватых отблесках огня он увидел дыбу, испанский сапог, бесчисленные клещи и крючья. В малиново-черной тени стоял человек в сером балахоне. Стоял, как статуя, скрестив на груди руки. Даже глаза не поблескивали в черных отверстиях балахона. У ног его свернулась веревка. Как ожидающая змея.

Мирандо почувствовал, как холодеет тело и медленный пот щекочет спину.

— Советую подумать обо всем этом, — сказал главный следователь, вставая. Хлопнул в ладоши.

Заскрипела чугунная дверь. Гулко прозвучали шаги за спиной. Со звоном стукнули об пол алебарды. Два кавалера в черных масках выросли по обе стороны узника. Он нерешительно встал, почти теряя сознание от ужаса.

— Уведите его!

Трижды звякнули алебарды. Черная перчатка с аметистовым перстнем поверх замши легла на плечо Мирандо.

А он еще смел сокрушаться о допросе под пыткой! Какое безумие! При одном лишь воспоминании об этих крючьях... Громадный палач в балахоне... Пылающие дрова... Малиновый блеск... Одиочная камера уже не так ненавистна. Странное создание человек.

Мирандо мечется, как зверь

в клетке. От стены до стены. Три шага вперед, три шага назад.

«Все во всем», как писал Анаксагор. Мир един. Невидимые корпускулы, составляющие основу вещей, управляются теми же законами, что и светила. Говорить так — это значит влезть в страшную ересь. Но почему, почему? Неужели человек не волен доискиваться основ бытия? Разве бог так ревнив и мелочен? Кто пострадает, если людям откроются вдруг тайные пружины и рычажки мироздания? Весь видимый и весь невидимый мир живет по одним и тем же законам. Или мы оскорбим бога, прочитав его тайные скрижали, проведая сокровенные принципы, по которым он сотворил вселенную?

Бог со дня творения не вмешивается в наши дела. Иначе не творились бы на земле мерзости и беззакония во имя его. И что есть Земля? Один из бесчисленных миров в бесконечном пространстве... Обитаемая пылинка на конце ногтя предвечного. Что бы там ни говорили мастифы геологи и всезнающие клирики, но смешно почитать Землю центром и венцом мироздания. Разве звезды восьмой сферы всего лишь светильники для нашего заурядного мира? Слишком прекрасны звезды, чтобы освещать беззакония и уродства жизни нашей. Гордыня непомерная для столь ничтожных существ. Разве

евангелие не предписывает нам большего смирения? Сами бросают вызов богу в гордыне своей. Только необъятная вселенная может быть достойным обиталищем творца.

Но тише, тише! Об этом страшно говорить вслух, даже в бреду нельзя проговориться. Зс ним постоянно следят невидимые глаза, его всегда подслушивают чужие уши.

Мысленно он все еще там, на допросе. Это единственное событие за долгие дни и жаркие бредовые ночи заключения. Опять бесчисленная смена этих однообразных дней и ночей, отмечаемая лишь сгоранием свечи под потоком. Он все вспоминает, вспоминает: находит новые, более удачные ответы на злобные обвинения тощего бритоголового следователя. Досадует и волнуется, что не сказал этого тогда. Готовится к новым вопросам. Придумывает их и тут же отвечает с достоинством, но смиренно и умно. Видит грустные карие глаза другого, явно сочувствующего ему следователя. Мысленно называет его добрым, порядочным, не по своей воле занимающимся столь мерзким делом. Все реже обращает внутреннее око свое на тайны мироздания, все чаще размышляет об этих таких непохожих людях. Это его единственные знакомые, его обитаемый мир, друзья и недруги, любимцы и ненавистники. Они ворва-

лись в его тесную келью и сразу же заполнили ее. Нарушили его уединение, изоляцию, отрешенность. Он стал обитателем странной планеты, все население которой составляют узник и два чрезвычайных следователя Святой службы, столь разных следователя. Один следователь — Фанатик, другой — Сочувствующий. Он ненавидит Фанатика, он уже почти любит Сочувствующего.

Вот они, часы заключенного. Они тянутся дольше, чем любые часы на воле, но и сгорают они быстрее. Они тесны для определенности и столь вместительны для сомнений. И как жадная пустота, впитывают они любое чувство. Только чувство может насытить постоянно алчущую пустоту тюремных камер. И оно утоляет ее, рисует причудливые узоры вымысла.

Узнику воображается новый вопрос. Его ведет, как это бывает обычно, только один следователь. Конечно, Сочувствующий. С этой минуты, сжатые в тугую спираль, события начинают раскручиваться. Все теперь пойдет быстрее. Близок конец мучительного слепого пути. Скоро кончится черный туннель. Хлынет ослепительный свет. Свобода! В конце пути свобода! Какое сияние, какое нестерпимое сияние!

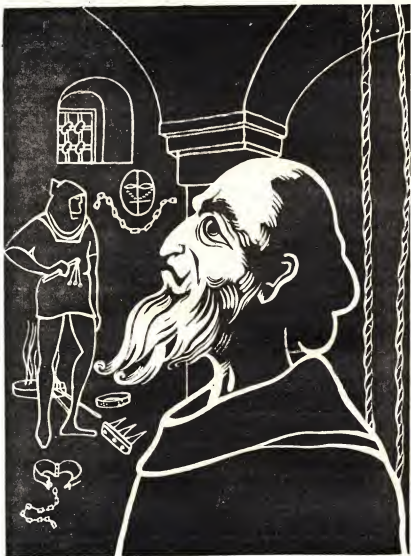
Он медленно отводит широко раскрытые, почти безумные глаза от красноватого огонька под потолком камеры. И сдвигаются

серые шершавые стены. Крышкой гроба падает на него потолок. Жаркая шепчущая тишина потной рукой обвивает шею.

Темный холодный поток отчаяния прорывает шлюзы. Пеной наводнения смывает надежду. Мечется по камере узник и не находит успокоения.

Вспоминает свое требование. Фанатик сказал, что оно будет рассмотрено на заседании конгрегации. Конечно, ответ будет положительным. Они не могут отказать ему в праве на защиту. Он получит перо и бумагу. Он припадет к стопам папы. Великий понтифик любит даровитых людей. Он окружил себя учеными, художниками, музыкантами. Неужели он не вспомнит о нем, мессире Валерио да Мирандо? О его столь изящном посвящении?.. А что, если Фанатик обманул его? Или забыл передать его желание написать папе? Нет... Не может этого быть. Сочувствующий не забудет. Он сам, наверное, проследил за всем. Это на допросе, в присутствии заключенного он был вынужден сдерживать свои чувства. А потом... Он мог даже доложить Верховному инквизитору Венеции, что Фанатик необъективен в расследовании. Вдруг Фанатика сместят, и дело будет вести Сочувствующий? И письмо к папе тоже сыграет свою роль...

И спадает темная вода. Оседает сомнение. Узник пускается



на новый круг надежды. Безумный, изнурительный круг. Все возвращается на круги своя. Все возвращается.

Гаснет свеча. Но он давно уже научился видеть в темноте. А может, просто запомнил скорбную дорогу отчаяния и надежды. Три шага вперед и три шага назад. Не так уж трудно запомнить. Ходит, ходит, пока не выбивается из сил. Потом падает на несчастное ложе свое. И не может сомкнуть глаз. Нет для узника яда страшнее надежды. Но и друга у него нет вернее, чем эта надежда. Только одна она поддерживает силы, помогает дожидаться освобождения, дает мужество дойти до зшафота.

Незаметно он засыпает. Но сон так напоминает явь! Однообразие тюремных снов, их изнурительная власть, их обессиливающая реальность. Хрипит и мечется на узкой койке несчастный, издерганный человек. Даже если утром он проснется свободным, кто возместит ему навечно утраченное в этих стенах. Утраченное что? Этого не рассказать. Передать это невозможно. Только те, кто получает свободу, постепенно, через много дней начинают понимать, что они потеряли в тюрьме. С этого момента она все чаще прокрадывается в их сны. Она никогда не выпускает узника...

Чуть слышно лязгнул люк. Затепелился красный огонек и зако-

лыхался в фонаре под потолком. Шарахнулась длинная тень от чьей-то руки, и черный провал захлопнулся. Впервые Мирандо видел, как меняют свечу.

Но он даже не заметил этого. Все воспроизводил в памяти этот только что услышанный грустный, проникновенный шепот Сочувствующего.

— Крепись. Избавление близко. Постарайся избежать ловушек, которые приготовил тебе следователь. Я помогу тебе, — так сказал ему Сочувствующий, когда меняли свечу.

Горячие благодарные слезы переполнили глаза. Мирандо плакал беззвучно и жарко. И красноватый свет причудливо переливался в его мокрых ресницах.

Отныне он знал, что у него есть союзник. Живая человеческая душа, готовая помочь ему в бесконечных блужданиях по кругам ада.

Сомнение оставило его. Тяжесть расплавлялась в слезах. Он поднялся с убогой постели преображенным. Но всего лишь миг продержалась его свобода. Короткий миг, за который не успеть даже подумать о том, почему в эту ночь ему ничего не подмешали в питье.

Взвыва, заскрипела могильная плита двери. Треск факелов и звон оружия ворвались из гулкого коридора.

— Мирандо! На допрос!

Он торопливо плеснул на руки



воды из кувшина. Провел мокрой ладонью по глазам.

— Быстрее! Выходи.

Кавалер стражи опустил ему на плечо свою тяжелую рыцарскую руку и чуть подтолкнул узника вперед.

Мирандо шел на допрос без страха. Шел с чувством, которое больше всего напоминает радостное и тревожное ожидание. Так отправляются на битву, счастливый исход которой предreshен. Враг коварен, изворотлив и злобен. Но оружие проверено, резервы подтянуты, а союзники верны и несокрушимы.

Мирандо не сомневался, что друг, так он теперь называл Сочувствующего, поможет ему. Вместе они одолеют Фанатика.

Затхлостью веяло из сумрачных подземелий. Но ветер свободы уже ласкал лицо.

С тихой улыбкой предстал он перед черным столом. Готовый приступить к пытке палач и хитроумные орудия, приспособленные для того, чтобы сподручнее дробить кости и рвать человеческую плоть, не пугали его. Он уже вознесся над этим. Чужие несчастливые жребии. О них позволительно не думать, когда есть друг.

Друг сидел за столом один. Поднял голову от бумаг. Едва заметно улыбнулся и тотчас же зарылся в свои протоколы. И словно из шелеста допросных листов родился шепот:

— Специальный декрет предписывает инквизиторам на местах посылать в Рим краткое изложение обвинений, предъявляемых подсудственным. Его святейшество лично читает каждую аннотацию. Он в курсе всех дел, которые находятся в производстве. Понимаете?

Мирандо только пошевелил губами. Ничего он не сказал, ничего не ответил. Весь напрягся, подался к столу, чтобы ни слова не пропустить, все расслышать.

— Дело ваше изложено самым невыгодным образом.

Опять застучало, задергалось сердце. Обессиливающая усталость разлилась по ногам. Медленно стала подниматься выше.

— Великий инквизитор требует вашей выдачи. Но...

Шепот смолк, и лишь бумага шелестела в полных с золотистыми волосками пальцах.

А Мирандо замер, как перевернутый на спину жучок. Ждал, что последует за этим «но». Крутого перелома ждал, на поворот к благоприятному исходу надеялся.

— Но... дож упорно противится. Венецианский сенат ревниво бережет свой суверенитет. Мне определенно обещали, что вас не выдадут. Это уже очень хорошо. Очень. А тем временем я...

Бархатный занавес за спиной друга всколыхнулся.

— Хочу ознакомить вас с об-

винительным заключением, — быстро и холодно сказал Друг.

— Подследственный сможет ознакомиться с обвинительным заключением в камере, — сухо отчеканил Фанатик.

Прошел к столу. Серые глаза холодно поблескивали в затененных глубоких впадинах. Сел на свое место. Остался таким же прямым и строгим. Облачился сегодня в одеяние полковника доминиканцев. Белый знак ордена Христа качался под золотой короной. Высшая награда папской курии. Лицо заслуженное, вознесенное над другими.

— Ваше дело закончено, — длинный костлявый палец своей нацелил он прямо в лицо подследственного. — Копию вы получите под расписку. Еще вам дадут бумагу и письменные принадлежности для написания защиты. Защитительную версию свою надлежит передать нам. После этого дело ваше будет рассмотрено на заседании конгрегации Святой службы... Есть ли у вас вопросы по поводу процедуры?

— Нет... Как будто нет, — ответил Мирандо, сляясь глотнуть слюну. Но рот его оставался сухим.

— Тогда я хочу дать вам один совет, — Фанатик усмехнулся. — Делаю я это не из ложного чувства сострадания, а во имя более высокой любви к ближнему своему, воплощенной в понятии дол-

га... Когда вы внимательно ознакомитесь с обвинительным заключением, то, возможно, подивитесь тому, что инкриминируется вам богохульство, кощунство и богопротивное поведение, а не еретические убеждения ваши. Тому есть глубокая причина. Чем, к примеру, оправдываете вы насилие, учиненное вами над юной Метеллой, которое привело ее к смерти?

— Это ложь! Злобный навет!

— Сидите, сидите. — Фанатик холодно улыбнулся ему в лицо. — Лучше смирно сидеть здесь, чем висеть на дыбе... Итак, вы говорите — ложь. Но что есть ложь? И что есть истина? То, что истинно для меня, ложно для вас. Не так ли? Вы же сами проповедуете это. Посему истинное для вас для меня остается ложным. Обвинение сможет по всем пунктам доказать, что, будучи посвященным в сан, вы принудили вступить в греховную связь...

— Вы никогда не докажете это! Я потребую вызвать свидетелей...

— Не смейте прерывать меня! Право прерывать речи принадлежит только мне... Повторяю, обвинение докажет все, что требуется. Слуги дома Метеллы и жених Горации граф Кавальканти выступят как свидетели обвинения.

— Я назвал Кавальканти в качестве наветчика, это отводит его

показания. Кроме того, герцог Метелла не допустит...

— Допустит. Старый герцог умер. В материальном облике своем он не сможет явиться на суд. Что же касается Кавальканти, он все же выступит на суде, хотя, как вы правильно полагаете, показания его решающего значения иметь не будут. Но, кроме графа, есть иные свидетели. Далее. Богохульные речи ваши и черникокижские заявления, как вы сами понимаете, доказать не столь уж трудно. В моей практике это, во всяком случае, всегда удавалось.

— Вы имеете в виду оговор?

— Не будем спорить более об истине. Понятие это неопределенное и весьма субъективное.

— Странно слышать это от служителя церкви, от офицера Святой службы.

— Не правда ли? Мне тоже так кажется... А вы как полагаете, святой отец? — Он всем корпусом поворотился к Другу и с заведенной улыбкой ожидал от него ответа.

Но тот молчал. Угрюмо и настороженно.

— Продолжим наш разговор. — Голос Фанатика становился все более живым, и Мирандо стало казаться, что инквизитор просто насмешничает над ним. — Я ожидал от вас большей гибкости, фра Валерио. Очевидно, мне придется подать вам пример истинной диалектики. Как

вы поняли, надеюсь, обвинения будут предъявлены самые простые и конкретные. Их трудно отвести, они понятны массам, и приговор будет встречен всеобщим одобрением. И не стыдно ли вам идти на костер за деяния, которые... Но не будем говорить больше об этих деяниях. Важно, что церковь не предъявляет вам обвинений по поводу вашего учения. Вы понимаете, что это значит?

— Нет.

— Это означает, что следствие не считает возможным осудить вас за громогласное высказывание истины.

— Что вы хотите сказать этим, святой отец?

— О мой любезный брат! В своих взглядах на сферу неподвижных звезд вы не столь уж оригинальны. Мы сожгли нескольких последователей доктрины множественности обитаемых миров. Это были превосходные оппоненты. И видите ли, они перубедили нас. Смешно в наш просвещенный век утверждать, что Земля — центр вселенной. Конечно, это не так...

— Тогда почему я здесь? Почему? — Мирандо временами казалось, что он сходит с ума. — Неужели за те столь естественные и заурядные прегрешения, которые сам папа отпустил мне в Риме?

— Конечно, нет... Отпущение грехов обратной силы не имеет.

Но, запомните это хорошенько, вы пойдете на костер, если станете упорствовать. Я говорю с вами предельно откровенно. Обращаюсь к разуму вашему. Крайних мер мы к вам не применяли, все надеялись на трезвый ум ваш, фра Валерио. Не заставляйте нас раскаиваться в ошибке. Поймите, наконец, что не стоит отдавать жизнь и имущество ради истины. Любкой ищущий и образованный человек сегодня понимает, что космогония Платона или Аристотеля безнадежно устарела. Но час для переоценки ценностей еще не настал, вот в чем дело. Истина, которую вы любовно вынашиваете под сердцем, преждевременна. И в этом основная суть. Здесь вопрос не гносеологии, а политики. Чистой политики. Вы философ, а не политик. Посему предоставьте делать политику людям сведущим. Не портите им игру. Массы еще не созрели для новых идей. Поэтому идеи эти только подорвут старую веру, приведут к духовному вакууму, ничего не давая взамен. Церковь учит: люди живут только на земле, а небеса принадлежат ангелам. Пока эту аллегория понимают буквально, она должна оставаться неизменной. Когда обыватель созреет для более рациональной истины, она сама незаметно придет к нему. Может, это будет через пятьдесят лет или через двести... Кто зна-

ет? Но такой день безусловно наступит. Ну и готовьтесь к нему! Работайте, философствуйте в своем кабинете, но зачем выступать с проповедями? Зачем нелегально пропагандировать свое учение? Понимаете теперь, в чем тонкость?

Вы выдающийся мыслитель, который прославит святое учение в веках. Оставайтесь им, и мы создадим вам все условия для работы. Только не вмешивайтесь в политику. Церковь не питает к вам никаких мстительных чувств.

Пусть богохульства ваши останутся у вас на совести. Мы не хотим делать из вас мученика. Довольно мучеников! Этак можно сжечь всех способных людей. Но... надеюсь, теперь вы понимаете, чего от вас ждут?

— Покаяния?

— Нет.

— Публичного покаяния?

— Нет! Публичного отречения.

Отречения от идей, которых вам не инкриминируют. Более того, обоснования ложности этих идей. Ваша истина, которая открылась вам, как я уже говорил, преждевременна, и церковь надеется, что вы поможет ей сдержать шествие этой истины. Нам нужен ваш авторитет... Не правда ли, святой отец, мы как никогда откровенны с последственным?

Друг продолжал упорно молчать.

— Не отвечайте мне сейчас. —

Фанатик встал. — Мы дадим вам время поразмыслить над нашим предложением... Стража! — Он хлопнул в ладоши. — Уведите арестованного в камеру.

— Вам принесут обвинительное заключение, перо и бумагу. Подумайте, что вы будете писать, фра Валерио, защитительную речь или отречение... Это будет ваш ответ на мое предложение, — услышал Мираидо за спиной, и чугунная дверь захлопнулась. Словно вздохнуло чудовище.

...Офицер Святой службы вручил ему копию обвинительного заключения. Велел расписаться. Поставить дату (года, месяца, дня от рождения господина нашего Иисуса Христа). Мираидо не знал даже, который теперь месяц. Написал так, как сказал офицер. Принесли люпир, чернильницу, несколько перьев. Все было хорошо очищено. Бумагу дали самую лучшую. Даже песочницу не забыли. Мираидо потребовал циркуль. Офицер изумился: «Зачем?» «Действительно, зачем?» — подумал Мираидо. Не стоит же он вычерчивать звездные сферы. С кем спорить и по поводу чего? Какую истину доказывать? От него ждали совсем другого.

Даже надеясь на лучшее, он не верил в близкую свободу. Самым мягким наказанием была бы пожизненная ссылка в отдаленный монастырь. Сейчас свобода придвинулась к самому порогу

камеры. Оставалось только написать текст отречения. Он мог писать теперь круглые сутки. Офицер сказал, что стоит ему только постучать в дверь, как к его услугам будет лампа. В любое время дня и ночи. Правильнее было бы сказать, в любое время ночи. Но ночь можно покинуть. Теперь это зависит только от него.

Он вспоминает, в который раз все вспоминает. Продумывает каждое слово, каждый жест инквизитора. Угрюмое молчание Друга, шепот, оборванную в самом начале фразу. Риму они, во всяком случае, его не выдадут. «Это уже очень хорошо», — сказал Друг.

Слабость следствия очевидна. Они идут на все. Совершению неприкрытый цинизм. По-видимому, Фанатик говорил правду. Не провоцировал. Им и в самом деле не нужны мученики. И обвинительный акт иалицо. Ни слова о его философских взглядах. Волей-неволей инквизиторам пришлось сбросить маску. Символично в этой связи и то, что его допрашивали с открытыми лицами. Новые веяния? Или считают неуместным церемониться с ним? А почему, спрашивается? Ответ простой: он либо продаст себя им с потрохами, либо сгорит на костре. Все довольно логично. Цинизм, конечно, невероятный. Так разговаривать можно лишь с соучастником. Надеются, что он

станет соучастником. Больше того, не сомневаются в этом. Ну погодите, святые отцы! А как угрюмо и скорбно молчал Друг. Стыдился за коллегу? Опасался за стойкость обвиняемого? Думал о том страшном, о котором не успел досказать? Почему же о страшном? Скорее напротив, о благоприятном.

В воду перестали подмешивать сонное зелье, и Мирандо почти не спал. Но вроде бы не страдал от бессонницы. Выбился из сна и сгорал в думах. Лампа горела на столе. Не писал, а все раздумывал. Кормить его стали намного лучше. А силы уходили. Незаметно и неуклонно.

Беззаветней, чем когда-либо, надеялся на помощь Друга. Раньше казалось, на все пойдет, чтобы сохранить жизнь, добыть свободу. Но не предвидел, чего от него потребуют. Как будто обо всем передумал, а такого предвидеть не сумел. Потому и чувствовал, что не сделает так, просто не сможет. Прислушивался к себе с каким-то удивлением, с посторонним интересом прислушивался. Мысленно убеждал себя, что если захочет, если действительно захочет, то и сделает. Но как только это дело принимался обдумывать, так сразу же наткнулся на внутреннее препятствие. По инерции какой-то еще размышлял, но уже знал внутри себя, что не сможет. Это было бы слишком. С таким грузом на

сердце уже не подняться, не выжить. Да и жить-то для чего растоптанному вконец? Для чего? Ведь твердо знал, что с земною жизнью любая другая жизнь кончается, что ничего не будет потом.

Но и костер страшил. Ужасал! Вот наденут на него жуткий санбенито. (Черти корчатся, Адское пламя лижет. Серные огоньки вспыхивают. Котлы с грешниками кипят.) Язык особыми тисками зажмут, чтобы не мог богохульник кричать, не смущал бы, окаянный, речами предсмертными честных обывателей. Сунут длинную свечу ему в руки. Цепь вокруг тела обмотают. Солдаты и монахи с факелами по обе стороны выстроятся. Погребальные молитвы затянут они, как поведут его на аутодафе. А в часовне колокол зазвонит. Начнется панихида за упокой души приговоренного. Вот как оно будет. Вот как... Но не санбенито и не тиски страшны, не панихида. Хворост подпалят под ним. Жечь станут на медленном огне. Как долго это будет, пока смерть придет? Как долго?

Вконец измучился. Есть почти совсем перестал. Только воду пил неудержимо и жадно. Но жажда не исчезла. Желудок водой наполнялся, а язык горел. В животе булькало, когда вставал, а пить все хотелось.

Видения стали являться. Горация Метелла белой тенью сколь-

зила над каменным полом. Руки протягивала. Куда-то манила. Одежды ее как от ветра нездешнего раздувались. Звала его.

Вскакивал с постели. Стучал кулаками в дверь. Лампу у стражи требовал. А она на столе горела. Масляным сумраком красила стены.

Однажды вырвался из постоянного своего оцепенения. Опасные пути разорвал, как сквозь смерть, пробился. Не помня себя, схватил перо и крупно во всю страницу: «Защитительная речь» — начертал. Сразу и легче стало. Жар схлынул. Даже легкий озноб бить стал. Будто резко вдруг похолодало в сыром подzemелье. Впервые за долгие дни заснул. А как проснулся, чувствуя во всем теле непонятную легкость, сразу же за работу принялся. Знал, что перешел свой Рубикон, преодолел. Писал быстро, лихорадочно. Чувствовал, что хорошо получается, убедительно.

Про то, что никому его защитительная речь, в сущности, не нужна, старался даже не думать. Все надежды возлагал на Друга. Верил, что тот сумеет помочь, не оставит в беде.

Почти в один присест написал всю защиту. На едином дыхании сделал. Перечитывать не хотелось. Не мог заставить себя возвращаться. Сердце торопилось. Он едва за ним поспевал. Быстро перебежил текст. Застучал в

дверь. Отдал офицеру бумагу. Тот принял ее, не снимая перчаток. Молча поклонился и, лязгая шпорами, ушел в черноту отворенной двери...

А сердце торопилось. Хотелось верить, что все теперь завертится, закрутится. Кончатся несменяемые и душные сутки его заключения.

Но ничего не менялось. Разве что спать стал немного получше. Лампу по-прежнему приносили по первому его требованию, но на вопросы не отвечали.

Пользуясь возможностью, написал прошение на имя великого понтифика. Офицер взял бумагу в руки. Секунду подержал ее. А потом молча покачал головой и вернул Мирандо его послание.

И вновь потянулось однообразное, беспеременное время.

Но однажды, восстав от жаркой сырости сна, он обнаружил, что пюпитр и все письменные принадлежности унесены. Бросился к двери. Застучал что было силы. Но никто не открыл ее и никто не спросил, что ему надо. Таков был ответ на его выбор. И от этой грозной молчаливости тоскливое предчувствие сжало сердце. Жутким холодом вдруг повеяло в камере.

Но проходили ночи и дни, а ничего не случалось. Порой казалось, что и допросы, на которые его вызывали, и защитительная речь только приснились ему. Даже облик Друга стал забываться.

Все труднее удавалось воссоздать в памяти туманные, расплывчатые черты. Но сердце по-прежнему вздрагивало, когда он думал о Друге. Последней умирает в человеке надежда. Надежда не умирала. И узник жил надеждой.

...Опять они застали его врасплох. Разбудили лязгом запоров и скрипом. Это была их излюбленная метода.

— Мирандо! На допрос!

На допрос? Опять? После обвинительного заключения?

Еще не совсем проснувшийся, он шел по каменным галереям подземной тюрьмы. Все смещалось в голове, он перестал разбираться в последовательности событий.

— Вы уверены, что меня вызывают на допрос, а не на заседание конгрегации?

Но кавалер в маске ничего не ответил ему. Только повелительно махнул рукой в черной перчатке. И перстень безнадежной звездой сверкнул в рассыпающемся свете факела.

Со странной улыбкой предстал он перед своими следователями. Уставился на сомкнутые удлинненные ноги распятого.

Друг улыбнулся ему почти открыто. Фанатик холодно смотрел на него из своего далека, откровенно и незаинтересованно разглядывал.

— Высокий суд отправил ваше дело на следствие, — сказал

Фанатик. — Он нашел неубедительной преамбулу следствия, которая характеризует вас как еретика. Эксперты-теологи квалифицируют вас как еретика нераскаянного. Вы улавливаете разницу?

Друг опять улыбнулся ему. Светло и благожелательно. Чуть наклонил голову.

— В своей защитительной речи я опровергаю преамбулу следствия. Я опровергну ее и в том случае, если она будет изменена.

— Твоя речь годится только на подтирку, — все так же улыбаясь, сказал Друг. — На дыбу его! Эй, мессир Гвидо!

Железные руки обхватили сзади плечи Мирандо. Он почувствовал, как его медленно приподнимают со стула.

— Ну зачем же сразу на дыбу? — засмеялся Фанатик. — Попробуем обойтись без крайних мер. Я уверен, что фра Валерио станет сотрудничать с нами. Не правда ли?

Смертельные объятия ослабели, и Мирандо плюхнулся обратно на сиденье. Все окончательно смешалось в бедной голове его. Опустошенно переводил он широко раскрытые глаза с одного следователя на другого. Их лица коржились и мутнели, теряли четкие очертания, приобретали водянистую зыбкость. Голоса доносились как будто издали, приглушенные. А то вдруг налетали, подымаясь до резкого крика.



— Вы слишком мягко относитесь к нему! — Голос вроде бы принадлежал Другу, но лицо все кривилось, расплывалось. — В преступной гордыне своей он осмеливается вступать в полемику со следователями Святой службы. Ему предлагают взамен сотрудничества жизнь и свободу, а он передает нам вот эту пачкотню! — Друг брезгливо коснулся пальцем какой-то бумажки на столе.

— Я думаю, что фра Валерио все же образумится, святой отец, — примирительно сказал Фанатик.

— Нет, не образумится! Сегодня же я вырву у дожа согласие на передачу этого опаснейшего преступника Риму. Пусть он предстанет перед тамошним прокурором и генералом доминиканцев. Они ему покажут!

— А мне очень хочется помочь ему, святой отец, — упрямо сказал Фанатик. — Я не верю, что мессир Мирандо окончательно погиб. Это не закоренелый грешник. Он еще может исправиться.

Мирандо казалось, что он давно-давно утонул. С углов его рта срываються мутноватые пузырьки и уносятся вверх со страшным булькающим звуком. От этого звука голова его чуть просветлела, и он с ужасом попытался осмыслить случившееся. С ним явно произошло нечто неописуемо ужасное. Только он

забыл, что именно. Силился вспомнить. Превозмогал себя. Но все расплывалось, уносилось, укачивалось ленивой водой.

Еще один срывался пузырек с посиневших губ. Сознание вдруг опять проблескивало, как маслянистый свет на легкой зыби. В один из таких проблесков Мирандо и ощутил полнейшую пустоту в груди. Он уже ничего не боялся, ничего не хотел, ни в чем не пытался разобраться. Все связи вдруг распались. Разлетелись. Бессильно обрушились. Словно расклепанная цепь. Он чувствовал, что его раздавили, выжали, как лимон, швырнули в зловонную скользкую яму. Все вдруг низвергнулось. Жизнь. Опыт. Привычки. Последовательность причин и следствий. Соответствия.

Огоньками вспыхивающего разума он пытался еще подняться над собой, выжатым синим утопленником. Ведь что же произошло на самом деле, что произошло? Следователи поменялись местами. Только и всего. «Добрый» стал «злым», «злой» превратился в «доброе». Как можно поддаваться на эту изощренную провокацию? Никакого сотрудничества с инквизиторами! Инквизитор не бывает ни злым, ни добрым. Все это одна личина. Он всегда враг. Его задача поймать, запугать, погубить узника. Это его работа, а она вне добра и зла.

Но огонек начинал мигать, мигать и гаснуть вдруг, ослепляя широко раскрытые глаза.

Мирандо тихо засмеялся, показал чрезвычайным следователям язык. Потом вдруг собрался с силами, сжал кулаки и нахмурился. В ушах что-то стрельнуло, и он опять стал различать слова.

— На дыбу его, — сказал Друг. — Это, к сожалению, необходимо.

— Ну что ж, ваша власть, — пожал плечами Фанатик, — хотя мне кажется, что можно избежать крайних мер.

— Мессир Гвидо! — крикнул Друг.

Мирандо пришел в себя, когда висел уже вниз головой. Он еще не был безумным, но память его зияла темными провалами. Они порой затягивались мутноватой, бесцветной пленкой. Сами собой заполнялись первыми пришедшими на ум догадками. Он забыл вдруг, по чьему приказу очутился на дыбе. Он вообще, возможно, не сознавал, что висит и его начнут сейчас пытать. Видел ослепленное зеркало расплавленного олова в горшке. Опрокинутые в этом зеркале потолочные своды. Пламя видел и вишневым металлом в том пламени. Но не устанавливал никаких связей между собой и тем, что видел. Он помнил, как любил, как надеялся на Друга, и совершенно не воспринимал те жестокие слова, которые тот сейчас произ-

носил. Зато он понимал, что Фанатик стал к нему хорошо относиться. И почти забыл свой страх перед ним, свою жаркую, впоенную одиночеством ненависть.

— Развяжите его, — распорядился Фанатик. — Все должно быть согласно закону. Следствие закончено. Защитительная речь написана. Его надо передать суду. Пусть решает суд.

— Нечего решать. Все и так ясно, — резко возразил Друг. — Формула может быть только одна: осудить как формального еретика, нераскаянного и упорствующего, и передать в руки светской власти. А это означает — костер.

— Нет. Вы не правы, святой отец. Церковь не осуждает. Это светская власть выносит свой приговор. И мы не можем знать заранее, каким он будет. — Голос Фанатика слегка задрожал. — Осужденный получит сорок дней для последних размышлений. Эта милость дается даже самым закоренелым еретикам.

— Но потом все одно — костер.

— Не обязательно, святой отец, совсем не обязательно.

Мирандо мешком лежал на каменном полу. Руки его все еще были связаны за спиной. Он видел только ноги святых отцов. Только ноги. Узнал ноги Друга. Потянулся к ним всем неподвижным, бессильно распростертым

телом. Вспомнил вдруг сложенные, пробитые одним гвоздем ноги распятого.

А они стояли над ним и спорили о его судьбе. Будто его самого здесь уже не было.

— Я думаю, его еще можно спасти, — сказал Фанатик.

— Только в одном случае, святой отец.

— В каком же?

— Он должен публично отречься от своего учения и от учений ему подобных еретиков. Публично!

— Он так и поступит, святой отец, так и поступит, — залепетал Фанатик. — Ты ведь напишешь свое отречение, фра Валерио?

Из груди Мирандо вырвался вопль. Как выброшенный прибором тюлень, он неуклюже задвигался. Содрогаясь в рыданиях, попытался подняться.

— Верую! Господи, верую в тебя! Припадаю к ранам твоим, — зашептал он, всхлипывая.

Друг брезгливо толкнул его ногой.

— Не вера твоя нужна ему, дурак! Отречение! Слышишь?

Нужно твое отречение. Ты напишешь его... Он напишет его, полковник.

— Да, — согласился Фанатик. — Это уже конченный человек. Я думаю, мы заслужили не большой перерыв. Как вы полагаете, полковник?

Палач развязал Мирандо руки. Встряхнул его и усадил на табурет. Ласковое тепло облучило мокрое от слез лицо. Мирандо поднял голову, но не увидел огня. Перед ним было черное, непрозрачное ничто.

Больше мы ничего не знаем о несчастном предшественнике Джордано Бруно. Рано или поздно, но истина всегда находит себе дорогу. В ночи веков бесстрастный свет ее может на время погаснуть. Но костер, на который взмог творец, не угасает в дали времен. Он не позволяет забыть, не дает заблудиться.

Бессмертны гениальные провидческие идеи Бруно, но трижды бессмертен он сам, пошедший на костер на площади ди-Фиоре. Борьба за истину — это тоже гениальность.

# ДЕЛИ — ДЖАББАЛПУР — БОМБЕЙ

●  
Михаил  
АЛЕКСАНДРОВ



●  
Для большинства из нас дорога в Индию начинается задолго до того, как самолет оторвется от дорожки Шереметьевского аэродрома. У одних она берет начало с детской сказки, у других — с песни Индийского гостя.

Первые вести об этой стране приходят к нам не с газетных страниц — газеты в таком возрасте читают мало. И не из трудов ученых-востоковедов — их вообще не читает никто, ни в каком возрасте. Об Индии рассказывают нам Жюль Верн и Майн Рид, романтики и мечтатели. И может быть, потому, что Индия начинает привлекать с детства, она на всю жизнь остается символом далекой, немного фантастической экзотики. Пожалуй, нет другой страны, которая окружена таким романтическим ореолом, как Индия.

Путь в Индию веками был полон опасностей. Годы понадобились тверскому купцу Афанасию Никитину для того, чтобы спуститься по Волге, пересечь Каспийское море, пройти Персию и дойти, наконец, до сказочной страны. В далекой Хиве нашла гибель экспедиция Бековича, посланная в Индию Петром I. Вокруг мыса Доброй Надежды шел в Индийский океан Иван Александрович Гончаров на фрегате «Паллада». Словом, путь был таким, каким ему и быть надлежит — суровым и великолепным. И пускались в него люди, достойные славного имени путешественников. А сейчас... Авиация сделала поход в Индию скандально простым. Еще восемь-десять лет назад оставалась хоть какая-то тень романтики — самолет на ночь останавливался в

Кабуле, и путник имел шансы заблудиться на плоховато освещенных в то время улицах афганской столицы, усладить свой жадный до экзотики взор видом женщин в парандажах и кочевников с кинжалами. Правда, и тогда все было непросто и относительно безопасным. Выручало воображение. Теперь же и на это рассчитывать нечего. Человек, который летит без посадки на реактивном лайнере из Москвы в Дели, заслуживает славы путешественника не больше, чем пассажир московского такси. Ему тепло, уютно. Он даже может рассчитывать на улыбку аэрофлотовской стюардессы, разумеется, если она в хорошем настроении. К слову сказать, Аэрофлот вообще на улыбку скуповат, что, впрочем, еще не самое слабое место в предлагаемом им сервисе. И все же пассажиру проще, чем Никитину. Катастрофы возможны только мелкие — сосед обольет чаем или во сне отлежишь щеку. А где набег кочевников, степные пожары, смерчи и бураны?

Единственное, что вознаграждает за потерю всего этого, — вид из окошка. Такого Афанасий Никитин не видывал. Самое интересное начинается, когда самолет где-то над Кашгаром поворачивает на юг. Он долго летит над безжизненными горными районами северного Тибета. Тут не только растительности, даже снега не

видно. Мертвые скалы и редко-редко замерзшие голубые озера. Рядовому обывателю такой представляется поверхность Луны. Потом впереди на фоне утреннего неба появляются снежные Гималаи. Подъем к ним постепенный и почти не чувствуется. Самолет пересекает снеговые хребты под прямым углом. Ему приходится скользить над самыми вершинами. И вдруг снежный массив резко обрывается. Внизу мелькают лесистые предгорья, самолет круто снижается — мы над великой Гангской равниной. Еще немного, и слева мелькнет первый привет Индии — высокая, одиноко стоящая башня Кутб-Минар. Мы в Дели, на аэродроме Палам.

От Палама до Дели несколько километров. До Нового Дели. Машина идет по широкому, хорошо спланированному улицем Чанакья-пур — района дипломатических представительств. Слева массивные стены советского посольства, легкая, немного вычурная коробка посольства США. Справа голубые купола над большим зданием, похожим на мечеть, — представительство Пакистана. Еще несколько минут, и впереди открывается огромный ансамбль президентского дворца, а немного дальше — круглое здание индийского парламента. Вправо уходит прямая полоса Радж-патха, главной улицы, или скорее площади Дели, — места

военных парадов и торжественных церемоний.

Новый Дели — красивый город. В нем много зелени, изящных зданий. Но он почти лишен национальных черт. Строили его в основном англичане, и если не считать нескольких домов, носящих следы индийской архитектуры, в остальном такой город мог бы быть построен и в Африке и на Ближнем Востоке — административный центр жаркой страны.

Резким контрастом Новому Дели выглядит Старый. Они даже пространственно отделены друг от друга — между ними небольшая незастроенная площадь. В Старом Дели национальные черты чувствуются в архитектуре гораздо сильнее. Мощный Красный форт, огромная мечеть Джама-масджид, приземистые Кашмирские ворота — все это типичные образцы североиндийской архитектуры эпохи могольских императоров. Улицы в Старом Дели уже и беднее, чем в Новом. На них неизмеримо больше мелких лавок, маленьких харчевен, они всегда забиты шумной, разноязыкой и разноцветной толпой. В индийских городах вся жизнь на улице. Тут едят, моются, заключают мелкие сделки, просто беседуют. Машина с трудом пробивается через толпу, непрерывно сигнала. Но подлинное бедствие для любого водителя — это велосипедисты. Коммунальный транспорт в индийских

городах развит слабо, и проезд на нем дорог — не по карману даже среднему торговцу или рядовому чиновнику. Наиболее популярное средство передвижения — велосипед. В часы «пик» велосипедисты — полновластные хозяева улиц. Они едут группами, в одиночку, шеренгами, разговаривая, смеясь или переругиваясь. На автомашины они не обращают внимания. Любого московского орудовца при взгляде на индийское уличное движение хватил бы инфаркт.

В наши дни, когда большинство путешественников предпочитает самолет другим видам транспорта, Дели превратился в одну из входных дверей Индии. Поэтому с настоящей, неприкрашенной Индией иностранец чаще всего знакомится именно в Старом Дели. Впечатления первого дня очень показательны. Если вечером в гостинице приезжий говорит только об исторических памятниках — это верный признак того, что и дальше он будет видеть Индию под углом зрения туристских путеводителей. Есть другая категория людей — настроившись дома на созерцание сказочной страны, они бывают настолько поражены картинами неприкрытой бедности, болезней, голода, что проникаются пессимизмом и потом видят все в мрачном свете. В то же время те, кто способен воспринять первый контакт с индийскими конт-



растами спокойно, не делая преждевременных выводов, почти наверняка составят себе впоследствии наиболее объективные, исчерпывающие представления об Индии.

Мы задержались в Дели всего на одну ночь. Наша делегация направлялась в штат Пенджаб, город Лудхиану, где должна была состояться конференция Индо-Советского общества культурных связей.

Пенджаб — это что-то вроде нашей Кубани — плодородные земли, бескрайние возделанные поля, постепенно переходящие на северо-востоке штата в лесистые предгорья Гималаев. И народ здесь напоминает казаков. Пенджабцы — крупные, физически сильные люди, ловкие, быстрые в движениях, смелые и решительные. В Пенджабе очень большая часть населения исповедует сикхизм<sup>1</sup>. Сикха можно узнать с первого взгляда. Он не стрижет волос, не бреет бороды. Волосы собраны на макушке в тугой пучок и закрыты ярким цветным тюрбаном красивой формы. Предмет особой заботы каждого уважающего себя сикха — усы.

---

<sup>1</sup> Сикхизм — религия, возникшая в Пенджабе в XVI—XVII вв. на базе индуизма. В отличие от последнего не признает кастовых различий, отрицает аскетизм, монашество, духовенство.

Они всегда смазаны каким-то составом, тщательно закручены в форме острых стрелок и торчат, как антенны портативного радиоприемника. Сикхи — прирожденные воины, сикхские полки всегда были в числе лучших частей индийской армии. Даже на военной службе сикхам разрешено носить тюрбан, и очень забавно видеть экзотическую голову, высовывающуюся из люка танка или из-за колпака реактивного истребителя. Сикхи славятся своей любовью к технике. Они прекрасные летчики, механики. Во всей Индии в каждом городе много сикхов — шоферов такси. У каждой стоянки такси можно видеть несколько водителей-сикхов, сидящих в тени в ожидании пассажиров. Их тюрбаны сняты и лежат рядом как большие цветные луковицы. Сикхи — великолепные спортсмены: бегуны, борцы, игроки в травяной хоккей. На многих международных соревнованиях их живописные фигуры привлекают внимание зрителей.

Казацкая склонность сикхов к военному делу создала им вполне определенную репутацию. По всей Индии их называют «сардар джи» — почти непереводаемое ласково-ироническое имя, примерно соответствующее русскому «начальничек». И ни о ком не ходит столько веселых историй и анекдотов.

По дороге в Лудхиану мы оста-



*Статуи острова Пасхи.  
Таковыми увидели их европейцы,  
побывавшие на острове в XVIII ве-  
ке.*



*Участники одной из евро-  
пейских экспедиций  
вместе с аборигенами  
у статуй.*





*Участники экспедиции  
Хейердала и их друзья-  
аборигены измеряют  
статую.*



*Длинноухий чело-  
век — дух.*

*Раскопки на острове  
Пасхи.*





*«Щелья». В Мангазее.*



*Участники экспедиции  
Д. Буторин и М. Скороходов  
беседуют с летчиком  
В. Борисовым.*



Фреска на скале в Альпера. Юго-восточная Испания. Палеолит.



Лешч и мамонт. Капова пещера. Урск. Палеолит.

Бизон. Пещера Альтамира. Испания. Палеолит.



СВИДЕТЕЛЬ ИЗ КАПОВОЙ ПЕЩЕРЫ



*Бизон. Пещера Альтамира.  
Испания. Палеолит.*

*Олень. Пещера Альтамира.  
Испания. Палеолит.*





*Панорама Троице-Сергиева монастыря в Загорске.*

*Выдающийся памятник русского зодчества XV—XVIII веков.*

*Белокаменный златоверхий Троицкий собор построен в 1423 году князем Юрием Звенигородским на месте деревянной церкви, сгоревшей в 1408 году во время набега татар. «Хотя монастырь и разрушился и она уже не стоит посреди, хотя впоследствии были построены более высокие здания, все же церковь Троицы продолжает оставаться центром ансамбля».*





*«Духовская церковь (1476) построена псковичами при Иване III со звонницей под барабаном купола, служившей в древности дозорной вышкой».*



*Украшением трапезной (1686—1692) служит галерея-гульбище, на редкость декоративная и своеобразная.*



Успенский собор.  
1585 год. «Величествен-  
ный этот храм с мощ-  
ными его пятью глава-  
ми через сто шестьде-  
сят три года после Тро-  
ицкого собора и сто де-  
вять лет после Духов-  
ской церкви, в свою  
очередь ставший господ-  
ствующим в высоте  
зданием монастырского  
ансамбля, при всей  
своей громадности не  
прижал к земле двух  
соседних храмов».



«Уходящая уступ за ус-  
тупом в поднебесье, про-  
зрачная от сквозных  
пролетов колокольня  
возведена по проекту  
Д. В. Ухтомского к кон-  
цу шестидесятых годов  
XVIII века. Все главен-  
ствовавшие до нее в  
воздухе храмы ансамб-  
ля, передававшие один  
другому это свое гла-  
венство, вовлечены ко-  
локольней в некое стре-  
мительное и одновре-  
менно застывшее дви-  
жение вверх».

«Ясность планировочной  
мысли мне всегда пред-  
ставлялась выражением  
высокой поэзии. Здесь  
же, в лавре, я наслаж-  
даюсь еще и некоей  
нравственной атмосфе-  
рой, происхождением  
своим обязанной такту  
и художественному  
чутью, с каким каждое  
последующее поколение  
зодчих относилось к ра-  
боте своих предшест-  
венников...»





На обелиске — мемориальная доска, повествующая о заслугах монастыря и его людей в ратных делах отечества.



Мощные стены монастыря служили надежной защитой от неприятеля. Из описи, составленной в последние годы правления Михаила Федоровича, мы узнаем, что стена, опоясывавшая монастырь, имела в длину  $551\frac{1}{2}$  сажени, в толщину от  $1\frac{1}{2}$  до 2, в высоту от 2 до  $2\frac{1}{2}$  сажени. На 12 башнях находилось 90 огнестрельных орудий, кроме того, 20 орудий стояли под навесами. Внутри водяной башни помещался котел в 100 ведер, в котором во время осады лаверы поляками Сапегой и Лисовским варили смолу и обливали ею врагов.



*Доусон — город-призрак.*

*Золотая долина.*





*Современный старатель.*



*Эпизоды подводной охоты.*





*Канберра — столица Австралийского Союза. Здание парламента.*

*Овцеводство — видная отрасль сельского хозяйства страны.*





*Австралийский буш.*

*«Когда мы подлетали к Сиднею днем, красный черепичный прибой его крыш поражал размерами... Вдали мы увидели мост. Он был удивителен. Он поднимался над заливом, как глубокий вздох. В облаке света он парил среди грязноватых скучных берегов».*





*«Рослая мамаша-кенгуру любезно показала нам некоторые обычаи... Малыш прыгнул к ней в сумку, закинув себя, как мяч в баскетбольную корзину. Ноги его и хвост торчали из сумки, затем он перевернулся, высунул свою мордашку».*



*«Фауна Австралии самой природой приспособлена для воспитательной работы. Здесь нет хищников. Единственный хищник — динго, и то его считают одичалой домашней собакой, некогда привезенной сюда аборигенами».*



новились на день в Патиале — довольно крупном городе в самом центре штата Пенджаб. Он расположен почти правильными концентрическими кругами вокруг старинной крепости. В остальном Патиала мало чем отличается от множества других индийских городов — те же тесные улочки базара, то же обилие велосипедистов, пешеходов, те же велорикши. Пребывание в Патиале обогатило мои медицинские познания.

В составе нашей делегации был Борис Васильевич Петровский — всемирно известный хирург. В Индии его хорошо знают. Несколько лет назад он успешно сделал в дельском госпитале труднейшую операцию на сердце. Врачи Патиалы попросили Бориса Васильевича показать кинофильм об операциях на сосудах, который он привез с собой. Случилось так, что квалифицированного переводчика под рукой не оказалось. Я не знал ни единого специального термина, но тем не менее беспардонно предложил свои услуги. К счастью, говорить почти не пришлось — квалифицированная аудитория понимала все, что демонстрировалось на экране, без комментариев. Мне оставалось лишь вполголоса просить включить или выключить свет, передать указку и т. д. Как выяснилось впоследствии, собравшиеся своеобразно истолковали мое присутствие в зале. Боль-

шинство из них было уверено, что я пациент, оперированный Борисом Васильевичем и приведенный для того, чтобы продемонстрировать, сколь успешной была операция.

В целом роль переводчика при Борисе Васильевиче мне очень понравилась. Какие бы чудовищные обороты я ни изобретал, собеседники понимали друг друга великолепно. Они обсуждали с моей помощью детали сложнейших операций. При этом я сам ничего не понимал ни по-русски, ни по-английски, а если беседа все же заходила в тупик, выручала латынь.

В Лудхiane, куда мы приехали на следующий день, все уже было подготовлено для конференции. Над отгороженным участком большого поля был растянут тент. Это обязательно принадлежность собраний на открытом воздухе — без тента под индийским солнцем долго не высидишь. Под тентом на широкой платформе установлены кресла для президиума. Так делается не всегда. Обычно на митингах все сидят, поджав ноги. Президиум на возвышении, остальные просто на земле, застланный циновками.

Конференция продолжалась несколько дней. Она была хорошо организованной и, как нам говорили, одной из самых представительных за всю историю Индо-Советского общества. Приятно

было встретиться со старыми, испытанными друзьями нашей страны — бывшим послом Индии в СССР К. П. Ш. Меноном, которого избрали президентом общества, Ромешем Чандрой (в то время редактором еженедельника «Нью Эйдж», а ныне генеральным секретарем Всемирного Совета Мира, лауреатом Ленинской премии мира), одним из самых популярных киноактеров Индии Балраджем Сахни.

На обратном пути из Лудхианы машина, в которой я ехал вместе с тремя представителями нашего посольства, сделала крюк в несколько десятков километров. Мы хотели взглянуть на Чандigarх — столицу штата Пенджаб. Этот город расположен на равнине у подножия невысокой горной гряды. Чандигарх великолепно спланирован и застроен красивыми современными домами. Многие из них построены по проектам Корбюзье.

В Дели мы опять задержались ненадолго. Индо-Советское общество организовало для нас поездку по стране. И утром следующего дня мы снова были на аэродроме — на этот раз небольшом поле Сафдарджанг, расположенном в черте города. Отсюда отлетают самолеты на Аллахабад, где мы должны провести следующий день. Небольшой самолет внутренних индийских авиалиний поднимается в воздух, стюардесса в изысканном сари

разносит чай, и мы снова смотрим на Гангскую низменность с высоты птичьего полета. До самого горизонта во все стороны раскинулись поля весеннего желтого цвета. На них темными пятнами выделяются деревни — они не тянутся вдоль дорог, как наши, а собраны в тесные, почти лишенные зелени кружки.

Первая остановка — аэродром Лакхнау. Тот, кто хочет увидеть настоящую Индию — не чрезмерно экзотический Бенарес и не интернациональный Бомбей, — должен побывать в Лакхнау. Это один из самых типичных североиндийских городов. И в то же время у Лакхнау есть свой неповторимый колорит. Правда, он вряд ли бросается в глаза. Чтобы почувствовать своеобразие Лакхнау, в нем нужно пожить хоть немного. Этот город знаменит не своими историческими памятниками, хотя в них тоже нет недостатка. Не знаю, позволительно ли мне, москвичу, прибегать к такому сравнению, но Лакхнау славится в Индии тем же, чем в России Ленинград, — традиционной вежливостью. Это признанный заповедник утонченной, почти всеобщей североиндийской куртуазности, сохранившейся еще с тех пор, когда здесь была столица блестящих аудских навабов — наместников могольских императоров. О безупречной вежливости жителей Лакхнау ходят легенды. По всей Индии из-

вестна притча о двух достойных представителях этого города, которые церемонно уступали друг другу дорогу у вагонной двери до тех пор, пока поезд не ушел. В Лакхнау редко скажут за столом: «Передайте, пожалуйста, банан». Вместо этого спросят: «Не будет ли господин настолько милостив, чтобы принять на себя труд передать банан?» В Лакхнау вас будут почтительно называть «хузур» — «ваше превосходительство», даже если очевидно, что вы никогда не поднимались выше сержантского уровня. О себе житель Лакхнау часто говорит в третьем лице — «ваш слуга», «ваш раб». Утверждают, что, даже сильно рассердившись на кого-нибудь, подлинный носитель лакхнауских традиций, прежде чем дать волю языку, обязательно спросит: «Почтеннейший, не позволите ли обругать вас?»

Лакхнау — один из центров классического урду — одной из двух литературных форм языка хиндустани. На хиндустани можно объясниться почти в любой части Индии, за исключением юга страны. Родным языком вашего собеседника может быть панджаби, бенгали или маратхи, но на хиндустани он наверняка говорит. Или по крайней мере его понимает. Правда, если не считать нескольких наиболее общих ходовых выражений, хиндустани жителя Бомбея сильно отличается

от хиндустани калькутца. Каждый привносит в него элементы родного языка. И даже там, где хиндустани — родной язык, он может звучать по-разному. В районах, которые подверглись длительному мусульманскому влиянию, хиндустани позаимствовал множество персидских, тюркских, арабских слов и выражений и даже арабский шрифт. Так получился урду. Некоторые ценители классического урду, например из числа интеллигентов Лакхнау, говорят и особенно пишут так, что не сразу сообразишь, где кончается индийский язык и начинается персидский.

Есть и другая форма хиндустани — хинди. Житель Бенареса или Патны употребляет в речи и письме множество слов, заимствованных из санскрита. И шрифт в хинди санскритский. Хинди ученых трактатов настолько сложен, что даже индийцу для понимания его требуется известная подготовка.

Надо сказать, что изучение хиндустани и других индийских языков в нашей стране издавна было поставлено хорошо. Пожалуй, лучше, чем где-либо еще за пределами Индии. В Советском Союзе люди, знающие хиндустани, не редкость. Их сотни, а может быть, даже тысячи. Но до последнего времени как-то мало учитывалось, что в хиндустани, как и во многих других восточных языках, литературные

формы резко отличаются от разговорных. И это часто приводило к казусам. Приезжает в Индию человек, учивший хинди по книжкам, и начинает говорить так, что понять его могут только знатоки — пандиты. Индийцы с уважением говорят, что рафинированный, донельзя санскритизированный хинди наших ученых даже им, специалистам, не всегда под силу. Когда некоторые из наших востоковедов говорят, их слова исподтишка (чтобы не обидеть) переводят на язык простых смертных.

От Лакхнау до Аллахабада недалеко. Скоро мы уже ехали по улицам этого небольшого города, стоящего на слиянии Ганга и Джамны. Едва разместившись в гостинице, торопимся в Аллахабадский университет — там нас уже ждут студенты и преподаватели.

Проницательный и опытный политик Витте говорил, что молодежь — это зеркало, дающее изображение духовного состояния общества. Пожалуй, одна из лучших возможностей заглянуть в это зеркало — прочесть лекцию в индийской университетской аудитории. Какова бы ни была тема лекции, вопросы после ее окончания будут самые разнообразные. Не будет ошибкой сказать, что чаще всего в той или иной форме речь заходит о социализме. В американской или английской студенческой

аудитории вопрос обычно ставится так — социализм или частное предпринимательство. Не то в индийской. Безоговорочные защитники капитализма в ней обычно немногочисленны. Как и во многих других молодых государствах, здесь капитализм тесно связан в сознании людей с колониализмом. Он скомпрометировал себя в их глазах гораздо больше, чем на Западе. В общественной собственности на средства производства многие индийцы видят одно из условий для ликвидации экономической отсталости. Но это далеко не значит, что советский социолог встретит в индийской университетской аудитории только единомышленников. Идея социализма находится в центре всеобщего внимания, но конкретные представления о нем самые разные. Многие понимают под ним простое вмешательство государства в экономику. Другие отождествляют социализм с государственным капитализмом. Есть и такие, кто настаивает на национализации всего, включая зубные щетки. Интересная деталь: необходимость социальных преобразований ощущается здесь так остро, что вопросы, как правило, ставятся в практической плоскости. Как в Советском Союзе решается проблема матеральной заинтересованности? Каковы права отдельных предприятий? Что представляет собой устав сельско-

хозяйственной артели? Какие меры приняты для того, чтобы в дальнейшем избежать злоупотреблений властью? Если вы не готовы к ответам на эти и другие подобные вопросы, лучше откажитесь от встречи. Там, где дипломат промолчит, профессор иронически усмехнется, студент сразу же скажет, что он думает о вас и вашей компетентности. Времена, когда можно было отделаться общими ответами, прошли. Теперь уже о нашей стране знают многое. Но хотят знать больше. Встречу с каждым советским человеком стараются использовать для того, чтобы что-то выяснить, уточнить, обсудить. Причем сейчас уже не обязательно подробно говорить о том, чего мы добились. Это общеизвестно. Больше интересует вопрос, как мы этого добились. Вы говорите о колхозах — расскажите, как вы их создавали; у вас высокий уровень народного образования — объясните, как вам удалось изыскать необходимые средства и т. д.

В Аллахабаде многое связано с памятью Джавахарлала Неру. Здесь он родился, здесь же часть его праха высыпана в воду у священного слияния рек. Конечно, мы побывали в доме Неру — небольшом, светлом особняке, окруженном садом.

Аллахабад лежит почти на полпути между Дели и Калькуттой. Но обычно мало кто задержа-

вается в нем, а если и останавливается, то ненадолго. Туристы направляются в Бенарес — священный город индуистов. Там они будут плавать на стилизованных туристских лодках вдоль берега Ганга, фотографировать сожжение трупов, удивляться обилию йогов и безропотно плавать бакшиш укротителям змей. Бизнесменам же Бенарес ни к чему. Они торопятся в деловитую, закопченную и жаркую Калькутту. Там их ждут пыльные, лишенные зелени улицы деловых кварталов, лязгающий железом порт и бесконечные индустриальные пригороды, пахнущие угольной пылью. Но мы не туристы и не бизнесмены. Мы сворачиваем с большой дороги, идущей по Гангской равнине. Наш путь лежит к югу, в самую середину Индии — центральные районы штата Мадхья-Прадеш. Едем поездом. Комфортабельный вагон высшего класса блестит стеклом и полированным деревом. Работает установка для кондиционирования воздуха. Такая поездка может доставить только удовольствие. Но вагон высшего класса — один на весь состав, да и то далеко не во всяком поезде. Однажды мне пришлось пропутешествовать в обычных непривилегированных условиях два месяца кряду. Металлические корпуса вагонов накаляются днем и не успевают остыть ночью. О том, чтобы держать окна открытыми,

не может быть и речи. От окна к окну выются жаркие смерчи угольной пыли.

Коридоров, как правило, нет. Из каждого купе дверь ведет непосредственно на перрон. На станциях в окна и двери еще движущегося поезда просовываются головы, руки и лотки неустрашимых торговцев. Некоторые из них умудряются переходить из одного купе в другое даже на перронах. Цепляясь одной рукой за выступающие части вагонов, они путешествуют по всему составу, таская за собой связки бананов, ящики лимонада и даже подносы с чаем. От торговцев спасения нет. Проходит несколько часов, и путешественник готов сам выскочить на крышу вагона и бегать по ней, спасаясь от коммерческой инициативы.

Карта железных дорог Индии — наглядное пособие по тактике классического колониализма. Железные дороги идут не от центра страны к окраинам, а, наоборот, пучками расходятся от важнейших портов — Бомбея, Мадраса, Калькутты в глубь материка. Это создавало максимальные удобства для вывоза из страны сырья, наводнения ее готовыми товарами английского производства. А стоило где-нибудь возникнуть очагу антианглийских волнений — от портов по железным дорогам легко и быстро можно было подвезти колониальные войска. О создании же еди-

ной системы дорог, которая могла бы обслуживать интересы страны, никто не заботился. Даже ширина колеи на разных дорогах различна.

В Джаббальпур мы приехали вечером. Прямо с вокзала нас повезли на митинг, потом еще на один. Только к вечеру, окруженные новыми друзьями, мы добрались до гостиницы. А впереди была поездка на Мраморные скалы — одно из красивейших мест Индии. Правда, лучше было бы посмотреть их днем, но дни у нас заняты. Индийские друзья утешают нас, говоря, что ночью скалы еще красивее, чем при солнечном свете.

Мы выехали из Джаббальпура около полуночи, и через полчаса машина остановилась на вершине большого холма у здания, похожего на храм. Отсюда надо было идти пешком. Спустившись по длинной лестнице, вырубленной в скале, мы вышли на небольшую ровную площадку. Впереди поблескивала совершенно ровная водная поверхность. У края площадки темнело несколько больших лодок. Мы сели в одну из них. Два индийца взяли по веслу, и лодка бесшумно заскользила вперед, пересекая освещенное луной пространство. Через несколько минут мы были у противоположного берега, и на нас упала тень от стометровых скал, нависающих над водой. Издали берег казался сплошной стеной.

Теперь же мы увидели, что в глубь его уходят узкие, извилистые заливы. Лодка свернула в один из них, и вскоре мы медленно двигались по узкому проходу, стены которого поднимались совершенно отвесно. К счастью, луна стояла высоко и освещала скалы до самой воды. Их ровная поверхность слегка флуоресцировала. Скалы сверху донизу состояли из сплошного мрамора. Кое-где они казались отполированными и светящимися изнутри. Наверху, на фоне узкой полосы неба, выделялись силуэты деревьев, ухитрившихся пустить корни в невидимых расщелинах. Нам сказали, что где-то там, наверху, гнездятся мириады диких пчел. Они далеко не безобидны. Стоит их раздражить, и это может кончиться печально. Бывали случаи, когда возмутитель пчелиного спокойствия — человек или животное — платил за свою неосторожность жизнью.

Было уже очень поздно, и мы не стали углубляться в мраморный лабиринт. Лодка повернула назад. Наверное, каждому из нас пришлось в это время в голову, что, оказавшись мы здесь одни, нам не один час пришлось бы проблуждать в поисках обратного пути.

Всю дорогу до пристани меня не покидало ощущение, что все окружающее почему-то очень знакомо. Но, только поднявшись

по лестнице к машине, я понял, что это действительно так. Больше того, эти скалы знакомы почти каждому. Это место действия одной из лучших книг мировой литературы — кипплинговской «Книги джунглей». Именно здесь, на Пчелиных утесах, человек-волк Маугли вместе со старым питоном Каа устроил ловушку диким собакам. Правда, никто из наших спутников не мог подтвердить моей догадки. Но чем больше я вспоминал содержание любимой детской книги, тем тверже убеждался, что не ошибся. Ведь дикие собаки Кипплинга называются выходцами из Декана, а до деканского плоскогорья отсюда рукой подать. Волчья стая, приютившая Маугли, называется сионийской, а город Сиони находится в нескольких десятках миль к югу. И все описание Пчелиных утесов в книге точно соответствует тому, что мы только что видели.

С именем Редьярда Кипплинга у нас прочно связано представление о трубадуре колониализма. Он им и был. Но это не меняет того факта, что Кипплинг был хорошим писателем. К сожалению, его книги, кроме нескольких рассказов и сказок, мало известны нашему читателю. А жаль. Мне кажется, что Кипплинг со всеми своими предубеждениями об особой роли белого человека по своему любил Индию — свою

родину, страну, которую он очень хорошо знал. Пожалуй, нет другого автора, по крайней мере европейского, который бы так же ярко рассказал о колониальной Индии.

В гостиницу мы вернулись около трех часов ночи. В ее просторных, немного мрачноватых комнатах нас ждали величественные кровати, затянутые противомоскитными пологами. На основании изрядного опыта я могу утверждать, что полог не препятствует москиту пробраться внутрь. Зато улететь он ему не дает. Прихлопнуть почти невидимого москита на зыбкой сетчатой стенке полога практически невозможно. Поэтому двух-трех москитов вполне достаточно для бессонной ночи. Кроме того, в жаркие месяцы полог усиливает духоту. А если вдобавок ко всему воздух влажный, то под пологом чувствуешь себя как внутри кофейника, поставленного на горячую плиту.

В некоторых отношениях полог все-таки полезен. В индийских гостиницах, особенно в небольших городах, множество ящериц. Эти совершенно безвредные существа беспрерывно снуют по стенам и даже потолку, охотясь за всякой мелкой живностью. Некоторые постояльцы не любят, чтобы по их постелям бегали ящерицы. Тем более неприятен визит скорпиона, фаланги или кого-нибудь в этом роде. От та-

ких контактов полог защищает довольно надежно.

Я уже не говорю о том, что у человека, лежащего, как царственная особа, под балдахином, усиливается чувство собственной важности и значимости, и он видит сны торжественные и величественные.

Но на этот раз для снов оставалось немного времени. Наступал день Холи — одного из интереснейших индийских праздников. Как большинство из них, Холи имеет свою историю. Будто бы некогда в семье злого правителя Хираньякасипу был сын Прахлад. Несмотря на преследования отца и тетки, он упорно поклонялся богу Вишну. Тетка по имени Холика была глубоко зловредной особой. Где-то в кругах, близких к нечистой силе, она выхлопотала себе свойство не гореть в огне. Однажды разъяренная благочестивой стойкостью племянника, Холика схватила его и затащила в пылающий очаг. Но свершилось чудо. Прахлад остался невредим, а Холика сгорела.

С тех пор ночью накануне праздника Холи на улицах индийских городов и деревень разводятся огромные костры, символизирующие сожжение Холики. Костры горят до утра. А утром начинается самое интересное. Кто бы ни встретился вам в день Холи — знакомый или незнакомый, друг, тесть или непосредственный



начальник, — вы имеете право измазать его краской. Огромные толпы веселых перемазанных людей заполняют улицы. Везде звучат песни, музыка. Иногда толпа разражается восторженными криками. Это значит, что ей попался на глаза сравнительно чистый человек, которого еще имеет смысл мазать. Жертва покорно подчиняется ритуалу посыпания и поливания разными видами специальной легко смываемой краски. Через несколько секунд уже невозможно отличить измазанного от тех, кто мазал.

Никому и в голову не приходит обижаться. Все с утра надевают самое старое платье, зная, что в этот день остаться чистым не суждено никому. Особенно беспощадны ребяташки. Они обрушивают друг на друга и на всех встречных ведра разведенной краски и испытывают при этом подлинное блаженство, граничащее с экстазом. Они мажут все подряд — автомобили, стены домов, рекламные щиты, деревья. Нам попадались даже раскрашенные с ног до головы коровы, козы и собаки.

Холи — очень демократичный праздник. Чтобы принять в нем участие, не нужно наряжаться, не нужно тратить деньги на то, чтобы приодеться. В день Холи член парламента внешне низводится до уровня подметальщика улиц. Глядя на веселящихся людей, замечаешь и еще одну чер-

ту, общую, впрочем, для всех индийских народных гуляний. Среди их участников не видно пьяных. Веселье носит непринужденный и легкий характер. Несчастная привычка перегружаться горячительными напитками огромному большинству индийцев вообще несвойственна. А во многих штатах страны продажа спиртных напитков даже запрещена.

Экипировка членов нашей делегации не соответствовала требованиям Холи. Поэтому наши заботливые хозяева настоятельно рекомендовали нам не покидать гостиницы. Но любопытство и желание отснять уникальные кадры взяли верх над благоразумием, и мы с Борисом Васильевичем робко подошли к воротам. Мимо шли потоки раскрашенных горожан. Появление в разгар праздника двух немазанных вызвало сенсацию. Люди останавливались в изумлении. Они просто не могли поверить в такую удачу — ведь им представлялась уникальная возможность выкрасить двух неправдоподобно чистых чудачков. Но это была только первая реакция. Надо отдать справедливость тактичности участников праздника. Они видели, что мы гости и одеты неподобающим образом, что брызги краски могут повредить объективам наших камер. Никто не пользовался нашей беззащитностью. И мы долго стояли, не-

тронутые, в то время как во всем Джаббальпуре не оставалось, наверное, даже ни одной незапятнанной кошки.

Наконец двое молодых людей с лицами, не уступавшими по богатству красок полотнам Сарьяна, не выдержали. Многократно извинившись, они попросили разрешения «чуть-чуть измазать» нам лбы, клятвенно заверяя, что оставят нашу одежду чистой. Мы согласились. Это было неосторожным шагом. Сделав свое дело, парни поблагодарили нас и ушли. Но прецедент был создан. Следующая группа, увидев, что начало положено, сразу же настроилась куда более агрессивно. Борису Васильевичу удалось отступить с минимумом ущерба. Я же замешкался, и через минуту на мне было больше краски, чем на иной эстрадной певице.

Неподалеку от Джаббальпура на холме стоит памятник Ганди. Как это часто бывает в Индии, памятник представляет собой нечто вроде часовни с просторной пустой комнатой внутри. В юбилейные дни здесь проходят своего рода торжественные заседания с элементами религиозных церемоний.

Человек, не побывавший в Индии, с трудом может представить себе место, которое Ганди занимал и занимает в жизни индийского общества. За пределами страны Ганди, как фигура в

свое время персонифицировавшая Индию, была оттеснена на второй план динамичной личностью Неру. Именно с ним, а не с Ганди прежде всего ассоциируется в глазах внешнего мира представление о независимой Индии. Иное дело — внутри страны. Огромная популярность Неру не уменьшила для большинства индийцев значения Ганди как главной фигуры национально-освободительной борьбы. И не только потому, что правящая партия много сделала для того, чтобы поставить Ганди на пьедестал, превратить его в свой символ, окружить ореолом патриарха, отца нации. Большое уважение к имени Ганди соответствует той роли, которую он сыграл в борьбе за независимость страны. При всей уязвимости гандизма как мировоззрения для философской и социологической критики факт остается фактом — именно Ганди удалось выработать принципы и лозунги антианглийской борьбы, наиболее соответствовавшие психологии, традициям, религиозным воззрениям широких масс населения Индии. Сознывая шаткость всякой аналогии, можно все-таки сказать, что Ганди стал для антиколониального этапа национально-освободительной борьбы индийского народа тем же, чем Руссо был для французской буржуазной революции. Говоря словами Писарева, сказанными о



Руссо, у Ганди «был тот талант, был тот ум, были те страсти, которые были необходимы для решения задачи». И надо добавить к этому, что у Ганди было великолепное знание и понимание конкретных условий, в которых развивалось освободительное движение индийского народа, незаурядное искусство политика и опыт общественной деятельности.

Из Джаббальпура в Нагпур можно проехать поездом. Но мы предпочли автомобиль и не пожалели об этом. Дорога шла по холмам, покрытым негустым лесом. В марте настоящая жара еще не начинается, до сезона дождей еще далеко, но трава и листва уже изрядно потускнели. Зато цветут тэсу — «пламя джунглей». Эти деревья, величиной со среднюю липу, сплошь покрыты большими красными цветами. Если немного прищурить глаза, то кажется, что и впрямь лес горит. Но и к этой необычной картине мы скоро привыкли. Дорога пустынна. Редко-редко навстречу попадает пешеход или арба. Быстрая езда укачивает, и мы задремали.

Вдруг водитель резко затормозил. Я стукнулся лбом о ветровое стекло и проснулся. Перед самым капотом машины в тени большого дерева отдыхала группа обезьян. Они сидели, образуя кружок, спинами наружу.

Казалось, что они играли в кости или карты. Обезьяны на индийских дорогах — совсем не редкость. Но таких крупных и нахальных я еще не видывал. Они неохотно подвинулись, а один здоровенный самец даже помахал нам рукой — дескать, чего стали? Езжайте своей дорогой! Но стоило нам вылезти из машины и застрекотать киноаппаратами — стая опрометью бросилась наближающие деревья. И в течение нескольких минут вежливый водитель-индеец без улыбки наблюдал занятную картину: наверху по ветвям сновали обезьяны, а внизу столь же суетливо бегали мы, пытаемся поймать хоть одну из них в кадр.

К вечеру жара спала. Придорожные деревни заметно ожили. У околиц все чаще стали встречаться группы женщин, идущих за водой. На головах у них латунные сосуды, что-то вроде кувшинов без ручек и с широким горлом. Иногда одна женщина несет два-три кувшина — тогда они поставлены один на другой и образуют нечто вроде буддийской пагоды. Кувшины начищены до блеска, и в лучах заходящего солнца над головами женщин образуются сверкающие нимбы.

В Индии темнеет быстро. Когда мы подъехали к границе, отделившей штат Мадхья-Прадеш от штата Махараштра, наступил уже почти полный мрак. На грани-

це — контрольно-пропускной пункт. Дорога перегорожена шлагбаумом. Рядом под навесом при свете «летучей мыши» офицер проверяет путевые документы. Наш водитель пошел предъявить свои. И вдруг выяснилось, что в них что-то не в порядке. Шлагбаум закрылся перед нами. Из машины мы наблюдаем сцену переговоров. Очень интересно следить за двумя индийцами, когда они о чем-то спорят. Их жесты настолько красноречивы, что понять смысл разговора можно, не слыша ни слова. Вот наш водитель молитвенно воздел руки к небу, призывая на помощь всемогущих богов. Офицер отклонил вмешательство свыше величественным византийским жестом. Водитель стал показывать, что у него на руках беспомощные чужеземцы, которые увянут во тьме индийской ночи. Он то грозил международными осложнениями, то исходил покаянными просьбами. Но офицер был непоколебим, как Арбенин, и пристрастен, как спартаковский болельщик. Решив, что не следует делить превратности судьбы на счастливые и несчастные, мы смирились с неизведанной перспективой ночлега на дороге. И судьба в образе офицера воздала нам за покорность. Насладившись своим могуществом, он вдруг сменил гнев на милость и повелел открыть шлагбаум.

\* \* \*

Если, не задумываясь, ткнуть пальцем в середину карты Индии, то попадешь куда-нибудь неподалеку от Нагпура. Этот город находится в самом центре страны. Нагпур велик — в нем больше семисот тысяч жителей. Все же в нем чувствуется удаленность от основных промышленных и культурных центров, налет провинциальности. И мы были приятно удивлены, убедившись в том, что и здесь существует и активно работает отделение Индо-Советского общества.

В Нагпуре мы провели несколько дней. И хотя программа нашего пребывания в нем, как обычно, почти не оставляла свободного времени, нам удалось побродить по его улицам, побывать на известном апельсиновом базаре — достопримечательности города, и даже побеседовать у ворот гостиницы с паломником, направлявшимся куда-то на юг на богомолье.

Религия в Индии — до сих пор могучая сила. Бесчисленные индуистские храмы, сикхские гурдвары, мусульманские мечети процветают. Несколько лет назад мне пришлось побывать в одном из крупнейших бастионов индуизма — храме Баладжи в штате Андхра. Целый день мы ехали до него из столицы соседнего штата — Мадраса. К вечеру машина добралась до подно-

жия скалистой горной гряды, поднимающейся на сотни метров над ровной долиной, покрытой лесом. Горы очень напоминают по очертаниям крымскую Ай-Петри, какой она открывается откуда-нибудь из Мисхора или Алупки. Но поверхность скал не серая, как в Крыму, а красно-бурая. Храм Балладжи расположен на самой вершине. От подножия скал к храму ведет гигантская лестница. Нетрудно представить себе, чего стоило вырубить ее в скале. Но этого мало. К храму в обход скал через ущелья ведет специальная шоссейная дорога длиной в несколько десятков километров. Рядом с храмом разбит городок для паломников. К услугам состоятельных людей — коттеджи с электричеством, водопроводом, канализацией; для тех, кто победнее, построены бараки. Аналогичный городок, что-то вроде перевалочного пункта, находится на равнине, там, где начинается подъем в горы. Построить все это в диком, джунглевом районе, вдали от крупных населенных пунктов, — дело трудное и дорогостоящее. Но храм не только не разорился, он процветает благодаря огромному притоку паломников. Толпами карабкаются они по лестнице или плетутся по дороге, чтобы вознести молитвы в святом месте и внести свою лепту в обогащение храмовой казны. Интересная деталь —

с первого взгляда можно сказать, побывали они уже в храме или нет. Большинство паломников, спускающихся в долину, сверкают свежевыбритыми головами — они пожертвовали храму свои волосы. Предприимчивые священнослужители и тут не упускают коммерческих возможностей. Накопившиеся волосы они продают как промышленное сырье.

У храма далеко идущие планы. Строятся новые здания, перекрывается русло горной реки, строится новая электростанция. И все это делается не для того, чтобы поднять экономику района — немногочисленные окрестные села и городки от этого выигрывают мало, а чтобы благоустроить никому не нужные вершушки скал. Да что говорить о бесполезных тратах, если даже в Бенаресском университете, одном из крупнейших в стране, несколько лет назад построен новый роскошный храм. Средства, израсходованные на строительство и отделку храма, хватило бы, чтобы построить несколько учебных корпусов или студенческих общежитий.

Но засилье религии — это нечто гораздо большее, чем просто экономический ущерб. Десятки тысяч человеческих жизней унесла индусско-мусульманская резня во время раздела страны на Индию и Пакистан. И сейчас в различных штатах и районах вспыхивают религиозно-общинные столкновения, гибнут люди. Религиозно-об-

щинные организации разжигают шовинизм, пытаясь использовать религиозные предрассудки в своих целях.

Религиозное безумие, как подземный пожар, то тут, то там вырывается на поверхность. Стоит только кому-нибудь или чему-нибудь пробить тонкую пленку умиротворения. В конце 1963 года в Кашмире из сринагарской мечети Хазрат-баль таинственно исчез святой волос пророка Мухаммада. Это привело к религиозным волнениям, в которых несколько человек было убито и ранено. Как только весть об этом достигла восточного Пакистана, там начались погромы индусов и христиан. Спасаясь от резни, десятки тысяч человек устремились в Индию. Рассказы беженцев вызвали религиозно-общинные столкновения в Калькутте и ее окрестностях. Больше ста человек было убито, около пятисот — ранено.

Перед тем как возвратиться в Дели, мы на день заехали в Бомбей. Советский вице-консул Игорь Бони, мой институтский товарищ и старый друг Бориса Васильевича, встретил нас на аэродроме. Бони давно живет в Бомбее, знает и любит этот город. Он готов часами разъезжать по Бомбею, рассказывая о нем, показывая достопримечательности. И надо сказать честно — в Бомбее есть что показать.

В каждом большом городе есть место, обычно возвышенное, отку-

да гордые старожилы показывают его гостям. В Москве это площадь перед новым зданием университета, в Париже — церковь Сакр-э Кёр, в Нью-Йорке — крыша Рокфеллер-центра или «Эмпайр стейт билдинг». На Бомбей надо смотреть с Малабар-хилл, высокого мыса, с которого открывается вид на знаменитую набережную — Марина-драйв. Набережная почти правильным полукругом охватывает просторную бухту. Вдоль берега тянется ровная линия красивых домов. По вечерам разноцветные огни реклам отражаются в темной морской воде, образуя гигантский фосфоресцирующий серп.

Вдоволь насмотревшись на панораму Бомбея, мы решили немного прогуляться. Мы прошли мимо всяких садов, разбитых на холме, мимо одного из самых таинственных и романтических уголков Бомбея — места, где совершаются похоронные обряды парсов, — пожалуй, самой своеобразной общины города. Тело умершего оставляется здесь на вершине специального сооружения, «башни молчания», на съедение хищным птицам.

Парсы — это потомки иранских зороастрийцев, покинувших свою родину в VIII веке после падения династии Сасанидов, спасаясь от преследований мусульман. Бомбейские парсы сохранили религию и обычаи своих предков. Говорят они, правда, на одном из

индийских языков — гуджарати. Среди парсов много богатых торговцев, предпринимателей. Парсом был, например, Джамшед Тата — основатель крупнейшего монополистического объединения современной Индии. Богатство и обширные связи обеспечивали ларсам даже в колониальной Индии привилегированное положение. Они имели возможность давать своим детям хорошее образование. Грамотность среди ларсов — логоловная. Большинство из них свободно говорит ло-аиглийски. Среди них много ученых — в частности, ларсом был недавно трагически логибший Хо-ми Баба — физик с мировым именем, один из основателей индийской атомной промышленности.

Восприятие Бомбея во многом зависит от того, откуда вы лриехали. Если лрямо из-за границы, то сразу же бросится в глаза индийский колорит — лальмы, торговцы бетелем на шумных улицах. По дороге в Камбей — промышленный лригород Бомбея — ваше внимание привлечут живописные ларусные лодки рыбаков. И конечно, вы вряд ли

равнодушно лроедете мимо мечети, лпостроенной на узкой лолоске скал в одной из небольших бухт. В лрилив скалы скрываются лод водой, создается впечатление, что мечеть лоднимается из моря, а верующие, которые бредут к ней по шиколотку в воде, логоловно свя-тые, одаренные слособностью ходить «ло морю, как посуху». Все это выглядит очень экзотично, очень «ло-индийски» для ново-лприезжего. Но мы лприехали в Бомбей после лоездки ло Цент-ральной Индии и немедленно от-метили, что он сильно отличается от большинства индийских горо-дов. Огромный лорт, развитая лромышленность наложили на не-го интернациональный отлечаток. Характерная деталь — на улицах много женщин в европейской одежде — явление для Индии не-обычное.

От Бомбея до Дели — два ча-са лолета на великолепной фран-цузской реактивной «каравелле», несколько лет назад лприобрене-ной индийской авиакомпанией. Круг нашего лутешества замкнул-ся. Остался последний и всегда самый лприятный зтал — дорога домой.



## РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЗАГОРСКЕ

Ефим  
ДОРОШ



Загорск — это новое имя как нельзя лучше пришлось древнему Сергиеву посаду. Кажется, от века назывался так этот город, открывающий собою череду старых

\* Из книги «Древнее рядом с нами».

русских городов, выстроившихся на пути из Москвы на север. Название его произошло как бы оттого, что он стоит за горами, подобно тому, как Заболотье — за болотами, Залесский — за лесами.

Помнится, лет тридцать пять назад в промерзшем полупустом вагоне пригородного поезда, лязгавшего буферами и железными площадками, тащился я мимо болот, где из снега торчали смятые желтые тростинки, мимо черневшего по белым горам леса... А потом и впрямь за горами открылся городок с уходящими в небо белыми дымами. Я шел по его заваленным снегом крутым улочкам, коричневые, серые и охристые домики с пряничными наличниками стояли под глазированными сахарными крышами, пахло топившимися печами, и вдруг, словно сработанная из дерева здешними игрушечниками, пестро раскрашенная ими, встала многобашенная и многоглавая лавра. «За долами, за горами...» Сказочному этому городку иначе и нельзя называться, подумал я тогда, — Загорск!

После первой той поездки я побывал здесь многожды. Мое отношение к русской старине, определявшееся по преимуществу теми стилизациями под древнюю Русь и народное творчество, какие я назвал бы леонтьевско-абрамцевскими, имея в виду магазин хустарного музея в Леонтьевском переулке и мастерскую Поленовой

в Абрамцеве, резко переменялось, однако интерес усилился. В течение последних двенадцати лет я бываю в Загорске чуть ли не три-четыре раза в году, иногда проездом, не останавливая машины, а то и остановлюсь, чтобы пройтись по лавре, потолкаться в обычном здесь многолюдье.

Быть может, потому, что город этот не так велик и весь доступен мгновенному обозрению, здесь хорошо видна связь настоящего с прошлым, пускай стихийная, но взгляд иного ревнителя чистоты стиля — диковатая, зато естественная. В самой лавре, за ее высокими белыми стенами с могучими, по преимуществу красными башнями, то многогранными, почти круглыми, то четырехугольными, украшенными белым узором архитектурных подробностей, смешались стили пяти столетий. А уж вокруг такая смесь вкусов и требований, такое соединение ошибок и редких удач, что при взгляде на эти выстроенные в течение какого-нибудь столетия здания, большинству которых нет и двух десятков лет, на эти широко раскинувшиеся и одновременно теснящиеся к древним стенам мещанские домики, купеческие лабазы, доходные дома, коробчатые постройки тридцатых годов, ложноклассические портики не столь уж давних дней и сегодняшние плоские фасады, — при взгляде на всю эту пестроту и несовместимость охватывает какое-то ве-

селое, иначе я не могу его назвать, ярмарочное чувство.

Наклонная площадь перед лаврой уставлена автомобилями, среди которых встречаются и машины иностранцев, чем-то напоминающие жесткокрылых насекомых или летательные аппараты. Черные старухи в белых платочках тянутся к Святым вратам. Их обгоняют загорелые туристы в закатаиных до колен спортивных штанах. Изредка пройдет иеромонах в длинной рясе и высоком черном клобуке.

Вышагивают пионеры. Колхозники с порожними корзинами из-под ягод, с пустыми бидонами в мешках, закинутых за спину, идут в разные стороны, поглядывая на вывески. Из автобазы, расположенной неподалеку, в кривой улочке, лепящейся по оврагу, идут, громко переговариваясь, замасленные белозубые парии. А следом за ними идет худенькая женщина в траурном платье, в накрахмаленной кисейной накидке, спускающейся на плечи и сколотой под подбородком, седая и бледная, не то монахиня, не то явившаяся вдруг из четырнадцатого года сестра милосердия. Смирного вида старик в пыльных сапогах и прорезиненном плаще, истомленный жарой, снимает шляпу, чтобы перекреститься на круглящиеся в небе золотые и синие главы, и вдруг оказывается, что у него длинные волосы, по-бабьи собранные в пучок, схва-

ченные шпильками, — поп, скорее всего сельский, дальний.

Мимо всего этого, погромыхивая, чадя сгоревшим бензином, предупреждающе и тревожно сигнала, катят с горы и на гору автомашины разных марок и назначений, занявшие сплошь всю улицу, точнее — втиснувшуюся в город автомобильную дорогу, соединяющую Москву с Ярославлем.

Когда сидишь в одной из этих машин, а впереди, покачиваясь, еле движется торчащая из прицепа бетонная труба, слева, засты свет, ползут и ползут грузовики, уставленные новенькими двигателями, сзади надсадно гудит мотор, и в редкие просветы между машинами только и видно, что остекленные стены и крыши, поднятые в небо трубы, зстакады, резервуары, трансформаторы на столбах, решетчатые плечистые мачты с чуть провисшими проводами, — понимаешь, что места здесь по преимуществу индустриальные.

Загорск!

Даже и эта его сторона не сразу наводит на мысль, что город назван именем Владимира Михайловича Загорского, секретаря Московского комитета партии, в 1919 году, тридцати шести лет от роду, погибшего при взрыве бомбы, брошенной контрреволюционерами в здание Московского комитета.

Это не забвение, скорее бесмертие.

\* \* \*

Для меня весь этот край — загорский. Я называю его так, идучи еловым лесом, где в жару застаивается терпкий воздух, спускаясь в заросший ольхой и черемухой овраг с медленно текущим по его дну темным от опавших листьев ручейком, выходя на светлую поляну с дубками посредине или же на открывшееся вдруг среди леса зеленое поле овса. Мне представляется в этих случаях, что и семьсот и восемьсот лет назад здесь было так же.

Я населяю лес высокими и статными людьми в узких, облегающих икры портках, туго обмотанных онучами, в просторных, длинных, слегка развевающихся рубахах. Такими изображены крестьяне на древних русских миниатюрах. Одни из них валят лес легкими широкими секирами, другие пашут землю трезубыми сохами, третьи, с севалками, рассеивают горстью зерна. И здесь же — как это было принято у старинных художников, изображавших на одной картине разновременные события, — на волнистых, изогнутых от тяжести стеблях покачиваются неправдоподобно крупные колосья.

На южной окраине этого леса стояло у слияния рек маленькое поселение. Ростовский князь Юрий, чья рука и до Киева достигала, отчего он прозван был Долгоруким, однажды пригласил

сюда на свидание своего союзника — новгород-северского князя Святослава. Тот отправился в путь «с детятем своим Олегом». Олег ехал впереди, он вез в подарок Юрию пардуса, то есть леопарда. На другой день по приезде гостей Юрий, как известно, устроил «обед силен». «Приди ко мне, брате, в Москов», — приглашал Долгорукий союзного князя, и этим началась писаная история Москвы.

Находившийся много севернее Ростов в ту пору уже был Великим.

Странно вообразить, что Москва, жизненную энергию которой сегодня ощущаешь и на расстоянии доброй сотни километров, тогда соотносилась с Ростовом примерно так же, как сейчас Ростов соотносится с Москвой. Так продолжало оставаться, надо полагать, долгие годы, хотя Москва уже перестала быть пограничным ростовским поселением и имела собственного князя, с течением времени забиравшего все большую силу. В тридцатых годах четырнадцатого столетия в небольшой московский город Радонеж переселился искавший тишины и покоя ростовский боярин Кирилл, разорившийся от поездок со своим князем в Орду, от набегов татар на богатый Ростов. Впрочем, в Ростове, хотя он оставался еще самостоятельным, было «насилование много», и от московского князя Ивана Калиты, воевода его

наложил «великую нужу на град да и на вся живущая в нем», а жизнь в Радонеже сулила многие льготы. У боярина Кирилла было три сына, средний из которых, Варфоломей, вошел в историю России под именем Сергия Радонежского.

Мне случалось бывать в Радонеже, бродить по высокому мысу, омываемому речкой Пажей. Воспоминанием о древних временах осталось название находящегося на месте Радонежа села — Городок. Два порядка изб тянутся с напольной стороны к обрывистому берегу речки, образуя широкую улицу. В конце улицы, за церковью в стиле провинциального ампира, по другую сторону узкого перешейка, возвышаются валы земляной крепости — они окаймляют мысообразную гору. Внутри валов теснятся сквозные железные кресты и жестяные обелиски сельского кладбища. Вот здесь, можно предположить, и был собственно «город», то есть укрепления с княжеским двором и дворами бояр.

Быть может, оттого, что на могилах кладбища весной пестреет яичная скорлупа, я в мыслях своих сблизил Радонеж с радуницей — днем поминовения усопших на фоминной неделе, когда поются радостные, праздничные песнопения. Не то чтобы я считал, что название города происходит от этого обряда, просто мне слышится тот же корень — радость.

С какой-то радостью связано было это место для первых поселенцев.

Впервые я побывал в Радонеже как-то в начале осени. Было утро, белесое небо глядело холодно. Вокруг, сколько видел глаз, стояли леса, в черной зелени которых краснели осины, желтели березы. По склонам холмов, большей частью распаханых, в тусклом живые кудрявились ольшаники или же, несколько ближе к вершине, редко торчали остроколючие ели. Светло зеленел выкошенный кочковатый луг, посреди которого металлически поблескивала петлистая, то пропадавшая, то появлявшаяся вновь, как бы остановившаяся Пажа.

Покамест я шел сюда селом, мне повстречалась баба, загонявшая во двор большую розовую свинью. Другая баба стояла возле дома и смотрела на малого, возившегося с мотоциклом. Из скотного двора напротив церкви — надо же было его здесь поставить! — тянуло хлорной известью. Речка в том месте, где она подступает к горе, на которой находилась крепость, была, казалось мне, шириною с метр, и между стволами берез и осин, росших по склону горы, видны были простершиеся на стоячей воде листья кувшинок.

И все же можно было вообразить, как тут было шестьсот с лишним лет назад, когда Варфоломей, тогда еще отрок, впервые

увидел эти места. Вал, надо полагать, был укреплен частоколом, но он и сегодня, если смотреть с него вниз, к подножию склона, представляется неприступным. Можно предположить, что вал был выше, а склон — круче, и деревьев здесь не было, а река была широкая, чистая, и лес подступал к ней несколько ближе.

Дикая лесная чаща, мне представляется, занимала мысли подростка.

Мне он не кажется болезненным и кротким, каким изобразил его Нестеров. Художник рассказывает в своих воспоминаниях, что отрока Варфоломея он писал с крестьянской девочки, долго болевшей грудью. У нее были большие, широко открытые, удивленные глаза и скорбный, горячечно дышащий рот. Скорее всего, что в знаменитом «Видении отроку Варфоломею», как и в «Юности преподобного Сергия» и в «Пустыннике», написанных в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия, Нестеров передал то несколько мистическое и одновременно сказочное представление об отечественной старине, какое было характерно для некоторых кругов интеллигенции того времени.

Между тем, я думаю, русские пустынники XIV и начала XV веков, учреждавшие монастыри на границах молодого Московского государства, осваивавшие, если употребить современное нам

слово, далекие северные пределы, были не ветхими старцами или бесплотными отроками, светившимися благостью, но романтически настроенными юношами и энергичными мужами. «То были вожди духовных дружин», — говорит о них Соловьев, замечая при этом, что монастыри строились «в глуши, но обыкновенно на господствующем красивом месте».

Мне приходилось слышать, как девяностолетняя бабка, когда внука удачно сдала экзамен в университет, не без гордости говорила, что она-де молилась за нее преподобному Сергию. Бабка была неграмотна, выросла в крестьянской семье, замужем была за шорником, и я не представляю себе, откуда она взяла, что Сергей был «двоешником», как она выговаривала, что по этой причине он и предстательствует перед господом за всех учащихся. У меня не было случая прочитать полностью какое-либо из житий Сергия Радонежского, и я не знаю, говорится ли в них о том, что он плохо учился, или же до нашей бабки дошел отголосок некоей древней легенды. Однако достоверно известно, что в Ростове, откуда родители Сергия уехали, когда ему было по иным свидетельствам лет пятнадцать, существовал так называемый Григорьевский затвор, учрежденный еще до татарского нашествия, славившийся своей

библиотекой и образованностью братии. Ростов и при татарах оставался средоточием просвещения, здесь продолжалось летописание, работали иконописцы, создавшие особенную, местную школу. В Григорьевском затворе жили и учились знаменитый просветитель зырян Стефан Пермский, впоследствии друг Сергия, и не менее известный представитель книжного образования, блестящий писатель того времени Епифаний Премудрый, перешедший затем в основанный Сергием монастырь под Радонежем, ставший его учеником и биографом.

Одно только замечание о том, как Стефан, живучи в ростовском монастыре Григория Богослова, прилежно читал книги и, встретив мужа книжного и мудрого, «ему سوالпросник и собеседник беаше, и с ним соводворяшесе и обнощеваше и утреневаше, распытая ищемых скоропытне», то есть, как я понимаю, и дни и ночи проводил с этим ученым мужем в подробных исследованиях истины, — одно только это свидетельство, мне кажется, говорит о характерной для Ростова той поры духовной и нравственной среде. И если вообразить всю последующую жизнь Сергия, совсем еще юным переехавшего в населенный по преимуществу ремесленниками подмосковный городок, жители которого, надо думать, не отличались просвещенностью, то едва ли будет

ошибкой утверждать, что именно из Ростова вынес он зачатки знаний, пристрастие к книгам, первые и незыблемые представления о добре и зле.

\* \* \*

Дремучий лес, простиравшийся вокруг Радонежа, привлекал, я думаю, отрока Варфоломея тем, что и сегодня способно привлечь каждого здорового юношу, да и вообще свойственно человеческой природе, — возможностью своими руками и по своему разумению устроить жизнь. Обстоятельство это еще и потому мне кажется важным, что русская действительность в ту пору во многом определялась насилием татар и пресмыкательством перед ними представителей как раз той среды, к какой принадлежал сын поселившегося в Радонеже ростовского боярина Кирилла. Наконец, особенности духовного развития людей того времени могли побудить интеллигентного, как мы сказали бы сейчас, молодого человека искать уединения и простой, тяжелой работы, необходимых для размышлений и нравственного совершенствования.

Если бы дело было только в том, чтобы стать монахом — намерение в ту пору весьма обыкновенное, — юноша пошел бы в любой монастырь, какие имелись в каждом городе. Однако именно это последнее, то есть

то, что монастыри были в городах, скорее всего и не устраивало Варфоломея. В такого рода «мирских» монастырях братия исполняла обязанности как бы наемных богомольцев, получая жалованье от богатых устроителей монастыря, из которых иные и сами постригались на старости лет. Монахи жили здесь сообразно своим достаткам, каждый держал отдельный стол, причем «с вином».

Варфоломей поселился в глухом лесу севернее Радонежа, на горе Маковец, возвышавшейся между двумя оврагами и протекавшими по их дну речками Кончурой и Вондюгой. Сперва он, в сущности, не был иноком, постригся он позднее и при этом принял имя Сергия. Можно предположить, что срубленная им келья стояла недалеко от построенного спустя лет тридцать после его кончины белокаменного Троицкого собора.

Собор невелик. Желтоватые от времени шершавые его стены несколько расширяются книзу, благодаря чему он выглядит особенно устойчивым. Суровая обнаженность стен только лишь подчеркивается узкими, устремленными вверх плоскостями, широким, протянувшимся по горизонтали узорчатым резным поясом и немногими, похожими на щели окнами. Мощная шея золоченой шлемовидной главы, венчающей собор, прорезана мно-

жеством окон, и это наводит на мысль, что здание освещалось сверху и что окна в его стенах, через которые можно бы проникнуть внутрь, устроены по необходимости лишь в тех местах, где без них не обойтись, причем на достаточном удалении от земли, почему и зияют они одиноко то здесь, то там, подобные бойницам.

В соборе установлена гробница Сергия, и, если я прохожу здесь летом, направляясь в находящийся рядом музей, мне слышно через решетку, которой забрана отворенная дверь, как негромкие голоса, по преимуществу старческие женские, поют: «Преподобный отче Сергие...»

Существует изображение Сергия Радонежского, довольно известное по воспроизведениям в разного рода специальных изданиях. Его можно видеть в отделе древнерусского искусства Загорского музея. Это так называемый лицевой покров, иначе сказать — покрывало с вышитой на нем в полный рост фигурой святого, которым по древнему обычаю принято было покрывать гробницу. Сергей изображен здесь глубоким стариком, и если взять во внимание, что покров датирован 1424 годом, а Сергей умер в 1392 году, нетрудно допустить, что автор знал Сергия, хорошо помнил его внешний облик, — однажды мне случилось услышать, как экскурсовод высказал предположение, будто покров

знаменовал, то есть нанес на нем рисунок для вышивки, Андрей Рублев.

Когда я рассматриваю узкое и худощавое лицо старика, несколько неправильное, с прямым носом и близко сдвинутыми, разной величины глазами, бледное, в свободно круглящейся шапке темных еще волос и седой бороде лопатой, мне представляется не иконописный лик, но портрет некогда жившего человека. Я люблю искусство, с каким вышивальщица сумела передать выпуклости и впадины тонкого лица, смелостью, с какой она подчеркнула красной линией нос, и губы, и уши. Мне нравится сочетание темно-фиолетовых и блекло-синих одежд с коричневато-серым лицом и серебряным нимбом. Однако наибольшее впечатление производят мудрость и печаль, которыми исполнено лицо, его одновременная доброта и суровость. Мне симпатичен этот человек своей приверженностью высокому идеалу, и хотя сегодня этот идеал представляется наивным, сама по себе преданность, с какою он служил ему, не может не вызвать чувства восхищения. Вместе с тем я испытываю нечто похожее на жалость и сострадание к этому чужому мне по всему своему складу человеку, жившему шестьсот лет назад.

Сергий был первым, кто по истечении многих лет ввел в себе



ро-восточной Руси монастырское общежитие. Монахи его монастыря стали жить трудовой общиной. Имуществом они владели нераздельно, пища и одежда были для всех одинаковы, работы распределялись между всей братией.

«В самой ограде монастыря, — писал Ключевский, основываясь на дошедших свидетельствах, — первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной ряске игумена; чего ни хватить, всего нет, по выражению жизнеописателя; случилось, вся братия по целым дням сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны между собой и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый работает...»

Однако прошло не так много времени после смерти Сергия, и основанная им религиозная коммуна превратилась в богатое и могущественное хозяйство. Троице-Сергиеву монастырю принадлежали приобретенные им за деньги или же по вкладу от князей и бояр обширные леса и сенокосы, пустоши, пахотные земли

с крестьянами, рыбные ловли, соляные варницы, бобровые гоны, причем многие из этих земель и угодий находились в далеко отстоящих уездах. Монастырю даровано было право беспошлинно покупать и продавать любые товары и припасы, он вел деятельную торговлю хлебом, рыбой, солью... Из дошедших до нас грамот известно, что монастырские крестьяне одними из первых лишены были существовавшего тогда права отказа от владельца и перехода в чужую вотчину, иначе сказать — закрепощены.

Мне приходит вдруг на мысль, что мужичок, пришедший, по преданию, повидать прославленного троцкого игумена и разочарованно воскликнувший: «Все худостно, все нищетно, все сиротинско!», случись ему побывать в обители при преемниках Сергия, был бы удовлетворен великолепием ее, богатством и могуществом, при всем том, что происхождением своим они обязаны тяжкому его, мужичка, труду.

\* \* \*

Сергий, принято считать, был тих и кроток.

Мне же он представляется не кротким, но деликатным. Эта черта его характера как нельзя лучше идет к тому образу жизни, какой он вел, к его взглядам, воянованиям, и все это вместе взя-

тое, если употребить современное понятие, позволяет вообразить интеллигента.

Сергий жил в деревянной келье, совершал службу при свете лучины, был невзыскателен в еде и одежде, и за всем тем, как я узнал из черновых записей одного из видных знатоков древнерусского искусства, ныне покойного, можно с уверенностью сказать, что при Сергии в монастыре было по меньшей мере около пятидесяти рукописных книг, для того времени количество немалое, причем все это были произведения наиболее углубленных мыслителей и самых выдающихся поэтов греко-христианской культуры. «Книги греческия извыче добре», — сообщает о Сергии древний жизнеописатель.

Некоторое представление о нем, мне кажется, дает и принадлежавшая ему икона Николая-чудотворца, возможно, вывезенная им из Ростова. Каждый раз, когда мне случается видеть это написанное на небольшой доске поясное изображение святого — его темное, как бы сожженное солнцем Ликийское сухое лицо с крупным, переходящим в лысину бугристым лбом, со впалыми щеками аскета и суровым изломом морщин над строгими, сдвинутыми к переносью бровями, изпод которых задумчиво и отрешенно глядят усталые глаза, — я не только люблю сочетанием коричневых по преимуществу то-

нов с кое-где положенной неяркой красной охрой, но и думаю о том, что для Сергия это был скорее портрет возвысившегося над житейской обыденностью единомышленника, архиепископа Мирликийского, нежели икона, и что этот нестигаемый ревнитель истинной веры нисколько не походил на созданного народом Николу, снисходительного лесного старичка, своего человека в деревенском доме.

Мне приходит на мысль, что Сергий, быть может, задумывался над тем, как далека его вера от почти языческой веры великого множества людей, обитавших по всему лесистому пространству вокруг, среди мерянских болот, по берегам глубоких озер и быстрых равнинных рек.

И еще я думаю о том, почему это так случилось, что настоятель провинциальной пустыньки, будучи по природе своей, можно предположить, человеком деликатным, мечтательным, склонным к уединению, оказался вдруг одним из самых энергичных и деятельных людей эпохи — политиком, дипломатом, идеологом начавшегося национально-освободительного движения и организатором крупнейшего в истории страны монастырского строительства. Он мирил между собой князей, приводил их в подчинение московскому князю, причем не только увещеванием, но и силой, закрывая у непокорных церкви.

Он благословил на борьбу с татарами великого князя Дмитрия, приехавшего к нему перед Куликовской битвой, отправил с ним двух воевод — Пересвета и Ослябю, первый из которых и начал знаменитое сражение. Наконец, с именем Сергия связано основание чуть ли не каждого из тех монастырей, которые крепостям и факториям вставляли на рубежах Московского государства.

Впрочем, быть может, во всем этом и нет противоречия.

Сергий, подобно многим людям высокого интеллекта, именно в книгах, то есть в идеях, как и в них содержались, я думаю, черпал энергию и мужество. И еще мне думается, что не случайно у него в келье находились изображения божьей матери Одигитрии и упоминавшегося мною Николая. Что до боготерца, то все объясняет уже само наименование ее, означающее — Путеводительница. А Николай призван был напоминать о твердости на избранном пути. Рассказывают, что в день посвященного ему праздника он жестоко покарал некую женщину, занявшуюся домашними делами и по этой причине не поспевшую в церковь. Сергию, конечно, житие архиепископа из ливонских Мяр было известно во всех его подробностях, и жестокость во имя веры, надо полагать, казалась ему естественной, при всем том, что вообще-то

он был мягок и добр. Я все больше склоняюсь к тому, что так оно и было на самом деле.

Я не вижу противоречия и в том, что юный мечтатель, искавший душевного покоя в общении с природой — она и сегодня прекрасна, овражистая и всхолмленная земля Радонежья, с ее темными еловыми лесами и березовыми рощами, с ее извилистыми речками, носящими ласковые имена: Воря, Пажа, Торгоша, — я не вижу противоречия, повторяю, и в том, что юноша, склад мышления которого можно бы назвать философским, оставил избранным им для себя уединенную жизнь ради соотечественников, которым в равной мере грозил гибелью насилие азиатской тирании и порождаемое ею рабство. Один и те же причины побуждали Сергия к отшельничеству и к деятельному служению людям.

Сергий умер, предполагают, семидесяти семи лет от роду.

Мне нравится думать о нем, что он, хотя с возрастом образ жизни его менялся, во многом и взгляды менялись, жил с естественным для интеллигента ощущением своего равенства со всеми людьми, не испытывал потребности в каких-либо имущественных или иерархических привилегиях, хорошо понимая, что злот его, как мы сказали бы сегодня, демократизм может вызвать у насчетчиков злобу и осуждение: «Заводите вы, ханжи, ереси новые...

беса имате в себе вы ханжи...» Он ведь уже испытал однажды, когда вводил общежительный устав, силу приверженности людей к жизненным удобствам, к привычным порядкам, вызвал против себя неприязнь и злобу чуть ли не всех троицких иноков, в том числе и старшего брата Стефана, бывшего игумена московского Богоявленского монастыря и духовника великого князя Симеона Гордого, из-за чего, можно предположить, ушел из радонежской обители и некоторое время жил в новой, основанной им Киржачской пустыни.

И когда я бываю в Загорске, особенно восемнадцатого июля, в Сергиев день, среди множества чувств, какие способны вызвать прекрасная архитектура и связанные с нею исторические воспоминания, я испытываю и некое странное, не то чтобы печальное, однако отзывающееся горечью чувство, к которому примешивается обыкновенная жалость.

После торжественной литургии на площади перед белой громадой Успенского собора, перед утвержденным на возвышении портретом Сергия, — я не могу сказать о нем «икона», потому что речь идет о действительно существовавшем человеке, известном своей земной, по преимуществу политической деятельностью, — блистающее золотом духовенство служит молебен преподобному. Покачиваются высокие округлые

митры, жестко топорщится парча, вьется пахучий дымок из кадильниц...

Мне представляется не только Византия, но и Египет, Вавилон.

Я размышляю о несоответствии между этими почестями и скромным монахом, которому они воздаются. Мне приходят на мысль обычные в подобных случаях слова: если бы он встал из гроба!.. Я представляю себе самоотверженного юношу, обращающегося к любому из неспешно шествующих по асфальтированным дорожкам монахов с теми же словами, с какими он обращался к приходившим к нему инокам: «Знайте прежде всего, что место это трудно, голодно и бедно; готовьтесь не к пище сытной, не к питью, не к покою и веселию, но к трудам, посту, печалям, напастям». Легко вообразить, как всполошились бы эти выхолившиеся на праздном житии сравнительно молодые люди в шуршащих черных рясах, с надушенными, слегка подвитыми бородами. В сущности, случилась бы та же история, которую Иван Карамазов рассказал Алеше. Если бы сегодня явился Сергей, который, как об этом говорится у Соловьева, «сам носил дрова из лесу и колот их, носил воду из колодца и ставил ведра у каждой кельи, сам готовил кушанье на всю братию, шил платье и сапоги», то ему сказали бы словами Великого Инквизитора, заявившего пришедшему на землю

Христу: «Зачем же ты пришел нам мешать?..»

Я не думаю, что такого рода размышления так уж бесплодны.

Однако вокруг столько поводов размышлять.

\* \* \*

Мне вспоминается письмо Татьяны Алексеевны Мавриной, работы которой, собственно, и побудили меня начать заметки о Загорске. Художница часто бывает здесь, жадно и подолгу рассматривает все вокруг, и на ее исполненных гуашью или темперой картинках этот единственный в своем роде чудо-городок возникает в таком своеобразии и неповторимости, какие позволяют сказать, что вслед за юоновским Загорском мы получили теперь мавринский.

«Попала я на торжественную службу в большом соборе, — писала Маврина. — Служил сам ижеместник в сверкающей митре, и еще два бородача в таких же уборах. Кудри русые, длинные (красят они их, что ли), по плечам волнами, бороды лопатами, профили строгие... Я, как язычник князь Владимир, пленилась великолепием, и блеском, и таинственностью этого действа».

Тогда я не подумал об этом, только много позднее, вспомнив эту последнюю строчку в Загорске, я вспомнил и то, что послы князя Владимира, сравнивая раз-

личные веры, предпочли греческую единственно ради «красоты» ее и «веселья». О болгарях, говорится в летописи, послы сказали, что «иестъ веселья у них, ио печаль», и у иемцев «красоты не видехом никоея», что же до греков, то «не свемы, иа иебесех ли были есмь или иа земле, иестъ бо на земле такового вида или красоты такимя... Мы убо не можем тоя забыти красоты».

Разумеется, здесь не столько определение сущности самой религии, сколько раскрытие национального характера, и если даже все это было не так или не совсем так, если Владимир не посылал «мужи мудры и смыслены» или посылал, но говорили они нечто другое, — то есть если слова эти принадлежат летописцу, скорее всего монаху, желавшему, естественно, в наилучшем виде представить исповедуемую им веру, тем больше оснований считать, что русский человек высоко ценил красоту, причем веселую.

Где-то я читал, что не истина православия и не церковный догмат, до сего дня мало кому известные, тем более во времена Владимира, — не они интересовали и привлекали народ, но перезвон колоколов, дьякоиские басы, золотые иконостасы, благолепие служб в храмах с ковровыми росписями... Автор, помнится, утверждал, что византийская красота будто бы соединилась у нас со среднеазиатской фантастикой и

что из этих двух элементов возникло причудливое, часто вычурное, фантастически чудесное русское искусство.

Спору нет, как и все европейские народы, русские испытали на себе влияние великой греческой культуры, причем непосредственно, поскольку «бе путь из Варяг в Греки», не случайно, надо полагать, в летописи говорится, что «Понтийское море», то есть Черное, «словет Русское». Что же до среднеазиатского элемента, то суждение это, впервые высказанное лет сто назад, не без основания многими опровергалось, хотя несомненно, что живость ума и отзывчивость русского человека на все полезное либо занятное не могли не побудить его позаимствоваться чем-либо у живших бок о бок с ним восточных народов.

Однако приходит мне на мысль, кроме тех или иных влияний, было ведь еще и нечто свое, коренное, от века существовавшее на нашей земле, в местах, где завязывались узлы национальной культуры, — рядом с дышащей сухим жаром печенежской степью, в виду курящегося туманом Варяжского моря и здесь, в Залесской земле, в Радонежье с его разбежавшимися к Воре и Паже оврагами, по весне белыми от черемухи, с его одинокими дубами и черно-зелеными, в гроздьях шишек исполинскими елями, теснящимися вперемежку с осинами и березами.

Строчка из письма Мавриной

о язычнике князе Владимире и пришедшая на память книга, автор которой говорит о фантастичности древнерусского искусства, побуждают меня вообразить человека той далекой поры. Понятия «красота» и «веселье» были для него равнозначны, как это следует из летописного рассказа об избрании веры. Я вспоминаю, что там же говорится о болгарях, верующих в Бохмита, то есть Магомета, как болгарин «поклонився, сядет и глядит семо и овамо, яко бесен», и мне открывается черта, распространенная еще и сегодня, — способность представить чужое в смешном виде. И вот я хожу по лавре в поисках давно исчезнувшего мира, какой застало здесь христианство.

\* \* \*

В Святых вратах лавры, стены которых с ремесленной тщательностью расписаны сюжетами из жизни ее основателя, можно видеть картину, содержанием своим близкую к верованиям людей, живших в здешних лесах тысячу лет назад. Здесь изображен Сергей и пришедший к нему медведь, то есть рассказанная Епифанием Премудрым история о том, как многие звери, в том числе волки «выюще и ревуще», являлись к Сергию, «и от них же един зверь, рекомый аркуда, еже сказуется медведь, иже повсегда обычай имат приходи́ти к преподобному».

Любая бабка, сколько-нибудь сведущая в церковности, знает хотя бы понаслышке, что к преподобному Сергию Радонежскому, когда тот жил в пустынном лесу, повадился ходить медведь и Сергий отдавал ему последний кусок хлеба. Об этом упоминает и Соловьев. Рассказывая, как отрок Варфоломей, похоронив родителей, удалился в пустыню — «лес великий и долго жил здесь один, не видя лица человеческого», историк замечает попутно, что один лишь «медведь» приходил к пустыннику делить с ним его скудную пищу».

Я всегда относил это к обычному в житиях святых баснословию, хотя мог бы вспомнить, что основатель Троицкой обители был выходцем из Ростова и что по крайней мере еще два исторических лица, связанных с Ростовом, — Ярослав Мудрый, одно время княживший здесь, и ростовский князь Константин, — как об этом рассказывает предание, были усмирителями медведей, только не лаской, что приличествует отшельнику, но силой оружия. Ярослав согласно сказанию об основании города Ярославля приехал к обитавшим в селище Медвежий угол язычникам, чтобы собрать с них дань; они выпустили на него содержавшегося в клетке лютого зверя, однако Ярослав убил его и этим поверг их в ужас. «Великого медведя» убил однажды и князь Константин. Я мог бы вспомнить и то,

что в гербе Ярославля — первоначально ростовского города — помещен вставший на задние лапы медведь с секирой.

Однако исцелованная старухами картина в воротах лавры ничего не говорила моему воображению, пока я не увидел в отделе народного искусства Загорского музея грубо высеченного из дерева медведя. Сперва я не сообразил, что это пчелиная колода и что мастер, придавший ей такую форму, надо полагать, отличался острым умом, поскольку медведь известен своей любовью к меду. Самое имя зверя, по предложению некоторых ученых, означает «поедающий мед» — «медоед», буква же «в» вставлена лишь для благозвучия, — признать, мне всегда казалось, что имя медведя скорее всего произошло от «медвед», то есть ведающий, знающий мед или заведующий медом, в чем слышится почтительное отношение к зверю, вполне понятное, если взять во внимание распространенный некогда среди многих народов медвежий культ.

Я дивился первобытной простоте, с какой вырублен был медведь. Он стоял на задних лапах, почти черный, залоснившийся от времени; туловище его представляло собою грубо обработанную колоду, голова обращена была рылом вперед, одна из лап простерта в том же направлении, круглые, обведенные белым гла-

за глядели пронзительно. Он казался мне идолом — этикетка относила его к XIX веку, но я знал, что изделия народных мастеров очень часто повторяют древние образцы. Я вспомнил, что еще не так давно в лесу, примыкающем к знаменитому Берендееву болоту, как об этом рассказывает Н. Н. Воронин в статье «Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XII веке», было найдено деревянное изваяние медведя, обитое листами железа.

Позднее я перечитал эту статью. Я прочитал и другие близкие по теме работы. Но уже тогда, дивясь языческому идолу, как я воспринимал медведя, любясь выставленной здесь же деревянной резьбой, я понял вдруг, что перед мною не просто хозяйственная утварь и украшения деревенского дома и не только произведения крестьянского искусства, но и дошедшие через века свидетельства о внутреннем мире людей, живших в те баснословные времена, когда — «в Древленех свое княжение, а Дреговичи свое, а словене в Новеграде свое... А на Беле-озере седять Вель, а на Ростовском озере Меря...».

Епифаний, кроме упомянутой истории с медведем, приходившим к Сергию, рассказывает еще и «о видении святого ученик своих», которые будто бы являлись ему в виде «множества птиц зело красных, сидящих не токмо в обители святого, но и округ обители

и въспевающимъ несказанно ангельския песни». Быть может, у Епифания это своего рода литературный прием, подумал я, когда прочитал об этом, но могло быть, что Сергию и впрямь вообразилось подобное, потому что трудно представить себе сейчас психический склад человека, жившего шестьсот лет назад, пускай интеллигента, но с определенной настроенностью, нисколько не сомневающегося, конечно, в возможности чудес.

Но однажды в начале лета в деревне под Радонежем, выйдя среди ночи погулять, я увидел курившуюся косматую землю, черные остроконечные ели и смутно белевшие стволы берез, непропорционально большой оранжевый месяц в плоском прозрачном небе; услышал несметные голоса ночной земли, среди которых различил соловьиное пение в черемуховых оврагах над Ворей и доносившееся откуда-то с сырых лугов то ослабевавшее, то снова звучавшее во всю свою грубую силу скрипучее дерганье дергача; и вообразил вдруг, как это все было сотни и сотни лет назад, когда и волк, и медведь, и рысь наполняли ночь своими голосами и птицы бесечно перепархивали во множестве.

Я понял, откуда пошли фантастические древние поверья.

«Веруемъ в поткы», то есть в птиц, с гневом говорит автор некоего «Слова», обличая жителей



здешней округи: «Коли где хочешь пойти, которая переди пограет, то станем послушающе правая или левая». Должно быть, он хорошо знал обычаи тех, к кому обращено его «Слово о злых дусех», потому что он как бы от их имени принимается рассуждать, что если-де в пути что-либо дурное стряется, то мы говорим, почему не воротились, не зря птица предупреждала, а мы не послушались.

Воронин, в статье которого я нашел приведенные строчки из древней рукописи, связывает их с известным местом из «Слова о полку Игореве», когда перед походом Игорь «нощь стонуци ему грозою птичь убуди; свист зверин вьста; взбися див, кличет врѣху древа...».

Звери и птицы, какими их видели современники Игоря или Сергия, мне представляются родственными диковинным существам, которыми я люблюсь в отделе народного искусства Загорского музея.

На выставленных здесь досках — деталях деревенского дома — вырезаны мягко изогнувшиеся львы и пардусы. Возможно, был некий смысл в том, что именно пардуса, как бы олицетворение рыцарской отваги, послал в подарок Юрию Долгорукому, домогавшемуся киевского престола, новгород-северский Святослав. О воинственном предке Юрия, киевском Святославе, летописец

говорит, что он легко ходил в походах, «аки пардус».

С иных досок, распушив хвосты и подняв узорчатые крылья, глядят птицы с человеческими лицами, кажется, готовые кликнуть по-дивьему. Обольстительно обнажившиеся девы с рыбьими хвостами изображены на других досках. Этих последних называют обычно фараонками, потому что, как объясняли жители тех мест, где имела распространение домовая резьба, фараон, когда он потонул в Черном море, преследуя евреев, стал наполовину человеком, наполовину рыбой. Название это, однако, я думаю, довольно позднее; известно, что так объясняли его грамотные мужики, хорошо знавшие библию. Грубо вырезанные широколицые сирены со свисающими чуть ли не с плеч грудями представляются мне берегинями и русалками древних славян. Они наводят на мысль о языческих русалиях в честь обновляющихся весной дожденосных духов. Веселый этот праздник в христианскую эпоху заменен был троицей и духовым днем.

Самое название досок — причелины — свидетельствует о временах, когда фасад избы уподоблялся лицу, верхняя часть, то есть лоб, соответственно именовалась челом, ну, а доски «при челе» — причелинами.

А на гребень тесовой крыши, чтобы связать оба ее ската, клали длинное бревно — охлупень,

корневые ответвления которого были обработаны в виде крутогрудого коня, рвущегося в поднебесье вместе со всем домом, и это, возможно, отвечало представлениям о небе как о некоем цветущем луге. Я смотрю на срубленное всего лишь в прошлом веке дерево, выпуклый комель которого держит над собою изогнутую конскую шею с маленькой головой, и мне кажется, что передо мною первобытный бог.

Мир «блаженных гиперборейцев», как называли древние греки обитателей неведомого Севера, исполнен был чудес и фантастики. Культура античного и первохристианского Юга встретилась здесь с лесным баснословием.

\* \* \*

Произошло это задолго до Сергия и его преемника Никона, однако и в их время, когда троицкие монахи с усердием читали и переписывали книги, когда, как любит говорить художник Н. В. Кузьмин, из Москвы в Троице-Сергиев монастырь на «вернисаж» съезжались любители живописи, поклонники преподобного Андрея, радонежского иконописца прозванием Рублев, — даже и в ту пору лесные перекликались в окрестных лесах и домовые сидели по запечьям. При всем том, что христианство уже лет четырехста было государственной религией, народ, выражаясь фигурально, продолжал молиться пеням в лесу, придав им лишь

форму креста, и, хотя церковью жестоко преследовала все, что ей представлялось языческим, он как бы обмял ее, приспособил к своему обиходу, понятиям и воззрениям — или это она приспособилась? — в результате чего появилась исполненная поэзии смесь древних обычаев, суеверий, производственных правил и установлений с внешней церковностью, мало что общего имеющая с христианскими догматами, — народный земледельческий календарь с его приметами-поговорками, святочные, масленичные и троицкие игрища и обряды, легенды и побасенки о богородице и пономаре Юрыше, о Николе, про которого — не знаю, правда, когда это случилось, — говорили, что он, когда бог помрет, будет богом.

Своеобразным свидетельством одновременного существования книжной и, я бы сказал, «лесной» культуры мне представляется то, что «самые книги не на хартиях писаху, но на берестех», как отмечает Иосиф Волоцкий. Я прочитал об этом в статье ученого секретаря Загорского музея И. И. Бурейченко, который пишет, что в описании книг Троице-Сергиева монастыря действительно значатся «свертки на деревце чудотворца Сергия». Мне тут же вспомнилось, что любимыми авторами основателя лавры и его сотрудников, как об этом говорится в упоминавшихся мною записях покой-



ного искусствоведа, были писатели, которых следует считать поэтами среди церковных писателей, и я вообразил листочки бересты со стихами Григория Богослова, питомца Александрии и Афин, или витиеватыми аллегориями синайского отшельника Иоанна Лествичника.

Произведения этих и подобных им авторов, написанные в эпоху, освещенную недавним светом эллинизма, спустя восемьсот или даже тысячу лет переписывались и читались в глухом северном лесу. Будучи по форме своей религиозными наставлениями, они, однако, не содержали в себе какого-либо догматизма или высокомерного обличения пороков, свойственного позднейшим христианским писателям, но учили тому, что самое существо человека устремлено к источникам высокого творчества, к царству любви, и это позволяет донять нравственную среду, созданную Сергием, состояние духа близкого к нему круга людей.

Можно с уверенностью сказать, что к этому кругу принадлежал Андрей Рублев, называвшийся Радонежским если не по месту рождения, то потому, возможно, что в Троицком монастыре определилось его призвание, — впрочем, могло быть, что он и родом из Радонежа и здесь же учился живописи. Известно, что троицкий постриженник Федор, племянник Сергия, был иконописцем. Рублев,

пожалуй, единственный из людей Сергиева круга, кого мы и сегодня воспринимаем как нашего современника, потому что произведения его для нас не исторические реликвии или музейные редкости, но живое, волнующее искусство.

Среди молодежи, окружавшей Сергия, был и его крестник, второй сын Дмитрия Донского — Юрий Звенигородский. В облике молодого князя, пятнадцатилетним мальчиком приехавшего в свой Звенигород, есть нечто рыцарственное. Он был талантливым полководцем и в возрасте двадцати одного года во главе московского войска, как рассказывает об этом летопись, «взя город Болгары Великие и град Жукотин и град Казань и град Керменчюк и всю землю их повоева и много Бесермен и Татар побиша, а землю Татарскую плениша». При всем том, что поход этот носил характер средневекового военного набега, — победители вернулись с «многую корыстью» — цель его была благородной, так как предпринят он был в защиту терпевших притеснения нижегородцев.

Юрий был не только удачливым воином, но и образованным человеком. Основатель знаменитого Белозерского монастыря Кирилл, утешая Юрия по случаю болезни его жены, писал ему как равному: «Слышу, что божественное писание сам вконец разумеешь, чита-

ешь и знаешь, какой нам вред приходит от похвалы человеческой...» Свои права на старшинство после смерти брата, великого князя московского Василия Юрий доказывал не одними ссылками на завещание отца, но и летописями. «Князь же Юрий Дмитриевич... — говорит Татищев, — летописцы, и старые списки, и духовную отца своего великого князя Дмитрия показа».

Война из-за великокняжеского престола, которую в течение многих лет вел Юрий Звенигородский со своим племянником Василием Темным, а после него продолжали его сыновья — Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный, по своей жестокости и опустошительности, как пишет об этом Д. С. Лихачев, напоминает современную ей войну Алой и Белой розы в Англии.

Однако война эта происходила позднее, а в ту пору, которую Лихачев так неожиданно и выразительно называет русским предвозрождением, — в ту пору для Юрия Звенигородского характерна близость с людьми Троице-Сергиева монастыря, который, по словам того же Лихачева, был центром названного предвозрожденческого движения.

Юрий испытывал сыновие чувства к своему крестному отцу — Сергию Радонежскому, с которым его связывала не только любовь, но и душевная близость. Он часто бывал в Троицкой обители, щедро

одаривал ее. Здесь сблизился он с иовым игуменом Саввой, учеником Сергия, стал его духовным сыном и пригласил к себе в Звенигород, неподалеку от которого, на горе Стороже, тот основал Саввино-Сторожевский монастырь. Скорее всего здесь же Юрий познакомился и с Андреем Рублевым.

Во всяком случае, наиболее ранние из известных работ Рублева были обнаружены в Успенском на Городке соборе в Звенигороде, построенном Юрием в конце XIV или в самом начале XV века, когда он вернулся из похода на Волгу «с великою победою и с многою корыстью». Существует предположение, что изображения на фресках собора царевич Иосиф и обративший его в христианство старец Варлаам как бы символизируют отношения Юрия и Сергия Радонежского, у которого он искал наставлений и руководства. Не лишено вероятия, что и Рождественский собор монастыря, фрески которого погибли, расписывал Рублев, едва ли оставшийся в стороне от предприятия князем Юрием строительства. Кроме этих двух соборов, Юрий Звенигородский ревностно участвовал в сооружении своего рода мавзолея над гробом Сергия Троицкого собора, постройка которого осуществлялась «помоганием христолюбивых князей», причем его рука «прострена к строению паче всех беаше».

Мне приходилось слышать и даже читать сомнительного происхождения легенды о князе, ослепившем зодчих, построивших ему в одном случае храм, в другом — хоромы, и выдавались они чуть ли не за исторические факты, в числе других, столь же достоверных, характеризующих дикость древней Руси. И хотя у меня для этого нет достаточного количества сведений, я надеюсь, что не погрешу против истины, если назову князя Юрия Звенигородского, который, будучи средневековым вонном, как свидетельствует историк, «не запятнал свое имя ни вероломством, ни излишней жестокостью», — если я назову этого поклонника Сергия и возможного друга Рублева рыцарем-меценатом. Он был, я бы сказал, русским Лоренцо Великолепным, о котором я где-то прочитал, что свойственные его эпохе нравственные недостатки возмещались до известной степени его природным благородством, и то, что имя звенигородского князя наше сознание обычно связывает с покровительством наукам и искусствам, как это мы делаем в отношении Медичи, объясняется не одним только различием между Москвой пятнадцатого столетия и Флоренцией, но и отсутствием привычки считать древнюю Русь частью Европы.

\* \* \*

Есть немалый смысл в том, что Лихачев, например, говорит о рус-

ском предвозрождении», сравнивает усобицу времен Василия Темного с войной Алой и Белой розы, а Воронин называет крепостные укрепления и княжеские палаты в Боголюбове — замком или часовню — капеллой. Общеευропейские эти слова и понятия, привычные для нас, поскольку мы знаем их с детства, будучи употребленными применительно к явлениям и фактам древнерусской истории, закрепляют в нашем сознании давно уже установленную наукой истину, что культура древней Руси является частью великой общеевропейской культуры.

Мне представляется естественным, что Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр, когда они увидели Спасский собор в Переславле-Залесском, построенный в 1152 году, в один голос воскликнули: «Роман... роман!» Они узнали черты стиля при всех его местных особенностях, в свое время распространенного в Европе, как это было позднее с барокко, классицизмом, ампиром...

И я не понимаю, как это можно, любя и уважая культуру своего народа, утверждать, что литературный его язык был «испорчен» иноземными влияниями; или же презрительно отзываться о современной, будто бы «заокеанской» архитектуре, считать необходимым возвращение к национальному зодчеству, наивно полагая, что какой-либо отошедший в историю стиль, будучи подде-

ланным, обретет силу живого искусства.

Искусство, конечно, всегда национально, но оно же всегда и современно, иначе сказать, связано с духом времени, с господствующими идеями эпохи, и лишь в тех случаях, когда какой-либо народ, на беду его, почему-нибудь бывает выключен из творящейся всем человечеством культуры, его искусство становится экзотичным, хотя бы это был respectable академизм. Экзотичной, напоминой, называют все то, что свойственно отдаленным, малоизвестным странам, что представляется необычным, причудливым, чуждым.

Мне нравятся, когда я бываю в Загорске, в Троицком соборе, размышлять, например, о том, что рублевская «Троица», было бы это благозвучно, могла называться «Троицкой Троицей», подобно тому как рафаэлевская мадонна называется «Сикстинской» — по имени храма, для которого была написана. Как известно, Рублев написал «Троицу» по повелению Никона Радонежского, преемника Сергия, «в похвалу отцу Сергию», причем произведение это, самое совершенное из всего созданного Рублевым, венчает собою долгий творческий путь художника. Точно так же и Рафаэль лет сто спустя, конечно тоже «по повелению», написал для алтаря святого Сикста в церкви бенедиктинцев знаменитую свою мадонну, я

бы сказал «в похвалу папе Сиксту II», и этим алтарным образом, по общему мнению, увенчивается искусство Рафаэля.

Я хочу этим только лишь напомнить, что обстоятельства, в каких работали художники всего христианского мира, в общем-то были одинаковы.

Впрочем, если взять такие определения, как «великолепный оптимизм», «спокойное равновесие», «нежное очарование», встретившиеся мне в книге иностранного искусствоведа, то едва ли кто отважится сказать, к кому они относятся — к Рублеву или к Рафаэлю, которого имел в виду автор.

«Русский Рафаэль», как величали его наши деды», — прочитал я о Рублеве у И. Э. Грабаря и подумал, что дело не только в той популярности, какую пользовался в те времена Рафаэль, но еще и в приведенных мною определениях особенностей его творчества, свойственных и Рублеву.

Сам Грабарь считает, что в наши дни было бы правильнее называть Андрея Рублева «русским Беато Анжелико», если уж прибегать к итальянским сравнениям. «Они не только современники, — пишет он, — не только оба были монахами и за одним народная память сохранила прозвище «преподобного», а за другим «блаженного», но в самом их искусстве, в его чудесной внутренней гармонии и обязательности, в лег-

ких линиях и нежных красках есть отдаленное духовное родство, не вполне стираемое даже глубочайшим различием итальянского и русского художественно-го миропонимания».

Но я не искусствовед, меня занимают не художественные анализы.

«Италийские сравнения», к которым, подобно дедам, прибегнул и Грабарь, лишней раз напоминают мне, когда я бываю в Загорске, насколько этот центр русского предвозрождения, имея основанием своим чуть ли не к каменному веку уходящий материк народной культуры, одновременно состоял в духовном родстве с культурой общеевропейской.

\* \* \*

Многое здесь счастливо соединилось для процветания искусства.

Поэтические воззрения народа, существование которого определялось суровой северной природой, сплелись здесь с утонченным вкусом, воспитанным греческой образованностью. «Византийские рукописи для древней Руси, — считал Ф. И. Буслаев, — были проводниками не только древнехристианских идей, но и античных форм, выражающих эти идеи». Мне представляется не случайным, что едва ли не первое письменное упоминание о русском человеке, наслаждавшемся живописью, имеет в виду

Андрея Рублева и его друга Даниила Черного, которые, «на седищах сидя и перед собой имея божественные и всечестные иконы», взирали на них, «исполняясь радости и светлости». Будучи средоточием учености, монастырь был и эстетической школой.

Однако искусству необходимы еще и материальные средства.

Троицкий монастырь вскоре после смерти его основателя, ставшего обителем не царскою милостью, не крестьянским потом, но трудами монахов, стал обладателем больших, с течением времени все возрастающих материальных ценностей, отчасти благодаря князьям-меценатам, в значительной же степени благодаря труду монастырских крестьян.

Была здесь и нравственная основа, без которой нет искусства.

Когда я задумываюсь над тем, сколько выдающихся деятелей и блестящих умов собралось вокруг Сергия Радонежского, и в моем воображении встают все те, кого воспитал он сам или его ученики — Роман Киржачский и Андроник Спасский, Мефодий Песношский и Авраамий Городецкий, Федор Симоновский и Афанасий Высоцкий, Савва Сторожевский, Павел Обнорский, Дмитрий Прилуцкий, Нил Сорский, Зосима и Савватий Соловецкие, Кирилл и Ферапонт Белозерские и другие основатели монастырей, — я понимаю, конечно, что деятельность их была связана с теми огромны-



ми сдвигами, какие происходили в пору завершавшегося объединения русских земель в единое государство, и все же, пускай это покажется искусственным, они представляются мне похожими на прославленных в героических легендах благородных рыцарей короля Артура.

Они так же красивы своим единодушием, своей верностью.

Дружба между Сергием Радонежским и Стефаном Пермским была так сильна, что однажды, когда Сергей с братиею сидели за трапезой, он будто бы почувствовал, как Стефан, направляясь из Перми в Москву, приближается к монастырю, и обратился к нему со словами приветия.

Конечно, это характеризует литературную манеру автора жития, выдавшего за достоверное названный случай, его склонность к преувеличениям, к возвышенным описаниям, что было свойственно литературе того времени, но это же свидетельствует и об эмоциональной атмосфере, в какой жили Сергей и его друзья, к которым, кстати сказать, принадлежал и автор, о развитом здесь ощущении близости друг другу, об отзывчивости и впечатлительности этих людей.

Они и мужественны, как подobaет рыцарям.

Шестидесятилетним стариком пришел Кирилл со своим другом Ферапонтом на гору Мауру в Белозерском крае, куда и сейчас не

во всякое время года проедешь на автомобиле. Мне случилось однажды летом, в тихий и жаркий час, пройдя километров пять от Кириллова, стоять на вершине этой горы в высокой цветущей траве, среди редких сосен.

Отсюда было видно на все стороны, и я одновременно любовался синевшим впереди Сиверским озером с белыми крепостными стенами монастыря на его берегу и широко разлившейся справа, за темной полосой леса, меж лугами, подпертой плотинами Шексной, за которой снова темнели простершиеся до самого горизонта леса.

Пароход отчаливал от пристани за монастырем. И Шексной, празднично белея, не то в Череповец, не то из Череповца, я еще не разобрался в этом, шел дальний красавец теплоход. Над Кирилловом, едва дымя, чернели тонкие трубы каких-то местных предприятий. Впереди города, левее озера, тянулись заборы и длинные крыши всякого рода баз и складов.

В лугах уже круглились стога. Хлеба еще стояли неубранные.

По дороге, оглябая Мауру, бежал в гору зеленый «газик».

Все вокруг являло следы человеческой деятельности, все было обжитое, хотя в рельефе полей, желтевших между лесами, в обширности самих лесов, в цвете озерной воды и даже неба угадывалась первобытность.

Я представлял себе, как пятьсот восемьдесят лет назад стояли здесь оставившие Москву два инока Симонова монастыря, оглядывая открывшийся им лесной край — темную, слегка кудрявую, приподнятую в местах, где ее подпирали холмы, бескрайнюю поверхность лесов с синевшими в разрывах озерами и реками в зеленых берегах. Ферапонт уже бывал здесь, и теперь он привел своего друга Кирилла, мечтавшего, как и он, по примеру Сергия Радонежского основать в каком-либо пустынном крае свой монастырь.

Они спустились к Сиверскому озеру, возле которого, выкопав в склоне холма пещеру, поселился Кирилл, а Ферапонт отправился дальше и обосновался на берегу другого озера, отстоящего в восемнадцати верстах.

Мне пришло вдруг на мысль, что «пещера», в которой жил Кирилл, или Нил Сорский, постриженик Кириллова монастыря, основавший здесь же, неподалеку, отшельнический скит, — что пещера эта есть не что иное, как извечная землянка русского устроителя земли, в какой он обитал и при Владимире Мономахе, когда на месте мерянского поселения строил крепость в Суздале, и восемьсот двадцать лет спустя, когда обживал Магнитную гору.

В устроенности, которую я видел вокруг, был и труд Кирилла.

Когда академик М. Н. Тихомиров говорит о громадной культурной работе, какую проделал русский народ, освоивший пустынные места, вековые леса и непроходимые топи в условиях суровой зимы и жаркого, порой знойного лета, то здесь, я думаю, надо вспомнить и Сергия Радонежского с его сподвижниками и последователями, основавшими более тридцати пустынных монастырей.

В современной науке существует суждение, что монастыри эти основывались в местах обитаемых, однако нужно ли доказывать, что монастырь, будучи феодом, и, следовательно, эксплуатируя окрестных жителей, одновременно был и средоточием культуры, что с монахами в дикие лесные дебри приходили грамотность, искусство, архитектура, медицинская помощь, более совершенные методы ведения хозяйства...

Не требуется ни особенного ума, ни знаний, чтобы отнестись к этим людям с высокомерием человека, которому случилось родиться лет на пятьсот позже, высмеять их за то, что они думали не так, как думаем мы. Однако не одной только справедливости ради, хотя и этого достаточно, а для лучшего понимания жизни, мне кажется, следует знать то хорошее, что было в людях Сергиева круга.

Круг Сергия составляли и ветраны Куликовской битвы.

Душевный склад всех этих людей, нравственное состояние и энергия народа, освобождавшегося от татарского ига, закладывавшего многие начала, — это и была та сила, думается мне всякий раз, когда я бываю в Загорске, какая дивно явила себя здесь и собрала все прочее, из чего складывается искусство.

\* \* \*

Случилось так, что мне представилась возможность размышлять на подобные темы довольно часто. Начав эти заметки в Москве, я продолжал их недалеке от Загорска, в деревне под Радонежем, где жил осенью 1965 и летом 1966 года. Приезжая в Загорск, любуясь крутостенной и многобашенной, круглящейся золотыми и синими глазами и сияющей крестами лаврой, я не уставал дивиться тому, как труд, фантазия, чувства и мысли многих поколений людей, даже несчастья, подобные, например, войне и вызванной ею необходимости возводить оборонительные сооружения, — как все это чудесным способом преобразилось в единое и совершенное произведение архитектуры.

Уже Сергей, по словам автора жития, едва у него появились к тому средства, «монастырь больший распространив, келии убо четверообразно устроити повеле, посреде же церковь большую

въздвигне, отсюду видима яко зеркало». Иначе сказать, еще в ту пору, когда вокруг шумел первобытный лес, здесь явила себя архитектурная мысль, распределенная в пространстве части композиции и утвердившая ее центр — церковь Троицы, отовсюду видимую «яко зеркало», причем в этом последнем мне слышится тот смысл, что она связана с остальными зданиями монастыря, как зеркало со своим отражением.

Мне доставляет удовольствие, прогуливаясь лаврой, думать о том, что все это на первый взгляд случайное, однако удивительно гармоничное соединение зданий, столь разных по объемам своим и формам, от самых строгих, суровых и до прихотливо, с некоторой даже изощренностью украшенных, о которых Теофиль Готье, приезжавший сюда в середине прошлого столетия, говорил, что они похожи на выросшие без всякого порядка растения, появившиеся на том клочке земли, где каждое из них нашло для себя благоприятную почву, — что весь этот как бы сам собою возникший чудо-городок основанием своим имеет сложившийся чуть ли не шестьсот лет назад градостроительный план, в котором некий центр подчиняет себе окружающие его постройки.

Сама по себе ясность планировочной мысли, даже если оставить в стороне художественные

достоинства зданий, посредством которых она приобретает материальную форму, мне всегда представляется выражением высокой поэзии. Здесь же, в лавре, я наслаждаюсь еще и некоей иррациональной атмосферой, происходянием своим обязанной такту и художественному чутью, с каким каждое последующее поколение зодчих отнеслось к работе своих предшественников, — исключение составляют ремесленные поделки, производившиеся и в восемнадцатом и в двадцатом столетиях по указанию лаврского духовенства, во многих случаях, впрочем, устроенные советскими реставраторами.

Церковь Троицы — пускай не та, деревянная, что возведена была Сергием, а каменная, сооруженная на ее месте князем Юрием, хотя монастырь и распространился и она уже не стоит посередине, хотя впоследствии были построены более высокие здания, — все же продолжает оставаться центром ансамбля.

Я не столько знал это, сколько чувствовал, быть может, потому, что к площади возле нее сходятся все здешние пути или же из-за того, что она ниже отстоящих от нее на известном расстоянии зданий.

Но однажды я прочитал книгу И. В. Трофимова «Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры», из которой узнал, что архитектурная мысль нескольких

поколений строителей, стесненных рядом практических требований, сумела, следуя в этом за древнегреческими зодчими, самую необходимость превратить в выгоду и выработала композицию, напоминающую солнечную систему, где солнце является центром для планет, а планеты — для своих спутников.

С тех пор, бывая в Загорске, я испытываю удовольствие еще и оттого, что мне известна закономерность, согласно которой каждое большое здание контрастно сопоставляется здесь с малым: Успенский собор — с Надкладезной часовней, трапезная — с Михеевской церковью, колокольня — с церковью Одигитрии. Это как бы спутники, подчеркивающие значительность сооружения. И только Троицкий собор не имеет спутника именно потому, что он центр, в отношении которого спутниками являются все остальные здания.

И хотя мне все здесь знакомо, я радуюсь тому, как постепенно и неожиданно раскрывается перед мной архитектура, причем каждая последующая картина прекрасней предыдущей, а под конец возникает Троицкий собор.

Автор названной книги сравнивает постепенную подготовку заключительного эффекта в лавре с эффектом неожиданности в постепенном раскрытии архитектуры в Афинском акрополе. Этот же самый эффект мне знаком по

моим прогулкам в окрестностях деревни, где писались настоящие заметки, когда, обойдя дремучий, заросший ельником овраг, я выходил вдруг на обширное, выпуклое, цвета гречишного меда, спелое пшеничное поле, огибал его, а за ним оказывалась речка с нависшим над нею узколистным ивняком, за речной излучиной — плоский светлый лужок и село с белой церковью на крутом берегу.

\* \* \*

Одижды, будучи в Загорске, я шел мимо Духовской церкви, построенной псковичами при Иване III и восстановленной реставраторами в ее первоначальном виде, со звонницей под барабаном купола, служившей в древности дозорной вышкой. Я любовался слегка вытянутым объемом храма, при котором три алтарных выступа походили на тесно сдвинутые колонны. Здание было устремлено вверх, и это его движение усиливалось полукруглыми с острием посредине завершениями стен, кокошниками звонницы, в несколько уменьшенном виде повторяющими тот же рисунок. Голубая маковица с золотыми звездами и ободом на выпуклых боках венчала церковь.

Стройностью своей она подчеркивала приземистость Троицкого собора. При всей моей не любви к подобным сравнениям я увидел в соборе кражистого

Илью Муромца, а в Духовском храме — статного Алешу Поповича.

Сооруженное более полувека спустя здание это как бы переняло у собора его высотное, господствующее над всеми другими постройками положение, однако при этом несколько не заслонило собор, не подавило его собою.

Я взглянул на отстоявший в не столь уж большом отдалении Успенский собор, законченный постройкой в 1585 году, и убедился, что величественный этот храм с мощными его пятью главами, через сто шестьдесят три года после Троицкого собора и сто девять лет после Духовской церкви, в свою очередь ставший господствующим в высоте зданием монастырского ансамбля, при всей своей громадности не закрыл и не прижал к земле два соседних храма.

После этого естественным было перевести взгляд на уходящую уступ за уступом в поднебесье прозрачную от сквозных пролетов колокольню, возведенную по проекту Д. В. Утомского к концу шестидесятых годов XVIII века, и восхититься тем, как все главенствовавшие до нее в воздухе храмы ансамбля, передававшие один другому это свое главенство, вовлечены колокольней в некое стремительное и одновременно застывшее движение вверх.

Ученый-архитектор назвал все

это работой единой мысли, в течение трехсот с лишним лет руководившей зодчими в их поисках высотной доминанты, которая гармонически сочеталась бы с окружающим архитектурным ансамблем. Нисколько не оспаривая подобного определения, я хотел бы только сказать, что здесь нам снова явился пример того, как мастер, почтительно относясь к труду предшественника, тем самым выигрывает в своем мастерстве.

Лавра в Загорске всегда представляется мне произведением множества художников, на протяжении чуть ли не пяти веков из поколения в поколение исполнявших этот свой коллективный труд. Я вспоминаю, как Епифаний Премудрый, рассказывая о Рублеве, считал необходимым сообщить не только то, что Рублев был «иконописец прензрядный», но и то, что он всех превосходящ «в мудрости зелье, седины честные имея», этим последним, на мой взгляд, подчеркнув тесную связь мастерства с нравственным обликом художника. И я хочу думать, что еще в ту далекую пору здесь сложилась некая особенная, свободная и естественная художественная среда, благодаря чему при одном лишь упоминании о Загорске в нашем воображении встают исполненный Рублевым с товарищами Тронцкий иконостас и грубо вырезанные из дерева фараоны, похожие на языческих

тотемов; строгие плоскости соборных стен и расписанная «шахмат» трапезная; мерцающий узор серебряной ткани и пестро раскрашенные деревянные игрушки, первые из которых будто бы резал здесь еще Сергей, даривший их окрестным детям.

К художникам, создававшим Загорск, следует прибавить и тех, кто изображал его. Существует Загорск Юона — то рождественский или масленичный, с крестьянскими дровнями и купеческими возками на полозьях, запряженными мохнатыми лошадками под расписными дугами; то весенний или летний, с проталинами в снегу, с зелеными оврагами, с выбежавшими на крылечко девчонками, с галками и голубями в небе, вспугнутыми колокольным звоном, — Загорск начала нашего века, исполненный очарования крутосклонной, заросшей бузной русской провинции.

Существует Загорск Мавриной — сегодняшней, но как бы увиденный послами князя Владимира, заметившими, что волжский болгарин, совершив поклон своему Бохмиту, «сядет и глядит семо и овамо, яко бесен», или тем же мастером, который резал из дерева идола-медведя.

Маврину принято называть сказочницей, что вообще-то верно, однако слово это за последнее время стало чуть ли не синонимом национального, его употребляют не только применительно к

русскому народному искусству, но и к древней живописи, даже архитектуре, и от неумеренного, чаще всего без основания на то, употребления оно утратило всякую материальную нагрузку, отзывается слащавостью, красиво-стью...

Между тем при всей ее фантастичности сказка всегда содержит реальную, земную основу — даже богов и демонов люди создавали по образу своему и подобию, только лишь преувеличивая человеческие добродетели и пороки, потому что склонность к преувеличению, к подчеркиванию характерного — отличительная черта народного искусства.

Маврина изображает природу, архитектуру и уличные сценки с тем коренным, изначальным реализмом, каким отличаются вылепленные из глины, раскрашенные мексиканские женские фигурки, относящиеся ко второму тысячелетию до нашей эры, и современные нам росписи по дереву из села Полховский Майдан Горьковской области. Когда на мексиканской выставке я разглядывал древних глиняных человечков, мне представился праотец, вылепивший однажды из глины собственное подобие и объяснивший этим свое происхождение. А цветы с полховско-майданских матрешек и коробочек побуждают вообразить эдемский сад.

В картинах Мавриной архаика народного искусства с его непо-

средственностью и верностью основному в натуре сочетается с современной живописной культурой, ведущей свое происхождение от импрессионистов, и это все та же связь «лесной» культуры с культурой книжной.

\* \* \*

Как-то я приехал в Загорск под вечер в Успенье.

Пожилые мужчины и женщины, от которых пахло немывтым телом, толкаясь, подняв высоко над головами бидоны и бутылки, под непрерывное дребезжание и звяканье, какие издают, сталкиваясь, жест, стекло и эмалированное железо, пробивались к дверям Надкладезной часовни, теснясь, исчезали в ней, затем выдирались оттуда со святой водой.

Невдалеке от Успенского собора, куда уже нельзя было войти, так тесно стояли там люди и таким жарким был воздух, сидела в кресле на колесах молодая девушка с горячечным лицом, укутанная одеялами, хотя был еще только конец августа и вечер ожидался теплый. Она бессмысленно улыбалась и по временам говорила что-то невнятное, к чему внимательно прислушивались окружавшие ее женщины. Прикатившая кресло щеголеватая девица в драповом пальто, пестрой косынке и скрипучих, блестящих лаком ботиках, полузгиная

семечки, объясняла слова прорицательницы, попутно рассказывая, что они с этой девочкой вовсе не сестры, приехали из-под Курска, иочуют на вокзале.

Мимо меня прошли, разговаривая, тощий темиобородый мужчина в пропыленном синем плаще и болезненный на вид юноша лет двадцати, отец и сын скорее всего, и я расслышал, как старик сказал: «С утра и окунись».

Об этом же заговорили позади меня в толпе, теснившейся в ожидании выноса плащаницы перед западными дверями собора. Я оглянулся и увидел нескладную девку в коротковатом розовом платьишке — таких девок я не встречал по меньшей мере лет тридцать. Сложив под грудями руки и переступая с ноги на ногу, словно ей было холодно, она хвастливо сказала каким-то старухам, что уже «окунулась», и с некоторой неуверенностью добавила: «Говорят, помогает», — в какой она нуждалась помощи, догадаться было трудно.

Одна из старух заметила, что кто верует, тому помогает.

Девка поспешно сказала, что она верует, иа ней «хрест».

Вдруг послышался высокий истерический вскрик. На каменных ступенях широкого крыльца колокольни, в часы праздничных зрелищ обычно уставленного народом, ио сейчас еще пустого, одиноко сидела нестарая женщина, обхватив голову руками, быстро

и коротко кланялась, время от времени, остановившись, озиравшись по сторонам и вдруг, словно от виезалиного приступа боли, вскрикивала.

Стоявшая рядом со мной старуха сочувственно сказала: «Кликуша».

Пенсионного вида плотный мужчина в силу того, должно быть, что он был среди старух единственный, пользовавшийся у них авторитетом, наставительно проговорил, что это болезнь такая, называется «бесиоватая».

«Веруем в поткы», — подумал я о всех этих людях.

Мысль эта приходила мне и раньше, в ней не было ни поспешности, ни сознания собственного над всеми превосходства, в подобных случаях не то что немудрого, а просто-таки безнравственного, ио только жалость. В большинстве своем сюда приезжают несчастные люди.

Болезни, неустроенная старость, семейные неурядицы, смерть близких, обыкновенная бедность и бедность повседневных впечатлений привели сюда этих людей, ищущих утешиться, отвлечься, а то и развлечься, и, если взять во внимание, что все это совершается здесь чуть ли не шестьсот лет, причем число нуждающихся в утешении было неизмеримо больше, потому что и горя было больше — достаточно назвать хотя бы татарские набеги или моровые поветрия, — и терпит всякую бе-



ду по преимуществу простой народ, — если вдруг вообразить, сколько слез было пролито в Загорске в течение полутысячи лет, то место это и впрямь следует почитать святым, заповедным.

Здесь нельзя не думать о том, как необходимо человеку хоть какое-нибудь счастье, хоть какая-нибудь духовная жизнь, нельзя не мечтать о времени, когда не будет ни страждущих, ни обремененных и у каждого достанет крепости духа, чтобы не утраститься развершейся вдруг перед ним бездны.

Таким образом размышляя, что случается всегда, когда попадаешь в какое-либо историческое место, потому что таково уж свойство древних камней, что они задают работу мысли, прогуливался я в тот предвечерний час между храмами и палатами лавры, стены которых, то гладкие, белые или красные, едва тронутые резным узором, то в украшенных лепкой колонках, пестро расписанные, освещены были садящимся солнцем.

Шум автомобильной дороги скорее угадывался, чем достигал сюда.

Жизненный центр страны давно переместился с горы Маковец, но история тоже ведь жизнь, потому что прошедшее, как и будущее, существует в настоящем, и все те люди, какие когда-либо прошли по этой земле, если я хоть

что-нибудь о них знал, существовали рядом со мной.

Вот здесь, в Троицком соборе, заперся в страхе Василий Второй, тогда еще не называвшийся Темным, то есть слепым, а воинство Дмитрия Шемяки, прискакавшее сюда во главе с Иваном Можайским, «яко на лов сладок», повсюду искало великого князя, и он, не надеясь на свое укрытие, догадываясь об ожидавшей его страшной участи, стал кричать: «Брате, помилуйте мя, не лишите мя зрети образа божия», обещая остаться в монастыре, постричься в монахи.

Великий князь лежал ниц у гроба Сергия, «слезами себя обливая и вельми воздыхая, кричанием моляся, захлипаяся», но Можайский, двоюродный его брат, приказал одному из своих людей: «Возьми его», — и пошел из церкви.

Василия, рассказывает летописец, посадили «в голыи сани», бояр его, ограбив, «нагих попускаше», после чего, «яко же некоторый сладкий лов уловише», победители отправились в Москву, куда прибыли в понедельник на ночь. «В среду на той же неделе на ночь ослепиша великого князя». Где-то здесь последний раз взглянули на небо Никон Шидов и Слота, крестьяне села Клементьевского, находившегося неподалеку.

На серой от пыли чугунной доске в воротах лавры, постав-

ленной «тщанием Московского отдела Императорского Русского Военно-Исторического общества», мимо которой обычно проходят, не останавливаясь, тогда как находящиеся по соседству баснословные картины из жития Сергия привлекают всеобщее внимание, я прочитал однажды, что «9 ноября 1608 г. во время достопамятной осады Свято-Троицкия Сергиевы Лавры польскими и литовскими отрядами, вражеский подкоп, веденный под Пятницкую башню, был геройски уничтожен Клементьевскими крестьянами Никоном Шиловым и Слотою, тут же в подкопе и сгоревшими».

Были они скорее всего не старые мужики. Слота — судя по тому, что этим словом в старину называли непогоду, ненастье, был, надо думать, человек хмурый, суровый, и едва ли будет ошибкой предположить, что мысли его и его товарища относительно монастыря, за стенами которого они укрылись со своими семьями, не были столь отчетливы, как в приговоре Священного собора, заявившего, что если Троицкий монастырь будет взят, то и «весь предел Российский» погибнет.

Просто представлялось мне, оба они, вызвавшись охотниками, как это в течение последующих столетий не раз делали в подобных обстоятельствах русские мужики, пошли неспешной, вперевалку, походкой, какой ходят пахари и землекопы, и, взглянув на мглиц-

тое осеннее небо, потому что нельзя не взглянуть, когда спускаешься под землю, скрылись в подкопе, который велся навстречу вражескому.

Сюда, в лавру, выскочив из дому не одетым, прискакал ранним августовским утром из села Преображенского семнадцатилетний Петр, смертельно испуганный известием, что стрельцы, собранные Софьей в Кремле, замышляют идти бунтом в Преображенское.

Образовалось как бы две столы. Народ в ужасе ожидал новой смуты, а в высших кругах мучительно решали, оставаться ли в Москве или ехать к Троице. Но вот сюда прибыл патриарх, посланный Софьей для переговоров, и не захотел возвращаться. Вслед за патриархом, повинувшись царскому указу, стали прибывать и стрельцы. Два месяца спустя после ночного бегства, заточив Софью в монастырь и казнив ее приспешников, Петр уезжал из лавры единовластным государем.

Гора Маковец, плотно населена во времени.

Есть места, прошлое которых пустынно, здесь же стоит великая теснота, вместившая крестьян и царей, монахов и воинов, строителей и художников... Однако не внутри этих стен, а за ними продолжается завязавшаяся некогда в этом месте история, как это случается с рекой, прорывшей новое русло.

Мое внимание привлек молодой монах, уединенно сидевший с книгой в опущенной на колени руке. Он сидел, откинув обнаженную голову в золотистых, чуть выходящих кудрях, впериw взгляд в пространство, не замечая ни любопытствующих, ни умиляющихся прохожих, словно беседуя с богом. В этой его позе, пускай не нарочитой, отвечающей истинному состоянию его духа, в черной шелковой рясе, подпоясанной широким и пестрым бисерным кушаком и ниспадающей свободными складками, — во всем этом была известная картинность.

Монах показался мне актером, исполняющим роль, и не только оттого, что церковность чужда мне, но еще и потому, я думаю, что он был несовместим с нашим по преимуществу рационалистическим, склонным к естественности временем, в равной мере свободным от сентиментализма и аффектации, как, скажем, был бы несовместим с ним юноша, с которого Гёте писал своего Вертера.

Между тем стемнело.

Перед Успенским собором, стены которого, смутно белея за деревьями, уходили вверх и постепенно сливались с тьмой, а в распахнутых дверях горячо блестело золото и пылали огни, тесной толпой стоял народ, и со стороны казалось, что собор как бы вырастает из этой плотной черной массы. Время от времени толпа освещалась вдруг огоньками све-

чей, поспешно зажигавшихся одна вслед за другой. Потом оказывалось, что плащаницу еще не несут, и свечи с тою же поспешностью гасились. Это повторялось все чаще и чаще, выдавая нервное напряжение, с каким все ожидали зрелища.

Должно быть, тоже томясь ожиданием, вскрикивала кликуша.

Наконец размеренно и однозвонно зазвонили колокола. Мгновенно зажглись тонкие свечи в руках людей. В дверях собора возникла толчая. И вот с большим выносным фонарем впереди, с крестами и хоругвями, с носилками, покрытыми черным, вышитым серебром покрывалом, стала медленно выходить процессия.

Покамест она огибала собор с юга, я поспешил к Северной стене.

Освещенная расплывчатым светом фонаря и острыми огоньками свечей, процессия выдвинулась из-за мощных округлостей алтарных апсид, башнями поднимавшихся к дымчатому небу. Черные одежды монахов придавали шествию общий траурный тон. Свечи, утвержденные в сложенных горстью руках, освещали каждое лицо снизу, и поэтому все лица как бы светились и у всех одинаково блестели глаза. Мелкие одновременные шажки, какими передвигались люди, создавали впечатление слитности и вместе с этим произвольности движения. Все сразу, согласно и

нараспев, выговаривали: «Святый боже, святой крепкий...»

Процессия приблизилась, запахло горячим воском.

Под самыми носилками с плащаницей шествовал архиерей в серебряном облачении, распространяя вокруг сияние. Этим как бы утверждался центр процессии, к которому обращены были взгляды. В вышине плыл погребальный звон, и начинало казаться, что под черным покрывалом на носилках лежит покойник. Я смотрел на все с ощущением, будто совершаются похороны.

Архиерей, помещавшийся под мертвым телом богини, показался мне жрецом древней восточной религии. Возможно, еще в Ханаане, жители которого оплакивали осенью умершего бога урожая, сложился прообраз этой процессии или еще раньше, в Шумере, где богослужения Луне сопровождалось шествиями жрецов в белых одеждах, быть может траурными, когда Луна исчезала. Я подумал, что первыми актерами и режиссерами человечества были жрецы, плясавшие впереди народа, когда у него были причины радоваться, и собиравшие его в скорбные колонны, когда он пребывал в печали. Из лавры я выходил, как из театра.

Я щурился от света уличных фонарей и витрин магазинов. Как это бывает после талантливого спектакля, я некоторое время не мог установить связи с миром,

существовавшим отдельно от искусства, власть которого только что испытал, не мог войти в ритм творившейся вокруг жизни.

Я постоял у перехода через дорогу, знакомую мне на всем протяжении ее пути от Москвы до северных городов, проводил взглядом дальний рейсовый автобус, запыленный зад которого грузно осел, вообразил, как по сторонам автобуса, освещенный фарами, будет бежать назад еловый лес, как неподалеку от Ярославля откроется весь в огнях фантастический городок из исполтинских серебристых шаров и цилиндров, оплетенных решетчатым железом, выстроившихся рядами.

Мне вспомнились слова Ключевского о черной подготовительной работе цивилизации, на которую ушли века упорной борьбы с лесами и болотами, о том, что вслед за этим, не теряя приобретенной житейской выносливости, необходимо напряженно работать над самими собой, развивать свои умственные и нравственные силы, и я подумал, что в той задаче самоусовершенствования, какая постоянно стоит перед человеком, не обойтись без опыта, который содержится в истории народа, каким бы далеким и наивным, на наш взгляд, целям ни служили нравственные черты предков.

Двойная власть искусства и старины владеет мною в Загорске.

## КОРОТКО ОБ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ЗЕМЛИ ФРАНЦА-НОСИФА

Из дневников участника  
экспедиции

Борис  
ГРОМОВ



Арктика. Страной ледяного безмолвия, беспредельных просторов, жестоких холодов, буранов — такой представлялась она человечеству в прошлом и в начале этого века. Разгадать ее тайны

пытались известные ученые Фритьоф Нансен, Руал Амундсен, Георгий Седов и многие другие исследователи. А до них архангельские поморы и новгородские выходцы еще в XIII столетии с целью торговли промысловым зверем на крошечных ладьях пробирались к Груманту (старинное название Шпицбергена), Новой Земле, Гренландии.

В 1870 году в Русском географическом обществе был поставлен вопрос о необходимости снарядить полярную экспедицию. Знаменитому ученому П. А. Кропоткину поручили составить проект и обосновать необходимость ее организации. В своем замечательном проекте ученый, между прочим, написал:

«Только вряд ли одна группа островов Шпицбергена была бы в состоянии удержать огромные массы льда, занимающие пространство в несколько тысяч квадратных миль, в постоянно одинаковом положении между Шпицбергом и Новой Землей. Не представляет ли нам это обстоятельство, равно как и относительно легкое достижение северной части Шпицбергена, право думать, что между этим островом и Новой Землей находится еще не открытая земля, которая простирается к северу дальше Шпицбергена и удерживает льды за собою?»

Гипотеза П. А. Кропоткина была основана исключительно на

логическом рассуждении: «Если б к северу от Новой Земли не было никакой земли, никакой преграды, то грандиозные ледяные массы, ползущие с полюса, шли бы и дальше к югу, надвигаясь на Европу. Но этого в действительности нет. Значит, им что-то мешает, что-то тормозит их ход. Этим тормозом и должна служить земля или группа, архипелаг островов».

Несмотря на гениальность замысла, царское правительство не отпустило средств на экспедицию, считая проект прожектерством.

Между тем мыслями и проектом русского ученого заинтересовались за границей, и в 1872 году из германского порта Бремергафен вышло деревянное судно «Тегеттгоф» под руководством лейтенантов австрийского флота Ю. Пайера и К. Вейпрехта. Экспедиция отправилась к «белому пятну» на географической карте Арктики.

Только на четвертый год после длительного дрейфа льдов, зажавших «Тегеттгоф», путешественники случайно достигли архипелага и назвали его именем императора Франца-Иосифа, не имевшего никакого отношения к Арктике. Великолепный прогноз П. А. Кропоткина о существовании земли в северной части Баренцева моря блестяще оправдался. У берегов нового архипелага «Тегеттгоф» попал в ледяной плен.

Потеряв надежду на освобождение

зажатого льдами судна, австрийцы решили на шлюпках добраться до Новой Земли, где можно встретить русских промышленников. После долгого изнурительного пути они достигли мыса Бритвина, находящегося на южном острове Новой Земли, а в соседней бухте обнаружили два судна — русские промысловые шхуны. Австро-венгерскую экспедицию благополучно доставил в норвежский порт Варде на шхуне «Николай» промышленник Федор Воронин.

В 1880—1881 годах на Земле Франца-Иосифа в тяжелых условиях зимовала английская экспедиция Ли Смита, три года подряд прожил шотландец Фредерик Джексон, в 1895 году здесь побывал Фритьоф Нансен, в 1912 году — экспедиция лейтенанта Г. Я. Седова и многие другие путешественники.

В 1926 году Совет Народных Комиссаров опубликовал декрет, в котором указывалось, что «Территорией СССР объявляются все, как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, не составляющие к моменту опубликования этого постановления признанной правительством СССР территории каких-либо иностранных государств, расположенных в Северном Ледовитом океане к северу от побережья СССР до Северного полюса в пределах между зоной СССР, т. е. между меридиа-

ном 32° 04' 35" восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда — Губе и меридианом 168° 49' 30" западной долготы». Таким образом, декретом Советского правительства и Земля Франца-Иосифа была объявлена нашей территорией.

До издания этого декрета Советское правительство проконсультировалось с австрийским правительством по вопросу о территориальной принадлежности Земли Франца-Иосифа. Австрийцы сообщили о своей незаинтересованности. Но правительства других стран заявили, что они не будут признавать за СССР ни одной земли или острова, в том числе и Землю Франца-Иосифа, до тех пор, пока на них не будет полярной станции. Кроме того, были получены сведения, что одна из стран готовит туда экспедицию. Тогда было решено отправить в 1929 году на Землю Франца-Иосифа арктическую экспедицию на ледокольном пароходе «Георгий Седов» и организовать там зимовку. Начальником экспедиции был назначен профессор О. Ю. Шмидт, заместителями — известные специалисты Арктики профессор В. Ю. Визе и Р. Л. Самойлович. Капитаном — один из лучших полярных мореплавателей, В. И. Воронин. Автору этих строк — специальному корреспонденту газеты «Известия» — впервые посчастливилось участвовать в этой экспедиции, быть

свидетелем мужества и настойчивости моряков, великолепной работы ученых.

\* \* \*

...Последний гудок паровоза, и Москва позади. Мы подъезжали к столице северного края Архангельску — городу, откуда предстояло отправиться в неведомую Арктику.

Широкая гладь красавицы Северной Двины взволнована резкими порывами ветра, дувшего из открытого моря. По реке, захлебываясь в волнах, спешили небольшие портовые катера. По ту сторону реки, вытянувшись длинной лентой вдоль берега, раскинулся Архангельск.

У Красной пристани, перекинув трапы, стоял наш ледокольный пароход. Вот уже неделю в его трюмы грузили продовольствие, доски, бревна, кирпичи. Приступили к погрузке угля. У бака — отчаянная возня: там матросы грузили коров. Ошалелые, с тупыми, ничего не понимающими глазами, растопылив ноги, они болтались в воздухе на стропях лебедки. К вечеру доставили для зимовщиков тринадцать ездовых собак. Первое время они старательно знакомились, обнюхивали друг друга и лишь изредка злобно рычали. Подраться им было нельзя: их прикрепили поводками к пристанской стене на достаточно далекое между ними

расстояние. Разрешалось только ворчать и переругиваться.

Как-то, возвращаясь из города в порт, я был поражен невиданным зрелищем. Образовав круг, ездовые собаки внимательно следили за ожесточенной схваткой двух псов. Шерсть кусками летела по ветру. Дрались яростно, жестоко, до тех пор, пока один из них, ослабев, с визгом, поджав под задние ноги хвост, не убежала. Стоящие вокруг матросы с каким-то удивительным спокойствием наблюдали за боем и лишь тогда, когда вся стая излетала на слабейшую, они принимали меры, чтобы ее спасти, расшвыривая озверевших собак сапогами. Я спросил боцмана, что происходит. «Не видишь разве, — смеясь, — происходит, как новичку, пояснил он, — жоака выбирают. Им станет сильнейший. Зато и хозяин будет хороший не только в упряжке, но и в собачьем быту».

Не успел победитель опомиться, как в центр круга устремился новый претендент на жоака. Продолжалось это побоище до тех пор, пока не определились два сильнейших, черного цвета крепких пса — Мишка и Юшар. Первый — молодой, веселый, с хитрыми желтыми глазами, второй — старый, опытный, умный и очень ласковый. Ну, думаю я, теперь между ними и начнется генеральное сражение. Но, сверх ожидания, собаки неожиданно почувствовали взаимную симпатию

и поделили первенство поровну. С тех пор они всегда были вместе. Вместе ели, вместе дрались, усмиряя собак.

Помимо тринадцати ездовых собак, в экспедицию из ленинградского питомника розыскных собак взяли на зимовку двух немецких овчарок — величественного Грейфа и изящную Приму. Грейф солидно рассказывал по пристани, сторонился остальных собак, чем и вызывал с первых же дней озлобление. Дело дошло до того, что собаки стали сами придирались к нему, вступать в свирепые бои.

«Георгий Седов» продолжал еще грузиться. Трюмы проглатывали многочисленные ящики с консервами, мешки с мукой, крупой, бочки, терпко пахнущие бревна и доски.

## Курс — на нрд

20 июля 1929 года под ревущие гудки судов наша экспедиция отправилась в высокие широты к далекой Земле Франца-Иосифа. Мимо проходили последние строения, несколько лесозаводов, ярко-зеленые островки, и, наконец, мы в Белом море. У красно-бурого, вылинявшего от времени плавучего маяка высадили лоцмана, который вел ледокольный пароход по извилистой дельте реки. На верхнем мостике появился один из лучших ледовых капитанов, Владимир Ивано-



вич Воронин, широкоплечий, с добрыми, веселыми голубыми глазами. Мы шли вдоль восточного берега Белого моря, вдоль зеленой ленты хвойных лесов, мимо небольших поморских рыбацких селений. У Сосновецкого маяка пересекли Полярный круг и вышли в Баренцево море.

Нас, участников экспедиции, расселили по каютам. Свободных помещений на «Седове» не было. Поэтому большинство попало в трюм, где из досок наскоро сколотили временные жилые помещения. «Товарищи, — заявил нам боцман, — надо ожидать шторма. Как только появится крутая волна, накрепко задрейте иллюминаторы». Большинство из нас новички. Многие — первый раз на море.

Ночью разразился шторм. Широкие валы, водяные горы вырастали перед носом нашего судна. Поверхность моря неожиданно то становилась боком, то пропадала. Обитателей кают шторм застал спящими. Помню, внезапно проснулся от удара головой об стенку каюты, и тут же мои ноги согнулись в коленях от удара о другую стену. Упасть с верхней койки я не мог, так как перевязался ремнем. Наклонившись вниз, с ужасом наблюдал за скользящими по полу осколками графина и стакана, растрепанными страницами дневника. С палубы неслась пронзительный вой собак, заливаемых разъяренными

волнами. Бедные мокрые псы дрожали от холодного пронизывающего ветра. Они жалобно глядели нам в глаза с неумолимой просьбой прекратить этот ледяной душ. Коровы, втиснутые в узкий деревянный загон, меланхолично, с какой-то упорной тупостью продолжали пережевывать сено. Матросы, ловко лавируя меж закрепленных ящиков и бревен, скользили по палубе, проверяя груз, да неугомонный кинооператор П. К. Новицкий, тот, кто сделал исторические уникальные кадры, засняв В. И. Ленина в первые дни Октябрьской революции в Петрограде, растопырившись у своего киноаппарата, вертел ручку. «Смотри, совершенно исключительные кадры».

Шторм не прекращался два дня. Два дня участники экспедиции не показывались за общим столом в кают-компанию, на радость старшему механику Шиповальникову, который в эти дни чувствовал особый прилив аппетита и ел за троих. Через два дня волны утихли. Яркими лучами брызнуло солнце, и на море наступил штиль.

### «Земля, земля!»

— Скоро достигнем кромки, — сказал капитан В. И. Воронин, — холод и туман — верные предшественники льда.

И правда, к вечеру мимо нас величественно проплыла огромная ледяная крепость — айсберг.

Сначала на горизонте появились мелкие льдины, потом «Георгий Седов» вошел в разрозненный лед, который при продвижении на север становился все плотнее и плотнее. И нашему судну приходилось демонстрировать свои боевые качества. Но вскоре толщина льда достигла 2—3 метров. Идти вперед было бесполезно. Надо искать другой, более удобный проход. Тогда капитан повернул нос судна немного к востоку. Этот маневр оказался удачным. Мы встретили более разрозненный лед с частыми широкими разводьями, хотя высота торосов плотно закрывала иллюминаторы наших кают.

Ученые экспедиции приступили к регулярным наблюдениям над погодой, температурой и соленостью моря, выбрасывали бутылки для изучения течений, в которые вкладывали почтовые открытки, имеющие свой номер. На обратной стороне на нескольких языках была напечатана просьба: при нахождении какой-либо бутылки отметить на открытке место, год, день находки и отправить по указанному адресу. Зоолог Г. П. Горбунов заинтересовался льдинами бурого цвета. Оказалось, они окрашены особыми водорослями бурого цвета.

К вечеру 28 июля, глядя в большую подозрительную трубу, установленную на верхнем мостике, капитан воскликнул: «Земля, впереди земля!» С быстротой радио-

волн эта радостная весть пронеслась по каютам. Где мы находились? Что это за остров?

Морозное утро встретило радостным сообщением: мы достигли архипелага Земли Франца-Иосифа, находимся на 80° северной широты, у острова Гукера. Медленно, ощупью, тщательно промеряя глубину, приближалось судно к берегу. Дальше идти было нельзя. С грохотом сползла в воду ржавая якорная цепь. С капитанского мостика летела в машинное отделение команда «стоп машина». О. Ю. Шмидт отбирал людей, которые на шлюпках отправятся на берег.

Профессор Р. Л. Самойлович и географ И. М. Иванов, с молотками в руках, не теряя времени, взобрались на отвесные скалы, отбивали куски камней, бережно укладывали их в рюкзаки. «Это очень редкие экспонаты,— говорил мне Р. Л. Самойлович,— ведь о строении Земли Франца-Иосифа у нас почти ничего не известно».

Днем на небольшом холме состоялось водружение Государственного флага СССР. Вокруг флагштока, обнажив головы, выстроились участники экспедиции.

## Мыс Флора — международная гостиница

Снова в пути, но теперь уже не в открытом океане, а среди мно-

гочисленных островов и заливов. День и ночь упорно подыскивали подходящее место для строительства самой северной в мире научно-исследовательской радиостанции. Кроме того, нам нужно было выяснить, в каком состоянии находятся продовольственные запасы, оставленные прошлыми экспедициями, и произвести поиски пропавшей группы Александрии с дирижабля «Италия». Вдали показался мрачный на вид мыс Флора, находящийся на острове Нордбрук. Место это историческое — мыс служил базой для многих экспедиций, производивших работу на Земле Франца-Иосифа. Здесь в 1881—1882 годах зимовала в тяжелых условиях английская экспедиция Ли Смита, три года подряд жил шотландец Фредерик Джексон. В 1895 году сюда прибыли Фритьоф Нансен и его спутник Иогансен, возвращавшиеся из скитаний по дрейфующим льдам арктического бассейна. Здесь в ожидании спасательного судна пребывала экспедиция американца Фиала, а в 1914 году зимовал штурман В. И. Альбанов, который добрался сюда пешком с судна «Св. Анна». Его случайно обнаружили участники экспедиции лейтенанта Г. Я. Седова, возвращавшиеся в Архангельск. Таким образом мыс Флора стал своеобразной международной гостиницей — приютом для полярных искателей, путешественников.

Ближе пяти километров к мысу Флора подойти не удалось — мешал лед. Организовали пешую группу, а на случай встречи с разводящими взяли шлюпку. Тяжелый путь от «Георгия Седова» до земли мы преодолели только за четыре часа. Шли, утопая в рыхлой крупе снега, проваливались в полыньях. С трудом, но до берега все же добрались и ступили на болотистую землю. Особенно трудно было перетаскивать железный флаг на крутой берег, усыпанный каменными глыбами. С отвесных скал неслась дикая какофония, это усердствовал джаз-бэнд миллионного оркестра птичьего базара. Обошли мыс и набрали на две полуразвалившиеся постройки: одна из них — построенная американской экспедицией Фиала, вторая — испанским спортсменом Гисбертом в 1926 году. Запасов продовольствия, оставленных предшествующими экспедициями, не обнаружили.

Валялись совершенно истлевшие фуфайки, проржавевшая посуда и прочий хлам. Нашу группу встретил подозрительным пискливым тавканьем молодой песец, спрятавшийся под деревянным фундаментом одного из строений. Как ни старались мы его оттуда выудить — ничего не получилось. Хитрый звереныш понимал неуязвимость своего положения и не вылезал на свет.

Водрузили флаг Советского

Союза около большого камня с надписью «Герта» (название судна, посланного на поиски экспедиции Г. Я. Седова), сели позавтракать и неожиданно увидели вдали скромный памятник из серого камня трем участникам итальянской экспедиции Абруццо — машинисту судна «Стелла Полара» Стеккену, лейтенанту Кверини и горному проводнику Ольери, погибшим в Арктике. В оцинкованном пенале нашли записи путешественников, побывавших в «международной гостинице» мыса Флора, в том числе и приплывавших в последние годы. Какой-то американский полковник расписался в том, что убил 8 белых медведей, а американка мисс Байд, прогуливавшаяся здесь в 1928 году на паруснике «Хобби», заверяла, «что ничего прекраснее нигде не встречала». Подписались и мы, вложили в пенал записку со словами: «Всегда будем чтить память героев Арктики».

В. И. Воронин опять беспокоился, заявляя, что направление ветра ему не нравится, что льды надвигаются. Прыгаем в лодку, лавируем между ледяными островами, плывем к широкому разводу. «Морж!» — воскликнул О. Ю. Шмидт, указывая на темное вдали пятно. Осторожно гребем к небольшой льдине, на которой лежит темно-коричневая туша. Но морж заметил нас, медленно поднял голову, взглянул

и опять лег: он, наверное, никогда не видел людей. Мы выбрались на соседнюю льдину, ползком подобрались к животному. Морж снова лениво поднял голову, взглянул и... опять безмятежно улегся. Подползли мы к нему на расстояние двадцати шагов, легли, укрепили винтовки на небольших торосах, нацелились и дружно вскрикнули. Морж поднял голову — и тотчас три пули воизлились в его шею. Алой струей брызнул фонтан крови, голова его как-то устало поинклала, несколько раз шевельнулись плавники, и движение прекратилось.

Что делать с такой тушей мяса и жира? В шлюпке не поместится, а сшить шкуру — не умеем. Решили разделить на две партии. Отто Юльевич предлагает мне остаться с ним на дрейфующей льдине, а остальные отправятся за помощью. Вскоре лодка скрылась за торосами. Мы остались одни у теплой, даже горячей, туши. Сидели час, другой, стало холодно. Подумали и вышли из положения: пересели на все еще теплое тело моржа и немного как будто оттаяли. Поднявшийся ветер старательно гнал льдину к середине полыньи, а льдина была настолько мала и до такой степени промокла кровью животного, что, казалось, вот-вот развалится. «Ну,— сказал О. Ю. Шмидт,— как бы не пришлось нам принять полярную ванну».

Часа через три прибыла группа

матросов, с трудом перевернули огромную тушу на спину и стали разрезать ножами кожу. Но во время этой операции им пришлось несколько раз точить их. Ножи тупели, словно нарываясь на камень. «Ну и ну,— смеялись моряки,— воистину толстокожий». Медленно врезались ножи в моржовую кожу. Медленно отделялась она от толстого слоя жира. Потребовалось несколько часов, чтобы ее снять. «Мы сделаем ценный подарок Ленинградскому институту по изучению Севера,— говорил О. Ю. Шмидт.— Чучело моржа редко увидишь в европейских музеях». Погрузив шкуру в лодку, поплыли к едва видимому в тумане судну. Но близко подойти к нему не удалось: нас отделяло от него ледяное торосистое поле. Выручили нас товарищи. Им мы доверили шкуру, а сами, уставшие — двое суток нам не пришлось спать, — налегке отправились к судну.

## Бухта Тихая

Сиова в пути, сиова стальной нос корабля дробил и крошил лед, пробираясь по узким проливам меж островами. Ночью миновали Британский канал — широкую улицу среди островов и заливов. По совету профессора В. Ю. Визе зашли в бухту Тихую, где, по его мнению, легче выбрать место для строительства

полярной станции. С трех сторон бухта закрыта горными кряжами. Высокая отвесная скала Рубичи Рок, переливаясь причудливыми красками, гордо высилась среди глетчеров. Высадились на берег, сделали первую разведку. В разрыхленных местах обнаружили следы экспедиции лейтенанта Г. Я. Седова — большую байку из-под варенья, багор, два деревянных креста. На одном из них — астрономическом пункте — вырезана надпись на английском языке: «1913—1914. Экспедиция лейтенанта Седова». Другой крест был установлен над могилой механика седовской экспедиции И. А. Зандера, погибшего в 1914 году от цинги.

В результате разведки полярную станцию решили строить в бухте Тихой, на прибрежной возвышенности. Все говорило за то, что место самое подходящее: станция будет господствовать над проливом, горы, окружающие ее, защитят от северного ветра, а наш опытный полярный радист с «Седова» Ю. Гершевич заявлял, что из-за отсутствия к югу возвышенностей он регулярно поддерживает связь с материком. Словом, к вечеру уже приступили к работе. Произвели инвентаризацию места будущих домов, а к ночи на трех лодках перевезли кирпич, бревна и другие строительные материалы.

Первые дни пребывания на острове Гукера погода была ис-

ключительно благоприятной: ярко светило солнце, не заходящее за горизонт. Воспользовавшись такими условиями, наши ученые занялись исследованиями близлежащих островов. Зоолог Г. П. Горбунов отправился на небольшой остров Скот Кельти, открыл там небольшое озеро и стал ловить планктон. Р. Л. Самойлович и географ И. М. Иванов сделали топографическую съемку глетчера Юрия, который спускался в бухту Тихую. Профессор обследовал также и мыс Чурляниса.

«Мы соорудили из камней гурни — знаки, по которым последующие экспедиции смогут легко ориентироваться в своей научной работе», — рассказывал Р. Л. Самойлович. — В одном из гурниев оставили записку, в которой указали, какие и кем произведены работы и где можно получить их результаты. На высоте 150 метров над уровнем моря обнаружили несколько интересных видов пауков, мух и комаров, по внешнему виду схожих с материковыми.

Это первые насекомые, зарегистрированные на Земле Франца-Иосифа. Найдено несколько видов мхов, не встречающихся у нас на Крайнем Севере, а также до 100 видов паразитических грибов. Весна и лето здесь настолько коротки, что не позволяют вызревать высшим видам растений. Вызревают лишь те, кото-

рые размножаются путем почкования или спор.

Из цветковых растений обнаружил лишь 25 видов, главным образом полярных маков, в то время, как на Шпицбергене — до 130 экземпляров. Из древесных пород впервые на этой широте нашли низкорослую березу, находящуюся в более угнетенном состоянии, чем на Новой Земле. В долинах ручьев нашли куски окаменелых растений, относящихся к семейству папоротниковых. Эта находка приподнимает завесу геологической истории Земли Франца-Иосифа и его прошлого климата. Он был значительно теплее и более теплый, нежели сейчас на Кавказе».

Круглые сутки, в несколько вахт, разгружали трюмы и палубу нашего судна. На берег переправляли строительные материалы, продовольствие на три года, радиооборудование и коров. Погода менялась очень быстро. Если вчера яркое солнце затопило лучами вершины гор и всю бухту, то на следующий день становилось хмуро, пасмурно, а то и снежило. С крутого берега неслись терпкие запахи свежих досок и бревен. Там строились помещения полярной станции, кладовой и банн.

### Семеро смелых

Наша экспедиция должна была достигнуть Земли Франца-Иосифа,

построить станцию и доставить туда зимовщиков.

Зимовщики полярной станции бухты Тихой, закончив дневную работу, иногда устраивали «венецианские ночи»; катались на лодке с собакой Прима и граммофоном. В воздух неслись звуки гавайской гитары.

Вдруг вбежал штурман: «Напирает большое ледяное поле». В одно мгновение все выбежали на палубу. Там встревоженный капитан объяснял, что приливное течение поднесло большую льдину, которая уже коснулась корпуса судна и стала прижимать его к берегу. Неожиданно судно задрожало, село на камни и накренилось. Случилась авария.

Распоряжением В. И. Воронина на полный ход заработала машина. Судно встряхивалось, но не сходило с места. Штурман Ю. Н. Хлебников измерил глубину вблизи «Георгия Седова»: нас вынесло на полтора метра. Надежда сняться с банки с помощью прилива отпала, так как в среднем он составил бы лишь 17 сантиметров.

Тогда наш капитан решил использовать находящийся недалеко от судна айсберг, сидевший на грунте. Вокруг него занесли тросы, чтобы, запустив гребной винт, попробовать подтянуться лебедкой. Но все попытки не дали никакого результата. А тут, как назло, течение принесло небольшой айсберг, который сел на грунт

около судна и придавил якорную цепь. Решили взорвать этот айсберг. Уничтожить его, развалить на куски удалось только после серии взрывов. Причем с каждым разом приходилось увеличивать количество динамита. Якорную цепь, таким образом, освободили. Но ледокольный пароход по-прежнему сидел на каменной банке. Положение стало чрезвычайно тяжелым. Если нам не удастся сняться с мели, значит ввязываться, значит погубить судно, так как с наступлением осенних штормов напор льда усилится и выбросит пароход на берег. Этого допустить нельзя. Нельзя спасовать перед суровой стихией.

В этой опасной для экспедиции обстановке у О. Ю. Шмидта появилась мысль объявить аврал по переноске грузов из кормовых трюмов (судно сидит на камнях в основном кормой) и вместе с тем перекачать воду в носовую цистерну, чтобы создать дифферент на нос. После долгой усиленной работы машины нам хотя и медленно, но удалось сойти с банки и бросить якорь на середине бухты. Но «сидение» на камнях не обошлось без последствий: один из балластов судна наполнился водой. Пришлось ставить временный пластырь.

Наше меню нам порядком надоело: каждый день консервы, солонина и опять консервы. Как-

то светлой ночью О. Ю. Шмидт и автор этого рассказа поплыли в маленькой шлюпке на охоту. Бухту заволокло густым туманом, от которого пропали очертания прибрежных гор. Перед нами неожиданно появлялись айсберги в виде сказочных дворцов, башен. Неясный свет бодрствующего солнца ложился неправильными узкими полосами на лед, создавая какую-то феерическую картину. У подножия отвесной скалы Рубины Рок нас встретили, казалось, бесконечные стаи чистиков, кайр, люриков и полярных чаек. Собственно, мы не охотились, а расстреливали наивную птицу, видимо не понимавшую, какую опасность таило в себе дуло двустволки. Под утро, к радости судового кока, мы доставили целую корзину дичи. В этот день на столе появилось великолепное жаркое, по вкусу напоминающее мясо дикой утки.

10 августа состоялась закладка самой северной в мире советской полярной станции. Общими усилиями моряков и членов экспедиции подвели фундамент и установили станок для машины, которая будет вырабатывать энергию для радиопередач. Все три дома вчерне уже готовы. Строители приступили к внутренней отделке помещений, стали покрывать их толем.

Старший механик Шиповальников сообщил, что на исходе запасы пресной воды. В наших ус-

ловиях этот вопрос был очень острым. Надо изыскать способ, чтобы наполнить судовые резервуары. Капитан приказал пришвартовать судно к большому ледяному полю. Здесь мы увидели огромную лужу кристально чистой воды. Спустили с палубы помпу и принялись накачивать воду. По шлангу потекла пресная вода, без которой ни один моряк не отважится выйти в море. Так, на 80° северной широты была решена водяная проблема.

### Продолжаем разговор о собаках

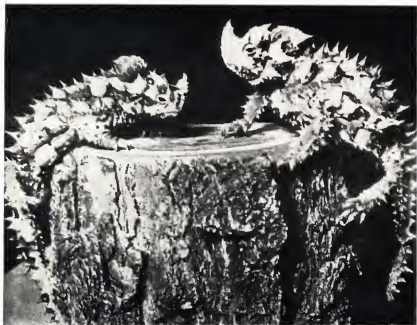
На ледоколе ездовых лаек расположили на палубе, сделав из досок небольшой закуток и набросав пару охапок сена. Неприхотливым лайкам такое помещение показалось комфортабельным. Грейфа и Приму поместили в каютах. А судовой кок, полюбив Грейфа, кормил его отдельно от других собак такими лакомыми блюдами, как мясо, печенка, и позволял ему находиться у себя в камбузе. Мы нередко наблюдали Грейфа в запретной для остальных собак зоне — сытого, пополневшего, дремавшего у раскаленной печи. Остальные собаки толпились у открытой двери камбуза, с жадностью вдыхали дразнящие запахи и терпеливо ждали, когда заблагорассудится коку выкинуть им требуху. На почве не-



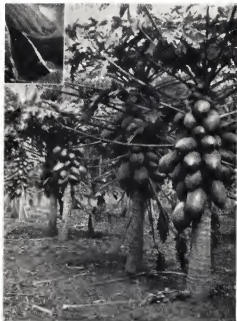
*«Коала — маленький медвежонок, величиной с подушку, не больше. Целыми днями он висит на деревьях... Он всем доволен, лишь бы его не беспокоили, он величайший эпикурец».*



*Нет существа более безобидного и дружелюбного, чем этот миниатюрный дракон.*



*Папайя. Хлебное дерево.*



*Баобаб.*





*Гигантские морские черепахи.*

*«На шум из-за деревьев вышел эму. Он зашагал прямо к нам, балетно выставляя свои стройные ноги... Их двое на гербе Австралии — эму и кенгуру. Вместо львов, орлов и прочих хищников...»*





*Мельбурн — столица штата Виктория.*



*Мельбурн. Коллинз-стрит — центральная улица города.*

*Гордый абориген Австралии. Пока страна не была колонизирована, в Австралии жило около 300 тысяч аборигенов. Сейчас их осталось примерно тысяч шестьдесят.*

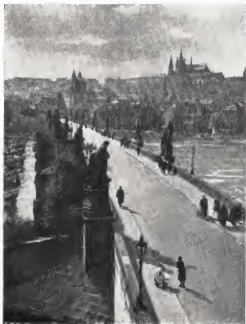


*Ходящие по огню.*



НА ЕВРОПЕЙСКОМ

ПЕРЕКРЕСТКЕ



*Каменный Карлов мост сооружен в 1357—1380 годах Петром Парлером; после своего скульптурного оформления в 1706—1714 годах, став замечательным украшением Праги, этот мост приобрел мировую известность.*



*Собор святого Вита.*

*В соборе святого Витта.*



*Замок Карлштейн  
(Чехия).*



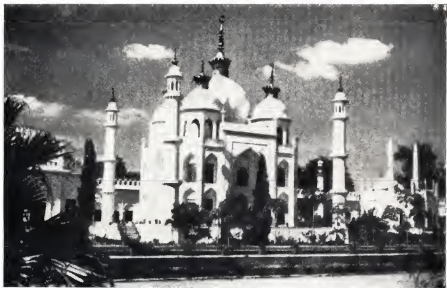


*Орава. Один из самых красивых замков Словакии.*

*Университет в Лакхнау.*







*Лакхнау. Архитектурный памятник XIX века.*



*Встреча.*



*Купание в Джамне.*



*На берегу Джамны. После купанья.*



*Дхоби — профессиональные прачки.*





*На улицах Дели.*



*Сикх — шофер советского посольства.*



*Который это век, который год? Сцены эти могли разыгрываться и сто, и двести, и триста лет назад. Время застыло на них. Но это кадры наших дней.*

*Эти люди были проданы в рабство. Зачастую их жизнь была оценена не в деньгах, а оплачена пустыми бутылками и кубами соли. Тайные транспорты работорговцев подходят к этому пустынному месту на арабийском побережье, еще в средние века окрещенному Пиратским берегом. Отсюда подростки, вывезенные из глубин Африки, попадают на рынки Среднего Востока.*

*А эти женщины с завязанными лицами были засняты автором в деревушке Ати, в Чаде. Они крутили ворот древнего насоса и, чтобы не упасть от головокружения, замотали себе глаза. Они не отваживаются бежать, ибо в этом случае их ждет участь беглянки, которой сковали лодыжки железным прутком.*





*Они проданы в рабство.*



заслуженных привилегий вражда между Грейфом и ездовыми собаками резко усилилась, и не раз они всей стаей бросались на него. Тогда снова выручали матросы.

В бухте Тихой ездовых собак сразу же перевозили на берег. Веселыми стайками они носились по незнакомой местности, добровольно присоединялись к партиям ученых, уходивших в дальние походы, а возвратившись, спали на оттаявшей от снега земле. Не приспособленных к условиям Арктики Грейфа и Приму после прогулок на острова вечером отвозили на судно. Да и на самой земле они чувствовали себя как-то неуверенно, непривычно, не уходили далеко от строительства полярной станции, всегда были вместе и сторонились других собак. Эта обособленность послужила новой причиной к уже созревшей вражды к Грейфу. Мы были свидетелями многочисленных нападений ездовых собак на него. И если бы не выручали моряки, трудно было бы предсказать, чем бы они закончились.

Но однажды произошло необычное. В яркий солнечный день стая ездовых лаек внезапно напала на Грейфа. Инициаторами были осатаневшие Мишка и Юшар. Грейф яростно отбивался, ловко изворачивался и крепкими клыками наносил удары. Но он был один, а ездовых собак три-

надцать. Под непрерывными дружными атаками ему пришлось медленно, но отступать. К постоянным дракам собак мы уже привыкли и к этой драке тоже отнеслись равнодушно, если бы не заметили нечто оригинальное в тактике боя: ездовые собаки заставляли Грейфа пятиться к обрывистому берегу бухты. Он этого маневра, видимо, не заметил и... оказался в ледяной воде. Но бой не прекратился. Стая прыгнула за ним и с остервенением стала бить его передними лапами по голове с явным намерением утопить. К счастью, рядом шла шлюпка. Веслами матросы разогнали рассвирепевших собак.

На следующий год «Георгий Седов» снова прибыл в бухту Тихую, чтобы сменить зимовщиков. На мой вопрос, как чувствовали себя розыскные собаки, начальник станции П. Я. Иляшевич рассказал: «Как-то в полярную ночь нас разбудил истошный лай собак. Быстро оделись, захватили винтовки и вместе с Грейфом выскочили на крыльцо станции. При тусклом свете луны в 100 метрах от дома увидели белого медведя, окруженного со всех сторон ездовыми собаками. Властелин ледяной пустыни шел медленно и уверенно к полынье, где можно полакомиться мясом нерпы или морского зайца. Ездовые

собаки в это время спали, зарывшись в сугроб, прижавшись друг к другу. Почуввав медведя, они бросились к нему. Не обращая внимания на такую «мелочь», медведь продолжал шагать. Но скоро почувствовал, что ему придется применять иную тактику. И вот почему: как только одна из собак оказывалась у него за спиной, она прыгала и вырывала у медведя клоч шерсть. От боли он поворачивался, и в тот же момент с другой стороны его кусала другая собака. В результате многочисленных нападений медведю пришлось сесть на снег, чтобы удобнее отбиваться. Но и тут собаки не оставили его в покое: атакуя со всех сторон, заставляли медведя сидя вертеться во все стороны. Умные собаки из поколения в поколение пользуются таким способом задерживать белого медведя до прихода охотников. Они понимали, что справиться с ним не в состоянии. Поэтому и оповещали охотников громким лаем. Зверь не уйдет, он окружен и будет убит, а собак накормят свежим мясом.

Грейф, воспитанный в специальной школе, впервые увидел белого медведя и, не оценив разницу в силах, налетел на него, пытаясь схватить за горло. Зверь охватил его лапами, и, если бы не меткая пуля охотника, Грейф был бы разорван. Медведь сильно поранил ему бока, и доктору

Георгневскому пришлось наложить девятнадцать швов, чтобы спасти жизнь собаке. Мне казалось, что после такого поучительного «урока» Грейф откажется от охоты. Но произошло иное: второй медведь распорол ему ногу и порвал артерию. Снова доктору пришлось ухаживать за ним, наложить на этот раз уже тридцать швов. Погиб же Грейф не от медведя, а от ездовых собак, отомстивших за предоставленные ему привилегии.

«Поедемте в долину Молчания — это исключительно красивое место», — предложил профессор В. Ю. Визе. На небольшой парусной лодке, при слабом ветре мы отправились по Британскому каналу и вскоре подплыли к двум грядам гор на расположенной между ними долине. Большое ущелье с нависшими скалами. Посредине поросшей мхом, заваленный глыбами камней долины, звонко журча, неся горный ручей. Он берет начало с глетчера, спускающегося к ущелью. Обходя долину, обнаружили большое количество кусков, даже крупных стволов окаменелых деревьев. Эта находка оказалась большой ценностью, так как помогла судить о древней растительности и климате Земли Франца-Иосифа.

Мы совершили два научно-исследовательских рейса. Первый —

в проливе Аллен Юнга, отделяющем остров Гукера от острова Нансена. Наши ученые впервые произвели здесь глубоководные гидрологические исследования. Пролив оказался весьма глубоким — более 300 метров. Второй рейс совершили также с гидрологическими целями, но на этот раз в проливе Меллениуса, чтобы выяснить, влияет ли обрывающийся здесь в море глетчер Юрий на режим вод этого пролива. Светлая ночь позволила непрерывно вести работу по исследованию течений, составу воды, поверхности дна и животного мира. С помощью трала извлекали нежные стебли плотоядных лилий, актиний, морских звезд, щетинистых червей, позвоночных рачков и совершенно неожиданно поймали небольшого осьминога, занесенного, видимо, сюда теплым течением из Атлантики.

Во время исследований О. Ю. Шмидт обнаружил большую ледяную пещеру, куда мы немедленно и отправились на двух небольших лодках. Изумительное зрелище предстало нашим глазам: две ледяные башни, как стражи, охраняли вход в темное ущелье, которое, извиваясь и теряясь, уходило в глубь глетчера. Мы въехали под широкие своды голубого купола, украшенного ледяными тончайшими кружевами и гигантскими гирляндами stalactites. Несколько минут молчали, очарованные непередаваемой кра-

сотой. Мы так увлеклись этой фантастической картиной, что не заметили, как вход в пещеру стало закрывать дрейфующим льдом. Полундра! Надо срочно удирать из сказочного замка, готового стать нам тюрьмой. Перепрыгивая с одной льдины на другую, расталкивая упругий лед, пробираемся по узким извилистым лазейкам и с огромным трудом выбираемся на чистую воду.

Короткое полярное лето заканчивалось. Появились первые предвестники грядущей осени: пасмурная погода, изморозь, пронизывающий туман, мелкий липкий снег и холод. Неприветливо, угрюмо торчали быстро потерявшие изумительные оттенки красок скалы. Миллионы голосистых пернатых начинали покидать гнезда, улетали в теплые края. 29 августа впервые скроется за горизонты солнце, а 19 октября надвинется долгая полярная ночь.

21 августа «Георгий Седов» вышел в Британский канал, оставив строителей и зимовщиков для окончания работ, взяв курс на норд, с целью побывать на самом северном острове архипелага — острове Рудольфа. Шли по широкому разводью полным ходом. Под утро профессор Р. Л. Самойлович, географ И. М. Иванов и несколько участников экспедиции выехали на шлю... на остров Нансена, осмотрели его, произвели геологическое обследование и из крупных камней со-

орудили гурий — знак, видимый издали. Снова «Георгий Седов» в плавании. Наша задача — пройти в неисследованный район Арктики до тех пор, пока позволят льды, в районы, где никогда и никем не велись научные работы, где глубина моря и характер течений являются еще тайной.

### Мировой рекорд плавания

Вспользовавшись непредвиденными условиями полярного плавания, капитан В. И. Воронин вел судно полным ходом. Так мы прошли 60 миль (110 километров), не встречая льда, и лишь к утру показалась кромка; мы прошли ее, продвигаясь теперь уже во льдах, которые «Георгий Седов» легко форсировал.

Но к вечеру идти стало труднее, капитан отдал команду «стоп машина» и отправился в рубку, чтобы нанести на карту координаты местонахождения судна. Оказалось, что мы находимся на 82°14' северной широты. Мы неожиданно установили мировой рекорд для свободно плавающих, не затертых льдами судов. Удивительно, мы прошли через весь архипелаг Земли Франца-Иосифа далеко на север и неожиданно встретили свободное от льда море. Это обстоятельство поразило и наших ученых. «На более юж-

ных широтах мы мучились во льдах, а здесь на севере, куда еще не доходило ни одно судно, встретили чистую воду. «Поразительно!» — рассуждали они.

Встал вопрос: двигаться ли дальше на север или вернуться обратно? О. Ю. Шмидт, В. И. Воронин, профессора В. Ю. Визе и Р. Л. Самойлович долго это обсуждали. Да и понятно: впереди, правда, виднеются разводья, в которых наше судно может идти. Но сколько времени они будут существовать? Не случится ли так, что «Георгий Седов» войдет в лед, а его сожмет? Обсудив все эти вопросы, руководители экспедиции и решили взять курс на зюйд, к острову Рудольфа. Но прежде чем уйти, наши ученые исследовали этот высокоширотный район моря. Выяснилось, что сверх ожиданий глубина оказалась небольшой — только 168 метров. Видимо, мы находились на широкой банке. А термометр, опущенный на эту глубину, впервые показал +0,2. Г. П. Горбунов добыл тралом множество представителей животного мира, которые он в более южных широтах не обнаруживал.

### Мыс Бророк

В 1914 году три полузамерзших, истощенных от недоедания человека, собрав последние силы, добрались до мыса Бророк. Это

были начальник русской полярной экспедиции на судне «Св. Фока» Георгий Яковлевич Седов и его два спутника — матросы Линник и Пустошный. Они шли в бухту Тихую, где зимовало их судно, возвращаясь из похода к Северному полюсу, не достигнув его из-за недостатка продовольствия для себя и корма собакам. В пути Г. Я. Седов заболел цингой, и матросам пришлось его везти на нартах. Днем 5 марта он скончался. Матросы решили довести тело умершего к месту стоянки «Св. Фоки». Но путь преградила чистая вода у острова Рудольфа, а идти по глетчеру с тяжелой ношей они не рискнули. Им пришлось похоронить своего начальника на мысе Бророк. Из-за отсутствия досок гроб заменили брезентовым мешком. На тело положили небольшую кучу камней, на которой установили крест из лыж. Рядом укрепили флаг, который Г. Я. Седов мечтал водрузить на Северном полюсе. Поставив у наскоро сделанной могилы, матросы с большим трудом добрались до своего судна в бухту Тихую.

Медленно, с приспущенным в знак траура флагом подходил «Георгий Седов» к мысу Бророк — месту величайшей человеческой трагедии. Быстро скользнула на воду и закачалась на гребнях волн лодка. Плыли долго, упорно пробираясь к узкой полосе земли, к крутому отвесу на-

висших скал. Орудийным залпом, гулким обвалом встретил нас старый, расчерченный морщинами трещин глетчер. Разбившись на партии, мы долго, шаг за шагом, обыскивали каждую пядь вздыбленной базальтовой россыпью земли, тщательно осматривали все пригорки, холмы, хотя бы смутно напоминавшие своим видом могилу, и пришли к убеждению, что ее не найти. Потому что ледяные потоки мчащейся с глетчера талой воды нанесли кучи песка и глины и, видимо, не пожалели последнего приюта Седова. На холме собрались все участники поисков могилы и водрузили старательно расписанную моряками красную доску с надписью на русском и английском языках: «Советская экспедиция. Ледокольный пароход «Георгий Седов». 1929 год». Обнажив головы, поникнув в безмолвии, простояли в течение нескольких минут. Опустив глаза в сырую топкую землю, как-то сгорбившись, стоял В. Ю. Визе, с грустью вспоминая своего бывшего начальника.

Пока мы искали останки Г. Я. Седова, профессор Р. Л. Самойлович обследовал мыс Бророк и обнаружил большое количество угля, а также окаменевшее дерево.

Сели в лодку и отправились назад. Огляделись и мысленно

в последний раз простились с пропавшей могилой, угрюмым берегом и мелькающей в тумане красной мемориальной доской.

### Находки на острове Рудольфа

Бухта Теплиц острова Рудольфа сыграла большую роль в истории завоевания Арктики. Впервые в 1874 году, зимой, ее посетил австрийский исследователь Ю. Пайер — один из первооткрывателей Земли Франца-Иосифа. В 1899—1900 годах на судне «Стелла Полара» зимовала итальянская экспедиция герцога Абруцского, а в 1903—1905 годах — американская экспедиция А. Фиала. Вначале итальянцы решили перезимовать на судне. Но зимой под напором дрейфующего льда судно было выброшено на берег и получило сильную течь. Тогда им пришлось перетащить все грузы на берег. Герцог Абруцкий не рассчитывал зимовать на архипелаге, потому и не захватил с собой разборных домов. Всю долгую полярную ночь они прожили в брезентовых палатках.

С наступлением весны группа, возглавляемая У. Каньи, совершила тщетную попытку достигнуть полюса. Во время их похода пропали без вести три участника экспедиции, которые представляли У. Каньи продовольствие и поддерживали связь группы

с основным составом экспедиции. Тот памятник, который мы видели на мысе Флора, и был поставлен в память об этой полярной трагедии. После возвращения Каньи итальянцам удалось отремонтировать судно, спустить на воду и добраться до Норвегии.

В 1903 году снаряженная на средства американского миллионера Циглера на судне «Америка» в бухту Теплиц прибыла экспедиция под командованием А. Фиала. Но дрейфующий лед на этот раз сыграл свою коварную роль: судно «Америка» затонуло. Участники экспедиции перебрались на остров, построили дом и сарай, крытый парусиной. В своем распоряжении американцы имели 25 пони и более 200 упряжных собак, большое количество продовольствия, научных приборов и ежедневно выпускали газету. Зимой они провели в прекрасных для Арктики условиях, а весной попытались достигнуть Северного полюса, но отошли от острова лишь на 20 километров: сильно торосистый лед помешал им продвигаться вперед. Тогда же они отправили группу на собачьих упряжках и лошадях к мысу Флора, где ожидали прихода вспомогательного судна. Но в тот год корабль не смог пробраться к архипелагу, и американцам ничего не оставалось делать, как вторично зазимовать. На следующий год А. Фиала снова попытался дойти до полюса и опять

неудачно. Лишь в 1905 году пароход «Терра Нова» забрал на борт участников этой экспедиции и доставил их на родину.

На двух лодках мы отправились к берегу. У большого ледяного поля нас гостеприимно встретил здешний хозяин — белый медведь. Для того чтобы продвигаться вперед, пришлось отгонять его выстрелами. Припай льда оказался размытым, превратился в довольно широкие полыньи. В течение двух часов, преодолевая торосы, проваливаясь на обламывающихся под ногами мелких льдинах в воду, пробирались мы к берегу, к едва видимым из-за тумана строениям.

Отлогий берег, омываемый холодными водами бухты Теплиц, завален бурыми камнями. С двух сторон в море впадают блестящие русла глетчеров. Их берега обрывистые, крутые. Громады уже отплавших от берега айсбергов медленно, как-то солидно или нехотя покачиваются на крутой волне. На небольшом пространстве, свободном от снега, тесно прижались два дома — один большой, дощатый, с зияющими прорванами выбитых окон, другой — скелет — остов палатки, с обрывками когда-то натянутого брезента. Весь берег завален разбитыми ящиками, ржавыми банками бывших консервов, красными бочками из-под керосина, тряпками, обрывками канатов и т. д.

Залезаю в разбитое окно дома и попадаю на небольшую твердую ледяную горку, которая образовалась от снега, нанесенного пургой в пробитую брешь крыши. Сползаю вниз через какие-то перегородки, простенок и обвисшие, но не перепревшие веревки и неожиданно попадаю в жилую, уютную, прекрасно сохранившуюся комнату. Небольшой кабинет — рабочий стол, полки с чуть заплесневевшими книгами. Много фотографий, картин, карт и безделушек. Рядом спальная комната с узкой складной кроватью и умывальником. Все на месте, вплоть до остановившихся стенных часов и термометра. Впечатление такое, что обитатели дома только вчера покинули остров. В других, занесенных снегом комнатах, из-под ледяного футляра видны кухонные принадлежности, посуда и предметы обихода.

Насколько хорошо сохранился дом, настолько разорена палатка. Здесь за два с лишним десятилетия ураганные ветры, снежные заряды и дикий мороз показали свою разрушительную силу. Пачки ненадеванного белья почти сгнили и от прикосновения трещат и лопаются. В большом количестве в беспорядке валяются ошейники, хомуты, рассыпанные чай, табак, спички, ручные чемоданчики с массой крахмальных воротничков и неизвестно для чего завезенных сюда шелковых

сорочек. Все лишнее, без чего могли обойтись члены экспедиции А. Фиала, даже богатое оборудование, брошено, чтобы не загружать нарты и себя в пути к мысу Флора, к спасательному судну, которое пришло к ним на помощь. Около стены дома аккуратно сложены ящики с консервами. Мы открыли две банки с лососиной. Приблизительно в ста шагах от жилья находим американскую обсерваторию со всевозможными научными приборами, которые от времени не пострадали. Тут же три швейные машины, большой запас иголок, богатая аптека и несколько фото- и киноаппаратов. Тщательно осмотрели все помещения в надежде найти письма или записи. К сожалению, их не оказалось. На пригорке установили мемориальную доску в память трем пропавшим без вести в 1900 году итальянцам с надписью: «Памяти Квестини, Стоккена и Ольери. Советская экспедиция 1929 года».

Уже перед самым уходом с острова один из наших матросов нашел изодранный, вылинявший вымпел, на котором с трудом разобрали надпись «Америка» — название судна экспедиции А. Фиала. Мы его заботливо свернули, чтобы передать в музей Ленинградского института по изучению Севера.

Видимо, те, кто так спешно покидал эти две зимовки, не смогли позаботиться о порядке в них.

Однако еще в прошлом столетии русские поморы, вынужденные зимовать на далеких островах Арктики, отправляясь на родину, оставляли продукты, накрепко заколачивали в избах окна и двери на случай, чтобы кто-то оказавшийся в беде смог бы прожить там до оказания помощи.

## В ледяной пустыне

Обратный путь в бухту Тихую неожиданно оказался чрезвычайно тяжелым. Южную часть Британского канала заполнили торосистые ледяные поля и айсберги. Трое суток с трудом пробирались мы туда, где оставили наших товарищей. В Арктике погода меняется с капризной быстротой. Неделю назад, когда уходили от Земли Франца-Иосифа, взяв курс на норд, наше судно легко шло по широким разводьям. Сейчас же картина резко изменилась. Напрасно В. И. Воронин оглядывал горизонт в надежде увидеть столь желанные полыньи. Их не было — кругом белый ковер ледяных полей. А земля вроде бы и близка. Далеко за изломами торосов была видна неясная, мигающая в разливах тумана черная полоса. Но подойти к ней невозможно: освободившийся от груза «Георгий Седов» потерял прежнюю тяжесть давления на лед.

К вечеру не отдыхавший уже





несколько суток капитан подошел к начальнику экспедиции: «Отто Юльевич, дальше продвигаться невозможно. Бесполезно пускаться в воздух драгоценный уголь. Делаю все, а результата никакого...» О. Ю. Шмидт принял решение пойти вместе с группой людей пешком к острову. Вместе со Шмидтом отправились географ И. М. Иванов, я и матрос Иванов.

В 10 часов вечера все участники экспедиции провожали нас. С борта подали маленький брезентовый каяк (лодочку) на случай встречи с полыньями, легкие нарты для его перевозки, два заплечных мешка с продовольствием.

Мы взяли направление на отчетливо видный резкий излом красавицы скалы Рубини Рок. Сменяясь, по двое тянули нагруженные нарты. Ровная вначале дорога с крепким упругим настом, который не позволял ногам проваливаться в снег, вскоре сменялась высокими нагромождениями торосов. Только тут мы почувствовали, что значит продвигаться по льдам. Мокрые от пота, который обильно стекал с лица под шерстяные фуфайки, мы с трудом волочили тяжелые нарты, поминутно цепляющиеся за острые углы ледяных громад. А тут еще, к несчастью, случилась первая авария: лопнули подпорки у нарт и сломался один из деревянных полозьев — лыж.

Правду сказать, у меня явилась мысль оставить нарты, какая и продолжать путь без них. Но О. Ю. Шмидт запротестовал, указав на зияющие впереди темные прорехи полыней. Матросу пришлось продемонстрировать свое мастерство. Быстро и ловко морскими узлами он закрепил полуманнские части нарты, и мы двинулись дальше.

Оглянулись назад. Среди необозримого белоснежного покрывала чернел начавший уже скрываться силуэт нашего судна и чья-то маленькая, еле заметная фигурка на капитанском мостике. «Смотрите, — воскликнул Отто Юльевич, — установили вахту, следят за нашим продвижением...» У первого разводья, в несколько раз шире Москвы-реки, решили разделиться на две группы, ибо утлый неустойчивый на волне каяк едва вмещал двоих, осаживаясь в воду до бортов. Условились, что О. Ю. Шмидт и матрос переберутся на каяке, а географ Иванов и я попытаемся найти обход и встретимся на другой стороне полыньи. Прыгая по разрозненным льдинам, часто опускавшимся под тяжестью тела, падая в студеную воду, пробирались мы в ледяном хаосе, в беспорядочном нагромождении льда и темно-синих айсбергов.

Снова шагали в торосах. Снова тащили тяжелые, намокшие нарты и каяк. Вот уже десятый час,

как мы честно идем к берегу, не приближаясь к нему, чувствуем, что все наши усилия сводил к нулю быстро дрейфовавший лед, неуклонно отбрасывая нас на восток. Вы не представляете себе наше состояние, когда мы поняли, что все попытки добраться до берега ни к чему не привели. Усталые, измученные до предела, мы шли вперед, а ветер тащил лед и нас в сторону, мимо узенькой полоски земли, к которой со всей страстью мы стремились.

Вот тогда-то и напомнил Отто Юльевич воспоминания русского штурмана В. И. Альбанова, пешком добравшегося в 1914 году с затертого льдами судна «Св. Анна» к Земле Франца-Иосифа. В своем дневнике он записал: «Сегодня у нас счастливый день. За сутки нам удалось пройти 5 километров». Нам эти слова не показались удивительными. Пять километров по торосистым льдам, в обход полыней и разводьев, с бесчисленными поворотами в поисках подходящего пути, с частыми возвращениями назад вытягивались в многозначную цифру пути. Нестерпимо хотелось пить. Горло становилось сухим, ненасытным. Сколько ни грызли кристаллы льда, жажда не унималась.

Утро — собственно, этот термин не совсем правилен в Арктике, ибо всю ночь светило яркое негреющее солнце, — заста-

ло нас еще на полпути к цели. «Сделаем остановку, — распорядился наш начальник, — надо хоть полчаса, да отдохнуть». Быстро раскрыли тонкую парусину удобной вместительной палатки и с наслаждением ели застывшие консервы. Но неутомимый О. Ю. Шмидт уже торопил: «Скорее в дорогу, до земли еще далеко». Я поражался его исключительной энергии и выносливости. С легкостью и мастерством заправского альпиниста перебирался он через крутые торосы, прекрасно ориентировался и правильно указывал на более удобный путь. А самое ценное в наших условиях — не унывал. В моменты, когда мы еле брели от усталости, он находил в себе еще силы и юмор (а устал он не меньше нас), чтобы ловко и незаметно подбодрить нас, поднять настроение.

Твердый наст, по паркету которого было так легко идти, давным-давно кончился. Ноги утапали в рыхлой крупе снега. Арктика заставила нас стать акробатами, делать рискованные прыжки, карабкаться через торосы и все время тянуть тяжелую, окончательно доломавшуюся нарту. Глаза слипались, на плечах у всех красные рубцы, натертые веревкой от нарт. Мучительно долго тянулось время, а берег, казалось, совсем не становился ближе.

Подошли к очередной полынье.

По очереди переправлялись на одну льдину, оттуда на другую и так бесконечно много раз. Но самое неприятное было в том, что пока перевозили (а гребли мы по очереди), пока каяк возвращался обратно, вся остальная группа оказывалась уже далеко в стороне. А когда подбирали последнего, то за ним пришлось плыть добрых 2—3 километра. Медлить нельзя. Из последних сил пробирались к берегу, ибо чувствовали, что ветер приложит все усилия вынести лед, а вместе с ним и нас в открытый океан. Перспектива оказаться в положении группы Нобиле, с 2-дневным запасом продовольствия и одной обоймой в винтовке, никого не устраивала.

Первым, как ни странно, сдал матрос Иванов: руки натер до крови. Пришлось взяться за единственное, уже поломанное весло и галанить, то есть грести вперекидку, как на байдарке. Правда, получалось это у нас не так ловко, как у матроса, но все же достаточно хорошо, чтобы медленно, но продвигаться. И вот, когда мы были уже на расстоянии одного километра от земли, от мрачных скал, на которые смотрели с какой-то жадностью, на наши усталые головы свалились сразу два несчастья: легкий брезентовый каяк получил пробоину и поднялась крутая зыбь. Судорожно гребли к острову Мертвого Тюленя. Волны

перехлестывали через борт. Единственной маленькой металлической кружкой откачивали воду, замечая, что ее отнюдь не становилось меньше. Неустойчивый каяк бросало, как щепку, течением относило в сторону, поминутно угрожая опрокинуть. Лавируя между айсбергами, чудом добрались до каменистого острова.

Мне заранее было приказано ожидать здесь остальных, а географ И. М. Иванов отправился за очередным «пассажиром». Поднялся на пригорок, стараясь разогреться, топал застывшими ногами и следил за изломами торо-сов, которые скрывали моих друзей. Стоял час, другой, третий — их нет. В голову лезли злые предположения: неужели не сумели добраться до берега и их от дрейфовало мимо земли? Что тогда будет? Обнаружить их хотя бы на нашем судне в необозримой ледяной пустыне — безнадёжно. И самое ужасное в том, что у них нет винтовки, — она у меня. Может быть, попытаться дойти до полярной станции или еще подождать? Решился на последнее. Полдня просидел в «строгой изоляции», совершенно застыв на диком ветре. Полдня, как сумасшедший, носился по острову с надеждой заметить своих спутников. И лишь к ночи обнаружил их на соседнем острове Скотт-Кельти. Три выстрела в воздух заставили их обратить

внимание в мою сторону. Мне ответили сигналами и вскоре, перевезенный на каяке, я попал в объятия моих пропавших товарищей.

«Прямо чудо, — рассказывает Отто Юльевич, — как нам удалось добраться до берега. Дрейф уносил нас в сторону. Нам с трудом удалось зацепиться за последний мыс острова Скотт-Кельти. Еще несколько минут, и нас вынесло бы в открытое море». Решили дальше не идти. К тому же это было все равно бесполезно: на полярную станцию нам не попасть, так как бухта Тихая уже была покрыта тонким молодым льдом, на котором мы не смогли бы удержаться, а брезентовому каяку его не проломать, скорее сам потонет.

В сумерках, в густом тумане и начавшейся пурге раскинули палатку, с радостью залезли внутрь, чтобы согреть застывшее тело глотком чистого спирта, и мгновенно окунулись в непробудный сон. Вдруг сквозь сон, свист и завывание ветра кто-то из нас отчетливо услышал совсем рядом протяжный хрип знакомого гудка. Вскочили на ноги и, не веря слуху, побежали к мысу. Ничего не видно: густой туман и пурга уничтожили горизонт. Снова звук гудка — ясно: нас ищут. Неужели не заметят, пройдут мимо? На мгновение увидели корабельную мачту. Гулкие выстрелы, эхом отброшенные

скалами в море, заставили моряков «Георгия Седова» остановиться и выслать шлюпку.

«Ну вот, — сказал Отто Юльевич уставшим голосом. — Наконец-то мы дома...» Как приятно было сидеть в мягком кресле за столом кают-компания, пить крепкий горячий чай, чувствовать себя в безопасности, в тепле, пожимать руки друзей, слушать о том, как они волновались, потеряв нас из виду, а пробравшись к полярной станции и узнав, что мы не пришли, так и решили, что нас унесло в океан. Команда ходила подавленной, капитан был чернее тучи.

«Поздравляю, — сурово бросил он, входя в кают-компанию, — вы были на пороге смерти». Вот он, единственный случай, когда капитан был недоволен О. Ю. Шмидтом.

### Слушайте все!

Ночь накануне открытия станции мы провели в новых теплых, прекрасно отделанных комнатах. Блистали чистотой полы, на окнах уже висели занавески. Зимовщики распаковывали чемоданы, раскладывали свои вещи по местам. На стенах появились первые фотографии. «Пожалуйста, товарищи, — гостеприимно приглашал Э. Т. Кренкель, — сейчас буду устанавливать связь». Механик Муров запустил двигатель.

«Слушайте все, весь мир! Говорит Новая Советская полярная радиостанция на Земле Франца-Иосифа. Завтра мы ее официально открываем...»

Несмотря на позднее время, никто не спал. Столпившись, мы всматривались в лицо Кренкеля, пытались разгадать неясные звуки, доносившиеся из плотно прижатых наушников. «Поймал, — восторженно крикнул он, — радиолюбителя Евсеева из Нижнего Новгорода (теперь г. Горький). Он дал свои позывные. Ура! Радиостанция заработала!» Весело грянул бравурный марш из граммофона. В ответ рявкнул дружный хор ездовых собак. По заведенному обычаю был накрыт стол и подняты бокалы за благополучную зимовку наших полярников.

## Курс — на Архангельск

Капитан решил выйти в Баренцево море через вместительный пролив Де Брюйне, по которому месяц назад мы свободно прошли, не встретив льда. Но за это время обстановка резко изменилась: судно натолкнулось на сплошные ледяные поля. С огромным трудом и напряжением мы пробивались к югу. Облегченный от груза «Георгий Седов» не мог с прежней легкостью проламывать себе путь. Двигались медленно, часто застревали и часами простаивали. За двое

суток прошли только 47 миль — расстояние ничтожное в сравнении с обычной скоростью во льдах. Наконец остановились: идти, как говорится, некуда. Кругом лед и лед. Тогда капитан дал распоряжение команде колоть лед пешнями и грузить на судно. Цель была ясной — увеличить боеспособность, но и это не помогло, продвигались как бы пешком. Тогда В. И. Воронин решил пройти другим путем — проливом Смитсона. И правда, в северной части этого пролива мы встретили разреженный лед, который легко преодолели, и вошли в воды Баренцева моря. Но и тут нам не повезло: опять сплоченный лед. Вскоре впереди увидели остров Ньютона и полынью, а в ней несколько айсбергов. Туда и скомандовал капитан продвигаться. И вдруг неожиданно приказал: «Стоп машина! Измерить глубину». Любопытные, естественно, поинтересовались, почему остановились. «Не видите, что ли, — сердито ответил он, — айсберги неподвижны, значит, на банке сидят». Медленно шли вперед. «Тридцать метров», — отвечал вахтенный матрос. «Двадцать метров», — прозвучало с носа, — пятнадцать, десять...» — «Стоп!» — сердито крикнул В. И. Воронин.

Спустили на воду лодку, чтобы вручную промерять глубину на пути следования судна. Сначала дно лежало примерно в девяти

метрах от поверхности воды, потом глубина постепенно увеличивалась, и «Георгий Седов» смог пойти по намеченному курсу. Но не прошли мы и нескольких миль, как снова столкнулись с тяжелым многолетним льдом. Трудно было облегченному судну с ним бороться. В одном месте оно носом далеко напоззло на лед. Сколько ни работала машина на сигналы «полный вперед» или «полный назад», сколько ни перекладывали руль с одного борта на другой, чтобы раскаты, помочь сдвинуться с мертвой точки — ничего не получалось. Лишь через пять часов нам удалось соскочить с ледяной «ловушки», чтобы менее чем за полмили снова застрять между двумя полями.

Между тем температура воздуха снизилась до 10 градусов. Наш корабль стал серебряным. Все снасти и рен были покрыты вычурным инеем, придававшим ему сказочный вид. В небольших каналах между полями образовывался молодой лед. Снова в носовой трюм погрузили еще 40 тонн льда, явно недостаточного для форсирования полей.

Дело в том, что судно сидело в воде неглубоко. Поэтому оно ударялось об лед не стальной обшивкой, а нижней частью корпуса, который не был защищен. При столкновении со льдом лопнуло много заклепок, один из трюмов быстро наполнился во-

дой. К несчастью, была сломана одна лопасть гребного винта. Теперь уже «Георгий Седов» не смог идти полным ходом, ибо рисковал расшатать коленчатый вал. Визгливо затрещал звонок — авральный сигнал, по которому мы бросились откачивать воду и переносить уголь в другой трюм. Плотники спешно накладывали цементный пластырь на рану.

Сплошные многолетние торосистые поля, как и прежде, тянулись до самого горизонта, а 4 сентября, в ясное солнечное утро, мы наконец-то дошли до кромки, и нас, отвыкших от качки, ворчливый океан встречал крутой зыбью. Несколько раз попадали в полосы молодого льда, имевшего форму неправильных, расплывчатых кружков. Моряки называют это очень метко «блинчатым льдом».

Время для продолжения научно-исследовательских работ было для Арктики не позднее, только начало сентября. Поэтому О. Ю. Шмидт и В. Ю. Визе договорились с нашим капитаном пойти на восток, в Карское море к острову Уединения, а при удаче достигнуть тогда неизвестного западного побережья Северной Земли, но не входить во льды, так как наше судно потеряло свою былую боеспособность. С помощью лота измеряли глубины Баренцева моря, батометром брали пробы воды и измеряли ее температуру на различных горн-

зонтах. С другого борта ученые ловили планктон, также на различных глубинах. Геологи исследовали морское дно и его население — ежей, звезд, голотурий, похожих на огурцы, раков-отшельников, актиний и других живых организмов. Все участники экспедиции помогали ученым — выбирали из моря приборы, вертели ручки выюнков.

Но, не доходя параллели 79°, погода резко ухудшилась: повалил снег, северо-восточный ветер принес с собой туман, и заштормило. А тут еще капитан В. И. Воронин сообщил о том, что попытка заделать течь не удалась. Две донки едва успевали откачивать воду. Шторм увеличивал течь. «Поэтому, — сказал он, — следует немедленно взять курс на Архангельск». Иными словами, заканчивать арктическую экспедицию.

Начальник экспедиции, естественно, не мог не согласиться с вескими доводами опытного ледового капитана. Пришлось двинуться к югу.

7 сентября на рассвете мы уже достигли северной оконечности Новой Земли — мыса Желания. Шли вдоль гористых берегов, изрезанных заливами, сияющими на солнце глетчерами. По просьбе профессора Р. Л. Самойловича мы повернули к мысу Утешения, который находится на северо-западном побережье Новой Земли. Высадился на шлюпки и на мысу неожиданно обнаружили три

гурня, сложенных из крупных камней. Один, как заявил профессор В. Ю. Визе, был сложен Г. Я. Седовым в 1913 году, когда он совершал путешествие на санях к мысу Желания. По предложению Визе мы увеличили его размер, рядом положили бутылку и вложили в нее записку, в которой написали дату нашего посещения этого места.

Снова продвигались на юг. Наше судно, точно конь, почувствовавший близость конюшни, несмотря на аварийное состояние, шло ходко, мерно покачиваясь на волнах. Новая Земля — большой остров, разделенный проливом Маточкин Шар. В прошлые века сюда добирались русские зверобой, промышлявшие охотой на моржей, белух, диких оленей и гольца — разновидность семги. Да и сейчас на побережье находят следы их пребывания в виде деревянных крестов, которые ставились в ознаменование их зимовки, относящихся к XVII—XVIII векам. В 1913 году вдоль берега до мыса Желания прошел Георгий Яковлевич Седов, зимовавший на небольшом судне «Св. Фока» на Панкратьевском полуострове. В этой экспедиции участвовал и профессор В. Ю. Визе. Это место и миновал наш корабль днем. С 1921 по 1927 год на Новой Земле производил геологические изыскания профессор Р. Л. Самойлович. С тремя спутниками на небольшом моторном



боте он попутно открыл в северной части острова три залива, которые назвал именами известных русских полярных исследователей — Седова, Русанова и Неупокоева. 9 сентября прошли Крестовую губу — самое северное поселение ненцев и русских зверобоев.

Вот и Архангельск — белые дома, длинные корпуса фабрик и заводов. С пристани неслошь нескончаемое «ура». Встречающих было очень много: не только пристань, но и набережную заполнил народ, приветствовавший возвращение «Георгия Седова» к родным берегам. Спустили парадный трап. Сильные руки подхватили О. Ю. Шмидта и В. И. Воронина. Они, беспомощно раскинув руки, барахтались в воздухе.

Арктическая экспедиция ледокольного парохода «Георгий Седов» на Землю Франца-Иосифа закончилась. Задание было выполнено.

\* \* \*

Вышеописанная экспедиция и исследовательские работы дали науке много нового, до того времени неизвестного. Прошли десятилетия; в освоение Арктики ученые, моряки, летчики и полярники внесли еще более значительный вклад. Все меньше остается «белых пятен» на картах полярных морей. Ученые Ленинград-

ского арктического и антарктического научно-исследовательского института провели большие работы по комплексному изучению природы Арктики. В глубоководной центральной части Северного Ледовитого океана они открыли подводные хребты, названные именами Ломоносова, Менделеева и Шмидта.

За это время больших успехов добилась полярная авиация Азрофлота. Теперь в Арктике оборудовано много аэродромов, позволяющих принимать и отправлять современные тяжелые самолеты, такие, как турбовинтовые машины ИЛ-18 и АН-10. Через арктические аэропорты проложены новые воздушные линии, связывающие Норильск, Тикси, Магадан и другие города и промышленные центры со столицей. Самолеты полярной авиации производят воздушную разведку льдов, помогая капитанам судов ориентироваться в сложной ледовой обстановке и принимать разумное решение. Полярные пилоты уверенно летают над широкими просторами арктических морей, а когда нужно — совершают посадки на дрейфующий лед и нередко проносятся за Северным полюсом.

На побережье и островах арктических морей работают теперь более сотни полярных станций, радиометеоцентры, оснащенные современной аппаратурой. Постоянно действуют тринадцать бю-

ро погоды, которые круглый год обслуживают самолеты полярной авиации, а летом суда морского и речного флота, идущие по Северному морскому пути и во внутренние водные магистрали Сибири.

За последние годы на Крайнем Севере выявлены крупнейшие богатства земных недр — месторождения железной руды, золота, угля, нефти, природного газа, олова, никеля, а на западе Якутской АССР — редкие по запасам залежи алмазов, полиметаллических руд, вольфрама, слюды,

соли и редких элементов. Разработка этих богатств требует транспорта.

Таковы успехи нашей науки, нашего народа, сумевшего в кратчайший исторический срок достигнуть невиданного в мире прогресса. Экспедиция на ледокольном пароходе «Георгий Седов» была первым этапом, положившим начало освоению Арктики, первой ступенью ее завоевания, превращения Крайнего Севера из отсталого в передовой индустриальный район нашей Родины.

## СВИДЕТЕЛЬ ИЗ КАПОВОЙ ПЕЩЕРЫ

Владимир  
ЛЕВИН



Советские ученые закончили обследование обнаруженных в 1959 году наскальных изображений в Каповой пещере на Урале.

Сделано открытие — одно из крупнейших в современной археологии.

Найдено доказательство, которое искали почти столетие.

В 1878 году испанский археолог Марселино де Саутуола вместе со своей семилетней дочкой осматривал пещеру Альтамира, где находили грубые каменные топоры, кости вымерших животных, следы древних костров.

— Папа, папа, смотри! Быки! — вдруг закричала девочка, показывая на темный в трещинах потолок.

Марселино поднял глаза — со свода пещеры на него настороженно смотрел во всей мощи своих грозных мускулов кроваво-красный бизон. Чуть поодаль в мерцающем свете факела встревоженно насторожилась, словно не очнувшись еще после тысячелетий темноты и покоя, пугливая лань.

Археолог не верил своим глазам. Еще и еще раз он внимательно вглядывался в рисунки, пока не убедился, что они сделаны десятки тысяч лет назад. Саутуола опубликовал статью о своем открытии.

И ему не поверили. Не верили вплоть до тех пор, пока в 1895 году французский археолог Эмиль Ривьер не нашел почти такие же рисунки на стенах пещеры Ла-Мут, пока другие археологи не открыли еще десятки пещер с изображениями людей и животных.

Многие из рисунков были покрыты известковой коркой, образовавшейся тысячами лет,

подлинность пещерной живописи была доказана.

И споры вокруг великого вопроса — Homo sapiens, откуда ты, кем был при рождении своем? — вспыхнули с новой силой.

\* \* \*

То время было богато великими открытиями.

В 1856 году два немецких антрополога Фюльрот и Шаффгаузен описали случайно найденные при земляных работах в долине реки Неандерталь какие-то странные кости и осколок черепа. Кости поражали своей массивностью, а череп — маленьким скошенным лбом и мощными надбровными дугами. Эту находку можно было бы принять за останки ископаемой обезьяны... но у этой обезьяны был почти человеческого объема мозг.

Вскоре были найдены еще несколько подобных скелетов с примитивными каменными орудиями возле них. Сомнений не оставалось — это был ископаемый человек. Низкорослый, сутулый, с обезьяньими руками и не твердо стоящими еще на земле ногами, мощным черепом и глубоко, по-обезьяньи сидящими глазами, примитивный, первобытный, — но человек. Его называли неандертальцем. Гениальные слова Дарвина — «я вполне убежден, что виды, принадлежащие к одному так называемому роду,

происходят от других, обыкновенно угасших видов», — оказались пророческими.

Но не успел еще неандерталец получить признание науки, как в пещере Кро-маньон во Франции находят скелет еще одного ископаемого человека, ничем не отличающегося по своему строению от современного. Не мудрено, что с быстротой поразительной среди тех, кто не мог простить Дарвину его великой ереси, утвердилось мнение, что вместо одного вида первобытного человека существовало несколько, что кромансьонец, человек разумный, появился «на свет божий» уже сразу совершенным, а неандерталец «был создан богом» как раб человека разумного.

И открытие первобытной живописи словно доказывало это: едва ли не большинство ученых того времени считали просто невероятным, чтобы подобное красочное великолепие могло быть рождено рукой потомка обезьяноподобного неандертальца.

Снова с удвоенной силой начались рассуждения о неких пришедших откуда-то избранных судьбы, отмеченных печатью «высшего совершенства».

А в 1906 году близ местечка Гримальди в Италии археологи сделали открытие, казалось бы, доказывающее этот «приход». Под слоями почвы с захоронениями кромансьонцев лежали два скелета с явно негроидными форма-

ми черепов. Гримальдийцы — так называли этих людей — имели значительно меньший по сравнению с «классическими» кроманьонцами рост, но по объему мозга были схожи с ними. Следовательно, утверждают многие, кроманьонцы — потомки не неандертальцев, а таинственных пришельцев — гримальдийцев.

Как будто все теперь становилось на свои места... Где-то на севере Африки существовали племена людей «высшего типа» со своей культурой обработки камня, со своим укладом жизни и со своим доселе неизвестным миру искусством, которые, перебравшись в Европу, в очень короткий срок сумели поработить, а затем почти полностью истребить неандертальцев, дав дорогу «высшим расам современного человечества».

И самое якобы веское доказательство этой теории: пещерная живопись, впервые появляющаяся только с началом «кроманьонской» истории человечества, встречается лишь на территории Западной Европы — во Франции, Италии, Испании.

А из Африки ближе всего именно до этих стран...

\* \* \*

Шло время, шли споры. Все новые и новые свидетельства жизни древнего человека дарил исследователям наука. И посте-

пенно, по мере того как накапливались факты, становилось ясно, что цепь «неопровержимых» доказательств «божественной одаренности» первобытного художника начала рваться по всем звеньям.

Когда ученые стали систематизировать произведения первобытного искусства, оказалось, что самые ранние изображения были сделаны примитивно, грубым контуром — лишь дальнейшее развитие искусства привело к той «классике», которая ошеломила.

Высекая на кости, камне или рисуя на скале изображение животного, сцену охоты, первобытный художник в первую очередь познавал мир и, чем больше познавал его, тем прочнее «овладевал» им, тем глубже становились его знания о нем, тем увереннее становилась его рука, тем совершеннее становились его рисунки. Первые наскальные рисунки не были слиты в единую картину — древний художник не мог еще обобщить таинственную сложность окружающего мира, мира кровавой борьбы за жизнь, за пищу, за продолжение рода, — в тех мгновениях, что застыли на шершавых камнях, было лишь начало открытия этого мира. И прошли тысячелетия, прежде чем «художника» начало интересовать нечто большее, чем внешний вид зверя, — пишет советский исследователь Н. Латышева. — ...Он присматривался к самой жизни

животных, и ее различные проявления казались ему интересными и поучительными. Он подмечал в мире животных трогательные и выразительные моменты, проявления материнского инстинкта».

Искусство развивалось вместе с человеком, вместе с его осмыслением мира, помогая этому осмыслению и обогащаясь им. И это проявилось не только на одной из высших стадий первобытного искусства — пещерной живописи, но и много раньше.

Раскопки показали, что многие скелеты начала «кроманьонской» эры имели явные признаки неандертальского строения. И самое поразительное — люди эти, еще неандертальцы по облику своему, уже были кроманьонцами по образу жизни, по орудиям труда. Они были словно переходным этапом между человеком первобытным и человеком разумным. А в целом ряде стоянок на всем протяжении Европы и Сибири — во Франции, Италии, Австрии, Германии, Чехии, на Дону, под Иркутском — ученые находили почти одинаковые скульптурные изображения обнаженной женщины. И странное дело — первобытный скульптор выбирал как бы два типа женской модели. Одну — женщину полную и коренастую, невысокую, с короткими, сведенными в коленях ногами, с согбенными плечами и низко опущенной головой. Другую — вы-

сокую, сухоощавую, несколько даже «изящную». И вот исследование этих «венер» показало, что низкие и коренастые имели явно неандертальские пережитки в облике своем, высокие — уже отделились от них, перешагнули биологическую черту, которая отделяла неандертальца от кроманьонца.

Первобытный скульптор сделал как бы моментальный снимок современного ему человечества, делающего величайший в истории эволюции переход от неандертальца к кроманьонцу.

Искусство и жизнь шли рука об руку.

И чем больше ученые проникали в тайны искусства и жизни прачеловечества, тем яснее становились нити, связывающие человека первобытного — неандертальца — с человеком разумным — кроманьонцем.

\* \* \*

За весь период существования неандертальцев ученые открывали так называемые медвежьи пещеры. Неандерталец, этот неутомимый охотник, после чрезвычайно опасной, но все же удачной охоты на пещерного медведя, одного из самых страшных своих врагов, оставлял в отвоеванной пещере ноги и голову зверя и плясал около останков поверженной жертвы — он праздновал свою нелегкую победу.



Одним из самых первых творческих актов кроманьонца — линия, прочерченная по мягкой податливой глинне. Иногда явственно видно, как неумелая рука первобытного художника словно следует за зрительной памятью, сохранявшей образ бизона или оленя, создавая контур виденного.

И между глиняными рельефами и действиями в медвежьих пещерах, казалось бы, не имеющими ничего общего между собой, было найдено промежуточное звено.

Знаменитый французский исследователь пещер Норбер де Кастере в 1923 году, движимый каким-то внутренним чутьем, рискуя жизнью, нырнул в подземный поток, вытекающий из расщелины пещеры Монтеспан во Франции. И, достигнув отдаленного грота, он увидел поразительно зрелище.

На окаменевшем глиняном полу среди сохранившихся отпечатков ног, ступавших здесь десятки тысяч лет назад, стояла грубая глиняная болванка, отдаленно напоминающая статую медведя. На полу рядом лежали медвежьи кости. На «статую» можно было заметить следы от медвежьей шкуры и вмятины от дротиков и копий.

Еще один мост протянулся от человека первобытного к человеку разумному: пляски неандертальцев у останков убитого медведя — ритуальные действия у

сознательно созданного примитивного подобия медведя — первые зачатки изобразительной пластики кроманьонцев. Еще одно доказательство того, что искусство вошло в мир не откуда-то, не извне, а вместе с трудовой деятельностью человека, чтобы, сотни тысячелетий незримо созревая, дожидаться своего часа и, словно утверждая тысячелетнее единство поколений человеческих, завоевать мир.

Но почему все-таки пещерная живопись оставлена кроманьонцем только в пещерах Западной Европы? Ведь поселения неандертальца простирались далеко на восток, а там их потомки так и не смогли создать того, что было создано их европейскими современниками<sup>1</sup>. И доказательств обратного не было...

\* \* \*

Давно и неоднократно привлекала к себе внимание всех любопытных и любознательных грандиозная пещера на уральской реке Белой, которую местные жители называли Шульган-таш, или Каповая.

«...Сей грот весьма удивителен и походил на баснословное царство мертвых, — писал в 1770 го-

<sup>1</sup> В свое время были открыты наскальные фрески и рисунки в Узбекистане, Приазовье, на Лене, но происхождение их большинство ученых считают уже более поздним.



ду русский исследователь Лепехин, — каплющая вода делала особенно тихий и жалостливый звук. Стены грота, перемежая белый цвет с черным, преумножали пасмурность сего подземельного места...»

В 1959 году в это мрачное подземелье проникла экспедиция зоолога А. В. Рюмина. И вскоре в газетах и журналах появились сенсационные сообщения: залы Каповой пещеры оказались разрисованными древним человеком! Разрисованы в принципе совсем так же, как и пещеры Испании и Франции.

Рюмин не был археологом, и поэтому в его сообщениях истина переплеталась с явной игрой воображения, взбудораженного столь непостижимой удачей. Для тщательного обследования редчайшей находки была срочно организована экспедиция Института археологии Академии наук СССР под руководством доктора исторических наук О. Н. Бадера.

Все новые и новые рисунки мамонтов, лошадей, носорогов выхватывал на стенах и потолках луч электрического фонаря. Нет нужды описывать все то, что было обнаружено учеными в пещере, — десятки статей и сообщений появились в газетах и жур-

налах всего мира. Наука получила первое неоспоримое фактическое подтверждение того, что «на востоке в силу общих закономерностей развития первобытного общества существовали самостоятельные центры возникновения палеолитической живописи, принципиально ничем не отличающиеся от западных», — писал Бадер.

Наш предок из Каповой пещеры, украсивший стены своего дома, словно пришел через десятки тысячелетий, чтобы принести и это доказательство единства развития человечества.

\* \* \*

Еще далеко до того дня, когда отдельные бесспорные доказательства вырастут в одно бесспорное доказательство. Ведь, по образному выражению одного французского антрополога, исследователь древнейшего прошлого человечества находится в положении смельчака, который по вершинам затонувшего города отважился восстановить его план и облик.

...Поиски продолжаются. И каждая новая находка не только разрешает вчерашние споры, но и порождает новые.

## НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ

Борис  
НОСИК



Утро прошло в сборах и спорах. «Кто тебя возьмет? — отговаривали меня родные. — Сегодня же воскресенье, да и поздно...» Я молчал. Я был уже опытный автостоповец и за предшествующую неделю успел объ-

ехать чуть не всю Словакию. Мне везло, и часто мне даже завидовали другие «стопаки» — молодые чехи, словаки, поляки, венгры, немцы.

Было уже за полдень, когда я добрался в троллейбусе до южной окраины Праги и встал на обочине шоссе. Шоссе было пустынным. Прага отдыхала.

Прошло, наверное, минут двадцать, прежде чем показалась первая машина — красненькая «шкода», кажется, «фелиция». Я поднял руку. Проезжая мимо, машина затормозила и повернула к обочине шоссе.

Когда я подбежал к машине, задняя дверца ее была уже гостеприимно открыта. Так я двинулся на юг Чехии.

Мы мчались среди полей и болот, водитель молчал, и только где-то в середине пути, махнув рукой в сторону от шоссе, он вдруг сказал: «Вон там я был в концлагере, в немецком лагере...»

Пан Новый отлично говорил по-русски, но не возражал и против того смешанного наречия — русский, чешский, украинский, польский и словацкий, — которым я пользовался во время поездки по Словакии. К сожалению, возле Бенешова пану Новому нужно было сворачивать в сторону, и я вышел из машины.

Следующая «шкода» остановилась сама. Какой-то военный ехал

в Прахатице. Он тоже не любил, наверное, разговаривать за рулем и только время от времени дружески улыбаясь, а один раз сказал, что вот, мол, «блата» кругом, и я понял так, что тут «болота», почти по-русски — «из тьмы лесов, из топи блат».

Наконец, дощечка указателя — Табор. Здесь начинается Южная Чехия, один из интереснейших районов страны. Я прощаюсь с военным и выхожу из машины на главной площади Табора.

Удивительны и неправдоподобно хороши эти площади чехословацких городов, нетронутые веками, словно бы избежавшие здесь, на бойком европейском перекрестке, и войн, и пожаров, и бомбежек, и бесшабашной реконструкции, и натиска энтузиастов-торгашей, и модернизации, и индустриализации. Что же, тем лучше для нас, для туристов, которых здесь проезжают миллионы. Зачарованные, останавливаемся мы перед полукругом вдруг возникающих из глубы веков узких, в три-четыре окна домов, с причудливой остроконечностью фронтонов, с аркадами первых этажей, с инкрустацией настенной ренессансной росписи в манере сграффито — тонкий и четкий рисунок процарапан на многослойной закраске, так что темное проступает из-под светлого, а разноцветные слои штукатурки — один из-под другого,

образуя очень своеобразные картины; мы останавливаемся перед старинными памятниками, часовнями или «моровыми столбами», что воздвигли предки в годину мора и глада, а потом хранили многие поколения потомков; молча стоим на брусчатке мостовой, стертой и сглаженной поколениями, на камнях, столько видевших, столько познавших на своем долгом веку.

Такова и площадь в Таборе.

Слава Табора связана с величайшим в истории Чехии движением, с именами Яна Гуса и Яна Жижки из Троцнова. В Праге, а потом в Козьем Градке, что в шести километрах от Табора, поднял свой голос в защиту правды и истины магистр Ян Гус. Он доискивался до чистой, не запятнанной католическими патерами, не замазанной индульгенциями, карьеризмом и иерархией, до исконной правды христианства, и поиски правды завещал потомкам своим — чехам, свято чтущим ныне его имя. Он ратовал за родной чешский язык, теснимый иноземцами, выступал против торгошай в сутане, учил добру, этот непримиримый и бесстрашный магистр. В Козьем Градке он написал знаменитую «Постиллу», где отстаивал свои взгляды. Его пригласили в Констанц, на собор. Конечно же, небезопасно было являться туда обличителю пороков католической церкви. Небезопасно было

упорствовать в своих рассуждениях о «справедливых господах»: только такие, мол, и могут управлять подданными, а тем, кто нарушает заповеди Христовы, не обязан подчиняться честию и род.

Магистра Гуса влекла на собор потребность отстоять свою правоту, убедить в ней верующих. Да и ласковый император Сигизмунд обещал ему неприкосновенность. Император предал, и магистра бросили в темницу. Он ни от чего не отрекся и взошел на костер, не первый и не последний... Думая о нем, я всегда вспоминаю теперь пражский памятник Гусу. Магистр в пламени костра, голова его поднята гордо и страдальчески. И надпись-завещание: «Любите друг друга, и к каждому придет правда!»

Это был не первый костер, но приходит час, когда пламя костров, сливаясь, охватывает землю. Так было и с «очистительным» костром в Констанце. Терпение переполнилось. Чешские феодалы подписали протест собору. А крестьяне из села, что неподалеку от нынешнего Табора, и вовсе покинули дома. Они вышли за околицу с семьями, с детьми, со скarbом, погруженным на телеги. Они взошли на холм, нарекли его Табором и основали поселение «братьев и сестер». Они отвергли прогнившие принципы жизни, сложившийся

быт. Они обратились к библейским принципам коммуны. Здесь не было «твоего» и «моего», здесь был культ любви к ближнему и культ книги, библии. В те времена это было свидетельством большой грамотности, и современников поражала ученость этих простых чешских крестьян. Даже ненавистник, папский посол, заявил однажды, что любая женщина в Таборе образованнее итальянского священника.

Так началось великое движение Реформации. Конечно, их не оставили в покое, этих дерзких крестьян в их новоявленном Таборе. Но они были полны решимости отстоять правду, завещанную им Гусом. У них появилась новая, удивительная и очень действенная для своего времени тактика войны: в их лагерях-таборах, в кольце скрепленных цепями телег вязли тяжелые конники-рыцари, и этот прообраз более позднего русского «Гуляй-города» принес им не одну победу. У них было легкое и надежное оружие — пики, цепи, колья, ружья. У них появился талантливый полководец — одноглазый Жижка из Троциова.

Их погубили распри в их лагере, измены. Но ничто не проходит даром: пожар крестьянской войны уже гулял по Европе...

Все это вспомнилось мне на мистически прекрасной, небольшой, но величественной площади Табора.

Я листал путеводитель. Табор происходит от «табора», гуситского лагеря, говорилось там. Может быть. А еще скорее от названия горы Табор, что в шести милях от Назарета, той самой, о которой говорится в библейской Книге судей (там стояли войска перед битвой). Уж кто-кто, а табориты знали библию наизубок.

Из костела начала XVI века на площадь выходят туристы и становятся перед ратушей. Ратуша еще старше костела, перед ней стоят каменные столы, у которых в XV веке причащались хлебом и вином. Такое «двойное причастие» для всех как раз и защищали гуситы-чашники, недаром же на их знамени была нарисована чаша для причастия.

Я захожу в прохладный полумрак древнего костела и тут останавливаюсь, пораженный вторжением XX века в XVI век. На стене — рисованная от руки стенгазета, точнее — плакат с двумя рисунками, объединенными общей подписью. На первом рисунке окровавленный Каин убеждает, бросив бездыханное тело Авеля. На втором — уносящаяся вдаль машина, бездыханное тело прохожего, брошенное на обочине шоссе. И подпись «Не убий!».

Я не спеша осмотрел старые крепостные укрепления, Бехиньские ворота, музей, а потом снова встал у городского перекрест-

ка, возле которого с удивлением прочитал на стене дома русские надписи: «Читайте, завидуйте, я гражданин...», и еще: «Русские прусские всегда бивали».

— Это старые-старые, — сказал мне прохожий, — наверно, еще с войны.

Казалось, история всех времен расписалась на нерушимых стенах чешских городов.

У поворота в Сезимове мне снова пришлось выйти, и тут я увидел, что один коллега-автостопец уже стоит под деревом у дороги: невысокий парнишка лет пятнадцати-шестнадцати с каким-то бумажным плакатом в руках.

— Агой! Агой! Привет!

Я подошел ближе, и мы разговорились. Звали его Иржи, он был студент техникума из Чешских Будевеиц. На плакате у него крупными буквами были написаны названия городов, которые он прошел автостопом: Варна, Будапешт, Сплит, Загреб...

Теперь он возвращался домой в Будевеицы, загорелый и нестриженный, в куртке, похожей на маскхалат, с торбой и котелком за плечами. «Стоповал» он уже устало, равнодушно, и, ожидая, пока его заберут, я подумал, что на счету у него, наверно, не десятки, а сотни машин. Потом забрали и меня: какое-то молодое семейство — папа, мама и пятилетняя дочка Танечка. Когда папа с мамой узнали, что я хочу посмотреть замок в Глубоке, они

сказали, что сделают крюк и завезут меня в Глубоку. Никаких возражений, завезут, и все тут!

Замок в маленькой курортной Глубоке показался мне на удивление знакомым, и я долго гадал, на что же он похож. На именнинный торт? На декорации к Шекспиру? На алушкинский дворец? Я открыл путеводитель, где толково объяснялось, что нынешний свой вид Глубокский замок получил в XIX веке и что архитектор построил его по образцу Виндзорского замка. «В псевдоготическом стиле», — завершал свои разоблачения путеводитель.

Знаменитая замковая картинная галерея была уже закрыта, и я снова выбрался на шоссе.

Однако уже стемнело, и машины теперь останавливались неохотно: бог его знает, кто там стоит во мраке под деревьями и что у него на уме. Все же нашелся смелый водитель — прораб Франтишек Шустер из Чешских Будеевиц. Он подобрал меня и стал весело расспрашивать — куда, откуда, что видел. В отель он меня не повез — и хлопотно, и дорого, и неудобно, сказал он. Он повез меня сразу домой, на Чечову улицу, что в будеевицких Черемушках. В обширной квартире его было пусто: дети проводили каникулы у бабушки. Легли мы за полночь, а часов в пять я услышал какие-то шорохи в столовой и понял, что хозяева уже встали. Тут-то я и

сообразил, что им, наверное, пора на работу, потому что работать здесь начинают очень рано: в шесть, в семь утра. Я выглянул в окно. Едва светало, но по окутанной туманом Чечовой улице уже спешили рабочие. Таяли в тумане пестрые плащи женщин, проносились машины.

Я вышел на улицу вместе с хозяевами и увидел, что город уже не спит: жужжат троллейбусы, стучат каблучки по мостовой, толкая перед собой коляски, стремительно бегут к детским садам молодые родители. Казалось, все довольно многочисленное население города высыпало на улицы. Чешские Будеевицы сейчас довольно крупный промышленный центр, город множества производств. Здесь выпускают электрооборудование, мотоциклы, двигатели и, наконец, карандаши, карандаши высокого класса, носящие имя одной из высочайших гималайских вершин — «Кох-и-нор».

Я вышел из троллейбуса в самом центре города, рядом с Черной башней XIV века. Может, из-за этой башни Ян Неруда называл Будеевицы «чешской Флоренцией». Передо мной раскинулась великолепная городская площадь, площадь имени Яна Жижки из Троцнова, одноглазого предводителя гуситов. Прекрасная, как большинство древних городских площадей в Чехии, она была необычно велика, украше-

на фонтаном, великолепной барочной ратушей и множеством старинных домов со стройными готическими арками, умопомрачительными химерами и скромными датами на фронтонах — 1568... Через минуту-две должен был начаться рабочий день. Главная площадь опустела почти мгновенно, магически, и на меня, обитателя города, где почти не пересыхает ручей пешеходов, это произвело большое впечатление. Площадь была огромная, прекрасная и пустынная. Потом в пустыне, крытой брусчаткой, раздалась дробь женских каблучков. Женщина бежала, стремительно толкая перед собой детскую коляску. Ай-ай, опоздала!..

Я пошел вдоль площади, под навесами магазинов, которые уже открылись чуть не с первыми лучами солнца. С площади я свернул в боковую улочку и увидел древний костел и маленькую площадь перед костелом, на которой торговали цветами и огородной зеленью. Расположенные поблизости здания старинной мясной лавки, оружейной мастерской, монастыря, костела, да и сам этот маленький базарчик, на мгновение оставшийся без покупателей, — все это словно вырвало маленькую площадь перед собором из нынешних промышленных Будеёвиц, из мира, где была Чехова улица с ее новостройками, современная квартирка Шустеров с изданиями

«Млады фронты» на полках и разнообразная, вполне современная будеёвицкая индустрия. В костеле Введения во храм девы Марии шла служба и под перекрещивающимися готическими сводами просторного главного нефа тихо рокотал орган. Доска в притворе сообщала, что костел, как и монастырь, был построен монахами-доминиканцами в 1265 году. Стиль ранней готики.

Луч утреннего солнца поднялся над крышей соседнего здания, пробился через цветные витражи, скользнул по статуям. Орган вдруг смолк на скорбной и тревожной ноте. Зазвонил колокольчик. Служба подходила к концу.

Я добрался в троллейбусе до окраины города и встал у шоссе, ведущего на юго-запад, к Чешскому Крумлову. Стоять мне пришлось недолго, и я неосторожно подумал, что мне чертовски везет на чехословацких дорогах: ни одного простоя.

Шофер, подобранный меня на этот раз, был молодой инженер из Праги. Он был «на доволен», в отпуске, и вот решил прокатиться к югу на своей «шкоде». Он довольно сносно говорил по-русски, и после тщетной попытки получить от меня более или менее толковую информацию о русских автомобилях он решил рассказывать сам. Он сказал, что отсюда рукой подать до Австрии, до Линца, еще часок такой езды. Сам он уже бывал в Вене

зимой, пражанину теперь совсем нетрудно туда съездить. Еще он рассказал мне историю про то, как два чеха-студента сидели в Вене в кафе и туда пришли со студии телевидения: была какая-то не то викторина, не то интервью. На вопрос, что им больше всего нравится в Австрии, студенты сказали, что им больше всего нравятся весьма популярные в Праге австрийские зажигалки, которые, как это ни странно, зажигаются с первого раза. Можно щелкнуть десять раз, и каждый раз будет огонь, сказали они. Они вынули свои зажигалки, и зажигалки не отказали. Тогда все посетители кафе извлекли на свет божий зажигалки и стали их испытывать, и все это передавалось по телевидению. А через полчаса в кафе объявился представитель фирмы, изготавливающей зажигалки, и, направившись прямо к студентам, спросил, что они хотели бы получить в подарок за остроумный ответ. Он еще сказал, что это была самая блестящая телереклама за всю историю фирмы. И студенты сказали, что не подарит же он им белый лимузин, так пусть хоть подарит по зажигалке.

— И что вы думаете? — спросил инженер.

— Подарил, — догадался я.

— Да, подарил, и теперь они не знают, что им делать с машиной, — с энтузиазмом закончил свой рассказ водитель, и,

закончив эту легенду XX века (которую с таким блеском пародировали Ильф и Петров в своих романах), он отдал все внимание дороге, потому что мы въехали в Чешский Крумлов.

Описывать Чешский Крумлов я просто не берусь. Это удивительный заповедник старины, где с XIII века много поколений Витковцев, Ружимбероков, Шварценбергов и Эггенбергов повелевали строить, перестраивать, украшать, воздвигать и столько же поколений мастеров усердно исполняли эти приказания, вкладывая душу в благородный труд созидания, а беспощадное к другим городам и странам время милостиво хранило эти дома, эти башни, храмы, улицы, этот огромный замок над Влтавой с его тремя сотнями помещений, дворами, гостинными, коллекциями гобеленов, фарфора, картин, старинных декораций и костюмов одного из старейших в Европе театров.

В парке около замка я увидел очень странный театр на свежем воздухе. Это было нечто вроде стадионной трибуны, причем вращающейся. По ходу театрального действия трибуна эта обращала зрителей лицом к новой декорации, и действие разыгрывалось тут же, под деревьями старинного парка на фоне древнего замка. Театр ставил Шекспира, но, к сожалению, в тот вечер спектакля не предвиделось, так что мне пришлось довольство-



ваться беседой с механиком и осветителем, игравшими столь заметную роль в этом творческом коллективе.

Потом я снова бродил по замку, из окон которого открывается удивительный вид на леса Шумавы, на излучины реки, на город.

В середине дня я беспечно встал на шоссе, ведущем обратно в Чешские Будейвицы. Я проехал уже много сотен километров по дорогам страны, мне все время везло, и поэтому в первые полчаса я не огорчился из-за того, что машин было мало и что водители их даже прибавляли скорость, заметив мои отчаянные призывы.

Впрочем, очень скоро мне стало и совсем грустно. Прошел час, другой, а редкие машины проходили мимо не останавливаясь. Удача оставила меня, и я познал невзгоды автостопа. Автобусы тоже почему-то не шли довольно долго, да я и стоял не на остановке, так что вернулся я в Чешские Будейвицы только поздно вечером и заночевал в отеле «Звон».

А утром снова вышел на шоссе, ведущее на северо-восток, к Тршебони. Меня подобрал шофер огромного грузового «робура», веселый толстяк средних лет. Он был очень разговорчивый, пожаловался на материальные трудности, выразил недовольство тем, что жене приходится работать, а потом рассказал про свою новую

легковую машину и новый мотороллер, который он недавно купил сыну-школьнику. Я сказал, что после этого последнего сообщения его материальные лишения стали как-то меньше удручать меня, и он долго и добродушно хохотал, хлопая по баранке. В Тршебони он стал уговаривать меня не вылезать: «А, что там, в этой Тршебони!» Напуганный вчерашним сидением в поле, я дал уговорить себя, и мы помчались дальше через этот прекрасный и древний южночешский город.

Справа и слева от дороги теперь виднелись синие воды больших искусственных прудов, которыми издавна славится Южная Чехия. Многочисленные странствия по нашим рыбацким поселкам (на Дунае, на Волге, на Байкале, на Рыбинском море, на Аральском и Азовском морях) вселнили в меня тревогу: рыба исчезает. Как ни странно, но сухопутная Южная Чехия вселила в меня надежду. Здесь сеют, чтобы собрать урожай; рыбу здесь разводят в прудах, получая по полтора центнера ценной рыбы с каждого гектара прудов. А пруды здесь огромные. Систему этих водоемов чехи начали создавать еще в XVI веке. Собственно, тогда же и была закончена система прудов, существующая по сегодня без особых изменений. Один из этих прудов я увидел сразу за Тршебонью. Это был Ружмберокский пруд, самый-большой в Ев-

ропе. В том же XVI веке один из чешских строителей соорудил здесь плотину протяженностью в два с половиной километра. И что уж показалось мне вовсе поразительным, в XVI веке в Чехии существовало научное рыбководство: книжка Яна Скалы по ведению рыбного хозяйства была еще в конце века переведена на английский язык и долгое время служила учебным и практическим пособием для рыбоводов.

Факты эти многое могут объяснить человеку, которого при первом знакомстве поражает относительно благополучное положение с охраной природы в Чехословакии и особенно количество невырубленных и незагрязненных прекрасных лесов (леса покрывают добрую треть территории этой густонаселенной страны). Я сказал «относительно благополучное», потому что грустное небрежение к природе мне иногда приходилось встречать и там. В Чешском Крумлове меня сразу предупредили, что купаться в Влтаве не стоит: загрязнена. А под Жиаром-над-Гроном гибнут леса от дыма комбината. И все же бережное внимание к природе здесь поражает.

Наш могучий «робур» мчится по шоссе мимо старинных прудов, живописной деревушки Члunek, мимо гордых каменных деревень, отличающихся от города, наверное, только количеством жителей и количеством костелов.

Наконец, Ийндржихув-Градец. В пруду отражается удивительная россыпь островерхих домиков, узеньких, как башни, в три окна, дом с солнечными часами, черная труба замка. На этом месте Ийндржих из рода Витковцев еще в 1220 году построил свою каменную крепость — Градец. Теперь здесь ренессансный замок с аркадами, окружающими дворик, узкие старинные улицы с готическими костелами, древними монастырями, колоннами, воротами. А к городу подступают старые леса, и под их сенью водоемы, пруды, озера — десятки и десятки прудов. С вершины Чертова камня, что к северу от города, видны добрых восемь десятков этих прудов, и во всех, конечно, рыба и знаменитый тршебоньский карп... Я прохожу по переходам замка, по узким улочкам города, мимо костела Успения девы Марии, заложенного в XIV веке, мимо старинной синагоги с грустной надписью: «Здесь молились богу наши отцы, которые были замучены немцами».

Я снова выхожу на дорогу, меняю машины на перекрестках, постепенно постигая премудрости автостопа и психологию водителей. Например, мной было замечено, что едущие с детьми берут пассажиров охотно, даже в темноте: наверно, дети облагораживают человека за рулем. Шоферам тяжелых грузовиков брать «стопаков» не поло-

жено, но они берут охотно расспрашивают, куда едешь, угощают содовкой. Впрочем, грех жаловаться — и чешские «частники» (в отличие от наших) берут часто и охотно. Все зависит от удачи, от энтузиазма; с которым машешь, от поведения «стопаков», от морального уровня водителей.

За Ийдржихувым-Градцем на желтом дорожном указателе я увидел десятка два надписей, сделанных тоскующими или удачливыми «стопаками» — настоящая летопись отпускного сезона:

«Стоп — это прелестно, поехали на Балатон!» — «Верь автостопцу!» — «А мы прождали на Тельч семь часов». — «Это ужасное свинство, что берут только девчонок». — «Я Роджер Хэриссон из Сассекса». — «Берут, ребята! Берут, как карпы в ручье!»

На этот раз я прождал машину до Тельча только полчаса. Но стоило бы ждать и семь. Это совершенно уникальный город, этот «Белый Тельч» на юге Моравии. Вернее, уникальна его главная площадь: два ряда узеньких островерхих домишек с аркадой, протянувшейся по первому этажу, вдоль всей площади. Выходишь на эту площадь и словно переносишься в какой-то очень веселый, ненастоящий, почти игрушечный мир. Белая площадь, белые веселые дома, аркады, солнце. После этой ренессансной площади Тельча, на которой я провел несколько часов, смотреть, во всяком

случае сегодня, больше ничего не хотелось. Это была, пожалуй, вершина, нечто совершенно неповторимое по целостности производимого впечатления, по избытку радости и мистическому ощущению древности. И, боясь расплескать это ощущение, я решил двинуться назад в Прагу по старинному пути, который издавна соединял Прагу с Веной.

С переменным успехом «стопуя», я выбрался на шоссе, ведущее к Ийглаве, древней столице серебряных рудников и чеканки монет.

В Ийглаве меня подобрал шофер грузовой «праги». Шофер мне попался лихой, кудрявый. Он мало разговаривал, много свистел и часто высовывался в окно кабины почти по пояс, оглядываясь не то на груз, не то на дорогу. Когда он свистел, он был особенно похож на удалого разбойника, и звали его тоже как-то по-разбойничьи — Яромир Кудр. Он подбросил меня до Гавличкув-Брода и сказал, что позднее поедет дальше, так что, может, еще увидимся. Уже темнело, но я не терял надежды в ту же ночь добраться до Праги. Однако добрых два часа меня никто не брал, и уже около полуночи я увидел на шоссе огни Яромировой «праги». Он затормозил, весело засвистел, и мы двинулись дальше вдвоем. Яромир был по-прежнему неразговорчив, и, когда мы вдруг свернули с главной дороги, он сказал

только: «Ночлег». Мы ехали теперь в сторону от Праги, к Хлумцу.

Остановившись на какой-то спящей деревенской улице, Яромир выпрыгнул из кабины и стал шарить у калитки белого мазаюго домика. Я вышел вслед за ним и увидел, что Яромир отыскал ключ и теперь отмыкает калитку. Мазаика была не то недостроенная, не то заброшенная. В единственной отделанной и побеленной комнатке стояли две кровати. Кроме коек, здесь была только тумбочка, заваленная номерами солдатского журнала «Вояк». Вообще комната несколько напоминала армейскую караулку, только вместо наставлений и лозунгов на стенах здесь были приколоты слегка приодетые кинозвезды, манекенишцы, пловчихи.

Яромир буркнул что-то совсем невразумительное, потом засвистел какую-то колыбельную и повалялся на койку: «Доброу ноц».

## Прага — Перла Мнест

Выспавшись в шоферской иоч-лежке под Хлумцом, я добрался до Праги, где близ тихой площади под каштанами королевского парка Стромовки живут родственники жены, пригласившие нас в Чехословакию.

После завтрака я отправился бродить по своему любимому пражскому маршруту — Старый

Город, Мала Страна, потом Град и, наконец, венец пражской архитектуры — могучий храм святого Витта, плод многовекового вдохновенного творчества десятков архитекторов, художников, скульпторов, каменщиков. Храм святого Витта — это целый мир искусства, музей многих школ и направлений, сменявшихся на протяжении веков строительства, это музей чешской истории, и прежде всего, конечно, великолепен сам храм, потрясающий своей грандиозностью и убедительностью. Думая об этом храме, я часто вспоминаю короткометражную чехословацкую картину о пребывании в Праге Лунса Армстронга, прославленного короля джаза: Армстронг во время экскурсии по Праге входит в храм святого Витта. Камера следует за его взглядом по алтарю, стенам, все выше, выше, под самые готические своды, и труба Армстронга, звучащая за кадром, тоже стремится все выше и выше, в немыслимую, нсступленную высоту, и звучит где-то в самых верхах, словно потрясенная и этой высотой, и размахом, и бесконечностью жизни и смерти...

От Града я снова спускаюсь в «подградье». Здесь узкие улочки со старинными дворцами, древние дома с гербами музыкантов, аптекарей, ремесленников, здесь маленькие по нынешним масштабам площади и улочки, просто умиротворенные по своим разме-

рам, уютности и древности — вроде Нового Света. По этим улочкам можно бродить до бесконечности, открывая за каждым поворотом совершенно новые, неожиданные красоты и обнаруживая вдруг, что в этом вот фантастически несовременном домике, похожем на декорацию, созданную дотошным киношником, жил мрачный Кафка, останавливались Шатобриан, Бетховен или Петр I.

Однако в то утро я решил не бродить по этим улочкам до изнурения, потому что мне предстояло еще осмотреть одну из самых поразительных достопримечательностей Праги — средневековое еврейское гетто. Не знаю, есть ли еще где-нибудь в мире подобный памятник — такое древнее кладбище, такое скопище старинных синагог (целых семь), такое собрание странных и трагических реликвий. Узкие улочки старого гетто не уцелели, зато сохранилась Старо-новая синагога, построенная в стиле ранней готики в 1270 году. Сохранилось и кладбище, основанное здесь в XV веке (памятники XIV века перенесены со старого кладбища, а вот могила поэта Абигдора Каро уже здешняя и относится к 1437 году). Кладбище — это мрачный частоклад каменных плит под искривленными старыми деревьями. Земля оседает под плитами, и каждое новое столетие уводит их еще на десяток сантиметров

в глубину. Местами они торчат вкривь и вкось, а местами застыли ровно, как окаменевшие в строю солдаты. На многих надгробиях запрещенные талмудом изображения живых существ — то ребенка, то девушки, то даже старого раввина. Ученые ломают голову над разгадкой этой тайны. Что это — ересь или влияние беглых сектантов, которых здесь было немало? А может, просто влияние близлежащих христианских кладбищ и стародавняя привычка местных камнерезов украшать надгробья рисунками?

Прочие достопримечательности средневекового гетто относятся к XX веку и носят более трагический характер. В Клаусовой синагоге хранится единственная в мире коллекция старинных предметов иудаистского культа — чуть не три тысячи свитков торы (тогда как многие знаменитые музеи могут похвастать лишь десятком свитков), лес восьмисвечников, сотни тысяч молитвенных книг и гора серебряных строкоуказателей в виде руки. Собрали эту уникальную коллекцию нацисты. Они хотели создать в Праге музей антисемитизма. Но фашисты не успели осуществить свой замысел полностью. Однако основную часть своего чудовищного плана им удалось осуществить, и об этом свидетельствуют рисунки одного из узников Терезина, выставленные в синагоге при кладбище. Об этом свидетельствуют

и стены. Пикассовой синагоги, основанной в XV веке и ныне обращенной в мемориал семидесяти семи тысячам чешских евреев, погибших от рук нацистов. Изнутри стены синагоги покрыты росписью, напоминающей орнамент в стиле опарт, и только когда взглядишься внимательнее, видишь, что это имена и фамилии каждого из этих семидесяти семи с лишним тысяч: имена людей, которые жили на этой земле и, может быть, жили бы еще и сегодня, не приди сюда нацисты.

В синагоге царит страшная тишина, хотя вместе со мной сюда вошли сразу две группы туристов: немецкая и русская. В гнетущей тишине раздается голос седовласой чешки, гда из «Чедока»:

— Это не просто надписи. Это имена людей, многих из которых мы знали. Вот видите — Александр Лейпци, 1891 года рождения. Он был детский врач, лечил моих детей. Он очень не хотел уезжать из Праги, бросать родной город и бросать маленьких пациентов. Мы, друзья, тоже угоааривали его остаться: кто же знал? Сперва его лишили продовольственных карточек, морили голодом. Мы носили ему пищу и прятали в условленном месте. А потом его увезли...

Гид повторяет свой рассказ по-немецки, потом умолкает.

В тишине, нарушаемой теперь лишь чьим-то обиходом, почти

детским плачем, молодые немцы из ФРГ кладут у стены венок с надписью: «Мы вас помним».

\* \* \*

На вечер у меня была очень насыщенная программа. Мне удалось достать билеты в театр «На забрадли» на пантомиму Ладислава Фиалки — правда, билет без места, просто чтобы стоять на балконе, как, бывало, во МХАТе в годы студенчества. Пантомиму я увидел а тот вечер блистательную. Прекрасны были и торео, и человек с тигром, и сплетицы, и «Метаморфозы»... А в антракте мы вышли на тесную галерею во внутреннем дворике старинного дома, каких немало на самых старых и узких улочках Праги. Деться здесь было некуда, сидеть негде, но никто не жаловался, потому что и театр и его дворовое фойе оказались экзотическими и ни на что не похожими. Что до пантомимы, то, как призывает сам Ладислав Фиалка, она имеет немало общего с пантомимой Марселя Марсо. Мне пришлось беседовать с Фиалкой после спектакля в затихшем театральном дворике. Режиссер и ведущий актер труппы, Ладислав едва успел смыть грим с лица и выглядел очень усталым. Потом, за беседой уже, он разошелся немного, а после кофе и воасе стал таким жизнерадостным и свежим, как будто не было позав-

ди тяжелого дня, репетиций и спектакля. Эта ночная беседа напомнила мне прежние мои ночные интервью в совсем еще молодом «Современнике», который находился тогда в проезде Художественного театра, где студия. Да и сам Ладислав напомнил чем-то молодого Ефремова, когда стал рассказывать о своей труппе, о выпуске балетной школы, о театре сверстников. Только если ефремовцы всегда настаивали на мхатовской традиции, на школе Станиславского, то Финалка говорит все время только о новом искусстве, как он выражается, «модерном».

— Вам понравилась последняя картина спектакля? Да, «Метаморфозы»? Здесь идея соединения музыки, зрелища, живописи и движения. Что-то от цветомузыки, что-то от кинетистов. Да, вы правы, живые картины или, точнее, живые гравюры. Современная пантомима. У нас в Праге еще до войны был хороший современный балет. И наш педагог Лорет Хрдинова сумела нам многое дать... Над чем работаем сейчас? Ставим «Шутов». Тема шута нас очень привлекает — это человек, который понимает жизнь не совсем так, как другие. Другая тема спектакля — человек и общество. Человек живет в обществе и для общества. Но и общество должно помнить о потребностях отдельного человека — потребности в собственной жизни, в счастье...

Еще мы переложили на пантомиму пьесу Ионеско. В пьесе Бекета у нас тоже есть пантомимическая сцена. Конечно, нас привлекает новое. Вы были на выставке «Объект»? Ну да, выставка поп-арта. Вчера были? Ну и как? Конечно, конечно, не все хорошо. А кто говорит? Но пускай они нищут, пробуют».

Назавтра домашние уговорили меня съездить в Карлштейн, знаменитейший и красивейший чешский замок, расположенный километрах в тридцати западнее Праги. Было теплое августовское воскресенье, и Прага уже успела опустеть, когда я добрался до поезда.

В Карлштейне, в харчевне «У вокзала», куда я зашел выпить содовки, сидело за столиками десятка полтора лихих и нечесанных пражских битлсов. Похоже, что здесь была их временная штаб-квартира. Ребята и девочки были равно в джинсах, украшенных сзади заплаткой с какими-нибудь впечатляющими английскими словами и слогами — «топ», «блок», «рок», «рэзл», «дзэл». На тех и других были тельняшки, рубахи и куртки из ткани, похожей на ту, что употреблялась в войну на летние маскхалаты, небрежно повязанные шейные платки, пестрые значки. Волосы у девочек были подстрижены, пожалуй, даже короче, чем у ребят; впрочем, у ребят волосы спускались почти до спины.

От станции я зашагал к замку. Замок был могучий, огромный и гордо царил в вышине над живописной долиной Бероуики и тихим курортным городком. Он был построен при чешском короле Карле IV, который был в ту пору уже германским императором и одним из самых могучих властителей своего времени. Экскурсоводы, показывая его портреты и скульптуры, говорят о нем с огромным пиететом, но человеку, в ком этот пиетет не воспитывался с детства, лицо его, естественно, не показалось бы отмечением печатью столь уж высокой мудрости. Что до его брата, то он и вообще казался мне на своем парадном портрете просто дурашливым.

Замок Карлштейн был заложен Карлом IV в XIV веке и построен на пяти уступах высокого холма. Он был предназначен для отдыха императора и упокоения святых реликвий. Легенды уже вплелись в историю этого замка, и гиды охотно разряжают ими поток генеалогической и искусствоведческой информации. В частности, рассказывают, что, желая обеспечить себе покой и отдых, Карл IV запретил особам женского пола появляться в замке. Впрочем, одна из последних, наиболее предприимчивая, сумела проникнуть за стены замка и скрасить досуг императора. На этом сюжете построена оперетта «Приключение в Карлштейне», которую вот

уже не первый год на фоне естественных декораций разыгрывает во дворе замка приезжая труппа. Туристы охотно идут на спектакль, и мне при виде этого театра подумалось, что у нас в стенах удивительного Ростовского кремля и в сопровождении ростовских звонов можно было бы разыгрывать грандиозные представления из истории русского XVII века. Самый удивительный уголок замка — это, конечно, часовая Креста. Ее выложенные самоцветами стены вмещают одну из самых замечательных в Чехословакии галерей готической живописи — 128 полуфигур святых, написанных в XIV веке мастером Теодориком. У этих апостолов, пророков и королей напоминающие свои грубоватые лица мужиков, и рассматривать эти лица можно, наверное, часами.

На одном из замковых переходов я с горечью, хотя и облегчением тоже, убедился, что не только наши туристы старательно уродуют памятник, оставляя на стенах, ступеньках и перекрытиях свои бессмертные имена. Надписи здесь были чешские, немецкие, венгерские и еще бог знает какие, однако потом я обнаружил и русские: «Мы из Пскова!», «Мы из Казани», «Размик Нерсисян, Баку». Наверно, когда человеку добрый час толкуют, что стены эти видели королей и министров, художников и композиторов, лицезрели такого-то и такого-то, то



у него появляется непреодолимое желание воскликнуть: «А меня вы видели, древние-предревные стены? Смотрите: я человек, я уйду! Я не знаменит, но я хрупкое, проходящее чудо. Смотрите же, стены!» И человек царапает на стене свое имя, что оскорбительно, но, видно, неизбежно.

Возвращаясь из замка, я оставился пообедать «У короны» и подсел за стол к двум живописно волосатым паренкам-битлсам в теплых куртках и фланелевых рубашках из той же «маскировочной» ткани. Они рассказали мне, что приехали еще с вечера и ночевали в стогу. А что? Ехали от Праги бесплатно. А что? На все мои вопросы они отвечали так же, с вызовом: вот мы такие, что, не нравится? Я заметил, что собеседники мои чем-то сильно озабочены, и, только когда они один за другим ушли, извинившись, я понял, что они решили уйти не заплатив. Мне показалось при этом, что им не очень хотелось поступать так, было стыдно и даже приходилось бороться с собой. Может, если б я догадался раньше, мне бы удалось объяснить им, что в этом не будет большой радости. Еще мне показалось, что при всей их демонстративной нечесанности они совсем неплохо воспитаны, вот ведь извинились, выходя из-за стола, и мне еще подумалось тогда, что поза эта у них очень ненадолго, да и теперь, наверное, тяготит.

Официант наш очень рассердился, обнаружив обман. Он бурчал себе под нос какие-то чешские слова, и я разобрал в их потоке только слово «манечки», которым в Праге иногда дразнят битлсов. Помахивая салфеткой, официант ушел в сторону станции и через полчаса вернулся в сопровождении моих соседей. Он, конечно, жестоко их наказал, протаскив обратно через весь городок: вид у них был очень смущенный и жалкий. Они молча расплатились с «паном врхни» и ушли, опустив голову и не глядя по сторонам.

В тот же вечер я решил посидеть в главных пражских обиталищах битлсов — в «Манесе» и на «Словенском острове». Заплатив пять, не то десять крон за вход, я целый вечер сидел за столиком над чашкой кофе и смотрел на соседей. Впрочем, они тоже сидели за столиками и смотрели на меня. При этом они пили содовку (что-то вроде газировки без сиропа), иногда вставляли потанцевать, перекидывались время от времени десятком слов, играли в какие-то настольные игры и показывали друг другу фокусы со спичками, со стаканами, с бутылками, с сигаретами и ножичками. На эстраде трудился большой джаз, а около нее с десятком пар танцевали свой несложный «холандайн». В общем это было нечто вроде молодежного клуба (в том смысле, в каком

является клубом танцплощадка в любом из наших городов), и клуба довольно скучного (хотя ведь и танцплощадка ненадолго веселит).

В оставшиеся дни в Праге я побывал еще в кафе «Виола», где постоянно меняется выставочная экспозиция, а по вечерам бывают музыкальные и поэтические программы, в «Глобусе» и других вечерних заведениях. Я ни разу не видел там пьяных, и у меня сложилось впечатление, что в молодежном кафе не так-то уж легко напиться.

Еще день-два я побродил по Праге, посидел в старинных пивных и харчевнях, посетил две выставки графики и живописи, представлявшие в подавляющем большинстве произведения, как сказал бы Ладислав, «модерные». А потом меня снова потянуло в дорогу, как и тогда, три недели назад, после приезда в Прагу. Тогда я несколько дней побыл в прекрасной чешской столице, а потом стал снова рваться в дорогу, на проселки, в маленькие городки и деревни. Маршрут своего путешествия по Чехословакии я разработал еще дома, но как удастся осуществить его, я себе еще не представлял: нужны билеты, гостиницы, деньги, много денег. А на третий день, гуляя по Праге, я встретил группу русских туристов из Минска, путешествовавших на своих машинах. Они и забрали меня с собой. Тогда-то

я впервые увидел на дорогах здешних автостоповцев, а у Баньской Быстрицы и сам, протиснувшись с земляками, вышел на дорогу с легкой сумкой — хлебником — на плече. Так началось мое хождение автостопом. Волей случая оно началось в Словакии, и теперь меня снова тянуло в Словакию — страну гор, быстрых рек, лесов, древних замков и удивительно приветливых, гостеприимных и широких людей.

И вот теперь, в последний раз за это лето, я простился с Прагой.

### На восток через Словакию

Я выехал поздно вечером, когда Прага уже засыпала и на нашей Волькеровой почти не осталось светлых окон. Только на Вацлавской площади, «У королей», еще было движение.

У меня был билет до Москвы, и проводник «легаткового» вагона сказал мне, что я могу выбирать любое место. Вагон был пуст, а проводнику, кажется, было не до меня. Я выспался с удобствами, кстати, впервые в чешских поездах, потому что при блестящем развитии автобусного и автомобильного транспорта железные дороги здесь, как мне показалось, довольно допотопные: поезда, называемые рыхликами (от слова «рыхлый», что значит «скорый»), опаздывают почем

зря, а особник (специальный поезд), в котором мне пришлось добираться из Бардеёва, вообще продавался со скоростью велосипеда. Вагоны здесь сидячие, но большей части неудобные, да и мест зачастую просто не хватает — приходится ехать стоя. Так что на этот раз я оценил редкую возможность выспаться в поезде, а когда проснулся, то увидел, что проводник и единственный мой сосед по вагону уже не спят, а точнее, еще не ложились. Оказалось, что сосед Юлиус, возвращаясь с курорта Франтишковы Лазни, встретил в вагоне старого друга — проводника Любомира, и такую встречу, конечно, нельзя было не отметить. Когда-то оба они играли в джазовом квинтете в Карловых Варах, а потом квинтет распался, Юлиус стал преподавать музыку в Кошице, а Любомир теперь вот проводником, а такой был музыкант! Ну что уж тут, ладно, садитесь с нами за столик, отметим, ведь это старая, очень старая дружба. В войну оба они были в партизанах, о, тут в Словакии ловсюду были партизаны, уж поверьте нам. А вы — скорей, скорей смотрите в окно: вы в самом верху Стречной!

Я увидел на вершине горы какой-то памятник, ниже развалины старинной крепости, а еще ниже дорогу. Юлиус и Любомир наперебой стали рассказывать, что это памятник партизанам: словакам, французам, русским, что они на-

падали сверху на дорогу, — а немцы были на дороге.

Я вылез в Кралованах, когда начался проливной дождь. Мне хотелось посмотреть Ораву, живописный уголок словацкой земли, о котором в Братиславе мне столько рассказывали художники Вицент Гложик и Альби Бруновский.

От станции под проливным дождем я добрался до городка Долнего Кубина и тут долго переждал дождь в молочном кафе, подкрепляясь вместе с младшими школьниками кефиром, булочками, мороженым — «змрзиной». Потом я еще долго стоял под навесом, разглядывая в витрине местного фотографа групповые фотографии игроков местного «Динамо» и выпускниц местного детского сада с белыми бантами-пропеллерами на голове. А дождь не прекращался. Потом я решил наплевать на дождь и шагать на окраину. Когда на окраине меня подобрал шофер грузовика Владимир Троуп, на мне уже не было сухой нитки. Так под дождем я и вошел в сверкающий брусчаткой дворик Оравского замка. Вода ручьями стекала с меня на пол музейной канцелярии.

Пап Петер Турчак, здешний гид, сказал, что он поведет меня сам и даже не будет давать мне никаких билетов. Причина оказалась неожиданной — русский плен в первую мировую войну: да, да, это прекрасное воспоминание,

там он и язык выучил. Пан Турчак завел меня в какой-то костел, откашлялся и торжественно произнес:

— Дорогой гость, разрешите вас приветствовать в этом костеле 1611 года и прошу чувствовать себя, как если бы вы были в Москве...

Я разрешил, и мы пошли по замковым переходам, по залам, по спальням, по башням. Воображение мое поразили вид на долину Оравы, который открывается отсюда, со стометровой высоты, вращающийся вертел для жарки барана и княжеская спальня, где стояли две грубые деревянные кровати, похожие на плоскодонные лодки — одна для князя с княгиней, другая для маленьких княжат. Однако больше всего поразила меня тщательность, с которой реставрируют здесь все залы, переходы, подсобные помещения и даже колодцы.

Пан Турчак сообщил мне, что через год-другой капитальный ремонт замка будет закончен, и это обойдется в общей сложности в 25 миллионов крон. Он добавил, что в Чехословакии, довольно успешно перенесшей и первую и вторую войны этого века, уцелело больше полутысячи дворцов и замков, которые государство взяло в 1945 году под свою охрану, превратив чуть не полторы сотни из них в музеи. К тому же в 1960 году государство решило

взять под свою охрану 50 городов-памятников, что и помогает сохранять эти фантастической красоты древние улочки и площади.

— Наверно, разорительно, — сказал я пану Турчаку, но он только усмехнулся:

— Мы имеем сто тысяч туристов в год, — возразил он. — Туризм дает нам доход.

Мне приходилось бывать в древних городах нашей Ярославщины, где сохранились изумительные памятники архитектуры XVI, XVII и XVIII веков и, несмотря на скудную рекламу, бывает сейчас довольно много туристов. Через один только Ярослав-Ростовский заповедник проходит в год четверть миллиона экскурсантов. Однако никакого дохода от туристов там не получают: сборы от экскурсантов в заповеднике всего лишь на треть покрывают сумму расходов на оплату ста десяти сотрудников музея. На Ярославщине мне говорили, что древние памятники разорительны, там часто предлагают снести то один из них, то другой, там не реставрируют ни уникальную Борисоглебскую крепость-монастырь, ни монастырь в Улейме...

Все это я с грустью, но и с надеждой вспоминал, слушая рассказы пана Турчака о развитии туризма и реставрации памятников в Словакии.

Потом, поблагодарив гостеприимного гида, я снова вышел под дождь. Я собирался продвигаться

в глубь Оравы, но вскоре убедился, что можно не замечать погоды, можно бороться с трудностями, но невозможно разглядывать сквозь завесу такого дождя оравские пейзажи.

Одна немецкая пара подбросила меня до памятника писателю Гвездославу на улице Дольнего Кубина, городка, который прославился тем, что дал Словакии множество писателей.

Дождь не прекращался. Очередная машина подвезла меня до развилки в Вышнем Кубине и ушла влево. И тут вдруг прекратился дождь.

Я остановился и взглянул на окружающие горы. Тучи только начинали рассеиваться. Солнечные лучи пробились из-за туч, и над долинами стали подниматься злобующие бело-сизые дымки так, словно косые лучи солнца колдовали над этим луговым зельем. И колдовство, наверное, удалось: облака пошли по склонам гор все беспорядочней и поспешней — обнажая щетину соснового бора, ровные строчки стогов, мокрую черную дорогу, отливавшую серебром по обочинам. Вдали, под ликующе-светлыми закраинами облачков виднелись новые горные гряды. Ярче заблестела трава, веселей забренчали колокольчики на шеях коров и баранов, веселей стали перекликаться пастухи неподалеку в горах...

Я постоял немного на развилке,

прикидывая, куда же мне двинуться — прямо, к Ружомбероку, или влево, к каким-то неведомым Лештинам. Потом я заметил, что молодой мужчина в очках и черном костюме, очень похожий на священника, стоит неподалеку и наблюдает за мной. Я спросил, далеко ли тут до Ружомберока, и он подошел еще ближе. По разговору он сразу угадал во мне русского и стал очень торопливо, сбивчиво и не очень внятно убеждать меня, что я вовсе не должен ехать в Ружомберок, а должен сейчас же пойти с ним в Лештины, где сохранился деревянный костел XVII века. Убедить меня было нетрудно, потому что деревянные костелы XVII века на дороге не валяются, а в Ружомбероке мне и действительно нечего было делать. Мы зашагали по шоссе к Лештинам, и я подумал, что такое, наверно, случается только в Словакии: чтоб хватили за рукав и приглашали повсюду наперебой. А Иван Балко, так звали этого парня в черном костюме, между тем торопливо и сбивчиво рассказывал мне какую-то историю, и, разбирая лишь половину из того, что он говорил, я все же начинал мало-помалу понимать причину его возбуждения.

Ему тогда было шестнадцать лет, когда появились русские парашютисты. Один из них спросил, как попасть к партизанам, и Иван сказал. В общем Иван ушел к

партизанам, а лотом помогал им здесь, в Кубине, а Петя Луценко, комиссар, был там, на горе Хоч. И Иван Балко был у него связным. Партизаны завербовали начальника местной охраны в Долгнем Кубине и еще одного жандарма. Так вот Иван был у Луценко для связи с ними. Еще он вместе с учениками из Лештин собирал продукты и одежду для партизан, вызывал своих на партизанские совещания, передавал донесения...

Когда мы подошли к костелу, уже смеркалось. Иван очень боялся, что не успеет показать мне костел, могилы предков у костела и живописные, уютные Лештины.

— Вон там, Борис мой златый, — кричал он, — смотри, вон там гора Хоч, где был штаб, а там — Малатинская долина...

Позднее, в Москве, я с ностальгической тоской прочитал в повести словацкой писательницы Маргиты Фигули:

«Лештины — преславная деревенька.

Раскинулась она в долине у ручья. На горужке среди старых лил виднеется церковь. Рядом пологост с беспорядочно разбросанными могилами. Под горой белый приходской дом с широким фасадом. По другую сторону дороги — господские усадьбы...»

Церковь, что «на горужке» — это и был древний деревянный костел, построенный в 1681 го-

ду, — с потемневшим портретом Мартина Лютера над дверью, с весело расписанными деревянными балками, с трехсотлетней давности иконами и деревянными подсвечниками. Костел был евангелический, аугсбургского толка, и Иван охотно объяснял мне все детали.

— Костел построен графами Змешкалами. Тут вот сидели княжата.

Когда мы выбрались из костела, уже совсем стемнело. Мы зашагали по дороге, ведущей к Вышнему Кубину, и Иван без устали продолжал просвещать меня:

— А это вот, где свет горит, тут живет граф Легоцкий...

Пройти мимо графского дома было, конечно, выше моих сил.

— Может, зайдем на огонек? — сказал я Ивану небрежно.

— Собственно, я почти не знаком с графом, — сказал Иван. — Мы только здороваемся. Правда, мы евангелические братья... Можно полробовать.

Я остался на улице, а Иван вошел в дом, однако уже через минуту огромный, уса́тый граф вышел на улицу, говоря еще от порога:

— Что ж, очень приятно! Добро пожаловать! Всегда рад гостям...

Граф оказался веселым и довольно добродушным. Вопреки моим ожиданиям незаметно было, чтоб он сильно переживал социальные перемены, происшедшие

двадцать лет назад, впрочем, может, и переживал когда-нибудь, но давно перестал. Некогда граф владел селами Осадка, Срияцы и Лештины, в войну помогал партизанам, как всякий уважающий себя словак. Теперь же он мирно работает учетчиком в колхозе, и только бесчисленные портреты предков на стенах скромной графской квартиры да картина с изображением генеалогического древа рода Змешкалов (первый из них появился здесь в 1547 году) выдают допотопное, аристократическое происхождение графа.

В столовую входят старая матушка графа и его сестра пани Ирена. Обе расспрашивают меня о московской погоде, о ценах на масло, о семье. Пани Ирена любезно заявляет, что я неплохо сохранился для своего возраста, и проявляет неожиданную осведомленность при объяснении этого факта:

— Конечно. У них ведь самый короткий рабочий день в мире.

Мы пьем кофе, а Иван с графом обсуждают судьбу отпрысков графской семьи Змешкалов и крестьянской — Балко: и тех и других немилосердно разбросало по белу свету.

Было совсем темно, когда мы двинулись с Иваном в обратную дорогу к Вышнему Кубину. Было безлюдно, и только за освещенными окнами «Погостинства», деревенской пивнушки, крестьяне играли в карты.

Вот и дом Ивана Балко, отважного связного партизанского отряда, ныне заводского техника, доброго отца семейства и доброго евангелиста. Над домом нависают Тупая и Острая скалы. Перед домом цветник с рыцарским замком из папье-маше. В просторном новом доме красиво и чисто, на стенах серебрятся надписи: «Бог есть ласка», то есть любовь.

Ивана забавляет изумление жены: на ночь глядя он притащил в дом какого-то незнакомого человека да еще утверждает, что человек этот из России.

— Нет, вы правда из России? А Луценко не знаете? Город Киев, Андреевский спуск, 30...

Петр Илларионович Луценко — это знаменитый «комиссар Черных», у которого Иван был связным в отряде...

Допоздна сидим мы в столовой, перебирая фотографии военных лет, и я думаю об этой маленькой удивительной стране, о том, что чуть не каждый встреченный мною средних лет мужчина участвовал в грандиозном восстании против немцев — Словацком народном восстании. Немцы заигрывали со Словакией, противопоставляли ее Чехии, сосватали ей правительство из тех, которые рекомендуется называть «своим правительством». Но к лету 1944 года в Словакии было уже больше двенадцати тысяч партизан, а к концу августа началось

восстание, охватившее через месяц две трети территории страны. Вместе со словаками в партизанских отрядах были чехи, французы, венгры, англичане и больше трех тысяч русских. Это незабываемая страница словацкой истории, память о которой живет в каждой семье. Вот и сейчас Иван и его жена, протягивая мне фотографии из семейного альбома, рассказывают:

— Это вот Петя Луценко, первый слева. Это партизанская семья Файчиков. А это Иванов брат Войтех, он у Ковпака был в партизанах, там и погиб, под Гомелем где-то. А вот Венделин, Иванов старший брат, тоже партизан. Ой, красивый был парень! Любил он одну девушку, и она любила его. А ее мать, молодая вдова, сама полюбила Венделина и хотела, чтоб он на ней женился. И дочке не разрешала за него замуж идти. Тогда Венделин застрелил и себя и девушку, раз нельзя любить...

Мне вспоминаются словацкие баллады, любовные драмы Маргиты Фигули. Ведь писательница эта была родом из того же Вышнего Кубина.

Орава — край писателей. В Дольном Кубине жил Гведозлав и еще другие, чьих имен я не помню. Неподалеку от Вышнего Кубина — прозаик Мартин Кукучин. Утром Иван заявил, что он проводит меня пешком до Ясеновы, где домик Мартина Ку-

кучина, а уж оттуда я двинусь в автобусе или попуткой на Ружомберок.

Ясным воскресным утром семейство Ивана Балко провожало меня до подножия Острой скалы. Потом мы вместе с Иваном пошли в Ясенову. Убогая избушка Кукучина стояла в трогательной неприкосновенности. Через незанавешенное окошко мы подробно рассмотрели тесную горницу, лавки вокруг печи, лампу, прялку, деревянную кровать с подушками, лубки на стенах, деревянную люльку... Вот таким я представляю себе идеальный дом-музей — без яркой свежей краски, без серебристой урны для бумаг, без объявления о часах работы и, кажется, даже без существенных накладных расходов на содержание. Мы простились с Иваном на улице Ясеновы, и я сел в ружомберокский автобус. Автобус бежал по ликующе прекрасной Ораве. Облака и туман еще внесли кое-где клочьями по склонам гор, а вдаль, тоже похожие на темные облака, виднелись полосы леса, горные гряды, склоны холмов. Промелькнул у самого шоссе надгробный камень с красивой звездой, потом слева на горе показались руины Ликавского замка. В деревушке Дубова у остановки я увидел вереницу старушек с молитвенниками, мужчин и женщин в черном: начиналась воскресная служба.

Потом мы въехали в промыш-



ленный Ружомберок. В городке было по-воскресному пустынно. Одни были в костеле, другие на экскурсиях в горах. Отсюда вели тропинки на зеленую Чебру, в которую упиралась уллица окраины. Возле станции на суковатом стволе висел указатель — «Малина». Кажется, это воровское название носил горный отель. Культурный городочек Ружомберок, в котором даже кинотеатр назывался «Культура», а отель — «Культурный дом», мирно отдыхал от трудов.

Я пошел к станции, решив отправиться дальше. У перил моста одиноко стоял какой-то человек и смотрел на воду. Узнав расписание поездов, я вернулся на шоссе. Человек еще стоял на мосту и глядел на воду. Когда я проходил мимо, он попросил прикурить, и я ответил, что мне «файчу», то есть не курю.

Он попросил меня зайти к ним в гости, хотя бы на полчаса — вот в этом доме возле моста.

Мы вошли с ним в комнату, и он крикнул:

— Златица! Это пан Борис, он из Москвы.

Пожилая женщина поднялась нам навстречу. Она подошла совсем близко ко мне и приблизила свое лицо к моему. Потом она попросила разрешения ощупать мое лицо.

Пани Златица ослепла от горя. Она была узницей Терезина, образцового города-гетто, органи-

зованного нацистами. Там погибли ее отец и мать, две сестры, два брата, ее первый муж. Она уцелела вместе с трехлетней дочкой, потому что в последнюю минуту вмешался Красный Крест. Потом глаза ее, вдовешне Терезин, ослепли. Мне тоже привелось однажды видеть Терезин на экране. Немцы сняли фильм специально для Красного Креста: смотрите, как привольно и весело живут евреи в образцово-показательном гетто. На экране вымученно улыбались лица с запавшими от голода щеками. В глазах у этих людей был страх, и небрежная пробежка камеры открывала то жуткие нары в бараках, то изможденную толпу. Немцы сняли даже симфонический концерт в лагере, и смотреть эту инсценировку не менее жутко, чем документальные кадры об Освенциме: страшно за узников, которых ждут газовые печи за поколения, которым потом придется жить в мире, отравленном дымом печей, за режиссеров, снимавших этот фильм...

В раскрытое окно донесся колокольный звон из костела. Тихий голос пани Златицы временами переходил в шепот:

— Многие верили в бога, пан Борис. До самой печи они молчились, они надеялись, что господь спасет их. Мы были все в язвах от голода, а потом пришел конец... Ой, грознее, ой, грознее!.. Что там сейчас на улице? Воскресенье

и зеленые горы. А вон прошел поезд... Говорят, в Одессе есть такой человек — Фнлатов, который все может. Он дает людям глаза. Мы поедem к этому человеку, как вы думаете?..

Паи Капп проводил меня до моста. Когда я оглянулся от поворота шоссе, он по-прежнему стоял на мосту и смотрел вниз...

На шоссе меня снова ждала неудача: машины шли редко, никто не останавливался. От нечего делать я затеял гадать по номерам, вспоминая пройденные города и дороги: АН — Прага, СВ — Чешские Будеёвцы, СК — Чешский Крумлов... Потом я вернулся на станцию и сел в поезд, идущий к Поπραду. Поезд медленно поднимался в гору. На остановках входили крестьяне в национальных костюмах: на мужчинах шерстяные штаны трубами, на женщинах очень милые узорчатые кофточки из хлопчатобумажной ткани и широкие юбки.

Поезд шел все медленнее, забираясь дальше в горы. Прошла за окнами Лянчова и предприятие «Татрасвит». Горы были зеленые, нарядные, с беленькими отелями на склонах.

В Попраде я вышел на веселый перрон, запруженный местными и иностранными туристами, пестрящий цветными куртками, брючками и свентерами.

На вокзальной площади я сел в неторопливую электричку и отправился в Татранску Ломниццу.

Поползли мимо горы, отели, леса — заповедная территория Татранского национального парка, пожалуй, самого большого из чехословацких национальных заповедников с площадью, превышающей 50 тысяч гектаров. Заповедник этот был образован после второй мировой войны, когда количество заповедников в республике резко выросло, перевалив за сотню, что уже было немало для такой, в сущности, небольшой страны, как Чехословакия. Дело в том, что к более или менее планомерной защите природы в Чехословакии приступили давно. Еще в 1838 году здесь возник первый государственный заповедник, а в середине прошлого века уже существовал довольно строгий закон об охране лесов и почв.

И конечно же, такие удивительные уголки этого мира, как Высокие Татры или наш Кавказ, должны быть заповедными.

Побродив по курортной Татранской Ломнице, я на ночь глядя отправился в горы, воспользовавшись лановкой — подвесной канатной дорогой. Это был последний рейс лановки, и мне пришлось выйти на Скальнате Плесо. К счастью, в июлежке «Энциан» было полно мест, но едва я надумал растянуться на верхнем этаже двухэтажной койки-вагонки, как в комнату ко мне постучали польские туристы, студенты из Кракова, только вчера перевалившие через границу в горах. Кра-

ковьяки заняли нижние полки, и мы пошли ужинать. К стеклянной стене кафе подступало непроглядное море тьмы, а внизу, в головокругожиельном черном провале, сверкал причудливым узором огней Старый Смоковец, за ним чуть тусклее — Кежмарок, а справа — Поппрад и «Татранский Свит».

Я покидал курорты Высоких Татр, продвигаясь к востоку через Студены Поток, Кежмарок, Хунцовце. Население становилось все более пестрым, здесь было больше туристов, все больше черноволосых людей, чаще встречались цыгане.

Темнота застала меня на шоссе против маленького шахтерского поселка Кишовцы. Несмотря на поздний час, в поселке громко играла музыка, кружились какие-то огни. Я сидел на обочине, думая о том, что вряд ли кто подберет меня в такой час, и еще о том, что в поселке, наверное, происходит что-то из ряда вон выходящее, раз в десятом часу такое веселье. На шоссе показалась компания мальчишек, они спешили в поселок, громко разговаривая на бегу. Я спросил у них, что там происходит и что это за огни кружатся под музыку в поселке.

Мальчишки сказали, что это кружится карусель и что в поселке сегодня выступает цирк Кривая: знаете, такой цирк, Нина Бероускова, сенсация Праги, и

еще кто-то: пять метров в воздухе, на ходулях... Потом мальчишки ушли.

Я уже подумал, почему бы мне не пойти с цирком Кривая, — буду объявлять номера, подметать, бродить с цирком, как бродили мои любимые режиссеры Феллини и Бергман, но тут новенькая «школа» остановилась возле меня, и водитель открыл дверцу. В машине, кроме водителя, были его жена и двое детишек, и это еще раз подтвердило мои давние наблюдения над шоферами. Я доехал с ними до городка Спишска-Нова-Вес.

Оставив хлебник в ночлежке,<sup>\*</sup> я пошел погулять перед сном по Лавоцкой улице и купил билет на фильм с битлсами. Восьмичасовой сеанс считается здесь самым поздним, но зал был полон на этот раз по случаю такой сенсации, как битлсы. Шел «Вечер трудного дня». Впрочем, я переоценил свое любопытство. Я тоже привык за этот месяц рано ложиться, и суматошные битлсы неудержимо склоняли меня ко сну. Позднее я привык засыпать в полупустых залах на восьмичасовых сеансах. Упустить же возможность побывать в кино лишний раз мне бывало жалко. Впрочем, должен с сожалением отметить, что хорошие, серьезные фильмы (даже чешские, а таких уже немало) в чешском прокате идут, пожалуй, не чаще, чем у нас. А все демонстрировавшиеся

в прокате зарубежные фильмы были второстепенными.

Переспав за восемь крон в ночлежке, я двинулся с утра по Ловоцкой улице на окраину, где уже дожидалась машины целая толпа горожан. Оказалось, что это городские служащие отправляются в деревню — «на картошку» или на другие сельскохозяйственные работы.

Я доехал с горожанами до их «статного маетка» — совхоза, потом другая попутка довезла меня до Левочи и высадила на площади. Здесь я присел на скверике рядом с каким-то усатым стариком в шляпе и вытащил русский путеводитель.

Я успел выяснить, что Левоча основана в XIII веке на перекрестке торговых путей, когда старик вдруг прочел у меня через плечо два слова по-русски.

— Еще помню, — сказал он медленно.

Да, он еще помнил буквы. Да и чего он только не помнил из времен, когда он был в русском плену в Киеве в первую мировую войну и работал там на железной дороге. Он перечислял станции за Киевом: Дарница, Жмеринка, Проскуров, Ровно, Дубно. Он вспоминал, что заработок на путях был двугривенный в день, что десяток вареных яиц стоил копейку, а фунт колбасы восемь копеек. Потом пан Сливка стал задавать мне поразительные вопросы. Он спросил, жив ли гене-

рал Брусилов и выходит ли еще «Киевская мысль». Он спросил, почему теперь табак братьев Коган. Размечтавшись, пан Сливка вспомнил, как он, бывало, ходил к девочкам на станцию Спички, а потом в Беличи помолиться в церкви. Как он кашеварил в Проскурове и как ему было тоскливо в Дарницком лагере...

Оставив пана Сливку наедине с его воспоминаниями, я вышел на древнюю ловочскую площадь и увидел ренессансную ратушу с аркадами и могучий готический храм святого Якуба, построенный в XIV веке. В ратуше я осмотрел очень интересный музей Спишской провинции с выставкой старинных печатей, орудий пыток и палаческих мечей. Мечи были устрашающе огромные, и надпись на одном из них гласила, что удар его дает грешнику вечную жизнь. Самым страшным был огромный зубчато-спиральный «пламенный меч».

Интереснее всего в Левоче был, конечно, храм святого Якуба, монументальный памятник готической архитектуры и совершенно уникальный памятник готической скульптуры. Из-за этого храма стоило, наверное, сменить и большее количество машин на словацких дорогах. Самое примечательное в нем — это его деревянные готические алтари и особенно главный алтарь работы знаменитого резчика и скульптора Павла из Левочи, украшавшего, между

прочим, и Марицкий костел в Кракове. Главный алтарь среднего нефа, сооруженный Павлом Левочским в 1508—1517 годах, достигает в высоту больше восемнадцати с половиной метров, а в ширину шесть. Но дело не только в высоте, что, впрочем, тоже немаловажно в готическом алтаре. Здесь удивительные резные фигуры из дерева, позлащенные и раскрашенные скульптурные портреты, выразительные композиции, проникнутые, по утверждениям знатоков, «стремлением человека углубить сюжеты легенд». Впрочем, ведь и сами сюжеты этих композиций достаточно драматичны. Главный из них — тайная вечеря, последний пасхальный ужин Христа и его учеников: Христос уже предчувствует неминуемую смерть, молодой Иоанн спит, положив на стол прекрасную голову и оставляя учителя в одиночестве, а гнусный Иуда наивно держит на плече мешок с тридцатью сребренниками, жалкой платой за предательство...

Можно без конца ходить по этому храму, разглядывая эти выразительные композиции и отдельные фигурки — апостолы, цари, палачи, святые. Вон палач, лихой молодец в чалме, с длинными черными усами, вот страдания святого Яна...

Добираясь до окраины Левочи, я заметил, что начался учебный год и что я окончательно въехал в Восточную Словакию. Костюмы

крестьянок здесь все больше напоминали украинские, на стене закусочной были изображены закарпатские плотогоны и было написано над двумя флагами: «За вечное братство». Потом мне повстречался автобус с местным Украинским поддуклянским ансамблем, ехавшим на гастроль.

У окраины города меня подобрал красивый и грустный мужчина в черном костюме. Он сказал, что он до Кромпах, а потом молчал всю дорогу, пока я не ахнул на одном из самых живописных поворотов дороги: «Эх, красотища тут у вас!»

— Да, пекне. Красиво, — сказал он недоуменно и печально, потом протянул руку на заднее сиденье машины и достал мне оттуда пачку траурных объявлений, отпечатанных в левочской типографии. Там сообщалось, что его жена Ирма Хазеёва, 45 лет от роду, 24 года пребывавшая в браке с ним, скончалась от тяжелой болезни — от рака.

Я положил назад пачку объявлений и кивнул ему. Мне понятно было его недоумение: вот ее больше нет, этой женщины, а он жив, гонит машину по блистающим красною холмам, и вокруг все по-прежнему такое прекрасное и такое бездушное...

Мы простились у Спишского Подградья, и, выйдя на шоссе, я увидел впереди, на холме, этот самый впечатляющий, на мой взгляд, замок во всей Словакии.

Вернее, это были развалины «града» — кремля, царившие над всей округой, могучие и гордые развалины, свысока смотревшие на домики Подградья внизу, на фигурки крестьянок с граблями, уже много столетий гнувших спину под этими стенами.

За Спием снова пошли холмы, леса, виноградники — удивительной красоты дорога, которая привела меня в Прешов. Прешов можно считать центром украинского и русского населения Чехословакии, насчитывающего в общей сложности тысяч пятьдесят. В Прешове есть даже украинский театр, а на улицах города я видел объявления об очередном празднике песни и танца украинского населения Чехословакии. За Прешовом на вывесках отелей и ресторанов все чаще попадает название «Дукла». Дукельский перевал памятен словакам по времени восстания. Идя на помощь восставшим, Советская Армия начала 8 сентября наступление в Карпатах, и, освобождая Дукельский перевал, русские и чехословацкие части вышли 6 октября к старой чехословацкой границе.

Я бродил полдня по улицам древнего, упоминавшегося еще в XIII веке Прешова, и к середине субботнего дня с удивлением обнаружил, что город пустеет. Прохожий объяснил мне, что все уехали в Бардеёв, где прешовский «Татран» даст бой теплицкому

«Словау». Я уже замечал, как пустела вдруг Прага в футбольное воскресенье. И сейчас, несомый вместе со всеми автомобильным потоком, я попал в Бардеёв, очень интересный город, сохранивший множество ренессансных и позднегоготических построек, остатки древней крепостной стены. Уехать обратно до конца матча мне так и не удалось. Напрасно сидел я на камешке у выезда из Бардеёва: ни одна машина не шла. Я смотрел, как судачат у домов хозяйки, как маленькие цыганские девушки идут из школы, распевая новейшие чешские и американские шлягеры. Когда одна из девочек сфальшивила, другая остановилась, поправила ее и с поразительной точностью воспроизвела мелодию. Меня удивило, что девушки эти помнили не только мелодию, но и слова — чешские, английские, итальянские.

Ехать мне пришлось в «особинке», специальном поезде для болельщиков, и, прислушавшись к разговорам соседей, я с изумлением обнаружил, что их суждения о футболе почти дословно воспроизводят споры, которые непременно услышишь где-нибудь на одесском сквере или в ростовском парке:

— Не, добрый футбол уже повзрел (не тот теперь футбол, братцы, не тот). Каждый день тренируют и не могут научиться играть. Они ж не робят ниц, а

каждый день тренируют... Как же, помню! О, тот матч мы будем вспоминать до смерти...

Вечером я пересел в Прешове в двухэтажный вагон электрички и добрался к ночи до Кошице. И вот здесь меня ждал сюрприз: мест в гостиницах не было вообще. Парнишка, вместе с которым мы не попали в гостиницу, что на улице Генерала Петрова, объяснил, что здесь много проезжающих туристов, а главное — в Кошице теперь большая промышленность, Восточнословацкий машиностроительный завод и еще огромное строительство. Возле Кошице строится гигантский Восточнословацкий металлургический комбинат на остравском угле и криворожской руде.

Так мы и бродили с моим со-

братом по несчастью до полночи, и кончилось тем, что он подошел к постовому милиционеру в центре, неподалеку от мощного готического собора святой Альжбеты, и сказал ему что-то. Начался ажиотаж, какие-то звонки, споры, и в конце концов нас всякими правдами и неправдами разместили на ночь в новом, самом современном здешнем отеле — в «Гутнике», что значит «металлург». Парнишка отмалчивался, не раскрывая мне секрета своих успешных действий, но я и так понял, что он сказал милиции и откуда это гостиничное гостеприимство.

А наутро я сел в московский поезд, и через несколько часов мы пересекли границу.

1967 г.

## В ПОДВОДНЫХ ДЖУНГЛЯХ\*

Бернар  
ГОРСКИ



Ранним утром под свист и завывание холодного ветра из французского порта Сен-Мало отчалил парусник «Моана». В кругосветное плавание отправилась экспедиция из четырех человек: Бернар Гор-

\* Отрывки из книги «Экспедиция Моана».

ски, Пьер Паскье, Серж Арну и Роже Лесаж. У всех участников экспедиции был многолетний опыт глубоководных погружений с аквалангом. Экспедиция поставила себе целью изучение подводного мира и условный охоты на морских жителей во время кругосветного плавания и главным образом в самых укромных уголках тропических морей.

Истратив все свои средства на приобретение парусника и подготовку к экспедиции, мужественные люди совершили двухгодичное кругосветное плавание почти без денег, обменивая свои охотничьи трофеи на продукты и горючее для мотора «Моана».

По завершении путешествия Бернар Горски написал книгу «Экспедиция Моана», посвященную жизни, трудам и приключениям отважной четверки.

### Подводная охота в бухте Танжера. Первое погружение

С тех пор как экспедиция «Моана» покинула Сен-Мало, мы ни разу еще не ныряли. Сегодня — наше первое погружение в воду. Акваланг заменяет нам жабры, дает возможность покинуть наземный мир и приобщиться к новой среде, к чуждому подводному миру. Мы ощущаем свой вес не более, чем окружающие нас морские жители. Мы можем даже повиснуть в пространстве, не



привязанные к шлангам, можем свободно парить в новой среде так, будто перестал существовать закон тяготения.

Заплывая в пещеры и отталкиваясь одними ластами, мы не испытывали никакого томительного стеснения и сжатия, — мы перевоплотились в рыб.

Для ныряния мы выбрали место в бухте Таижера под отвесными скалами мыса Малабата.

Вода насыщена песком и илом. При первом соприкосновении с ней у меня захватило дух от холода — вода казалась ледяной. Я ооченел и не мог пошевелить ни одним членом. Мало-помалу онемевшую кожу стало покалывать. Я огляделся вокруг. Все то же неизменное ощущение охватило меня, как и в тот день, когда я впервые нырял в заливе Сеи-Тропез с аквалангом и где мне открылся мир изумительной красоты. Переходя границу чуждого нам мира, испытываешь какой-то подводный шок.

Вода здесь сильно отличалась от той, к которой я привык в Средиземном море: свет не такой яркий, горизонт уже, цвет серо-зеленый. В строении скал, форме гротов, пещер что-то грандиозное, прочное; мало морских ежей, мало растительности, лишь часто попадаются необычные, бесконечные ленты резинообразных желто-зеленых водорослей, плывущих по течению, как ленивые морские чудовища.

Меня окружали рыбы: некоторых из них я знал, другие мне незнакомы. Вот плывут вертикально большие королевские сарги, круглые, как серебряные диски, с широкими черными полосами. Они наблюдают, как поднимается вверх цепочка пузырьков выдыхаемого нами воздуха. Вскоре я увидел первого мероу — морского судака, неподвижно стоящего перед маленькой песчаной площадкой своего грота в застывшей позе допотопного чудовища. От огромных жабр до начала хвоста его плотное, массивное черное тело сплошь испещрено пятнами бежевого и лилового цветов. Глаза в костистой впадине орбит были устремлены на меня. Я двинул рукой — поднялось небольшое облачко песка, и мероу притаился у входа в грот. Через стекла маски видна костлявая черная морда. Поятившись, рыба исчезла в глубокой тени грота. Но я совсем не собирался в первый же день погружения сражаться — на большой глубине — с 40-фунтовым мероу. Надо было сначала потренироваться, чтобы обрести привычные навыки декомпрессии, дышать через нос, делая глотательные движения, чтобы освободить уши от давления, и тогда снова начать подводную охоту на глубине 18 метров.

Мне попадались и другие мероу. Пока я не совсем замерз, я выстрелил в первую рыбу экспеди-

ции — королевского сарга. Поднимаясь, я заметил большого пагра (морского карася), который следил за происшедшим и теперь удалялся, поблескивая голубыми пятнами, переливающимися на темно-розовой чешуе.

Вскоре я почувствовал, что коचेию от холода. Поднявшись на поверхность, я нашел своих друзей, они грелись на горячих прибрежных скалах — посиневшие, лязгающие зубами.

Мы подыскивали место, подходящее для тренировочного погружения. Оно простиралось от Геркулесовых столбов (на западе от Танжера) до восточного берега Гибралтарского пролива: вода примерно была  $+15^{\circ}$ ,  $+16^{\circ}$ , с сильным течением. Видимость неважная. Но всюду попадались громадные мероу. Вернуться с такими трофеями было соблазнительно.

Начались наши ежедневные погружения. Продолжительность ныряния была разбита на три этапа; мы предпочитали выходить из воды каждые полчаса, чтобы не очень замерзнуть после слишком долгого ныряния, подниматься наверх, греться на солнышке и затем снова возвращаться под воду. Часто, и особенно в окрестностях мыса Спартель, течения относили нас в сторону, и мы выходили на сушу в неожиданных местах.

Когда море было беспокойно, огромные волны обрушивались на нас. Мы возвращались на зем-

лю в порезах, царапинах, ссадинах и всегда имели при себе в охотничьей сумке бутылочку зеленки, так что вскоре стали походить на разрисованных индейцев.

Сегодня, воспользовавшись затишьем на море, мы снова ныряли под скалами мыса. Море синее, спокойное, прозрачное. Визу подо мною я увидел Сержа. Вверх медленно поднималась цепочка выдыхаемых им пузырьков воздуха. Он стоял на песчаной площадке, ухватившись за огромного ската-хвостокола. Мериу плавали у отверстий своих гротов, наблюдая, как наши пузырьки воздуха все расширялись по мере восхождения к поверхности. Тридцать метров глубины. Давление, которое всегда тяжело давит уже на 14—16 метрах на барабанные перепонки в свободном погружении без акваланга, сейчас совершенно не чувствуется.

Сегодня мы снова ныряли под скалами мыса Малабата. На этот раз у нас не было с собой оружия. Наши руки были свободны. Мы наслаждались полным покоем.

Я подплыл к отверстию в гроте. При неясном, рассеянном свете, бьющем вкось от входа, я увидел черное, с рыжеватыми пятнами тело мурены (зубастого морского угря). В тени грота виднелась целая стая каких-то черных, с медным отливом рыб. Одна из них направилась ко мне. Медленно я протянул руку. Рыба

остановилась на месте. Группа изящных серебристо-золотистых, с алыми жабрами морских карасей — пагров резвилась в нескольких метрах от меня. Серж играл с маленьким осьминогом. Затем отпустил его, и тот поплыл над острыми скалистыми гребнями, у подножия которых стояли настороже громадные мероу. Они тянулись своими костлявыми мордами к нам. Иногда они медленно поднимались вверх.

Внезапно очарование нарушено. Что-то больно сдавило мои слабые человеческие легкие. Оказывается, моя воздухопроводная трубка пуста. Гляжу на циферблат водоизмеряемых часов. Я пробыл в воде 30 минут. Открываю резервную трубку со сжатым воздухом и медленно поднимаюсь наверх.

Два пагра следуют за мной на поверхность, где я снова обретаю позабытое мною чувство весомости.

«Моана» оставалась в порту. За мысом Малабата не было хорошей якорной стоянки, где мы могли бы оставить судно и мырять в полном спокойствии. Но главным препятствием для тренировки был восточный ветер. Он поднимался внезапно, дул с силой южного мистрала и с яростью норда. Дни и ночи песок тучей кружился в воздухе, а воды пролива вздымались кипящей белой пеной и брызгами. Грозно завывая, адский морской ветер

срывал верхушки пальм, разнося повсюду арктический холод.

Затем внезапно ветер стих и наступили совершенно чудесные две недели покоя.

Мы снова пошли в море. Вода была синяя, спокойная, прозрачная.

Ныряльщики Танжера указали нам место гибели кораблей, затонувших во время войны (на глубине не менее 10 метров) на большом песчаном плато, идущем от Геркулесовых столбов до самой испанской границы.

Два грузовых судна лежали на расстоянии мили одно от другого и были заселены тысячами рыб. Лучшее всего уцелела носовая часть одного из них. Часть форштевня была почти не тронута и зарылась в песок. Но море постепенно разрушало их, превращая все в ржавую пыль.

В останках судов кипела жизнь. Больше всего здесь было карангид, собравшихся стаями по 20—30 штук. Никто из нас не потревожил их, и они не решились покинуть этот ржавый помост. В тени закоулков, укрывшись за листами покореженного железа, дремали огромные мероу.

Вдруг я почувствовал чей-то взгляд. Черный, круглый, блестящий глаз был устремлен прямо на меня. В густой тени обросшей ракушками корабельной лебедки что-то притаилось. Я метнул гарпун. Поднялась туча ржавой пыли вперемешку с песком, и из щели

выскочил огромного размера мероу. Древко гарпуна было погнуто, но острое его пронзило голову рыбы насквозь. Мерову бешено рвался и метался, стараясь высвободиться, и, вероятно, ударился о какой-то выступ металла. Весь бок его был исцарапан, и, безнадежно запутавшись во тьме этого лабиринта, он все больше и больше ранил себя. Наконец пришлось тащить его руками. Вскоре серебристая окраска его туловища побелела, и он больше уж не шевельнулся. Когда мы подняли его на судно, целый кортеж дорад, пагров и синагрид провожал поверженного тирана.

Помимо мероу, мы встретили здесь всю морскую фауну, типичную для юга Средиземного моря: морских судаков, называемых здесь «абадеши» (маленькие мероу с более удлинённым телом), юрких хариусов, живущих стайками на песчаном дне, которых легко ловить, барбунов, зубанов (морские караси). Над затопленными лужайками парили хвостокотлы. В щелях скал очень мало мурен, но есть и морские угри.

Серж поймал одного угря самым неожиданным образом и не помышляя об этом. Это произошло в мутных водах мыса Малабата. В небольшом гроте Серж заметил голову мероу и выстрелил в нее. Теперь по приемам подводной охоты полагалось ухватить рыбу за глубокую впадину глазных орбит. Обычно рыба, да-

же самая крупная, пойманная таким образом, остается как бы парализованной, и ее можно тогда без всякой борьбы вытащить из норы. В тени грота пальцы Сержа коснулись липкой, скользкой морды и тщетно шарили в поисках глазных отверстий. Внезапно его руку зажало с огромной силой как в тисках, и, как он ни рвался, освободить руку не мог. Бывают минуты, когда боль не имеет никакого значения, например, на глубине 8 метров под водой, когда пловец выбивается из сил. Изогнувшись дугой, прижимаясь к скале, Серж извлек, наконец, из норы 12-фунтового морского угря; тремя ударами ножа мы прикончили его.

Принять голову угря за мероу можно было только в мутной воде Малабата. Такая ошибка могла стоить дорого. Роже также хранил на себе некоторое время отпечатки зубов, только в более оригинальном месте — на правой лопатке.

Я находился как раз позади него на глубине 10 метров, когда он подстрелил небольшого мероу, привязав его к поясу, не упуская в то же время из виду огромную карангиду, укрывавшуюся под скалой. Он нырнул, выстрелил, но сохранивший еще жизнеспособность мероу укусил его за спину. Я видел, как Роже подпрыгнул, выпустил оружие, затем ухватил мероу за глазные впадины и, охваченный яростью, стал коло-

тять его кулаками по голове. Роже вернулся на берег с глубокими следами укусов.

\* \* \*

Когда мы были на острове Лобос, Роже довелось испытать еще несколько приключений.

Против небольшой скалы, у поворота скалистого откоса, он увидел совершенно неподвижного мероу 10 килограммов весом. Роже нырнул. От неожиданности мероу заметался и забился под плоский камень.

Роже снова нырнул, обнаружил мероу внизу, у входа в маленький грот с плоским навесом. Но мероу снова начал метаться и забился в щель так глубоко, что не мог ни продвинуться вперед, ни отступить назад. Его можно было достать концом гарпуна, но стрелять не было смысла, казалось, он оттуда никогда не вырвется. Большие шипы его спинного плавника согнулись под скалистым навесом, не позволяя ему пошевелиться. Внезапно на сцене появилось новое действующее лицо: небольшая мурена. Потравоженная в своем логове, она в бешенстве укусила мероу... в глаз. Потрясенный этим неожиданным зрелищем, Роже плавал безостановочно вокруг. Один за другим, поочередно, мы заглядывали в отверстие грота и следили за всеми перипетиями подводной драмы.

\* \* \*

На следующий день Роже плыл рядом с Сержем над большой скалистой стеной, изборозжденной извилистыми трещинами. Прямо перед ним стояла вертикально на хвосте красивая бронзово-зеленая гавайя. Роже нырнул. Гавайя забилась в глубокий излом скалы. Роже за ней. Вот она, но нет — это совершенно другая рыба: гладкого ослепительно желтого цвета с единственными пятнами на теле — черными глазами. С минуту он медлит, захваченный игрой бликов и красок, — может быть, все это ему пригрезилось? Но нет, рыба здесь; он стреляет и выносит на берег гавайя-капитана, одну из самых редких и красивых рыб. Она плавала в воде, заполняющей щель, куда юркнула преследуемая рыба. Мы сфотографировали редкий экземпляр на цветную пленку со всех сторон.

Здесь были также губаны поразительных цветов: красных, желтых, жемчужных, с пятнами всех оттенков. Некоторые из них были двухцветными. Бьющая ключом жизнь, раскинувшаяся перед нами многоцветной палитрой красок, все чаще напоминает нам, что мы находимся в тропических водах островов, среди кораллов.

Серж поймал маленькую рыбку с огромными глазами и такой большой жизненной силы, что брошенный в нее гарпун сотря-

сался во все стороны. Она такой же феерической окраски: ее мелкочешуйчатое туловище блестящего розового цвета с большими алыми пятнами и более яркими, густо-красными ободками по краю плавников. Это голоцентрус, но местные жители окрестили его забавным прозвищем — альфонсито.

Хорошо бы пострелять птиц на острове Лобос. Знакомый старик нам объяснил, как их здесь ловят. Темной ночью зажигают костры на вершине горы. Птицы слетаются туда, и там, ослепленных, их ловят без труда. Но у нас нет времени на охоту с огнестрельным оружием.

На борту нас ждет сотня килограммов рыбы, которую надо засолить. Мы отбрасываем головы и хвосты, режем рыб надвое вдоль позвоночника, оставляем только филе, тщательно промываем, кладем в бочки, густо засыпая солью. Через три дня филе развешивают на вантах на веревочках. Высушенные солнцем, они могут сохраняться бесконечно. Самое лучшее филе получается из мероу. Мясо мероу можно нарезать ломтями и по несколько килограммов весом. Лишь в полночь я и Серж заканчиваем эту работу. Попутный ровный ветер тем временем несет нас к Лас-Пальмас (Канарские острова).

Монотонно тянутся дни и ночи. Морская зыбь и ветер. Маленькие происшествия судовой жизни: сломанный винт, оборванная аку-

лой удочка, горячее блюдо, с трудом приготовленное в адских условиях нашей кухни, осмотр и лечение фурункулов, высыпавших время от времени у нас на теле.

Нами овладела какая-то вялость, вероятно потому, что море пустынно и ничего не попадает на удочку, видны лишь стаи летучих рыб, выпрыгивающих из воды. Однако подводная жизнь существует. Вода насыщена планктоном, и ночью, перегнувшись через борт, мы наблюдаем фосфоресцирующий млечный путь крохотных светящихся существ. Но на поверхности ничего. Поднятый наверх лаггиль облеплен уймой малюсеньких прозрачных улиток и полосатых ракушек. Мы жаждем видеть китов, акул, дельфинов, кашалотов, тунцов, и ничего нет.

— Черт возьми! — говорит Серж. — Подождите, в Тихом океане акулы будут тереться у самого руля, их можно будет ловить за хвост!

Ночь была тревожной. Я стоял на вахте. Было два часа утра. Несмотря на большие волны, которые временами захлестывали судно и перекатывались через палубу, судно шло хорошо. Внезапно раздался удар в правый борт. Огромная волна обрушилась на меня, сбила с ног и повлекла вниз. От неожиданности я выпустил рукоятку руля и чуть не полетел за борт. Поднимаюсь, снова падаю, качусь с мостика в зали-

тую водой рубку. Вернувшись на место и взяв наугад по звезде, так как лампочка компаса затоплена, прежний курс, я особенно ясно понимаю, как легко и глупо можно очутиться за бортом и погибнуть в море.

Если бы я упал за борт, прошло бы немало времени, прежде чем проснулись мои спутники. Ночью среди бурных волн судно быстро исчезло бы из виду. Можно ли было бы меня тогда найти?

Я вспоминаю о Слокаме, моряке-одиночке, которого так никогда и не нашли. Вероятно, его также смела с мостика огромная волна, и он боролся с ней, пока не изнемог.

## В Красном море.

Под водой у острова Тонга.

Встреча с анулой-людоедом

Представьте себе, что в первозданные времена здесь возник вулкан и что вследствие последующих геологических изменений сюда хлынуло море и затопило вулкан. Представьте себе, что кипение вод, поглотивших эту колоссальную массу, прекратилось, и море спокойно легло вокруг его вершины.

Так испокон веков выглядит зубчатое отверстие кратера, выходящее из Красного моря, как кольцо атолла. Это остров Тонга. Здесь есть проход для судна. Мы вошли в бухту. Голенастые птицы громоздились на скале. В этом

высоком скалистом кольце царила тишина и было почти уютно. Казалось, что и наше судно и мы сами хорошо укрыты и защищены. Голубая поверхность лагуны была гладкой как зеркало. Круто спускающаяся линия откоса возвышалась над скоплениями водорослей, трав и мрачных, причудливых растений, поглощавших и затемнявших свет. Но внизу под водой нашему взору представились богатства тропиков во всей своей красе и разнообразии. Вода кишела мириадами: лотистых люзиан, рыб-ангелов, попугаев, хирургов, балист, кофиров вплоть до редчайших алуэтера крипта, которых здесь было особенно много. Было здесь и огромное количество лангустов, длинные щупальца которых высывались из каждой щели. Из всего этого аквариума нас интересовали больше всего рыбы коффы. Мы хотели заснять их и запечатлеть на пленку забавное выражение недоверия и какой-то пугливой застенчивости в их глазах. Они как бы извинялись, охваченные в то же время любопытством. Охота за ними стала нашим любимым развлечением.

После обеда я отправился с Жаном\* осматривать наружный склон, где была бездонная глубина — пропасть, кишущая морскими чудовищами. Несколько акул — три, четыре, пять шли на

\* Друг Вернара, присоединился к экспедиции позже.

нас, распугивая на своем пути барракуд.

Внезапно Жаи усиленно замахал руками, делая мне какие-то знаки. Я оглянулся и буквально остолбенел. Двигаясь в идеальном порядке, штук двадцать мант проплывали вдоль откоса. Впереди, отдельно от них, парило гигантское животное. Несмотря на фантастичность, зрелище смягчалось какой-то странной трогательностью материнства — это мать-манта вела своих детей. Как бы повинуясь неслышному для нас ритму, они одновременно проделывали одно и то же движение черными, огромными, как крылья, плавниками, концы которых соприкасались.

Они двигались на большой глубине и уже шли мимо нас. Но в ажиотаже, вызванном этим небывалым зрелищем, мы, кажется, готовы были последовать за ними в самый ад.

Жестами мы быстро сговорились:

— Ты, Бериар, снимаешь на пленку. Я — сфотографирую вас вместе.

Мы погрузились в воду. При нашем приближении порядок шествия маленьких мант нарушился, и они рассеялись в разные стороны. Но мать еще ничего не видела. Я пристроился прямо над ее черной спиной — так близко, что мог бы коснуться ее рукой. Видоискатель камеры захватил лишь часть гигантского движения.

Сверху надо мной слышно было легкое шипение, отрывистый стук автоматического фотоаппарата — Жан уже, вероятно, сфотографировал самую большую манту, к какой когда-либо приближался под водой человек. Ничто, казалось, не могло помешать нашей сверхъестественной удаче. Но движение, которым я стал крутить камеру, встревожило животное. Оно кинулось в сторону, в своем внезапном бегстве подняв большую волну, которая отбросила меня назад.

Я перевел дух. Только сейчас я сообразил, что задача эта не из легких. Жаи уже удалялся. Я был взволиован. То, что я увидел, потрясло меня не только своей пластичностью, но и надеждой засиять и получить редкий документ. Внезапно огромная, страшная, стремительная акула появилась из глубины.

Я замер от ужаса: это была тигровая акула. «Конец!» — молнией пронеслось в моем мозгу.

Могу ли я сказать теперь честно, что я делал? Вероятно, я кричал, бил руками по воде, пускал из трубки пузырьки газа. Наконец я увидел, что бег чудовищного зверя замедлился.

«Неужели выпутаюсь?» — мелькнула робкая надежда.

Как бы взвешивая, чего можно ждать от меня, акула остановилась на мгновение в раздумье. Она повернулась, проделала круг и снова ринулась на меня. Собрав





последние силы, я снова принялся за свои жалкие методы защиты. Все происходило как в кошмаре. И... чудо произошло. Акула, казалось, растерялась, была поражена и обратилась в бегство перед трагикомическим арсеналом моих защитных средств.

— Жан, Жан! — завопил я.

Он не слышал меня. Он был так нужен мне. Больше чем когда-либо я нуждался в ком бы то ни было. Но вот он наконец! Лихорадочно догоняю его и, судорожно вцепившись в его плечо, кричу:

— Тигровая акула... Она напала на меня... Выйдем из воды...

Жан обернулся, посмотрел вокруг, и, о боги, я услышал хладнокровный вопрос:

— Где?

Это нападение запечатлелось у меня на всю жизнь. Казалось бы, это впечатление противоречит тому, что я писал об акулах раньше. Но в этом случае речь идет об акуле-людоеде, встреча с которой, к счастью, чрезвычайно редкое явление.

Если бы у меня было хоть какое-либо оружие в руках, положение было бы иным. Очутиться с голыми руками носом к носу с таким чудовищем действительно страшно. С простым самострелом в руках я бы чувствовал себя значительно уверенней.

Из этого происшествия нужно извлечь прежде всего одно: что страшный тигр-людоед спасовал

перед шумом, пузырями, движением — и смыслом.

Назавтра, когда мы снова ныряли у откоса в открытом море, больше всего на свете я боялся отстать от своих. Мы видели и снимали множество других акул, но моего серого знакомого не видно было нигде. Почти два часа подряд нас провожал целый батальон луна-рыб, со своим строго-внимательным выражением глаз и странной формой туловища. Это были необычные и забавные спутники, особенно когда, плывя впереди нас и постоянно поворачиваясь и оглядываясь, они как бы приглашали нас следовать за ними. Уже возвращаясь обратно, мы снова увидели стаю мант-малышей, потерявших мать. Завидев нас, они испуганно шархнулись в сторону, ускорив взмах своих черных «крыльев».

## На острове Сюрприз в архипелаге Белепа

Никогда не забуду леденящего дыхания смерти, которое я ощутил в тот страшный день, когда, бледный и еле живой, ступил, наконец, на палубу парусника.

Это произошло всего лишь три часа назад. Была уже ночь. Тихо. Слышны лишь пощелкивания моей заржавленной пишущей машинки да крики птиц вокруг. Серж, Пьер и Роже молча курят в рубке.

...Весь день мы ныряли в западной части острова, там, где окаймляющий его риф подходит к коралловому барьеру, выходящему в открытое море. День угасал. Мы плыли к берегу и волочили за собой лодочку, недавно приобретенную нами, груженую рыбой, лангустами, сверху лежал мешок с фотоаппаратом и охотничьим ружьем, которое Пьер захватил с собой на всякий случай. Серж тащил пойманную им черепаху. Пьер и Роже сели в крохотную лодочку, Серж и я следовали рядом вплавь, подталкивая черепаху, в которой все еще торчал гарпун, привязанный к лодке нейлоновым тросом.

Нам оставалось проплыть каких-нибудь 300 метров, как с другой стороны лодки появилась огромная акула-тигр. Серж и я выпустили край лодки, за который держался левой рукой, и отступили назад. Акула уже близко. Но она не нападает на нас. Она набрасывается на черепаху. Слышен хруст. Из черепах, рассеченной надвое, вываливаются внутренности, льется кровь. Акула жадно хватается снова и снова вместе с добычей заглатывает гарпун, все еще торчащий в спине черепахи. Акула пытается освободиться от него, трясет огромной головой. Ничто не помогает, трос, все еще связанный с лодкой, натягивается и едва не опрокидывает ее. Внезапно, как гром в небе, раздается выстрел. Поток

крови струится из головы акулы; она бросается к лодке, со всей силой и с бессознательной животной злобой ударяется в нее. Истекая кровью, акула инстинктивно стремительно несется на нас, окаменевших, парализованных ужасом. Кошмар! Хотим отступить, но мешаем друг другу. Рука коснулась оружия. Ничего не соображая, я вижу, как метнулись наши гарпуны, хотя не помню, как и когда нажал на спусковой крючок. Акула подпрыгнула, наклонилась, упала, катится на песок; мы выпускаем оружие и, отчаянно работая ногами и руками, подстегиваемые страхом, плывем к берегу. Только там мы пришли в себя.

Все продолжалось не более 5 секунд. Случай, как это было уже не раз, спас нас. Как раз сегодня Пьер сказал: «Кажется, на острове есть птицы — возьмем я винтовку». Его хладнокровие завершило дело. Если бы в тот момент, увидев на поверхности акулу, кровь черепахи и почувствовав толчок в лодке, он не выстрелил бы, ничто не могло бы отвлечь неминуемой драмы. Сейчас мне все это кажется нереальным и призрачным, как кошмар.

### Самая большая рыба экспедиции

Все это утро мы ныряли в проливе, позавтракав на скорую ру-

ку сырой рыбой по-таитянски (в лимонном соку и кокосовом молоке); затем вернулись обратно, чтобы осмотреть выступающий на поверхность коралловый склон. Здесь начиналась бездонная глубина, пропасть, кишущая морскими чудовищами. Здесь часто попадались огромные акулы разных видов, но они не нападали на нас. Только когда мы накапливали много добычи, их поведение становилось более враждебным и опасным. Тогда надо было менять место или совсем выходить из воды.

Здесь властелином Каледонии была не акула, а гигантский мероу, или смерть-мероу, матушка мерлош, как их здесь называют. Акула появляется и уходит. Мерлош же всегда здесь. Ее присутствие придает этим водам отпечаток драматизма. Она повсюду — в пещерах, в ущельях, гротах, под сводами, в туннелях. Тяжело, медленно двигаясь под скоплениями кораллов или мадрепор, она, завидев человека, останавливается, замирает в неподвижности, устремив свой холодный, враждебный взгляд. Бессознательно ее мозг рассчитывает, взвешивает.

Что же именно? Напасть, выхватить, укусить? Гигантский мероу не кусает, он поглощает. Его пасть напоминает жерло огромной печи, в которую свободно может войти человек. Множество зубов служит ей лишь для того, чтобы

удержать добычу в пасти, которая захлопывается, как люк.

Подчиняясь охотничьему азарту, мы постепенно разъединились. Наша пирога была слишком далеко, и я решил вернуться. Когда я был уже почти в ста метрах от пролива, передо мной возникла огромная масса, тяжело движущаяся вдоль кораллового откоса. Ее вид, размеры напоминали допотопное чудовище; это и был гигантский мероу, смерть-мероу, предмет наших постоянных разговоров и охотничьих мечтаний.

Серж, плывший позади меня, пустился вдогонку. Вместе с нами охотился под водой один местный житель. Он метнул в гиганта острогу.

Острога попала в черную спину рыбы и застряла вертикально у первого позвонка костистой массы чудовища. Все разыгралось в мгновение ока. В десяти метрах под водой, там, где спускался далеко в синюю глубь коралловый откос, за рифами, начиналось мелководье.

Куда повернет гигант мероу? Если он бросится вглубь, то пиши пропало — там мы его не найдем. Но мероу повернул к рифу.

И парализующий меня страх сменился дерзкой надеждой: а чем черт не шутит!

Острога, как видно, задела какой-то нервный узел рыбы, но тяжеловесная медлительность ее движения не изменилась. Она

уходила. Сержу удалось подстрелить ее и держать на поверхности на натянутом тросе. Рыба удалялась. Роже догнал ее и выстрелил в свою очередь. Мериу открыл жабры, попятился и бросился под коралловый выступ, разнеся его вдребезги, в пыль. Здесь он остановился недвижим, я выстрелил. Гарпуны едва держались в его теле, но кровь обильно струилась из ран.

На наши крики примчался Роже. Он привел пирогу: Глаза его округлились, завидев нашу добычу, и он немедленно нанес ей новый удар. Непобежденная, даже не потерявшая сил рыба напоминала быка на арене, униженного бандерильями и ожидающего последнего удара шпаги. Но здесь арена действия не была загорожена, и инстинкт, побуждающий рыбу искать защиты под коралловым сводом, мог увлечь ее в глубину гротов, откуда извлечь ее было бы почти невозможно.

Мы решили: Серж и Пьер остаются, я и Роже садимся в пирогу, зовем на помощь катер Диксона, погрузим на него гарпуны, крюки, камеры и через полчаса будем снова здесь. Вскоре катер Диксона показался в проливе.

— Она не двинулась с места! — закричал Серж. — Давай сюда гарпуны.

Снова мы вчетвером, вооружившись, очутились под водой. Внезапно гигант пошевелился, осво-

бодился от трех гарпунов и... поплыл. Как ни тяжело и медленно было его движение, он значительно опередил нас и исчез из виду.

Мы без конца ныряли в разных направлениях, но наши поиски ни к чему не привели. Вдруг рысьи глаза Роже заметили необычное розоватое облако коралловой пыли. Мы направились туда. Действительно, то был он, гигант мериу.

Враз все четверо мы выстрелили. Из всех сил я метнул острогу, но железный наконечник едва пробил огромную тушу. Изогнувшись и опираясь на кораллы, я старался вонзить его глубже, но наконечник сломался, как истлевшее дерево. Я инстинктивно отступил, чтоб меня не поранило. В этот момент Серж, изловчившись, сунул в разверстую пасть чудовища рукоятку крюка, к которому привязал трос. Это был конец. Хотя еще не совсем. Надо было еще извлечь тело из кораллового убежища. Наши соединенные усилия не привели ни к чему. Пришлось привязать трос к катеру Диксона. Он медленно двинулся, и лишь тогда нам удалось поднять гиганта на поверхность.

Из его разверстой пасти несло отвратительным запахом, которым пропиталось все вокруг. Уже на борту весы показали 365 фунтов. Это была самая большая рыба экспедиции.

Перевела с французского  
В. РОВИНСКАЯ

## ПИЛИГРИМ НА БЕЛОМ ПУТИ

Вальтер  
БОНАТТИ



Начинается мое долгое путешествие к земле Великого американского Севера. От южных берегов Аляски к сердцу сказочного Клондайка — увядшей Мекке золотоискателей.

Уже три дня я сижу в Скагуэе:

жду, когда погода изменится к лучшему. Говорят, что пересекать в такое время Чилкутский перевал дело заведомо безумное; даже «sour-dough» («скисшее тесто», так звали здесь старых, опытных старателей) не решались в девяносто восьмом переваливать через Чилкут в одиночку, без доброй упряжки собак. Хотя в те годы дорога была утоптана и не единожды проверена.

Каждый день поливает дождь, и холодный, влажный ветер прочесывает бухту, задыхающуюся от тяжелого липкого тумана. Джо, индеец с Юкона, с которым я дошел до Скагуэя, высказывает все меньше рвения продолжать наш общий путь.

Сюда, на Великий Север, меня заставил забраться в первую очередь Джек Лондон. Мне всегда были по душе его рассказы и по нраву их герои — люди чуть странные, вечно готовые к новым приключениям. А в самом Лондоне мне всегда нравилось его отношение к природе: будто она дикое таинственное божество, будто она бастион, упорно сопротивляющийся организованному атакам человека.

Я приехал в страну, у которой пока нет истории (если не считать, конечно, историй погоио за золотом), а есть только охотничьи истории, давно превратившиеся в легенды и мифы. Но зато у этой страны есть свой дух, и он уже закрался в мою душу и с

каждым днем становится все крепче. Тот самый дух, что управлял сердцами героев Джека Лондона.

Я решил начать свой путь по Великому Северу с Клондайка. Именно там в 1896 году были найдены знаменитые месторождения золота, как магнит притянувшие к себе тысячные толпы авантюристов.

Если говорить правду, сам Скагуэй слабо помнит свою буриую молодость. Куда больше памятливы его старые обитатели. Их рассказы кажутся иногда невероятными, а то и по-настоящему героическими. И все эти рассказы, как один, начинаются с Чилкутского перевала — тут был первый барьер на долгом, в тысячу километров, пути от Аляскинского залива к дикому Юкону, к Клондайку. В их рассказах — волнение, не увядшая еще энергия, мужество, трагедия, в них — первая любовь. Они и укрепили меня в решении — встать на золотую тропу и пройти ее от начала до конца, как верный пилигрим по следам легендарных золотоискателей.

Пионеры называли Скагуэй «хижиной Северного Ветра». Он не умер, как умерли с окончанием золотой лихорадки многие города, он, как прежде, со всем его полумиллионном подданных глядит на мир, как со старой фотографии, — типичная деревянная столица далекого Запада. И все

благодаря маленькой отважной железной дороге «Белый путь». Она построена еще в 1899 году, и до сих пор продолжает верой и правдой служить своему Юкону и остается единственным его выходом к морю.

## Чилкут

В тот вечер из окна старого салуна я увидел, как на сером небе появились, наконец, новые краски. «Похоже, погода налаживается», — сказал я себе. Вероятно, моя физиономия так и светилась оптимизмом, потому что тут же ко мне подошел мой недавний приятель и заговорил о Чилкуте. Дело в том, что у приятеля был брат — Фред Мале, который считался лучшим знатоком перевала. Он прошел по нему не меньше семи раз, и ни он, никто другой не решался со времени золотой лихорадки переходить перевал зимой. Когда до Фреда дошел слух о том, что какой-то сумасшедший иностранец собирается на Чилкут, он с готовностью взял на себя труд начертить план всего перехода и передал его мне с братом. Мало того, братья подарили мне и моему индейцу Джо широкие лыжи-снегоступы и взяли с собой на своем грузовичке до остатков порта Дайя, откуда всегда начинали свой путь на Чилкут караваны золотоискателей.

Через день в восемь утра мы

были в Дайя. Даже малейшие следы исчезнувшего города укрылись от глаз в тени разросшегося хвойного леса. И все же дорога, вернее — все, что осталось от нее, вывела нас к отмели реки Дайя, а это, слава богу, уже не меньше двух километров в глубь Великого Севера. Наверное, раньше, в давнем прошлом, здесь стоял мост, но теперь от него, а может, вместо него, остался лишь ржавый толстый канат, натянутый между двумя — на разных берегах — деревьями. С каната свешивалась примитивной конструкции люлька: если хочешь попасть на другой берег, садись в нее и таяи, перехватывая канат вверх, и так все пятьдесят метров. А сзади, впереди — густой, дичайший лес.

До оригинальности странный народ эти братья Мале: столько доброхотного радушия, искренности, готовности помочь, а теперь вдруг прощаются с тобой так, будто мы увидимся завтра, не дают даже времени поблагодарить себя. Может, такие они и есть — люди Белого безмолвия, Великого белого Севера?

За рекой потянулась хорошая тропинка: мы сразу же начали отыгрывать время у нашего плана. Правда, зитуизм наш несколько поостыл, когда мы увидели на тропинке следы медведя, они были свежи и отчетливы на влажной, мягкой земле. Джо — а он в этом деле разбирается — го-

ворит: это гризли, килограммов на четыреста потянет. Говорит, что лучше бы нам с ним не встречаться, но, с другой стороны, каким бы этот гризли страшным ни был, нам с этой тропы сворачивать некуда. Я вставляю в мою «хусквериу» пять патронов калибра 30-06.

Идут часы... Лес сменился болотом, в котором тропинка то и дело пропадает под стелющимися искривленными деревьями. Время от времени, но всегда неожиданно слышатся крики каких-то странных птиц. Даже Джо не знает, что это за птицы. «Ииииии», а потом чуть дальше: «Эззззз». Крик этот долгий и, может быть, даже приятен на слух, не будь он таким грустным и одиноким среди общего молчания. Куда чаще раздается «там-там-там» канадского горного петуха, ну что твои африканские барабаны. Впрочем, нас поражают не звуки, какими бы они ни были. Поражает, что ни птиц, никакого другого зверя вокруг не видно. И лишь следы медведя-бродяги видны все отчетливее.

Под холодным ветром дрожит лес. А когда он вдруг стихает, деревья замирают, и нам становится жарко. Идти все труднее. Дорога изгибом обнимает гору, теряясь в каждом ее уступе, то и дело ныряет она в болотистые заросли или в поливые снега и льда овраги. Но у нас теперь есть помощник: тонкая, теряющаяся в



растительности проволока. Не иначе как здесь проходила телефонная линия исчезнувшего города Канон-Сити. Ах, если б не эти тяжелые рюкзаки, из-за них мы идем все медленнее и останавливаемся все чаще, а ноги становятся ватными и слабыми.

В наступившей темноте мы неожиданно натываемся на останки какого-то солидного представителя летающих, растерзанного представителями плотоядных. Небо уже черное и к тому же грозит дождем. Решаем разбить ночевку на речном плесе. Ночь встречаем у костра: оба уставшие до онемения. За нас говорит в тишине «там-там».

Просыпаюсь глухой ночью: кто-то стучит по полотну палатки. Снег. В шесть просыпаюсь снова: Джо, которого холод еще раньше поднял на ноги, уже разводит огонь. Вокруг все бело, хотя сейчас уже идет дождь. Через четыре часа мы выходим в путь на Чилкут. Рюкзак стал для меня настоящим мучением. Ни о чем ином, кроме как о проклятом рюкзаке, и думать не могу. Начал считать шаги от стоянки до стоянки. Подумать только, что мы еще в самом начале пути. Нет, все же я, вернее, мы оба, слишком перегрузились.

Через час мы увидели солнце — ненадолго, зато дождя уж больше не будет. Добрались до развалин, останков — как это лучше назвать? — Овечьего лагеря.

Теперь скоро дойдем и до крошечной охотничьей хижины, сбитой из еловых стволов. Лет семьдесят назад в этих местах зимовало по семь-восемь тысяч искателей. Я смотрю на старую фотографию, которую запесливо прихватил с собой, — бесконечные ряды палаток, каждая дымит печкой. Теперь лес взял свое, и там, где люди не оставили на своем пути ни деревца, снова правят бал медведи и рыси.

Вот и кончилась наша неуверенно прокладывавшая себе путь тропинка. Здесь даже охотники за медведями, должно быть, останавливаются. Теперь только тысяча километров по высоте и лишь пять километров по прямой отделяли нас от перевала. Но каждый метр будет для нас долгой дорогой — через частый кустарник, через податливый, высокий по грудь снег, в обход обвалов, под тяжестью рюкзаков, ружья и лыж-снегоступов. Вечером мы замеряем путь: всего два с половиной километра, всего триста пятьдесят метров над уровнем моря. Дует ветер, того и гляди посыплет снег, а мы ко всему еще взмокли от пота.

В три часа ночи снова выходим в путь. Я хочу перевалить через Чилкут до того, как погода переменится. Стоит такой собачий холод, что «краснокожий» Джо становится фиолетовым. Наконец-то мы пускаем в дело снегоступы. Снег, правда, твердый, но нести

лыжи на себе уже нестерпимо — и так на плечах по полсотни килограммов.

Снова я натыкаюсь на следы медведя. Уж не собрался ли он на перевал?! Через полчаса хода, однако, следы пропадают — здесь прошла уже настоящая пурга. Впрочем, она и сейчас не утихла. Высоко влево над нами нависает зелено-голубой ледник, а впереди с редкими разрывами стоят облака, оттаявшие угрюмые скалы, причудливо одетые льдом. Где-то среди них и Чилкут.

Так он и появляется среди облаков и скал — со своими знаменитыми спускающимися ступенями. Вокруг все чисто и пустынно. Кроме нас, живаго здесь лишь ветер, поднимающий в воздух облачка ледяных кристаллов.

Я и раньше старался не пропустить все, что могло остаться от старого пути, но здесь, на перевале, моя фантазия прямо-таки разыгралась: я вижу огромный снежный вал, он движется вверх, и в нем то и дело мелькают бородатые, темноодетые крепкие люди. Пригнувшись к склону горы, они тянут тяжелые сани, закутанные белым полотном палаток. А внизу — параллельно, но в противоположную этому людскому порыву сторону тянется другой поток, и в саних этого потока белые длинные трупы тех, кто из-за голода, холода до обвала не дошел: тех, кого в Овечьем лагере ждет опознание и... земля.

С этого момента мы идем вниз. Ветер свистит еще яростнее, и в его вое далекое эхо голосов 60 тысяч привидений. Между девяносто седьмым и девяносто восьмым годом именно столько золотоискателей отправилось на Чилкут. С перевала будущие герои золота спускались на саних, поднимая над ними белые паруса. Ветер Чилкута надувал их, охотно сталкивая в море снега.

Во второй половине дня мы подходим, наконец, к границе растительности. Солнце печет обжигающе, и снег уже не держит, даже когда у нас на ногах канадские снегоступы. Да, это не страшно компромиссов. Зима здесь превращается в лето на каких-то пятнадцать-двадцать дней, и все, что происходит за эти дни, напоминает сказку, причем часто — сказку страшную. Едва забравшись в лес, мы сдаемся. Здесь и разбиваем лагерь.

На следующий день мы подходим к поселку Линдееман. К тому, вернее, что когда-то было поселком. Теперь от него осталось только имя. Именно здесь и именно в эту зимнюю пору собирались золотоискатели, чтобы к весне построить свои первобытные лодки, а как только тронется лед на Юконе, отправиться к Клондайку.

Мне, вполне понятно, нельзя дожидаться весны. Мне с товарищем нужно идти к озеру Беннетт, где проходит поезд.

## Вид с Полуночного Свода

Наконец я смотрю в лицо Клондайку. Мы стоим на горе Полуночный Свод, повернувшись спиной к Юкону, который лениво несет последний зимний лед вокруг Доусон-Сити, и Джо Ланген вытягивает вперед руку, делает ею в воздухе полукруг и говорит: «Вот из этой страны и вывезли золота на 300 миллионов долларов».

Никогда прежде мне не доводилось видеть золотые россыпи, а единственные знания на этот счет я приобрел из рассказов все того же Джека Лондона и чаплинской «Золотой лихорадки». Вид настоящего Клондайка оказался весьма несхожим с тем, который сложился в моем воображении. Не знаю уж почему, но я ожидал увидеть суровую, скалистую и стерильно-голую местность. Клондайк же, напротив, оказался продолжением округлых гор и холмов, густо заросших соснами, елями и березами, уходящими бесконечными рядами за горизонт. Долины, пересекающиеся меж горами, плоски и серы от моренных дюн, будто огромными драгами прочерченных длинно и аккуратно. Будто сплелись в огромный клубок гигантские черви-шелкопряды.

Джо, лесник этих мест, показывает мне пальцем то на одно поселение, то на другое, а пока-

зывая, произносит их имена: Бонанца, Эльдорадо, Ханкер. Когда-то любое из этих имен зажигало воображение у доброй половины мира. Началось это «когда-то» летом 1896 года: Роберт Хендерсон, погрузив свой грохот в воду реки Клондайк, вытащил на свет божий золото. На восемь сотых доллара. Честность этого золотоискателя-одиночки была вскоре оплачена фальшивой монетой. В деревне Шестидесятая миля, куда заявился за провизией чистосердечный искатель ценного металла, Хендерсон рассказал о своей удаче всем, кого только встретил. И вот когда он вернулся к реке, то увидел там некоего Джорджа Кармака — весьма подозрительного типа, который до этого вместе с женой-индейкой занимался промыслом лосося.

Систематические поиски золота на Клондайке компаньоны начали вдвоем. Но прошло немного времени, и Кармак заявил, что он устал и, пожалуй, отправится сейчас к устью. Если же он наткнется на что-нибудь стоящее, то немедленно пришлет за Хендерсоном жену. Так случилось, что по дороге Кармак наткнулся на разветвление того, что Хендерсон в свое время окрестил Ребит-криком — Ручьем кролика, а весь мир впоследствии называл Бонанцей. Здесь он обнаружил трубку, оказавшуюся самой богатой золотой жилой, какая только из-

вестна на земле на протяжении многих веков. Был шестнадцатый день августа 1896 года, а следующий день — день официальной заявки на собственность участка — считается теперь праздником на всей территории Юкон.

Весть о золоте распространилась в одно мгновение. Изголодавшиеся по удаче и богатству люди отовсюду бросились толпами «столбить» участки на земле Боианцы. И лишь Хендерсон, никем не оповещенный, сиротливо продолжал ковырять землю по другую сторону хребта. Очень не скоро вспомнило канадское правительство его заслуги в открытии Клондайка и определило ему пенсию. До самой смерти, которая пришла за ним на семьдесят шестом году, отчаянно и безнадежно продолжал Роберт Хендерсон искать свою Бонанцу.

Только в одном 1896 году Боианца-крик «принял» на свои берега больше тысячи старателей, застолбивших здесь 148 участков. Рядом с устьем Клондайка, в том месте, где он впадает в Юкон, вырос город Доусон, ставший вскоре столицей огромного края на севере от Виннипега.

И все же разгар золотой лихорадки приходится на следующий год. Началась она, благодаря хроникеру издававшейся в Сиэтле «Пост интеллидженс», помещенному на его страницах следующее сообщение: «Сегодня в

три часа утра в порт вошло судно «Портленд», возвращающееся из Аляски. На борту судна — одна тонна золота».

Теперь искатели счастья стали прибывать к золотому Клондайку со всего света: не только из Северной Америки, но даже из Англии, Италии, Норвегии, Франции и Австралии. Мясики, банковские служащие, торговцы, даитисты, бухгалтеры и крестьяне приступом брали пароходные агентства. Подсчитано, что только на транспорт новообращенные золотоискатели потратили в общей сложности шестнадцать миллионов долларов.

В 1897 году число старателей Клондайка поднялось до трех с половиной тысяч, в следующем, 1898 году на пирс Доусона сошло уже двадцать восемь тысяч человек. Большая часть новичков сразу же бросилась на прииски Бонанцы, но, не найдя там свободной земли, вынуждена была перебраться дальше. Тогда-то и были открыты Эльдorado и Ханкер, почти не уступавшие по своим богатствам Боианце.

Некий Большой Алекс Макдональд намыл здесь золота на семь миллионов долларов — говорят, ему даже пришлось снаряжать специальный караван, чтобы вывести свой драгоценный груз из Клондайка. Но сотни других, хотя они и промыли земли ничуть не меньше, чем Большой Алекс, так никогда и не

нашли золота и умерли в нищете. Из шестидесяти трех тысяч золотоискателей, приехавших в Клондайк в период его самого бурного расцвета, длившегося с 1897 по 1910 год, повезло лишь какой-то сотне. Вернувшись в свои родные места, они стремились купить на свое золото самые нелепые или сумасшедшие удовольствия, которые только могла предоставить им эпоха. Еще не забыто воспоминание о том, как Джо Хансен, заплатив пять тысяч долларов золотом, женился на молодой танцовщице Мабель ля Роз, которая в одном из салонов Доусона выставила на аукцион самое себя. Молодожены тут же отправились в Париж, где Хансен заказал золотую карету, на которой они и поехали на церемонию венчания вдоль Елисейских полей.

Я бродил по Клондайку восемь дней, потом еще три (когда вернулся сюда через месяц в начале арктического лета). За семьдесят лет здесь многое изменилось — я смотрел на фотографии тех лет и не узнавал даже профили многих гор. Все долины Клондайка перепаханы нынче гигантскими драгами; новая техника постоянно сменяла здесь старую, позволяя все глубже зарываться в землю. Но и сейчас еще можно найти в Клондайке такие места, куда новая техника еще не сумела пробиться, места, где еще можно по раз-

ным брошенным вещам, по едва уловимым приметам восстановить мозаику прошлых лет. Не так уж и редко доводилось мне ощущать атмосферу жизни пионеров, не так уж редко доводилось мне узнавать лица и вещи прошлого. Будто время чудесным образом недвижно застыло здесь.

Порой земля была просто усеяна нелепо торчавшими обломками кнрок или проржавевших фонарей, лебедки или грохота, печки, каких-то примитивных машин или лотков для воды. Один такой лоток, до сих пор прекрасно сохранившийся, тянулся не на один десяток километров через горы. В развалившихся деревянных драгах, полужатонувших в черной стоячей воде, в торчащих, как бамбук среди кустов, в каких-то рычагах сейчас с удобством устроились бобры.

Но самыми красноречивыми свидетелями прошедших времен были, конечно, старые деревянные «кабины» — хижины золотоискателей. Большинство из них уже развалилось, но некоторые, удачно защищенные от ветров или просто позже брошенные, были еще «живы» — в них жили вещи и даже запахи. Печь в «кабине» занимала самое почетное место — в самом центре. По стенам стояли столы, шкафы и табуретки; кровати, часто двухъярусные, всегда располагались

так, чтобы ноги спящего были поближе к печке. Окна были маленькие, с двойными рамами. Повсюду на стенах развешаны кухонные принадлежности, инструменты. И во всех «кабинах» всегда найдешь библию огромного формата, с углами, замусоленными долгим и трудным чтением. Иногда она лежала открытой на скамье рядом с кроватью, будто еще несколько часов назад здесь спал хозяин. На сковородах замечен был еще лосиный жир, а на вешалках болтались рабочие спецовки. Только выйдя из дому, только взглянув на почеревшие поленины дров, заготовленных на зиму, понимал я, как давно уже брошен этот дом.

Я был в доме, где живут до сих пор. Живет здесь уже около сорока лет один из самых старых золотоискателей Клондайк, семидесятилетний югослав Питер Памучина.

Он встретил меня так, будто мы с ним старые друзья. Было десять утра, воскресенье — день, когда сам господь повелел отдыхать, — и Питер не работал. Он брился своей старой бритвой, привезенной им, наверно, еще из Югославии. Едва узнав, что я итальянец, Памучина принялся вспоминать первую мировую войну, в которой он участвовал, и итальянские слова, которые еще помнил.

До того, как Питер стал золо-

тоискателем, пришлось ему побыть траппером, а когда впервые приехал в Клондайк, то получил, как и все, кличку «чечачо» — новичок. Теперь он любит вспоминать о тех временах. О том, например, как перевернуло его лодку на стремнине Большого Лосося, как оставил он на его дне все, что добыл. Да и сам он тогда бог знает как уцелел...

## Город призранов

Среди тысячных толп золотоискателей, бросившихся в Клондайк за неслыханным богатством, был и некий Ладью. У него были весьма специфические соображения на тот счет, как добиться успеха. Золота он не искал, зато построил на Юконе, там, где в него впадает Клондайк, первый дом и первый салун. Город он назвал Доусон-Сити: в честь геолога, посланного сюда правительством Джорджа М. Доусона. Так родился город на золоте, которому судьба уготовила по богатству и элегантности стать Парижем Великого Севера.

Год спустя после рождения — в 1897 Доусон-Сити имел уже 3500 жителей и десять салунов. Каждый из них приносил за ночь дохода по меньшей мере в триста долларов. Цены на участки под строительство поднялись до двадцати тысяч долларов. В июне

в Доусон прибыл первый парох: изоляция от остального мира кончилась! В новом городе высаживались игроки и спекулянты, танцовщицы и певички, поэты и бродяги. А на борт поднялись вновь испеченные богачи Клондайка. Некоторые из них, пустив деньги в дело, создали крепкие состояния, другие пустили их быстро на ветер, тем более что большие города Тихого океана предоставляли для этого все возможности; а растратив деньги, возвращались назад, в Клондайк.

Это была эпоха причудливых и безжалостных законов Доусон-Сити. Вора или убийцу судил специальный «комитет». Приговор его был скор и бескомпромиссен; один пушечный выстрел. Труп выставляли на несколько дней как хороший предметный урок на будущее.

Вскоре Доусон стал городом с тридцатью тысячами населения: в нем росли элегантные палатки, появился оперный театр, для которого выписывали за тысячные суммы костюмы из Франции и приглашали лучших исполнителей со всего Американского континента. Была заложена огромная церковь с органом стоимостью в 60 тысяч долларов, чтобы изысканные меломаны смогли насладиться музыкой Баха и Генделя.

Неотесанные золотоискатели, индейцы, игроки-авантюристы и танцовщицы до отказа заполнили

салоны и грязные улицы Доусона. Оживление было столь иступленным, что смогло вдохновить даже скромного баиковского служащего Роберта Сервиса: он стал поэтом золотого времени и золотой зры. Его стихи до сих пор остаются живым свидетельством той лихорадки, которая трясла Великий Север. А персонажи его стихов вошли в народный канадский эпос.

Но пришел день, когда звезда Доусона пошла на убыль — точно так же, как до этого случилось с Сороковой Милей и другими городами Юкона. Случилось это накануне первой мировой войны. Бегство искателей золота и заключений было таким же стремительным, как и их приезд. Потому-то сейчас в Доусоне и живет только восемьсот человек, живет, можно сказать, злом и перебиранием осколков прошлого.

Я приехал в Доусон на автобусе по единственному в этих местах шоссе. Еще светит в небе солнце, хотя на часах уже девять. Из какого-то окна слышатся изящные звуки «Луиной реки», заставляющие мыслями уноситься к сладким воспоминаниям о далеком, оставленном мною мире. На углу главной улицы недвижимо стоят группки индейцев: они смотрят, как я иду, весь засыпанный белесой дорожной пылью, как тащу свои пожитки к старой гостинице «Нижний город». Индейцы обмениваются удивленными

взглядами: редко, очень редко приезжают теперь люди в их город, населенный теньями.

Поначалу Доусон меня разочаровывает. Право, трудно избавиться от черной меланхолии при виде старых деревянных или железных домов, будто нарисованных на театральном заднике; к тому же вокруг домов анаброс валяются какие-то ржавые железки, куски каких-то машин: грустная свалка разбитых амбиций. Пыльные и грязные улицы будто бордюром окружены деревянными тротуарами. Разномерные столбы поддерживают густое переплетение электро- и телефонных линий. Количество этих линий просто невероятно, у меня создавалось такое впечатление, будто к каждой лампочке проведена своя.

Из старых строений я отыскал дворец губернатора, Оперу, Салун Краснокожих и хижину поэта Роберта Сервиса. Многие другие известные дома Доусона бесследно исчезли. В пустой развалившейся церкви я увидел знакомый мне по рассказам знаменитый орган в 60 тысяч долларов. Его забитые пылью трубы молчат уже десятилетия. Взобравшись на холм, я побродил среди могил старого кладбища. В иные голодные годы люди здесь помирали сотнями, и золото, расправшее карманы, бессильно было спасти их от цинги...

Поначалу я никак не мог взять в толк, что происходит вокруг ме-

ня. Уже в первые дни я заметил, что многие незнакомые мне люди улыбаются и еще издали приветственно кричат мне: «Хэлло!» Обо мне они могли знать немного: только то, что я иностранец. Быть может, они улыбались мне потому, что жил я мирно, не нарушая местных законов и обычаев. Быть может, каждый из них, улыбаясь, вспоминал свой собственный приезд в Доусон, вспоминал, как хотелось ему услышать приветливое слово в первые трудные дни. А может быть, им было просто приятно увидеть новое лицо — ведь из Доусона куда чаще уезжают, чем приезжают.

Раз вечером я оказался в числе гостей директора золотого банка Джорджа Хантера. Хозяин предупредил всех приглашенных: мужчины были в сюртуках и котелках, женщины — в длинных белых платьях. Хантер хотел в тот вечер оживить великое прошлое Доусона.

И я на миг увидел город, энергичный, полный жизни, и мне казалось, что я сплю, что я нырнул в то время, как ныряют в реку. Я видел «Дем Макгру» — одно из лучших драматических творений Сервиса, я упивался буйным канканом и следил за тем, как со скрипом крутились старые рулетки и мелькали в руках игроков в покер карты. Это было похоже на костюмированное представление. Только «актеры» играли для самих себя, ради радости ощутить



иную жизнь и воскресить сказки прошлого.

Завтра все они вернутся к спокойной работе служащего, торговца, золотоискателя или плотника, а женщины вернутся к своей кухне. Но на один вечер они могут

себе позволить опьянеть от воспоминаний. И потому все играют, поют, болтают, пьют виски и шампанское. Совсем как в старом добром Доусоне...

Перевел с итальянского  
Игорь ГОРЕЛОВ

## БОЛЬШАЯ ОХОТА ИНДЕЙЦЕВ ПЛЕМЕНИ ЧИПАВЕЕВ НА КАРИБУ\*

Роже  
ФРИЗОН-РИШ



— Вот они, — говорю я.

Перекрывая жалобное завывание, визг, отрывистый лай, рычание ста семидесяти пяти собак Сноудрифта\*\*, в прозрачном, хо-

\* Карibu — канадский северный олень.

\*\* Сноудрифт — деревня индейцев племени чипавеев.

лодном — и каком холодном! — воздухе раздается легкий перезвон бубенцов; хоть перезвон и легкий, но в нем улавливаешь звук и тон каждого бубенчика, точно в хоре, отвечающем всем требованиям контрапункта. Холод лютый, и кажется, будто звуки пробиваются к нам сквозь что-то твердое, прозрачное.

Передняя упряжка галопом несется по склону холма; длинная, скачущая цепь змеится между хижинами, огибая преграды, затем по команде каюра останавливается у самой нашей двери. Первый, кого мы видим, — это Наполеон Митчелл. Он уже снова облачился в свой охотничий костюм. Не подумайте, что это перья и кожа, нет! Он весь с головы до ног в черном. Черная меховая куртка, черная парка, черные, плотно облегающие брюки из толстой ткани, мокасины из оленьей кожи с матерчатыми голенищами. На голове у него самая заурядная шапка-ушанка, из тех, что зовутся норвежками. К одной из оглоблей его нарт привязаны огромные рукавицы из кожи мускусной крысы с крагами, как у мушкетера; такие рукавицы незаменимы для того, кто правит упряжкой: кожа мускусной крысы никогда не дубеет и остается эластичной при любой температуре.

На полной скорости подлетает вторая упряжка, виртуозно управляемая Джо Митчеллом. Она останавливается; братья обмени-

ваются сигаретами. Затем на восточном склоне холма появляется упряжка Огюстена Энцио; взбравшись на пригорок Миссии, она стрелой проносится вдоль обледенелого взморья и непринужденно подкатывает к месту сбора. Теперь не хватает только предводителя: Анри Католика. Анри Католик вечно запаздывает. Посланные за ним деревенские мальчишки бегут со всех ног; ведь он живет очень далеко, совсем на отшибе. Возвращаясь, они еще издали кричат и указывают вдаль. Вот, наконец, и сам Анри; спускаясь с холма, он, не щадя горла, понукает собак.

Теперь все в сборе.

В разных районах Арктики собачьи упряжки резко отличаются одна от другой.

В голом безлесом краю эскимосов санные поезда скользят по припаю, а тут индейцы вынуждены на своих охотничьих нартах продираться сквозь таежные хвойные чащобы, а то и волоком через скалистые ущелья между двумя озерами.

Индейцы запрягают собак цепочкой, эскимосы — веером.

Эскимосская нарта канадской Арктики представляет собой тяжелый каркас длиной от семи до восьми метров; фактически это две нарты, соединенные перекладными, но не снабженные никакими средствами управления. Каюр сидит впереди и длинным кнутом погоняет десять-двадцать со-

бак; каждая из них запрягается отдельно кожаными десятиметровыми постромками. На эскимосских нартах можно перевозить полутонный груз.

У индейцев нарты как перышко. Они не снабжены полозьями, их скользящая часть сделана из одной загнутой впереди кленовой доски шириной примерно в тридцать сантиметров. Главное достоинство таких нарт — гибкость. Они похожи на наши спортивные сани. Только здесь доска с боков обита брезентом на оттяжках, и все вместе удивительно напоминает лодку. Каюр стоит сзади на специальной подножке и правит с помощью двух ручек, укрепленных, как оглобли у тачки. Триста-четыреста килограммов — вот максимальный вес груза, который могут перевезти индейские нарты по этой хотя и плоской, но очень неровной местности. Собаки, запряженные цугом, соединяются друг с другом двойными постромками; мягкий ошейник и шлея — вот и вся их «сбруя». Каюр управляет голосом и хотя держит в руке короткий ременный кнут, но пользуется им лишь для острастки. Всю упряжку ведет головная собака, проявляющая чудеса сообразительности. Именно на ней лежит обязанность распознавать, где какой снег, ведь он то промерзает настолько, что превращается в камень, то обрастает твердым настом; но бывает, что снег на большой глубине остается

рыхлым, и это самое страшное. Инстинкт безошибочно выводит вожака на самые лучшие места. Головная собака прокладывает трассу и практически сама не тащит нарты, разве только помогает рывком взять разгон; но, все время натягивая постромки, она заставляет остальных тащить. Каждый идеец, как правило, имеет двух вожаков: когда один устает, другой его заменяет; уставшего на время помещают в третий ряд. Есть в упряжке и замыкающая собака: ее впрягают непосредственно в нарты. Это мученик своры. Ей приходится тащить на буксире почти всю тяжесть, и нередко при спусках она попадает под нарты, потом еле-еле выкарабкивается из-под них с отдавленными лапами и, скуля от боли, становится на свое место.

Собаки индейцев племени чипевеев, равно как и собаки средней Арктики, по силе и размерам уступают эскимосским «хаски». Индейские псы, более мелкие, с удлинённой головой, удивительно походят на лисиц. Они бывают всевозможных мастей. Цвет их шерсти, зачастую испещрённой пятнами и полосами, колеблется от чисто белого — с переходом через все оттенки рыжеватого, серого и коричневого — до абсолютно черного. Они очень красивы, эти собаки, их так и хочется погладить. Увы! Откровению говоря, всякий, кто имеет неосторожность подойти к чужой упряжке,

рискует быть искусаным. По отношению к собакам индейцы проявляют прямо-таки первобытную жестокость.

Разумеется, нет правил без исключений, и Наполеон Митчелл — одно из этих исключений. Однако на протяжении всего путешествия нам не раз приходилось видеть, как на собак сыпались удары, свирепость которых заставляла бы содрогнуться членов общества охраны животных. Привыкшие получать одни только побои, собаки кусают каждого, кто протягивает к ним руку, пусть даже из желания приласкать их. Не прошло и нескольких дней, как мы с Пьером были вынуждены следовать примеру окружающих: сперва грозили рукой или палкой, чтобы затем погладить парализованное страхом животное. Это плохой метод, и он не дает той радости, какую получаешь от игры с собакой. И при всем том, какая преданность человеку! Пес, избитый в кровь, через несколько минут лижет руку хозяина, бросившего ему кусок мяса. Особенно опасны эти псы вечером, когда, вернувшись после поездки, они, измученные, голодные, отдыхают, рухнув в снег. В такое время надо очень осторожно проходить мимо них. Однако они быстро привыкают к людям. Через несколько дней, приняв нас к себе, они признали нас своими. И только два укуса, полученные мною в первые

дни, умерили прилив моей нежности к ним, к этим верным друзьям человека, которых мы нашли здесь такими, какими они были покорены и приручены много тысячелетий назад.

— Сегодня поездка будет долгой и утомительной, — предупреждает Анри. — Сорок миль (65 километров) по озеру. А уж холодно будет!

В момент отправления термометр показывает  $-32^{\circ}\text{C}$ .

— Готово?

Анри дергает ручки, и четыре упряжки галопом вылетают на озеро, подстрекая друг друга дружным лаем.

Я бы не прочь поделиться с Пьером своими первыми впечатлениями, но он опередил меня на несколько сот метров: его, видимо, трясет не меньше, чем меня, судя по тому, как он вцепился в нарты, откуда торчит лишь верхняя часть его туловища да рука, судорожно стискивающая камеру. Снимать фильм в таких условиях — удовольствие небольшое!

Эскимосские упряжки, в основном гораздо более быстрые, в иные дни делают по припаю сто двадцать километров. Индейцы охотятся в лесах, где много подъемов и спусков, хотя и невысоких, но крутых, где немало скованных льдом порожистых рек, больших и небольших, так что иногда из предосторожности приходится пускаться в долгий объезд; вот на озерах, к счастью многочислен-

ных, индейская упряжка легко проходит десять миль, то есть шестнадцать километров в час. Единственно возможный способ согреться — это, соскочив с нарты, бежать в ногу с собаками; сил хватает, да и то в обрез, всего на несколько сот метров. К тому же в районе индейских поселений зимой передвигаться пешком почти невозможно, разве только по озерам: то и дело проваливаешься по пояс в глубокий, рыхлый снег. Здесь снегоступы такой же предмет первой необходимости, как в Лапландии лыжи. А вот эскимосы, живущие в очень ветреных и потому мало заснеженных районах, не нуждаются ни в том, ни в другом.

К езде на нартах — этому новому для нас виду транспорта — надо привыкнуть.

Сказать, что он удобен, значит, бы покривить душой. Все зависит от поверхности. Скользить по гладкому льду озера — опьяняющий спорт, конечно, если не очень холодно. Но когда, забившись между поклажей, ты вынужден часами неподвижно сидеть скрючившись, а на ногах у тебя вместо плёда тренога от камеры, — тут уж не до шуток.

Однако разнообразие и новизна вскоре приводят нас в бодрее состояние духа.

Сноудрифт все больше отодвигается назад. Еще можно, хотя и с трудом, различить индейские домишки, белые строения миссии

и ее колокольню, здание «вау» — фактории, но все это постепенно убывает, уменьшается, исчезает вдали.

Теперь мы в полном одиночестве.

Большую озерную бухту замыкает линия скалистых холмов. Куда ни глянь — острова, берега в щетине елей; и притом все это поминутно меняет очертания, стирается, уступая место другим бухтам, другим фиордам. Подкова Невольничьего озера расколота пополам скалистым полуостровом, что раскинулся на сто километров по направлению с востока на запад.

\* \* \*

Небо исполосовано длинными ремнями туч. Солнце меркнет. Мы движемся прямо на север, но ветер вполне терпимый: нас защищают острова.

Все поражает воображение — фантастический бег упряжек, вереница собак, весело потряхивающих бубенцами и помпонами. У каждой собаки свой особенный ошейник. У одних он украшен черно-белым султаном из барсучьего хвоста; другие выставляют напоказ лисий или волчий хвосты. Эти меховые плюмажи на собачьих спинах развеваются по ветру, как праздничные гирлянды. Мы и впрямь приглашены на праздник. Наполеон Митчелл сто-

ит сзади меня и, не сводя глаз со своры, мурлычет что-то вполголоса, какое-то песнопение в индейской обработке, которое он повторяет часами, прерываясь лишь для резкого окрика. Каюры умеют разговаривать с собаками, и те понимают их. Тому, кто не знает этого языка, упряжка не станет повиноваться.

Собаки индейцев племени чипавеев знают три повелительных возгласа: когда каюр хочет ехать прямо, точно по курсу, он время от времени бросает короткий двусложный крик: «Хит-ит», который произносится с сильным придыханием; чтобы свернуть вправо, надо только несколько раз повторить: «Ча-ча-ча!»; влево: «Йи! Йи! Йи!» Этого в общем достаточно; у собак очень тонкий слух, а вожак к тому же всегда начеку, он часто оглядывается, не отклоняясь при этом в сторону, чтобы получить приказ от хозяина; поступает он так главным образом, когда встречает препятствие — скалы, коридоры глубокого снега — и в тех редких случаях, когда ему изменяет чутье.

Удивительное зрелище — собаки в работе! Между ними сразу же завязывается беседа. Выявляются характеры. Среди них всегда найдется ленивец, который не только не тянет, но предоставляет другим тащить еще и его самого. Недолго удастся ему обманывать пронзительного каюра, который тут же спрыгивает с подножки и

спешит огреть виновного кнутом. А тот, зная, что его ждет, вертится, жалобно повизгивая, на снегу, порою пытается куснуть, но получает такую взбучку, что припадает брюхом к земле, тихонько скулит, уткнувшись носом в снег. Если наказание вполне заслуженно, остальные собаки молчат, если же оно кажется им чересчур суровым, они вскакивают, волнуются, воют, лают (индейская собака воет и лает, только когда того требуют обстоятельства, беспричинный лай здесь явление крайне редкое), прыгают вокруг хозяина, словно хотят сказать: «Нет, ты чересчур разошелся, не так уж он виноват!» Тем временем построжки спутались, мешают движению собак, находящихся в средних рядах, приходится наводить порядок: каюр хватается собак за лапы, беспощадно вертит их во все стороны, стараясь высвободить. Инцидент окончен, можно снова ехать. Наполеон возвращается на свое место и походя слегка ударяет ногой по примерзшим нартам, чтобы сдвинуть их с места, — сигнал, которого собаки только и ждут. Рванувшись вперед, они с веселым тьяканьем несутся вскачь, догоняя остальные упряжки; те ушли так далеко, что нарты кажутся лодками, которые плывут, задевая бортами горизонт.

А что же делает в это время седок? Совершенно оочоленев от холода, пробирающего до мозга

костей, он время от времени пытается пошевелить то рукой, то ногой, старается устроиться поудобнее; ведь большую часть времени он проводит, вцепившись в брезентовую боковину, дрожа от страха, что его вот-вот вытряхнут. Представьте себе, даже на озере лед не гладкий! Он так источен, искромсан ветром, что кажется, будто огромные валы застыли на берегу под его студеным дыханием. Тебя швыряет с одного сугроба на другой, качает то сверху вниз, то с боку на бок, как рыболовную шаланду в открытом море. Собаки ни перед чем не останавливаются и обычно атакуют сугробы в лоб; тогда нарты, нацелившись носом в небо, внезапно пикируют на хребет волны.

На очень обледенелом сугробе нарты, у которых нет киля, поминутно могут перевернуться, поэтому каюр должен все время быть наготове и крепко держаться за рукоятки. Седок же в таких случаях неминуемо вываливается в снег. Управлять нартами в одиннадцати-двенадцатичасовом пробеге не легкий труд. Это так же тяжело, как преследовать дичь на снегоступах при сильнейшем морозе и глубоком снеге.

После трех часов пути мы приближаемся сперва к одетой темным лесом косе длинного низменного острова, затем к рукаву очень большого озера, где прибитые течением льды образуют нечто вроде маленького полярно-

го пака<sup>1</sup>. Из этого хаоса ледяных глыб то тут, то там угрожающе торчат льдины, острые, как обнаженные клыки.

Какой простор расстилается перед нами! Около двадцати миль отделяет нас от чуть виднеющегося вдали берега. Если бы не наши проводники, мы бы не разглядели его. Путь к нему идет по диагонали.

Но сначала мы должны развести огонь.

Мы пристаем к скалистому островку протяженностью в несколько сот метров, где топорщатся тонкие как жерди деревья, с которых ветер сорвал и без того небогатый хвойный убор.

Это та разновидность ели, что образует темный покров тайги; более или менее густой, более или менее высокий, он теряется в бесплодных землях, куда мы держим путь. Наши люди останавливаются там, где последний пояс канадской ели образует заслон, отделяющий *barren lands* (бесплодные земли) от тайги; эта та крайняя точка, дальше которой они не решаются идти. По ту сторону плохо!

К этому острову трудно подступиться. Здесь образовалось огромное скопление снега, и, преодолевая сугробы, мы с собаками наполовину тонем в снегу. Анри и Джо надевают снегоступы; про-

ложив глубокую трассу, они зовут собак следовать за ними и карабкаются по крутому снежному склону, чтобы укрыть караван в убежище, защищенном от ветра кольцом елей. Все делается очень быстро; собак не распрягают, они остаются лежать на снегу, там, где остановились. Животные, измученные многочасовым переходом, жадно глотают снег. Люди выпрыгивают из нарт с топорами в руках.

Это наш первый привал в лесу, и мы наблюдаем за всем с большим интересом. Не обращая внимания на нас, индейцы ходят взад-вперед и без усталости валят деревья.

Индейцы проворно срубают сучья и кладут толстый настил из веток на утоптанную снегоступами площадку. Настил образует отличный изоляционный слой, на нем можно с облегчением завалиться на отдых, не боясь, что теперь, когда мы без движения, мороз еще больше даст себя знать. По одну сторону этого зеленого ковра лежат дрова. На них выливают горячее из бутылки, один миг — и все пылает, эти старые, зачастую очень сухие деревья — зимой у них еще нет соков — легко загораются. Пламя достигает одного-двух метров высоты, и, держась на некотором расстоянии от огня, можно в конце концов устроиться так удобно, что покажется, будто находишься в комнате с кондиционированным воз-

---

<sup>1</sup> Па к — многолетний дрейфующий лед в полярных водах.



духом и невидимыми — стенами.

Снег в котелке растаял, и Анри Католик готовит еду. Он склонен к транжирству. Не следи я так ревностно за продовольственными запасами, по крайней мере до тех пор, пока мы не разжились мясом, наши четверо молодцов съели бы все в один присест, а потом бы неделю голодали. Но у Анри есть и большие достоинства: быстро распаковав кухонную утварь, он достает хлеб, купленный в Йеллоунайфе, и тут же поджаривает его на огне. Аппетит у всех прекрасный, чай превосходный. Мы наслаждаемся отдыхом. Солнце в зените и заливает нас своими холодными лучами. Пьер снимает все: огонь, озеро, сугробы, обветренные лица, собак, укрывшихся в снежных норах, ободранные деревья, мокасины и прочее и прочее... К счастью, мы все предусмотрели. Фильм обеспечен.

— Пьер, ступай есть!

— Все идет как по маслу. Я пробую камеру, она как будто в порядке, но какой слепящий свет! Не будь я так уверен в своем фотозlemente...

Северное освещение действительно на редкость яркое. Когда-то индейцы и эскимосы носили очки из дерева или кости с узенькой смотровой прорезью. Теперь все они красуются в дымчатых очках. Им по душе большие очки с оправой под черепаху, ко-

торые у них без конца бьются. Надо отметить, что индейцы ничего не берегут. Но удивительно, в какой сохранности держат они оружие. О да, карабины у них ухожены! Их вынимают из чехлов, сшитых из оленьей кожи, только тогда, когда нужно стрелять. Оружью отводится лучшее место в нартах, и приклад одного из карабинов будет на всем протяжении пути впиваться мне в бок; но что поделаешь, ведь на мне лежит обязанность — по первому знаку передавать его хозяину.

— Четыре часа, — говорит Джо, — сейчас поднимется ветер.

Он встревожен, ветер северо-западный. По-моему, пока нет никаких явных причин для беспокойства. Если не считать тех молочно-белых облачков на горизонте, что плывут, словно клочья тумана над океаном.

Мы снова занимаем свои места в нартах. Индейцы снова надели свои парки. Это плохой признак: когда индеец или эскимос надевает парку из оленьего меха, можно с уверенностью сказать, что будет холодно... для них. А для нас и вовсе нестерпимо!

Поначалу холод не ощущается, собаки снова бегут ровно и быстро, но как только мы выезжаем из-под укрытий островов, ветер, дующий с силой в три балла, сбивает со льда снег и гонит поземку по озеру, очень широкому

здесь, хотя это самая узкая часть огромного внутреннего моря. Достаточно сказать, что поверхность его равна территории Бельгии. На этой равнине, на этой ледяной плоскости, которая растает не раньше чем через полтора месяца, озверевая стихия лютует с необычайной яростью. Переезд по этому озеру на нартах с незапамятных времен считался тяжелым испытанием стойкости.

Вперед едет Джо Митчелл, за ним следует Огюстен Энцио со своей великолепной упряжкой из семи собак, я еду рядом с ним и иногда перебрасываюсь словом с Пьером, который упорно держит перед собой камеру в открытой сумке и только ждет, когда подвернется подходящий объект для съемки. Он бросает на меня восхищенный взгляд.

— Кровь стынет! Но какая красота! — восклицает он.

И впрямь, сказочно хорошо скользнуть, да не по льду, а по взвихренному снегу, который, бесконечно обновляясь, с головокружительной быстротой убегает из-под нарта. По глазам Пьера вижу, что он в восторге. Умчавшиеся вперед упряжки скачут, словно в пене. Анри Католик сильно отстал. У него только пять собак, и как они ни сильны, им трудно поспевать за остальными.

Час-другой проходят без смены курса. Ветер становится все неистовее, и мы мало-помалу до того

деревенеем, что превращаемся в скрюченные мумии, у которых остается на виду одна лишь голова. Я люблю Наполеона: смело подставляя лицо ветру, он, точно капитан за штурвалом, одновременно и правит нартами и подбадривает собак:

— Ча-ча-ча! Хит-нт! Йн! Йн! Йн!

Наконец мы выезжаем на берег. Это наезженная дорога, нарты здесь оставили прочную трассу, широкую и глубокую, что приводит в восторг наших спутников. Но так как нам все же нужно взобраться на гору, то они предупредительно спрашивают нас:

— Вы можете идти пешком?

После семичасовой поездки идти пешком?! Только этого не хватало. Они с улыбкой смотрят, как мы разминаем одеревеневшие от холода руки и ноги.

Как хорошо в этой спокойной бухточке, до которой мы добрались по волнам, застывшим под ледяным дыханием последних бурь! Ветер стих, завывание его доносится откуда-то издалека. Лес здесь могучий. Ели примерно такие же, как в Альпах, — в среднем метров пятнадцать, более высокие — уже редкость. После столь утомительного пробега собакам дают немного передохнуть.

Совершив небольшой спуск, мы оказываемся в спокойном тихом укрытии. Каменная гряда высотой в сотню метров защищает нас

от западных ветров. Великолепное место!

— Где мы, Анри?

— На Невольничьем озере!

— Да неужели?

Он смеется над моим удивлением и описывает какую-то фигуру на снегу. Мы только что пересекли в единственно доступном месте длинный полуостров протяженностью более чем в сто километров, который отделяет Кристи Бэй на юге от Мак-Леод Бэй на севере.

— А как вы пересекаете озеро летом?

— Приходится объезжать, — коротко отвечает Джо.

Недолгая остановка дала собакам передышку, а нам, умудренным недавним печальным опытом, возможность прочнее укрепить багаж. На этот раз мы берем курс прямо на запад, и оказываемся на ветру, от которого нас прежде защищали высокие прибрежные скалы. Мы так согрелись, идя лесом, что на первых порах не очень зябнем, но спустя час холод становится невыносимым, и я с восхищением смотрю на каюров, которые, стоя лицом к пурге, мужественно выдерживают порывы ветра. Собаки замедляют бег, и минутами кажется, что они плывут в снежном тумане, стелющемся низко над льдом. Постепенно суживаясь, озеро превращается в узкий фиорд шириной всего лишь в одну-две мили. Южный берег его — сплошные

скалы и утесы, а северный клу-бится холмами, поднимается уступами к верхнему плато. Леса здесь густые, роскошные, деревья спускаются к самому побережью.

Нап поет, потому что распознал вдали конечную цель первого этапа нашего путешествия.

— Do you see the house? — Вы видите там дом?

Я всматриваюсь в лежащий перед нами фиорд и, наконец, различаю на северном берегу бревенчатую хижину, еле заметную среди елей.

Нас заметили! Несмотря на беснующуюся бурю, дети по снегу и льду бегут нам навстречу. На пороге хижины стоит женщина. Мы выходим на берег. Отчаянный лай местных собак встречает наши упряжки.

Едва мы останавливаемся, как Анри Католик, не дожидаясь разгрузки нарт, знаком приглашает нас следовать за ним и войти в хижину. Невыразимое чувство блаженства! В единственной большой комнате, где живет целая семья индейцев, накаленная докрасна печь пышет жаром. Наше появление ни у кого не вызывает ни тени любопытства. Тонком, не допускающим возражений, Анри заявляет хозяйке:

— Сегодня мы заночуем здесь.

Он, видимо, объясняет, кто мы такие. Лица смягчаются, но выражение сдержанности не исчезает. Но вот появляется хозяин. Это старший брат Анри Католика, ин-

деец лет сорока. Он бегло говорит по-английски; в дальнейшем мы убедимся, что человек он умный, знающий. В его присутствии все оттаивают. Мы снимаем верхнюю одежду, и хозяйка немедленно развешивает ее на сушилке. Пьер совершенно заколебался. Утром, когда мы отъезжали, он не захотел последовать моему примеру и надеть плащ на случай бури и еще одну пару брюк из тонкой непроницаемой ткани, которые натягивают поверх обыкновенных. Меня они прекрасно защитили от холода. Пьер решил, что ему хватит его замшевых брюк. Теперь он понял свою ошибку.

— Завтра, — говорит он, — достану свои пуховые брюки.

Для наших индейцев эта остановка — большой праздник. Сегодня им не придется ни ставить палатку, ни кухарить. Хозяйка готовит рагу из оленины. Мы просим Аири принести продукты — консервы, свежий хлеб. А главное — сигареты, которые больше всего радуют молодую жеицину.

Дети окружают нас и с любопытством разглядывают. Они более робки и застенчивы, чем сноудрифтские ребята.

Поливая горячий чай, мы осторожно расспрашиваем хозяина:

— Вы зимовали здесь?

— Да, я сам построил эту хищину. Можно было бы перезимовать в «кабинах» «Турист Лоджа», но там слишком холодно.

Наши хозяева принялись за превращающую работу. Жеищина натягивает шкурки мускусных крыс на деревянные распорки и подвешивает к потолку. Их уже собралось там порядочно. Куний мех, великолепная рысья шкура говорят о том, что здесь успешно промышляют охотой.

— Завтра нас ждет долгий и трудный день, — говорит нам Аири, — вы же очень устали? Потом когда уже начнется охота, пробеги станут короче.

— Устали? Мы? Да что вы!

Общий смех: Пьер покорила всех своей приветливостью.

Открывается дверь, появляются новые лица... Неподалеку, кажется совсем рядом, стоит палатка, в которой недавно расположилась семья охотников на мускусных крыс. Но они здесь не зимовали. Теперь Жозеф Католик весь раскрылся и откровенно посвящает меня во все подробности своей жизни.

Дом — это его гордость, он показывает мне, как заделаны им щели — мох, бумага, глина. Это прекрасный образец сруба, тесаные бревна его отлично прилажены друг к другу. Деревья для этого южно было выбирать с толком.

Здешняя ель достигает двадцати сантиметров в диаметре не раньше чем через сто лет. В этих местах ель, имеющая в диаметре пятнадцать сантиметров, и то редкость. Два окошка пропускают

достаточно света и дают возможность видеть, что делается вокруг; одно из них выходит на восток, другое на юго-запад. Таким образом, Жозеф может всегда наблюдать за озером и тайгой и знать, кто идет: друзья или... волки!

— Вы упомянули «Турнст Лодж»? Что это такое? — спрашиваю я.

Жозеф объясняет мне, что в бухточке, находящейся в миле отсюда, разбит постоянный лагерь для американских туристов. Он не говорит: просто турнистский. В здешних местах издавна принято считать, что туристом может быть только американец. Кроме того, он показывает мне иллюстрированный проспект, из которого я узнаю, что в июле и августе американское агентство организует в различных пунктах Невольничьего озера рыболовную экспедицию. В стоимость путешествия входит все: самолет до Йеллоунайфа, маленький гидросамолет до Нэрроу-Пойнта, оплата услуг Жозефа, которому поручается встретить туристов и отвезти их на место ловли; подобно многим своим соплеменникам, он на выгодных условиях сдает моторные каноэ (увы, весельных каноэ больше нет!) миллиардерам, которые приезжают сюда на неделю ловить форель. Бедные рыбаки, наши соотечественники, вам придется краснеть от зависти и досады.

Уважающая себя форель из Большого Невольничьего озера весит от тридцати до пятидесяти фунтов. И тут начинается погоня за трофеем! Мне показывают фотографию самой крупной форели, какая была выловлена прошлым летом. Пятьдесят пять фунтов, то есть восемьдесят семь с половиной кило.

Каждый вечер Жозеф не только тщательно взвешивает, но и обмеривает свой улов. Если попадает что-то из ряда вон выходящее, то, сделав «семейный снимок», рыбку немедленно обрабатывают, но не для того, чтобы ее съесть, а чтобы сохранить. Пропитанная формалином, положенная в холодильник, она будет доставлена самолетом в США, где ее встретят с почестями, достойными подобной добычи, а затем набальзамируют. Она окончит дни на камне в гостиной своего владельца; под ней на табличке будут указаны ее длина, вес и знаменательная дата поймки.

Такая торговля очень выгодна индейцам. Положенное у Жозефа Католлика завидное. По-настоящему он должен был бы зимовать в Иноудрифте, а он предпочитает проводить зиму здесь, наедине с полярной ночью. Двухмесячного контакта с белыми ему больше чем достаточно. Кроме того, он не упускает из виду, что это место на озере — одно из самых богатых рыбой. Когда туристский сезон кончается, он закидывает

сети и запасается рыбой, что дает ему возможность прокормить упряжку.

Когда озеро покрывается льдом, он ловит рыбу «двигателем».

Сделав прорубь, опускают в воду нечто вроде гарпуна, насаженного на длинный деревянный брус. Дерево, удерживая железо на поверхности, плавает у края свободной воды, а острие гарпуна воиздается в лед. Достаточно слегка подергать нейлоновую леску, связывающую деревянный брус и гарпун, и он начинает передвигаться подо льдом.

На лервый взгляд это кажется непостижимым. Но если вдуматься, то способ этот потрясающе прост. Это, так сказать, «реактивный» гарпун. Потянув веревку, задевают гарпун, который цепляется за лед, а потом веревку отпускают — все дело в умении соразмерить силу, — и гарпун идет вперед. Таким образом он передвигается, а рыбак, прижавшись ухом ко льду, следит за его движением по особому скрежещущему звуку, производимому им; приходится, конечно, учитывать течение, но, как правило, каждый индеец знает свое озеро и его дно как свои пять пальцев. Обычно вот так с помощью «двигателя» можно пройти от сятидесяти до двухсот метров, затем, если такое расстояние кажется достаточным, прорубают другое отверстие и олять ставят гарпун с веревкой. К концу веревки

привязывают сеть с балластом, растягивают ее под водой и крепко-накрепко привязывают к колышку, вбитому у края проруби. Вот и все! Теперь остается только каждые два-три дня поднимать сеть. Индейцы большие доки по части такого способа рыбной ловли, но по своему своему характера держат этот метод в секрете. Их рассуждения не лишены здравого смысла: принято считать, что белые на голову выше нас, в таком случае они должны все знать, предоставим же им возможность разбираться самим. Некто Поша очень забавно рассказывал нам, как он пятнадцать лет назад начинал свою лесную жизнь. Ему приходилось все постигать самому либо тайком перенимать у индейцев. Он научился разводить костер так, чтобы он горел всю ночь, ходить на снегоступах, ориентироваться в лесу, ставить силки, читать следы и, наконец, ловить рыбу «двигателем». И вот тут-то его постигла неудача. Он купил за шестьдесят долларов прекрасную, совсем новую сеть и ловко протянул гарпун-двигатель из одной проруби в другую, что уже само по себе большая удача. Индейцы с большим любопытством наблюдали за его работой, но не помогали ему и не давали советов. Итак, он растянул сеть, но когда хотел вытащить ее, то обнаружил, что она примерзла ко льду и ее никакими силами не оторвать.

— Почему вы мне не сказали, что я чересчур растягиваю сеть? — упрекнул он своих спутников.

Индейцы расхохотались.

— Потому что ты нас не спросил!

Ему ничего не оставалось делать, как вторить их смеху.

\* \* \*

Мы присутствовали на небывалой рыбной ловле. Джо Митчелл вытянул сеть из озера. Почти через каждый метр ее он вынимал огромную рыбину весом от двадцати до тридцати фунтов, тут были и тайменн с крючковатыми хоботками, и whit-fish — белорыбца — разновидность пятнистого лосося, не уступающая ему в размерах, и сомы с акулиными пастями. Белорыбца — любимая пища пророческих жителей. Мясо у нее очень легкое, не то, что у форели, и ее можно без ущерба для здоровья есть в больших количествах.

Ночь, наконец, опустилась. Привезенные нами керосиновые лампы уютно освещают комнату с деревянными перегородками, полки с аккуратно расставленной посудой и словно высеченные из камня лица наших хозяев. Забравшись на кровать, дети юркнули под одеяла и свернулись клубочком. А мы, испытывая здоровую усталость после столь долгого и

трудного пути, рады бы завалиться на боковую, но индейцы спят мало. Четверо наших каюров и Жозеф Католнк затеяли азартную игру в карты, что-то вроде рамса. Они играют на что придется, вплоть до рубашек. Наполеон жульничает с ловкостью заправского шулера. К полуночи он уже отправил в свой карман добрую половину заработка Анри Католника, малого добродушного и не такого шустрого. Жозеф Католнк положил конец игре.

Мы раскладываем наши спальные мешки; жена Жозефа прогоняет детей с кровати, и они, ворча, укладываются на полу; наши индейцы располагаются на свободных местах. Гасят лампу. Супруги ложатся на большую кровать, и все засыпают. Я слушаю привычное гудение печки, потом засыпаю... Просыпаюсь я весь застывший. Уже давно рассвело, воеет метель, завывают собаки. Огонь погас. Очень холодно, наверно, градусов десять ниже нуля. Но вот из постели безмолвной тенью выскальзывает хозяйка, колет дрова, растапливает печку, и блаженное тепло возвращается.

С сожалением покидаем мы это жилище. Студеным утром мы, из всех сил сопротивляясь пурге, снимаем собак в упряжке. Наступает отъезд.

Я хочу поблагодарить за гостеприимство. Но сколько же дать? Эти люди привыкли получать за свои услуги американские долла-

ры! Они, вероятно, удивились бы, узнав, что я заплатил им столько, сколько плачу за комфортабельный номер в отеле Йеллоунайфа. Но я им многим обязан. Они ничего не просили, никто из детей ничего не попросил. Индейцы не умеют попрошайничать, эти властелины лесов ни за какие деньги не поступятся своей гордостью. Я хотел отдать деньги хозяину, но он позвал жену, и она молча взяла их, лишь улыбнувшись в знак благодарности. Индейка не рабыня, судя по всему, она играет в семье большую роль. Быть может, она лучше умеет хранить деньги. Или не даст проиграть их в карты. Итак, студеным утром (термометр показывает  $-30^{\circ}\text{C}$ ) мы снимаем сцену отъезда. С востока дует влажный ветер. За ночь он засыпал снегом все — нарты, снаряжение, собак. Собаки, похожие на обледеленные снежные шары, спят, свернувшись клубком, нос к хвосту; но, когда подходишь к ним, одно недреманное око тревожно приоткрывается, уголки губ вздрагивают, обнажая грозные клыки. А затем начинается неистовый собачий концерт: скулят в унисон и те, что остаются, и те, что уходят, отчаянные воли перекрывают шум ветра. Собаки разбегаются, и нам приходится разыскивать их.

Сразу же за хижинной и палатками начинается густой лес. В нем уйма волков. Совсем свежие сле-

ды их видны на снегу. Однако дети безбоязненно играют перед домом. Но вчера вечером я заметил, что мать, вооружившись большой дубиной, провожала самых маленьких в «укромное» местечко, которое, кстати сказать, содержится очень опрятно в сотне метров от поселения.

Волки! Мы знаем только волков из Парка Бьюффало, увиденных нами с самолета. Нам бы хотелось встретиться с ними, но волк — самое пугливое животное на всем земном шаре. Этот обитатель лесов — невидимка. Его можно увидеть крайне редко, лишь в исключительных случаях, потому что он избегает человека. И все же, когда на следующий день после нашего отъезда Жозеф, Католик отправился на trap-line осматривать капканы, он в пятистах метрах от своей хижины оказался носом к носу с огромным серым волком. У Жозефа реакция быстрая, и карабин всегда наготове. Ему удалось одним выстрелом уложить его, и, когда мы вернемся в Сноудрифт, нам покажут великолепную двухметровую шкуру этого хищника.

Если я правильно понял то, что объяснял Жозеф своему брату. Анри, то нам теперь предстоит пройти около ста миль прямо на север, вплоть до barren lands. Мы уже предупреждены: Анри Католиком о том, что начиная с этого



дня дорога будет тяжелой, потому что трассы больше нет; и собакам придется туго.

Настал черед Джо Митчелла стать во главе отряда. Хотя Анри и ходит в начальниках, мы сразу же заметили, что на самом деле ничто не делается без согласия Джо Митчелла, старшего по возрасту и к тому же лучшего охотника Сноудрифта. Джо Митчелл по прозвищу Dry-geesse — Сухопутный Гусь проходит десять миль берегом, следуя на восток. Весь этот отрезок пути отряд идет против ветра, но, умудренные вчерашним опытом, мы закутались, как только могли. После полуторачасового довольно легкого пути попадаем в маленькую бухточку, где ветер внезапно стихает. Старая трасса углубляется в лес, ползет на первую скалистую гряду, откуда мы, обернувшись, бросаем прощальный взгляд на Невольничье озеро. Собакам очень тяжело, особенно головной, она разгребает лапами снег таким движением, словно плывет стилем брасс. Хотя ветер и успокоился, вдруг внезапно похолодало, и мы рады возможности идти пешком по снегу, утоптанному собаками и нартами. Отныне мы будем путешествовать по местности, где нет ни одного ориентира; одни лишь нескончаемые замерзшие озера покоятся в расщелинах скал, поросших все более и более высокими деревьями. Мы то взлетаем на вершину

небольшого бугра, который едва выдается на этой плоской равнине и служит проводникам хоть каким-то ориентиром, то опять ныряем в овраг и, снова скользя по озеру, выходим к берегу; проезжее место отмечено индейскими знаками — сломанные ветки, маленькие елочки, воткнутые в снег в каких-нибудь тридцати метрах от берега; заметить их может только наметанный глаз.

Все чаще и чаще пересекаются и скрещиваются путанные звериные следы, но, не считая нескольких одиночных, ничто не указывает на то, что здесь прошли карibu.

— Они идут дальше на север, — говорит Джо.

Продолжая двигаться на север, мы поздно вечером достигаем противоположного конца озера. Местом для стоянки послужит вот этот лес маленьких елей, у которых иглы торчат словно пики. Мы приступаем к долгому и кропотливому делу — к разбивке лагеря.

Справедливость требует отметить, что индейцы выполняют эту работу быстро и с поразительной сноровкой. Мы с радостью помогли бы им, но в этот первый вечер от нас мало проку.

Забравшись в самую глубь чащи, Нап и Анри утоптали две прямоугольные площадки, на которых будет разбит лагерь. Тем временем Огюстен и Джо срубили с десяток елочек и искусно

очищают их от веток. Брошенные на снег, они образуют изолирующий ковер.

Индийская палатка не имеет ничего общего с новейшими изотермическими моделями. Обычно это простой брезент, натянутый на деревянную стойку, которую воздвигают тут же, не сходя с места. Никаких колышков! Два шеста, вбитых на порядочном расстоянии друг от друга и скрепленных сверху поперечиной, — вот и весь остов. На него набрасывают брезент, и крыша готова. Не беда, что брезент рваный, в дырах, прожженный. На такие мелочи никто не обращает внимания, иного они не беспокоят. На одной из покостей крыши имеется отверстие — вывод для печной трубы.

Печка не отвечает даже элементарным правилам безопасности. Это старый жестяной бак из-под бензина емкостью в тридцать-сорок литров. Дно его сплющено, что придает ему большую устойчивость. На крыше бака проделаны два отверстия: одно для котелка, другое для дымоходной трубы. Тяга осуществляется через отверстие в крыше. Четыре деревянных бруска на подстилке из веток составляют основание. Дымоход, сделанный из старых, пригнанных друг к другу труб, проходит сквозь брезент. Вот и все!

Мы быстро колем дрова и разводим огонь.

Через несколько минут печка-

бак раскаляется докрасна, жара становится невыносимой, сиопы летящих во все стороны искр прожигают брезент; снег под печкой медленно тает, образуя большую яму, а по краям ее, защищенным деревянным настилом, он все еще крепкий. Эта яма, увеличивающаяся с каждым часом, служит помойкой. Бывает, что настил загорается. Горсть снега быстро устраняет опасность.

Как только палатка поставлена, в нее вносят спальные принадлежности; индейцы, подобно трапперам и северо-западным изыскателям, пользуются тяжелыми спальными мешками, которые они расстилают на шкурах карибу, а поверх мешков кладут еще шерстяные одеяла. Это очень громоздко, но тепло. Наши маленькие горные мешки на пуху вызывают у них смех. Они их не принимают всерьез.

Распределив между собой всю работу, четверо индейцев, обычно столь иерардивые, с бешеным азартом берутся за нее. Теперь, когда палатка поставлена и загромождена кучей вещей, огонь горит, иужно заняться собаками. Пока мы разбивали лагерь, они терпеливо лежали на снегу в том порядке, в каком были запряжены: выбившись из сил, они злобно рычат на каждого, кто проходит мимо. Во избежание стычек их по отдельности привяжут к колышкам, вбитым на приличном расстоянии друг от друга. Надо

еще осмотреть и развесить на ветках упряжь, перевернуть набок нарты и счистить снег с досок скольжения. Когда все будет сделано, Огюстен Энцио и Джо Митчелл займутся кормлением собак, а за это время Анри Католик приготовит еду; мы же с Пьером отдохнем, устроившись с возможным комфортом.

Я вышел из палатки, когда ночь, если можно назвать ночью этот вечный сумеречный полумрак, уже окутывала лес. Сквозь ветви елей зеркальным блеском отливало озеро. На тридцать метров вокруг лес вырублен, опустошен, изуродован, и наши палатки стоят на прогалине. Огюстен Энцио возится с нартами. Джо в соседней палатке готовит еду для себя и брата. Его согнутый силуэт четко вырисовывается на пологие палатки. Малейшее движение — и начинается игра китайских теней. Он мурлычет вполголоса какой-то странный, должно быть народный напев. Наевшись, собаки спят и видят сны. Великолепные собаки. Такие красивые, милые. Подойдя к одной из них, я с нежностью в сердце протягиваю руку, чтобы погладить ее! Она вскакивает и с бешеным рычанием вцепляется мне в рукав, остальные собаки, внезапно разбуженные, начинают выть; прибегает Огюстен и ударом здоровенной дубины утихомиривает пса.

— Будьте осторожны, они устали, — говорит он.

Потом дает мне дубинку и объясняет свой метод.

Надо прежде всего занести палку и, если собака зарычит, ударить ее, а потом уже можно ее погладить. Осторожность и бесстрашие! Достаточно сделать движение, будто собираешься запустить в нее камнем или куском льда, чтобы она убежала! А жаль! Мне бы так хотелось завести себе друга среди собак этой своры.

Я погружаюсь в мертвый сон и внезапно просыпаюсь, совершенно продрогший, зуб на зуб не попадает. Огонь погас, холод проник в палатку, и теперь в ней —35°! Однако Анри мирно похрапывает, а Пьер спит сном праведника у самого входа в палатку, вытянув во сне ноги и открыв лицо. А мне холодно, я не могу согреться. Натягиваю на себя все свитеры и куртки на пуху и снова залезаю в спальный мешок. Но теперь стынут ноги. Мой мешок определенно никуда не годится. Сам виноват! Я решил, что мне его хватит, ведь он со мной «проделал Сахару», но я не имел никакого представления о здешних холодах. У Пьера «гималайский» мешок, подбитый тканью, непроницаемой для ветра и воды. В нем он может спать хоть на снегу. Завтра придется что-то придумать. А пока наберемся терпения. Еще в настоящей ночи не было, а дневной свет уже проникает в палатку и заливают нас своим золо-

тистым сиянием. Не пора ли развести огонь, не поднять ли товарищей? Нет, с первой минуты повелось так, что Анри хозяин палатки, а мы его гости. Он же мирно спит, укрывшись с головой в одеяла. Потом внезапно сбрасывает их с себя, встает и, улыбающийся нам своей белозубой улыбкой, говорит:

— Доброе утро.

Он сразу берется за работу — колет дрова, зажигает огонь, растапливает печку, которая гудит так, словно вот-вот взорвется, и через несколько минут холод сменяется жарой. Что за чудо, все оживают, начинают что-то обсуждать, о чем-то спорить. Я быстро обуваюсь и выхожу. Огюстен и Нап — тонкие черные слуги уже на снегоступах — готовят карабины, которые они обычно несут в руках тщательно упрятанными в чехлы, щелкают очищенными от смазки затворами. Оружие всегда лежит снаружи, перед палаткой, чтобы механизм его не обледенел.

Нап и Огюстен уходят на охоту. Они удаляются той неловкой раскачивающейся походкой, какую в отличие от лыж создают снегоступы, и большими шагами направляются к другому берегу озера. Я долго провожаю их взглядом. И внезапно меня осеняет догадка — почему индейцы, которые так падки на все яркое,

пестрое, упорно носят эту черную, плотно облегающую тело одежду, которая делает их и без того тонкую фигуру еще тоньше. Когда они стоят на месте, их можно издали принять за елки, чудом выросшие прямо из озера, а едва они входят в лес, как становятся невидимками — ветки среди веток. Более удачной маскировки не сыскать.

Все же уход их беспокоит нас. Мы приехали сюда, чтобы снимать сцены охоты. И если им взбредет на ум отправиться на охоту без нас и только принести нам трофеи, то это не то, что нам нужно. Пьер выходит из себя. Анри загадочно невозмутим. Он улыбается, суетится, чинит упряжь. Джо Митчелл присоединяется к нему.

У Джо на лице то особенное выражение, какое бывает у него только в дни большой охоты.

Однако надо все уточнить.

— Почему Нап и Огюстен не взяли нас с собой?

— Им нужно найти свежие следы, это дело долгое, надо далеко идти, а снегоступов только две пары.

Несколько опечаленные, бесцельно бродим мы вокруг лагеря. Без снегоступов район наших действий действительно очень ограничен, а место, где мы сейчас находимся, еще вчера вообще было девственным лесом. Джо Митчелл носился во все концы и вдруг приносит роскошного со-

боля, попавшего в ловушку и давно замерзшего.

— Великолепная добыча, — говорю я Пьеру. — Вот бы заснять его...

— Потом, — хмуро роняет он.

Соболь брошен в нарты, и мы больше не думаем о нем.

Желая угодить нам, Джо и Анри показывают ловушки, расставленные два месяца назад. Большинство пусто: тут прошла россомаха. Она все сожрала, все разрушила. Ее глубокие следы — у россомахи передние лапы стопоходящие, а задние — пальцеходящие — идут от одного куста к другому. Она не оставляет ни одной приманки, и ей нипочем и лисьи капканы и ловушки для водоплавающей дичи. Поймать ее можно лишь в огромную деревянную западню, какую и делают наши индейцы; это дает им возможность срубить еще три-четыре ели, длинные и тонкие, и все же двух-трехсотлетние.

Через два часа западня для россомахи готова. Это что-то вроде маленькой бревенчатой хижинки — с одной стороны она открыта, внутри ее лежит приманка. Тяжелое «колено» чудом удерживает в равновесии простая деревянная чека, которую зверь, стараясь дотянуться до приманки, выбивает носом; чека падает; смерть наступает мгновенно. мех россомахи ценится не очень высоко, к тому же его еще надо заполучить, потому что нередко другая, про-

ходящая мимо россомаха (она же лабрадорский барсук, она же wolverine) подкрепляет ею свои силы, так как пожирает все на своем пути.

Мы возвращаемся в лагерь и проводим в ожидании долгие часы. Холод адский, но ветер утих. Сила звука на озере очень интенсивна. Джо вдруг прислушивается. Анри тоже. Мы ничего не слышим. Индейцы обмениваются понимающей улыбкой.

— Карибу! — произносит Анри.

— Где?

Он показывает пальцем на другой, лесистый берег реки.

— Разве вы не слышали выстрела?

Мы напрягаем слух, и теперь уже до нас отчетливо доносятся два выстрела. Индейцы переговариваются на своем языке. Джо встает, запрягает собак, готовит нарты и делает знак Пьеру.

Я даю Пьеру мешки, он проверяет, заряжена ли камера и фотоаппараты. Терпение изменяет Джо. Он торопит нас.

Пьер садится в нарты, собаки прыгают и весело лают. Нарты пересекают широкое озеро и исчезают. Я остаюсь наедине с Анри.

— Вы думаете, они убили карибу?

— Трех!

Для него три выстрела равносильны трем убитым карибу; его уверенность нас потрясает!

Охотники возвращаются поздно

вечером. Хотя им пришлось долго, дотсмиз мерзнуть на озера, они счастливы. Анри оказался прав — они привезли трех карибу! Вернее, то, что несколькими часами раньше было великолепными породистыми животными, резвившимися в лесах. От них остались только замерзшие куски окровавленного мяса, нагруженного на иарты.

Пьер описал мне охоту.

Джо Митчелл отвез его прямо к тому месту, откуда раздались выстрелы. Это было на краю озера. Нап и Огюстен настигли в лесу четырех карибу, достававших из-под снега лишайник. Двоих он тяжело ранил, и они остались на месте, а двое других, раненных не смертельно, убежали. Минуту спустя животных прикончили, туши разделили и сложили в иарты, а поскольку преследование раненых карибу могло затянуться, Нап и Огюстен решили перейти на другой участок леса.

Они вернулись только поздно вечером, измученные двадцатимильным переходом на снегоступах по глубокому снегу.

А Пьер продолжал преследовать раненых карибу на нартах. Возбужденные собаки, хорошо чую след, привели их прямо к животному, распростертому на снегу в бухточке озера. Когда они приблизились на двести-триста метров, карибу вскочил: у него была перебита нога, и силы его, каза-

лось, иссякали. Джо Митчелл решил прикончить его. Он соскочил с нарта, но, пока он целился, собаки рванули вперед и потащили Пьера прямо на раненого карибу, который бежал тяжело, из последних сил. Очутившись сзади, Джо не мог стрелять, и Пьер оказался свидетелем небывалой травли. Собаки догнали карибу, но тот, отбиваясь копытами и острыми рогами, держал их на порядочной дистанции. Но что могло сделать несчастное животное? Только снова бежать, чтобы снова быть пойманным, искованным, убитым. Так Пьер оказался в неопишуемой свалке — опрокинутые иарты, семь запутавшихся в упряжке собак, и карибу, героически защищающий свою жизнь; потом вдруг животное стало безучастным и перестало сопротивляться. Пьеру удалось заснять эту сцену.

— Но за качество я не ручаюсь, — говорит он. Оптимизм не в характере Пьера. Добиваясь совершенства, он никогда не обходит трудностей. Я в нем полностью уверен.

— Я знаю, Пьер, все, что ты делал, хорошо.

— Хорошо только одно, что хоть ты никогда не теряешь присутствия духа, — возражает он, качая головой.

Сегодня в палатке будет пиршество.

Я заранее смакую задний окорок карибу, но индейцы предпо-

читают груднику, которую поджаривают на огне, язык и внутренности — сердце, печень, легкое — то, что у нас называется ливером; филейные куски закоптят, ляжки достанутся собакам.

Пока Аири стряпает, сдобривая пищу жиром и луком, мы кормим собак. Наевшись, они валяются на снег и засыпают безмятежным сном.

Мы сиимаемся со стоянки. Берем курс на север, впереди трудный переход. Погода ясная, морозная, но полосы молочно-белых облаков предвещают вечером пургу. Отъезд всегда дело спешное; индейца, который решил отправиться на охоту в манящую даль, всегда охватывает лихорадочное возбуждение. В два счета палатки сняты, нарты нагружены, еще горячая печка брошена в снег, чтобы скорее остыла, дымоходная труба разобрана, отдельные ее части вложены по диаметру одна в другую, и вся эта необычная поклажа уложена на дно нарта. Хорошо отдохнувшие собаки бодро помахивают султанами. Но вот одна из них уже пробует голос. Она поднимает морду к небу, и из ее широко открытой пасти вырываются первые воющие звуки, немедленно подхваченные другими собаками. Наше ухо постепению привыкает к ним, но поводы и причины, по которым они звучат, по-прежне-

му чужды и непонятны нам; непонятны нам, зато понятны собакам. Они знают, что им предстоит весь день тащить нарты по глубокому снегу, но они знают также, что в конце этого долгого пути их ждет награда — огромные куски мяса. И они изливают в песне свои радости и печали.

Но что это? Мы движемся не по намеченному пути, а прямо на запад, и, обогнув скалистый островок, попадаем в спокойную бухту. Как видио, пурга и здесь хорошо поработала: местами среди снегов выделяются плешины голого льда. Нарты остановились.

Нап и Огюстен надевают снегоштыпы и берут в руки карабины. Аири через плечо бросает Пьеру:

— Карибу!

Тот понял, схватил камеру и уже вылез из нарта на глубокий снег.

— Не далеко, — успокаивает его Аири.

Все уходят.

— Это вчерашний четвертый карибу, — поясняет мне Аири, — тот, которого ранили: он, должно быть, укрылся на холме, но ему не уйти далеко.

Карибу и вправду оказался совсем близко. Едва наши охотники, взобравшись на холм, прошли метров пятьдесят, не более, как Нап обернулся и знаком позвал остальных за собой. Раненое животное лежало на снегу, наполовину скрытое кустами. Пьер наводит на него аппарат, карибу

привстает на передние лапы: выстрел, готово! Минуту спустя Огюстен идет за собаками, вызывает к построкам мертвого карибу, и они, как обычно, подтаскивают его по снегу к нартам. Надо еще разделить тушу, но это дело недолгое. Ее разрубают на пять-шесть кусков и складывают на корме одной из нартов.

Мы поворачиваем назад. День клонится к вечеру, небо заволокло тучами. Индейцы хмурятся: они предвещают снег, а для собак это плохо: трудно будет тащить нарты.

Мы добрались до самой северной точки озера Белой Рыбы. Один из индейцев останавливается, срезает несколько веток и кладет их на лед, отмечая «брод».

— Севернее нет больше трасс, — объясняет Анри. — На этот раз мы заночуем на границе bush — кустарниковых зарослей. А за ними пойдут barren lands — бесплодные земли. Плохо, — заключает он, — *very bad*, no wood, no fire; очень плохо, нет леса, нет огня.

Того огня, без которого индейцы не смогли бы существовать.

Мы поднимаемся вверх по течению на редкость извилистой речки, которая связывает между собой множество более или менее значительных озер; если передвигаться по этим озерам легко и удобно, то переходить от одного к другому по совершенно

обледенелой круче — адский труд, особенно для собак. Никаких трасс. Заваленные снегом трещины между глыбами морены — это западни, куда с восем проваливаются головные собаки.

Теперь отряд ведет Джо Митчелл; шагая впереди на снегоступах, он ищет, где лучше пройти; иногда мы подолгу ждем его возвращения. На первый взгляд его выбор пути кажется мне не вполне продуманным, но потом я начинаю понимать, почему он не пошел по ровному руслу реки: очень тонок там лед. Приложившись ухом к нему, он услышал журчание воды. Придется проехать в другом месте, то есть лесом, срубая топором ветки. Первые нарты прокладывают проход, остальные идут по проторенной дороге.

— Вперед, Нанси! — подбадривает вожака Наполеон.

Пейзаж вдруг резко меняется: на озере Белой Рыбы ельник еще густой и частый, а отдельные деревья довольно высоки. Здесь же северные склоны обнажены, гладкие скалы и расселины в них поросли карликовыми березами, полярными ивами, устланы коврами брусники; это уже тундровый пейзаж. Мы быстро удаляемся от тайги, но южные склоны холмов от вершин до подошвы еще сплошь покрыты елями — смесь сибирского леса с лапландской тундрой.





После каждого ущелья мы перегруппировываемся. На озерах можно снова сесть в нарты. Пьер без устали снимает. Мне кажется, он очень доволен. Наверно, здорово получается. Ожидая своей очереди войти в «волок» (летом индейцы вынуждены переносить каноэ с одного озера на другое через кручи), Нап показывает мне сидящего на молодой березе белого тетерева, по-видимому совсем непуганого. Белый тетерев — одна из разновидностей полярной куропатки. Он совершенно белый, его замечаешь, лишь наступив на него. Тетерев смотрит на снующих взад-вперед людей и собак без малейшей тени тревоги. Пьер сильно отстал, и, пока он присоединяется к нам, тетерев взлетает, громко хлопая крыльями; метрах в двадцати, не более, он опускается на снег и мгновенно становится абсолютно невидимым. Чудесный дар мимикрии! Позднее мы обнаружили небольшую стайку белых тетеревов. Будучи подготовленным, Пьер осторожно подполз к ним; птицы расхаживали по твердому насту, и даже на близком расстоянии за ними можно было следить только по их теням, которые пропадали, как только Пьер вводил на них глазок камеры; все же он хоть и наугад, а снял этих птиц.

— Белое на белом... И небо совсем белое, — ворчит он.

Знаю я, о чем он думает!

При выходе из ущелий на вы-

сокое плато — озерную местность, открытую «сем ветрам», Джо Митчелл останавливает отряд. На льду озера четко проступает множество свежих следов карибу. На этот раз тут прошло очень большое стадо, по крайней мере в пятьдесят голов — почти предельное число для зимней поры.

Джо чем-то расстроен.

— Wolf! — говорит он. — Волк!

Действительно, рядом со следами карибу, слева и справа, видны ясные отпечатки лап огромного волка. Он преследовал стадо и по своему обыкновению выжидал, когда какой-нибудь олень отобьется от стада, чтобы наброситься на него.

Спустя два часа мы натываемся на растерзанную и наполовину съеденную тушу карибу. Сэр волк вкусил пищу и продолжил охоту. Успеем ли мы настичь стадо?

Местность стала ровнее. Здесь река разливается узким озером длиной примерно в десять километров.

Мы так медленно преодолеваем кручи, что непогода застает нас врасплох. Неожиданно поднимается ветер, появляются первые предвестники бури. Стелется по льду поземка, мороз, который, как всегда в пасмурную погоду, несколько упал (градусов двадцать ниже нуля), внезапно крепнет. Начинается неистовый буря;

он бьет в упор. Каюры снова надевают парки! Плохой признак! Они уже не правят нартами на манер римских колесничих, а бегут за ними. Мы с Пьером делаем то же самое, как только представляется возможность.

Джо тщательно выбирает место для стоянки.

Высота елей в среднем не превышает трех метров, и мы ясно чувствуем, что приближаемся к границе жизни. Еще несколько миль к северу, и мы окажемся в barren land — бесплодной земле, куда индейцы отваживаются забираться только летом, но где, однако, наиболее отсталые племена эскимосов живут постоянно.

Мороз крепчает, а наши неутомимые индейцы суетятся, и на лицах у них нет ни тени усталости. Термометр показывает —30°, это при ветре! Лютая стужа! Вот когда мы по достоинству оценили мягкие, легкие мокасины: благодаря их изотермическим свойствам ноги в них никогда не стынут. Чтобы скоротать время, мы бегаем по льду, обхватив себя руками, хлопаем по плечам, пока где-то неподалеку в сумрачной тайге под ударами топоров один за другим падают те редкие деревья, что защищали нас от ветра.

Еще час, и наши палатки будут стоять на мягком ковре из хвои, хотя вряд ли можно назвать хвоей остатки тонких, как иголки,

колючек; однако этот словно сплетенный из кружев настил на снегу — прекрасная защита от холода.

Сегодня вечером Анри и Джо наглядно доказывают свое дружеское расположение к нам: они в один голос отказываются ставить сразу обе палатки. Их первая забота — поскорее сделать укрытие для нас, поставить печку, развести огонь.

— Заходите! — говорят они, улыбаясь. — Сегодня очень холодная ночь.

Мы забираемся под брезент вместе со своими мешками и оборудованием.

Нап и Огюстен, надев снегоступы, идут на разведку по направлению к западу. Допоздна будут они выслеживать карибу. Теперь наши индейцы знают, где скопится дичь. Преследуемые волком, карибу бегут сперва на запад, потом на юг. Там есть большое озеро, на нем наши молодые индейцы еще ни разу не были, и вот именно на этом озере или в его окрестностях мы завтра встретимся с ними. Они вешают карабины на сучки, вытряхивают свои мокасины и грызут сушеное мясо, жадно запивая его горячим чаем.

На следующее утро, после очень холодной и ветреной ночи, мы просыпаемся и видим на палатках слой снега толщиной в палец, а небо по-прежнему как молочно-белый мрамор в серых

прожилках. Индейцы дают нам наши снегоступы.

— Идите по трассе, проложенной охотниками. Подъем трудный, вы не скоро его одолеете, ждите нас на горе.

Пьер набивает мешок камерами. Я беру несколько фотоаппаратов, и мы отправляемся в путь, не дожидаясь, пока наши индейцы разберут палатки.

Проложенная накануне трасса значительно облегчает нам передвижение, и все же стоит лишь сойти с нее, как сразу проваливаешься в глубокий снег; теперь нам понятно, почему индейцы не пользуются лыжами. Форма канадских снегоступов, какими их изображают на детских картинках, хорошо известна всем, так что нет надобности описывать ее. Существуют различные виды снегоступов. Одни — более короткие, другие — очень длинные и широкие — служат для переходов по сугробам. Снегоступы прикрепляются к ногам ремешками из кожи карибу или из брезента. Они не стесняют ноги, а при скольжении вперед носок мокасин погружается в снег через отверстие в решетке.

К снегоступам привыкаешь не сразу. Для нас, лыжников, это задача не сложная. Нужно только приучить мускулы ног к несколько более размашистому шагу, но не настолько, как принято считать, а главное, привыкнуть к шагу, чередующемуся с продол-

жительным скольжением. Индейцы никогда не пользуются палками, потому что руки у них должны оставаться свободными на тот случай, если придется пустить в ход топор или карабин. На пути часто по шею проваливаешься в яму, в рытвину, впадину, скрытые среди ветвей, потому что подлесок представляет собой комок сломанных веток, гнилых пней, колючих кустарников, и на всем этом лежит ровный покров снега. Это настоящие ловушки, откуда вытащить лыжи было бы невозможно, а снегоступы извлекаются без особого труда, надо только поставить их вертикально. Кроме того, избыток снега отсеивается через решетку и вес снегоступов этим облегчается. Это приспособление идеально соответствует своему назначению: оно позволяет охотнику и трапперу ходить по лесу там, где собакам не пройти.

На вершине холма лежит огромный эрратический валун \* — гранитная глыба, изборожденная ледниками. Он вписывается в здешний пейзаж, как памятник в городской ландшафт.

Взойдя на эту срезанную ветрами вершину, мы метров на двадцать отклоняемся от границы лесов. Наша лишенная растительности седловина как бы витает над неизмеримой громадой. И ни

---

\* Эрратические, или заносные, валуны-камни, занесенные ледниками в сторону от их месторождения.

когда еще понятие бесконечности не было так наглядно обосновано, как здесь, в этой пустыне. Это место — излюбленное место охоты для индейцев и волков. Через несколько месяцев выйдут из своих зимних берлог большие бурые медведи арктических лесов, а из barren lands — гризли, которые для карibu страшнее и опаснее волков. Сейчас множество их зимует где придется. Зато карibu, рассеянные по всем лесам до самого южного берега Невольничьего озера, уже начали свой долгий путь на северо-восток. Как только снег тает, и заросли мелкого кустарника станут непригодными для жизни, карibu идут в бесплодные земли, которые за короткое арктическое лето все же кое-где покрываются скудной травой и лишайниками. Олени собираются в бесчисленные стада и уходят в облюбованные ими места. Они переплывают реки, по ширине не уступающие нашим самым большим рекам; взбираются на высокие холмы, где ветер разгоняет тучи осаждающих их комаров. Там, где проходят карibu, остаются настоящие проторенные дороги, похожие на те, по которым перегоняют овец из римских деревень на высокие плато Аbruцских гор. Зоологические службы северных областей подсчитали, что в летний период в заповедниках на реке Телон собираются тысячные стада карibu.

Полвека тому назад в этих районах насчитывалось свыше двух с половиной миллионов карibu; хищническое и бесконтрольное истребление их привело к тому, что поголовье карibu уменьшилось в десять раз.

Круг, по которому эти животные испокон веков совершают свои миграции, время от времени ломается. В какие-то циклы лет карibu неожиданно избирают другое направление.

Стада с Медвежьего озера то проходят все бесплодные земли до keewatin \*, близко расположенного от Гудзона, то вдруг по каким-то скрытым причинам они, влекомые инстинктом, избирают совсем иной маршрут. Стада, зимой рассеянные по всем лесам, весной стекаются в одно определенное (для них, но не для нас) место, а именно туда, где климат и атмосферные условия благоприятны для растений, которыми они кормятся. Этот странный и таинственный процесс до сих пор остается необъяснимой загадкой. Секрет охотничьих успехов индейцев — в умении распознать пути миграции карibu в тот или иной год. Наши спутники всю зиму наблюдали за небольшими группами карibu; к концу полярной ночи они по их следам предусмотрели возможный маршрут. Так, в этом году стада, зимовавшие на

---

\* Keewatin — район Канады.

юге от Невольничьего озера, пересекли это огромное озеро и направились на север; а другие — с запада и из лесов Маккензи пошли прямо на восток.

На время отела самки покинут самцов и уйдут на высокие пустынные плато; потом вместе с новорожденными оленятами опять присоединятся к самцам и к осени образуют огромное кочующее стадо, преследуемое всеми хищниками тундры.

Масштаб жизненного пространства карибу не укладывается в общеевропейское понимание расстояний. Здесь водятся две породы карибу: карибу материковый (как раз на него мы и охотимся), который в периоды миграций переходит из лесов в тундру и обратно. И карибу полярный, собирающийся на полуостровах, спаянных льдом с островами Арктического архипелага, такими, как полуостров Мельвиль, остров Виктория и Баффинова земля. Обе эти породы отличаются друг от друга размерами. Карибу из тундровой тайги — сильное животное, с крепкими, сильно развитыми ногами и более изящным туловищем, чем у его собрата — домашнего лапландского оленя. Зимнее одеяние такого карибу — теплый серый мех с белым подшерстком. Его скромные по величине рога весьма элегантны и очень легки. Карибу из крайней Арктики никогда не опускаются к югу. Это маленькое животное,

немногом крупнее овцы, зато рога у нее огромные; они служат ему, живущему на полярных просторах, естественной защитой от волков и медведей. Но в таежной чаще с такими рогами арктический карибу, конечно, запутался бы.

Четыре упряжки и четверо нарт выезжают из леса и присоединяются к нам. Собакам здорово досталось. Пусть отдохнут! Спуск будет трудным. Нам предстоит снизиться на добрую сотню метров к большому замерзшему озеру, простирающемуся к югу. На этот раз наши индейцы дружно заверяют нас, что это озеро Птармиган; на картах нет озера под таким названием.

Каждая упряжка по очереди срывается с места и несется вскачь; каюры, вцепившись в рукоятки нарт, с грехом пополам маневрируют между елочками и камнями. Мы спускаемся с холма пешком, и на озере, наконец, садимся в нарты. В тот памятный день мы были уже на середине озера, когда произошло событие, которое нас буквально потрясло.

Одна из собак как-то по-особенному взвизгнула — в миг все упряжки несутся вперед, увлекая нас в безумную погоню.

— Карибу! Карибу! — не своим голосом кричит позади меня Наполеон.

Сколько я ни смотрю в указан-



ном направлении, ничего не вижу, кроме тонкой серой полоски на льду, сливающейся с примыкающими к озеру прибрежными скалами, а индейцы уже засекли очень большое стадо карибу, которое, стоя неподвижно на озере, с любопытством наблюдает за нашим приближением.

Любопытство и безучастие всегда губили карибу. На открытом месте они спокойно подпускают к себе людей; редко-редко стадо дрогнет в тревоге. Карибу стояли как вкопанные, высоко подняв головы, устремив пристальный взгляд на быстро приближающихся охотников.

Однако мы не скупимся на шум: собаки лают, индейцы орут, науськивая их, Наполеон два раза стреляет в воздух, подстреляв собак, которые, почуяв запах пороха, безудержно рвутся вперед.

Четыре упряжки разворачиваются веером, чтобы окружить все такое же неподвижное стадо. Прежде чем Пьер исчезает, унесенный своей упряжкой, до меня доносится его крик:

— Не стреляйте, подождите!

Попробуйте толковать это индейцам, увидевшим карибу!

Пьер вынул камеру. Издали кажется, что он тоже стреляет своим телеобъективом крупного калибра.

Мне уже до самого вечера не видать своего друга. Я целиком

во власти Наполеона и его собак. Мы несемся в обход стаду, карибу растут на глазах, они еще в пятистах метрах от нас, но уже начинают спасаться, разбегаясь маленькими группами на север, на запад, на юг, они уже примерно в центре озера, такого же большого, как озеро Четырех Кантонов, но усеянного архипелагом лесистых островов. Куда они бросаются карибу, повсюду они видят перед собой нарты и рычащих собак; тогда они разбиваются на множество отдельных групп, которые, потеряв голову от страха, несутся, описывая круги, пытаясь укрыться в лесу.

Вдруг Нап, чтобы остановить закусивших удила собак, опрокидывает нарту; я, как тюфяк, вываливаюсь на лед. Раздаются два-три выстрела. Стреляя с плеча, Нап ранит трех животных, одно из них остается на льду, другие бегут, сильно хромя. Нап поднимает нарту и, бросив меня, пускает собак во весь опор вдогонку за стадом.

И вот один посреди огромного озера, я смотрю, как удаляются нарты, преследующие бегущих во все стороны карибу.

Неправдоподобное зрелище! То и дело раздаются выстрелы. Половина стада бежит на юг; Огюстен, Пьер и Джо устремляются в погоню за ними; Анри преследует с десяток бегущих на север животных, которые в несколько прыжков исчезают за



мысом. Наполеон загнал на середину озера остаток большого стада, примерно в шестьдесят голов, и преследует его что есть духу, держась все время одного и того же расстояния между берегом и животными. Еще несколько выстрелов — и затишье. На безбрежной поверхности озера нарты кажутся не больше булавочных головок. Снова раздаются выстрелы, несколько обезумевших карибу несутся стрелой и скрываются в лесу, воцаряется тишина.

И вот я один среди огромной ледяной пустыни; на меня повеяло печалью. Дует северный ветер, но мне не холодно, бег, движение согрели меня, но эта бойня отбросила меня в эру такого варварства, что мне приходится заглушить, подавить в себе всякую человечность. Три карибу лежат на льду. Я подхожу к тому, что ближе. Это великолепная самка, которой предстояло вот-вот отелиться; пуля пробила ей легкие, она медленно агонизирует; увидев меня, она инстинктивно порывается привстать на передние лапы, но тут же как подкошенная падает без сил. Со мной нет никакого оружия, даже охотничьего ножа. Среди предметов, вывалившихся из нарты, я нахожу только чехол от ружья Наполеона и его парк.

Я иду взглянуть на других. Еще одна стельная самка семи-восьми лет, судя по великолепным ро-

гам, и молодой трехлетний самец. У самки задние ноги по колено начисто срезаны пулей. Она тащится, оставляя за собой кровавый след. Прежде чем я дохожу до нее, она из последних сил проползает еще пятьдесят метров. У самца сломано плечо. Снег вокруг раненых животных медленно краснеет. Никогда не забуду удивленного взгляда умирающих животных и капелек пота на их шерсти. Воспоминание о них будет жить в моей душе как вечный укор.

Сколько времени я провел вот так, терпеливо ожидая, когда придут за мной? Не знаю.

Охота, должно быть, закончилась, потому что выстрелов больше не слышно. Наконец я различаю вдаль в глубине залива одну упряжку; она движется взад-вперед — вероятно, каюр разделяет туши убитых карибу. Но вот ко мне с лаем приближается упряжка. Нап возвращается вне себя от радости: он опьянен победой: на его счету четвертый карибу.

Я думал, что он немедленно прекратит страдание остальных, агонизирующих в нескольких сотнях метров от нас. Но не тут-то было! Наполеон, веселый Нап, начинает методично разделявать первую тушу. Несколько кусков он бросает собакам. Закончив это дело, он переходит к остальным. И опять действует, как опытный мясник: перерубает позвон-

ки, испаривает брюхо, разрезает на части выпотрошенную тушу.

С северной стороны к нам приближается Анри Католик. Он тоже привозит одну тушу. Уже пять карибу. Затем, используя для приманки уже замерзшие внутренности карибу, индейцы ставят ловушку на тот случай, если завтра сюда забредет белый песец. На озере множество лисьих следов.

— А где остальные?

— Вернутся к вечеру. Они там! — Анри показывает в сторону излучины озера, окаймленной высокими куполообразными скалами в шапках льда.

Разрубленные туши сваливают в нарты. Сверху набрасывают оленью шкуру, и я сажусь на эту грудку кровоточащего мяса; брезентовые боковины нарт окрашиваются в красный цвет.

Индейцы — превосходные стрелки. Попробуйте на расстоянии пятисот метров попасть из ружья в мчащегося карибу.

По правде говоря, их тактика проста, они стреляют в самую гущу стада, хорошо зная, что таким образом только ранят животных. А потом начинается бешеная погоня за жертвами. Так оно и было на сей раз. Восемь карибу за одну охоту! Удачный день для наших спутников.

Утром Пьер промчался в нартах, и с тех пор я ничего о нем не знаю.

Но вот он, хмурый, насупленный, идет мне навстречу. Я бросаюсь к нему с распростертыми объяснениями:

— Ну, снял своих карибу? На этот раз ты доволен?

Он срывается.

— Ничего я не сделал. Разве можно снимать в таких условиях, когда собаки несутся по сугробам и тебя швыряет так, словно ты летишь в утлой посудине по бурному морю со скоростью сокола узлов! Мне удалось запечатлеть одну-единственную сцену: на льду остался лежать карибу. Издали он казался мертвым, но едва собаки вплотную подбежали к нему, как он вскочил, дал им рогами отпор и был таков. Ну, а потом началась, как обычно, погоня.

— А стадо? Ты же на этот раз был к нему ближе, чем я.

— Говорю тебе, невозможно было снимать.

— Попробовал хотя бы.

Я боюсь настаивать. Мне известно, что Пьер добивается безупречных кадров. Но сейчас в конце концов он же снимает документальный фильм. Стадо из шестидесяти голов мчится во весь дух — это ли не стоит того, чтобы попробовать! Поклявшись не вмешиваться в дела Пьера, я держу свои мысли при себе.

— Еще будут другие стада, — говорю я ему в утешение.

Он пожимает плечами.

— Если снова будет так, к че-

му тогда все? Мне нужно стоять с аппаратом на треноге и ловить момент: стадо бежит мимо меня, а я «чик» — и снял. Но для этого надо не начинать сразу же травить карибу. Надо подождать, окружить их... Попробуй втолкуй им это.

— Да, конечно!

Пьер не сказал мне, что все же снял отчаянное бегство карибу. Он в конце концов покажет мне пленку... Три месяца спустя. Изображение скачущее, неустойчивое. Перед поминутно встряхиваемым объективом мечутся испуганные карибу, собаки, нарты. Картина полна жизни, прекрасно воссоздает атмосферу охоты.

Поставив палатки, индейцы готовят мясо для сушки. Они поют и смеются. Наполеон — герой дня, он убил четырьмя выстрелами четырех карибу. Но добыча общая.

Пользуясь тем, что индейцы хорошо настроены, я излагаю им наш план. Мы с Пьером на знакомом переходе ждем, пока обнаружат новое стадо, вернее — захватят его врасплох, ждем пусть хоть целый день, если понадобится. Но главное, мы просим не стрелять прежде, чем не будет закончена съемка. Я знаю, что попрошу у них слишком многого, но что поделаешь, надо попытаться. А сейчас мы коротаем вечер за пиршеством, лакомясь мясом под звуки гармошки.

На следующий день Джо Мит-

челл знакомит нас со своей программой: двое молодых охотников отправятся в далекую разведку и постараются обнаружить стадо. За это время здесь, в лагере, индейцы по своему обыкновению будут сушить мясо на огне.

Нас это особенно устраивает еще и потому, что мы таким образом сможем прибавить несколько деталей, которых нам не хватает, сходить к ловушкам, посмотреть, не попались ли лисички, и снять странные арабески, которыми ветер расписал сугробы на озере.

Разведка Напа и Огюстена не дала ничего конкретного.

Судя по следам, карибу ушли далеко на восток, нечего и думать догнать их. Джо все же готов поискать оленей на берегах другого большого озера, расположенного за горой.

На следующий день мы миновали перевал и проехали довольно далеко по новому озеру, расположенному к югу от стоянки. Индейцы проводили нас до скалистой перемычки, где озеро образует как бы ущелье, зажатое между двумя отвесными берегами. Один из берегов вдается здесь в озеро, и с вершины этого мыса, высотой в тридцать метров над уровнем озера, весь ландшафт как на ладони. Свежая широкая трасса говорит индейцам

о том, что здесь не позднее чем вчера прошло большое стадо карибу. Почему бы по ней не пройти и другим стадам? А вдруг нам повезет!

Индейцы очень хорошо поняли, чего мы хотим; место идеальное для того, чтобы установить камеры на треноге и телеобъектив. Стадо хорошо утоптало снег, особенно под карликовыми березами, где в изобилии растет олений мох.

При тщательном осмотре мы замечаем многочисленные волчьи следы; один из них особенно впечатляет: около десяти сантиметров в диаметре. Но не надо забывать, что диаметр следа не совпадает с диаметром лапы. Идя по глубокому снегу, волк растопыривает пальцы.

Речка, вытекающая из озера, впадает в Индиэн Майнтейн Ривер, большую реку, несущую свои воды в Невольничье озеро.

Анри Католик установил там свою trap-line, попросту говоря, капканы. Мы осмотрим их на обратном пути. Он пытается найти тот капкан, который расставлен где-то неподалеку, но вокруг столько снега, что он вынужден отказаться от своего намерения. Такой снежной зимы, как нынешняя, не помнят в этом районе, где толщина снежного покрова редко превышает шестьдесят сантиметров.

Потом индейцы разводят хороший fire, весь день они будут

курить, есть и спать, пока мы с Пьером, приведя аппараты в боевую готовность, вглядываемся с высоты холма в даль, надеясь увидеть, как выходит из леса стадо великолепных серо-белых карибу. Время идет! С девяти утра до шести вечера мы не трогаемся с места. За это время небо заволочло тучами, температура упала, налетел бешеный ветер. Нам снова угрожает буря. Пора возвращаться в лагерь. Длинный день, точно испытывая наше терпение, прошел впустую, но мы все же полны решимости повторить этот опыт, если географические условия будут столь же благоприятными.

Я благодарю Анри и Джо за то, что они так хорошо организовали засаду. Она не дала результатов, но они прекрасно поняли, что нам нужно, и ради этого послали двух наших юнцов прочесать большой участок. Они ценят нашу похвалу и счастливы, что доставили нам радость. Нет! Между нами не осталось и тени неловкости, мы в равной степени переживаем все перипетии охоты. Они-то и пришли вечером просить нас уйти с поста наблюдения.

— Уже слишком поздно, сейчас подстеречь стадо — дело безнадёжное. В такую ветреную погоду карибу прячутся в зарослях. Скоро сильно похолодает. Ноги у вас сухие?

Подтаявший снег очень опасен,

в нем можно промочить ноги. В индейских мокасинах из кожи карибу тепло только в большой мороз, когда снег сухой. Наши индейцы надели резиновые сапоги, и нам завтра придется сделать то же самое, если оттепель продолжится.

Мы возвращаемся под вечер, уже темнеет. Солнце, затянутое низкими облаками, бросает во все стороны копы багряных лучей, горизонт исполосован ими; хорошо отдохнувшие собаки тянут быстро, и мы выходим из саней лишь для того, чтобы перейти высокий гребень, отделяющий нас от лагеря. Спускаемся мы по-ластунски, то и дело падая. Будет над чем посмеяться сегодня вечером в палатке.

Мы мирно засыпаем под дырявым пологом палатки. Ветер, дующий сквозь ветки изуродованных елей, понемногу заметает снегом собак, нарты. Сегодня индейцы не заспят: душа у них не на месте. Небо низкое, серое, свинцовое, вокруг ни одной возвышенности, порывистый ветер завывает над озером. Я бы хотел отправиться подальше на север, посмотреть на *barren lands*, но индейцы встречают мое желание в штыки.

— Там нет леса, значит по *fi*ге. Нет огня!

Огонь помогает переносить холод. Они предлагают мне взять курс на восток, чтобы выйти к верхним истокам Индизн Майн-

тэйн Ривер. Не встретятся ли там карибу?

Мы не возражаем.

Они доказали полную готовность и желание помочь нам в нашем деле. Теперь им решать. По правде говоря, мы точно не знаем, где находимся; путь, по которому мы собираемся двинуться, лежит в стороне от наиболее отдаленных охотничьих троп, когда-либо пройденных нашими индейцами. Я уже, кажется, говорил, что забыл свои крупномасштабные карты в Сноудрифте, а когда я смотрю на оставшуюся, то результат получается такой же, как если бы я старлся найти на карте Франции тропинки леса Фонтенбло!

С этого дня индейцы будут ориентироваться по солнцу.

В этом они большие мастера; даже в пасмурный день они по цвету облаков знают его месторасположение. Они определяют дорогу не только по солнцу, но также и по растительности, очень разной на северной и южной сторонах. И наконец, они прекрасно разбираются в направлении ветра, который, располагая сугробы параллелями, создает на озере прекрасные ориентиры.

Мы погрузили нарты.

За ночь температура поднялась, и сейчас градусов десять-двенадцать ниже нуля. Снег тает и становится тяжелым. Собакам будет трудно.

Мы едем прямо на восток и

на краю озера обнаруживаем совершенно голый, твердый, отполированный ветрами лед. Собаки скользят, описывают круги, и нарты становятся неуправляемыми; а индейцы наши веселятся как дети. Они останавливаются, затевают игру: кто, разбежавшись и ни разу не упав, пронесется по льду дальше асех. Это замысловатая игра, потому что лед не гладкий. Он застыл по воле ветра и течений. Съемка превращается в довольно рискованное упражнение на равновесие. Кажется, стоишь неподвижно — вдруг порыв ветра, словно боек, относит тебя в сторону.

А дальше снова лес, ущелья, кручи, тяжелейшая местность, где наши собаки творят чудеса. Они сыты и охотно тянут, но головную собаку приходится часто сменять. Пейзаж становится все более арктическим, ельники реже, голые каменистые холмы выше.

И вдруг — весна.

Бегущий впереди вожак Джо Митчелла продавил снежный наст и упал в воду, а бурный поток. Его с трудом вытащили. Это первая свободная вода за все время нашего пребывания здесь. Довольно большая речка рокочет подо льдом и вынуждает нас сойти с легкого пути, приходится прокладывать трассу среди хаоса гранитных глыб, покрытых снегом и льдом. То тут, то там с места на место носятся тетерева, пролетает стая огромных черных во-

рон, с карканьем будя тишину пустых ущелий.

Сегодня тучи бегут над нами низко, чуть не задевая вершушки холмов, а мы движемся по ледяному туннелю, против ветра. От этого морозный воздух, хотя и не такой сухой, как обычно, кажется еще холоднее. С наших лиц свисают сосульки. В этих зловещих местах множество звериных следов, особенно аолкоа, лисиц, росомах, куньи и горностаев, но только не карибу, если не считать нескольких отдельных следов под купами карликовых берез, где снег местами перекопан когда-то пасшимся здесь стадом.

Надо двигаться дальше.

К ночи долгий путь через озеро, кручи и ущелья приводит нас на опушку довольно густого ельника. Согласно нашим наблюдениям мы описали большой круг к востоку и югу.

Надо ставить лагерь.

Здесь скопилось столько снега, что едва мы вылезаем из нарт, как проваливаемся по грудь. Не пройдет часу, и то, что было лесом, станет прогалиной, окруженной частоколом древесных стволов высотой в человеческий рост, а посреди прогалины будут гореть огни наших двух палаток. Идет снег! Одежда промокла, и часть вечера уйдет на сушку.

Стреляют где-то в милях двух от нас.

— Карибу! — восклицает Джо и вскакивает на ноги.

Собаки волнуются, рычат. Ударами дубины он заставляет их умолкнуть.

— Come on (пойдем), Пьер! — говорит Джо, жестами приглашая его снимать.

— Сейчас карибу выйдут на озеро, — поясняет Анри.

Зная, что застигнутое врасплох стадо непроизвольно повернет в нашу сторону, Нап и Огюстен, исследовав местность, определив направление ветра и снега, очевидно, окружили карибу. Мы едва-едва успели добежать до камеры, как первые животные вышли из леса. Их добрых тридцать голов. Они движутся медленно, тесно прижавшись друг к другу и нюхая воздух. Нас они еще не заметили.

Видимость средняя: небо белесое, нет ни солнца, ни теней, ни рельефа! Зарядив карабин, Джо становится рядом с Пьером; Анри с карабином в руках опускается на колени прямо в снег. Но вдруг собаки, почуяв или заметив карибу, начинают бешено лаять. Джо протягивает мне дубинку и знаком просит меня успокоить их. Я на миг пытаюсь вообразить себя индейцем и колочу собак, пока они, усмирненные, не ложатся на снег, тихо ворча. Теперь карибу заметили нас. Джо кричит мне, чтобы я снял свою красную пуховую куртку! И правда, она ярким пятном выделяется на

сером фоне, тогда как темная одежда индейцев сливается с елями.

Стадо медленно движется по озеру по направлению к нам.

Поведение карибу обескураживает. Из лесу они, спасаясь от погони, бежали в одиночку, но как только опасность миновала, снова сбились в кучу и идут по озеру сомкнутыми рядами. Мы по телеметру определяем дистанцию. Они от нас меньше, чем в километре. Джо не терпит выстрелить, но он сдерживается. Нет! На этот раз они попались, их надо снять. Такого удобного случая больше не представится.

Они приближаются — восемьсот, семьсот метров! Потом вдруг все стадо приходит в волнение, животные собираются в круг, наши собаки, которых уже не удается обуздать даже дубинкой, дико скачут на цепи. Пьер снимает, снимает. Я фотографирую.

— Можно стрелять? — спрашивает Джо. Вопрос звучит, как мольба. Еще несколько секунд безрассудного промедления — и будет слишком поздно, а тогда прощай мясо!

— Одну минуту, Джо!

Эта минута отсрочки показалась мне ничтожной долей секунды, и вдруг — выстрел, другой, третий, четвертый! Джо и Анри выпустили все свои обоймы по стаду, которое, совершенно обезумев, раскалывается, разбе-

гается в разные стороны, потом снова собирается; индейцы стреляют в упор. Наконец стадо распадается надвое: одна часть его устремляется прямо, на противоположный берег, среди них ковыляет раненый карибу, остальные отхлынули назад. Видно, как они пробираются через чащу. Затем исчезают.

Две самки остаются лежать на озере. Одна ранена, другая убита наповал.

Я поворачиваюсь к Пьеру.

— На сей раз ты доволен?

Он не признается.

— Слишком далеко, даже для телекамеры! Но что поделаешь! Я, конечно, их снял, но освещение, ты сам видел, как в молоке! Придется переснимать.

Пьер тщательно скрывает свое удовлетворение. Но я-то знаю, что у него было достаточно времени снять застигнутое на озере

стадо. Впрочем, он первым делом поворачивается к Джо и Анри и пожимает им руки.

— Спасибо, Джо, спасибо, Анри. Вы здорово помогли мне!

Джо и Анри ждали больше пяти минут, терпеливо ждали, когда можно будет выстрелить, и это самое лучшее доказательство дружбы, которое они могли нам дать. Такое ожидание было для них пыткой. Я вспоминаю умоляющий взгляд Джо и его прозвучавший совершенно по-детски вопрос: «Можно стрелять?»

Весь день пройдет за разделыванием туш. Их всего четыре: Огюстен и Нап убили двоих в лесу. На счету шестнадцать карибу — больше чем достаточно.

Анри ликует.

Мы пускаемся в обратный путь.

Перевела с французского  
С. КУЧЕРОВСКАЯ



## ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Люциан  
ВОЛАНОВСКИЙ



Остров Бахрейн в Персидском заливе славится своими искателями жемчуга. В последние дни мая остров покидает флотилия, насчитывающая от 500 до 600 судены-

шек, из которых каждое берет с собой около двадцати ловцов. Возвратятся они такими же бедняками, какими вышли в морэ. С рассвета и до темноты будут они нырять, отрывая каждый раз ото дна по несколько плоских раковин моллюсков. Вечером эти раковины раскрывают в обстановке всеобщего напряжения. Одна на каждые четыре тысячи раковин — повторяю, одна на четыре тысячи, ибо такова средняя цифра, — будет содержать жемчужину. Обычно маленькую, неправильной формы, но всегда долгожданную.

На местах лова все равны между собой. Нельзя только пользоваться скафандрами или какими-либо иными приспособлениями для нырания. Законодатель опасался, что люди, вооруженные современным снаряжением, быстро и неотвратимо очистят дно моря от жемчужных раковин. Поэтому-то техника нырания остается в точности такой же, как и в те времена, о которых писал ассирийский хроникер. Коричневые ныряльщики опускаются на морское дно по веревке, к которой привязан камень. Нос они зажимают примитивным зажимом, на шее у них прикреплен небольшой мешочек, а в руке — долото, которым отрывают раковины от морского дна.

Хауз-аль-Кабир, или великий сезон, — это сбор урожая на морском дне, рулетка, где на

\* Из книги «Зеркало богини».

кон ставится жизнь по крайней мере по восемь часов в день. В этой мрачной игре принимают участие крупные медузы и десятки видов рыб, опасных для человеческой жизни.

С морского берега жемчужины совершают путешествие в Манама. Там в торговом районе купцы содержат их в старомодных шкатулках.

Каждая из этих жемчужин начинается в среднем 800 спусков ныряльщика на морское дно. А ведь с каждым разом все сильнее болят утомленные легкие ныряльщиков. Почти каждый из них кончает свою короткую карьеру туберкулезом. Некоторые из них погибают, сохранив легкие, не тронутыми палочками Коха. Обманутые миражами, они погружаются на недостижимые глубины в погоне за той именно самой большой жемчужиной, которая должна принести им богатство и счастье. Подобные иллюзии являются уделом не только ныряльщиков-арабов и не только в Персидском заливе... Но подобные смельчаки в большинстве случаев никогда не возвращаются на поверхность моря. Одни говорят, что их охватило «безумие глубины», другие — что они погибли в борьбе с морскими чудовищами. Но солданные купцы, которые вдали от знойных берегов Бахрейна расхваливают в ювелирных лавках Рю де ла Пэ или на Бонд-стрит свои жемчу-

жины, никогда не забывают добавить, что за каждой из этих жемчужин кроется драматическая история. И господин, который собирается купить жемчужину, чтобы при помощи ее купить девушку, или госпожа, которая собирается купить жемчужину, чтобы вместе с ее блеском вновь обрести веру в свои силы, внимательно прислушиваются к рассуждениям купца: «Искусственно выводимые жемчужины, мсье, никогда не вытеснят жемчужин, добываемых ловцами», «Японский жемчуг, мнледи, никогда не сможет служить достойной оправой для вашей прелести...»

### Нимono и котелок

Страшно возмущился бы король жемчуга — старый Кикичи Микимото, если бы услышал эти слова. Микимото умер в 1954 году на 96-м году жизни. Он оставил после себя 54 потомка и создал эту процветающую отрасль промышленности, в которой сейчас трудится 117 тысяч человек. Когда я впервые вошел в большой магазин Микимото на улице Гиндза в Токио (торговый центр японской столицы), меня пригласили в маленький салон, где за зеленым чаем у нас состоялась небольшая беседа с торговым директором этого крупного предприятия.

Разговор продолжался недолго, но я записал себе в блокнот

одну его фразу: «Незабвенной памяти господин Микимото сделал так, что очень многие женщины могут позволить себе приобрести драгоценность, которая некогда составляла удел только богачей».

Как уже было сказано, я не удостоился чести лицезреть незабвенной памяти господина Микимото. Я побывал в его родной деревне на берегу залива Тоба. Незабвенной памяти господин Микимото стоит улыбающийся на высоком постаменте, одетый в кимono и с котелком на голове. Господин Микимото улыбается, глядя на причаливающие к берегу барки с девушками, одетыми в белое. Они возвращаются с лова. Господин Микимото имеет огромные заслуги в жемчужном деле. В этой области с ним может соперничать разве что сама Клеопатра, которая заглатывала их в вино, желая поразить Марка Антония, когда она ему уж слишком наскучила. Общеизвестно, что эта жемчужная наложница не очень ей помогла — мужчина иногда бывает очень трудно угодить.

Микимото же на подобное транжирство никогда не пошел бы. Один из самых богатых людей Японии, он до конца своей жизни вел счет каждому грошу, всегда униженно кланялся своим клиентам. Однако Микимото возмущился бы, если бы кто-либо заявил в его присутствии,

что у японского жемчуга нет своей истории. Да что там — он сам, собственной персоной был живой историей!

Его жемчужины отличаются от вылавливаемых «диких» только своим строением. При помощи рентгеновых лучей можно обнаружить там крупницу инородного вещества, которое было введено искусственным путем внутрь трехлетнего моллюска. Последующие четыре или пять лет моллюск этот трудился во славу фирмы Микимото, обволакивая известковым веществом это постороннее тело. Старец в кимono ставил перед собой на протяжении своей долгой жизни нелегкие задачи. Он часто говаривал: «Хотелось бы мне дожить до того дня, когда жемчужное ожерелье мы сможем продавать по два доллара за штуку каждой женщине, у которой хватит на это средств, и давать даром всем тем, кто не может себе позволить подобных расходов...» Сколько было искренности в этом филантропическом намерении — угадать трудно. Я лично подобное изречение упрятал бы в шкатулочку с надписью «Рекламные лозунги». Однако несомненной правдой является то, что к моменту, когда смерть пришла за Микимото, на его морских донных пастбищах паслось полтора миллиарда моллюсков, ежегодно дающих ему урожай в 10 миллионов жемчужин.

Репортер из Польши, который появляется в Тоба, видит мирное селение на берегу моря в морозное февральское утро. Это довольно крупное местечко, в витринах продовольственных магазинов которого выставлены местные кулинарные лакомства: крупные осьминоги, отлично высушенные на солнце или приготовленные самыми различными способами. Крыши домов утыканы телевизионными антеннами, моторизованная полиция регулирует уличное движение на перекрестках, рекламные афиши приглашают посетить Остров Жемчужин.

#### «Счастье» и «сосна»

Детское имя маленького Микимото было Кициматсу, что означает «счастье» и «сосна». Сосна в Японии считается символом благополучия.

Старший брат, по японскому обычаю, обязан опекать своих младших братьев и сестер, и Кокици Микимото — такое имя в юношеском возрасте получил Кициматсу — часто носил на спине юных отпрысков рода Микимото.

В Тоба проживало в то время не более трехсот семей. Как известно, японские дома не отапливаются — единственным источником тепла зимой является большой горшок, называемый хибаци, в котором тлеет древес-

ный уголь. Вся семья собирается тогда вокруг этого своеобразного очага. Все усаживаются вокруг, чтобы обогреть ноги о хибаци. И жителей Тоба немного удивляло то обстоятельство, что маленький внук старого поставщика угля появлялся со своим товаром всегда именно в тот момент, когда как раз кончалось топливо для обогрева дома.

К местечку Тоба дорога проходит, как я уже упоминал, через станцию Нидзиямада. А оттуда уже совсем недалеко до храма богини Исе, куда время от времени прибывал сам император, чтобы отчитаться перед своими предками о положении государства и других текущих событиях. Там же хранится и знаменитое зеркало богини Солнца — величайшая святыня японского народа.

Именно в этот храм и отправился десятилетний Кокици, чтобы помолиться за здоровье своего отца — которого как раз разбил паралич. Однако боги не выслушали просьб мальчика. Он стал единственным кормильцем многочисленной семьи: ночью торговал макаронами на лотке, а днем продавал ягоды.

#### И полно на дорогах разбойников

В 1875 году из предутреннего тумана показался в порту Тоба

силуэт корабля британского королевского флота «Сильвера». Британские пушки угрожающе уставились на мирную деревню, однако Микимото не потерял присутствия духа. Семнадцатилетний юноша погрузил на лодку ящики со свежими яйцами и подгреб к кораблю. Но вахтенные не пустили его на палубу. Тогда Микимото отплыл на некоторое расстояние от корабля и принялся показывать жонглерские фокусы, которые всегда были его любимым развлечением. Он жонглировал картофелинами, яйцами — иногда их в воздухе мелькало по пяти штук! Наконец он прервал выступление, взялся за весло и снова подплыл к кораблю. На этот раз его пустили на борт, где он вновь повторил свое выступление. Моряки раскупили все его товары и пригласили снова наведываться к ним. Таким образом, он стал там появляться ежедневно — это был его первый контакт с границей, его первая экспортная операция.

В семейной хронике в Тоба имеется такая запись: «Одиннадцатый год эпохи Мейдзи (1878 г.), месяц третий, дня 26, выезжаю из Тоба».

Двадцатилетний Микимото двинулся в путешествие по белу свету, направляясь в отстоящее на целых десять дней пути Токио. В ответ на предостережение, что на дорогах полно разбойников, поджидающих путников, Кокици

якобы ответил, что этим разбойникам лучше было бы опасаться его самого.

### Жемчужный остров

От Токио всего два шага до Иокогамы. Там, на ярмарке Кокици Микимото обратил внимание на китайцев, которые скупали жемчуг. На вопрос о применении этого товара китайские купцы объяснили, что жемчуг используется как лекарство. Он якобы восстанавливает мужские силы стариков, поправляет зрение и слух.

В 23 года Микимото считался одной из лучших партий в своей родной деревне. Но когда дело дошло до поисков жены и когда, согласно японскому обычаю того времени, который, кстати сказать, не очень изменился и в наши дни, дело это нужно было перепоручить сватам, у Кокици вместо одного свата оказалось целых пять. Охотников до сватовства всегда хватало, поскольку каждый должен трижды побывать в должности свата, чтобы с честью расплатиться за оказанную ему некогда подобную же услугу.

Долго перебирал Кокици предложенных ему кандидатов. И наконец, выбор пал на девушку из семьи, стоящей значительно выше Микимото по общественному положению. Предкам невесты Ми-

кимото поставляли древесный уголь, а в дом их впускали только через кухонные двери. Однако Микимото выглядел себе именно ее, а было ей тогда около 17 лет, и, когда его мать пыталась отсказать ему женитьбу на этой девушке по имени Уме, Кокици уговаривал мать, выдвигая в качестве аргумента довод, что девушка производит впечатление... бережливой.

Молодая пара несколько раз виделась перед собственной свадьбой, однако ни разу их не оставляли наедине. Были и некоторые другие трудности на пути молодой четы. Отец невесты считал, что ей должно исполниться сначала семнадцать лет, а также немного морщился из-за более низкого общественного положения молодого Микимото. Но в конце концов стараниями свата все эти препятствия были преодолены.

В октябре 1881 года Кокици Микимото и Уме Куме предстали перед домашним алтарем.

## Игра в ракушки

Вполне правдоподобно, что черноволосая красавица из Полинезии, которая резвилась в волнах у берегов Японии, могла иметь жемчужные украшения — островитяне южных морей, которые, по мнению некоторых уче-

ных, заселяли некогда Японию, с незапамятных времен ныряли на морское дно в поисках жемчуга.

«Кодзики», или «Хроника давно прошедших дел», и «Нихансиоки», или «Хроника Японии», — самые древние японские исторические записи — упоминают, что богиня Солнца носила «шарообразные украшения» в волосах и на плечах. Помимо самой Аматерасу Омиками, другие божества также украшали себя жемчугом. Изображения людей, которые были найдены в захоронениях доисторической Японии, также имели украшения, которые могли изображать жемчуг. Однако настоящий промысел жемчуга начинается в Японии где-то около 1870 года. До этого времени находка жемчужины была преимущественно делом случая.

Кокици Микимото был первым, кому пришла в голову мысль добывать жемчуг, разводя жемчужные раковины. 11 сентября 1888 года рыбаки из Дзимоимура — маленькой приморской деревни — начали собирать раковины и доставлять их в охранные и огороженные морские бассейны. Микимото сам бродил по мелководью, целиком отдавшись идее искусственного разведения моллюсков. Целыми днями пропадал он на работе — Уме даже иногда шутила, что ее соперницей является жемчужная

раковина, которая отбивает у нее мужа.

В 1890 году Микимото познакомился на выставке в Токио с доктором Иосикици Мидзукури. Ученый этот создал определенную научную основу для промышленника, обосновал предпосылки для перехода от производства макарон к разведению жемчужных раковин. Ученый и промышленник провели совместно много дней и ночей в исследовательской лаборатории Токийского университета. Однажды вечером, за очередной чашкой зеленого чая, доктор Мидзукури глянул на своего гостя и сказал:

— Микимото-сан, я знаю, что не дает тебе покоя! Ты хотел бы познать тайну образования жемчужин, оладеть техникой их разведения...

— Да. Но удавалось ли это кому-нибудь?

— Теоретически человек может ввести инородное тело под раковину моллюска таким образом, что не убьет самого моллюска, а потом оставит эту раковину в море на несколько лет, дожидаясь, пока образуется и вырастет жемчужина. Где-то в начале XIX века некий немец по фамилии Хейлинг держал в руках раковины, с которыми было поступлено именно таким образом, но опыты эти не увенчались успехом. Об исследованиях же в других странах мне ничего не известно.

— А что, если нам попытаться?

Дорогу приходилось искать на ощупь. Сперва он пытался вводить а раковины осколки стекла, потом обломки ракушек — все это не давало результатов. Пытался он также определить тот возраст моллюска, в котором он наилучшим образом переносит операцию. И наконец, опытным путем он пытался установить действие морской воды на образование жемчуга. Окрестные рыбаки считали, что он не в своем уме. Микимото залез в долги. Он оказался на грани катастрофы из-за так называемой «красной волны» — необычайного явления, которое происходит из-за резкого возрастания количества планктона в каком-то определенном районе моря. Четыре года трудов пошли прахом, когда «красная волна» уничтожила его ферму по разведению моллюсков. Дошло до того, что Микимото не мог открыто появляться в родном Тоба, — там его поджидали кредиторы.

**И вот наконец...**

11 июля 1893 года Микимото получил на своей «ферме» первую жемчужину. Однако Микимото был недоволен: жемчужина не была круглой...

Следующим усовершенствованием Микимото было заворачивание будущего центра жемчужины в мускульную ткань мол-

люска, и только после этого все это вместе вводилось внутрь другого моллюска, где уже должна была формироваться жемчужина. Однако и эти попытки не дали каких-либо ощутимых результатов — практика без научной подготовки не приносила плодов.

### **Арендная плата дешевле чаевых**

Когда в 1900 году на взгорьях, окружающих Тоба, зацвели вишни, Микимото собрал на своих подводящих лугах урожай из 4200 полуовальных жемчужин. Он открыл собственную лавку на улице Гиидза в Токио, там, где находится центр японской столицы, где неоновые вывески зазывают прохожих в кабаре, рестораны и места увеселений. Тогда жизнь в этом районе еще не набрала такого темпа, не было круглосуточно открытых заведений. Микимото платил 12 иен за свое помещение, то есть меньше, чем теперь дают гардеробщице в ресторане, принимая от нее ботинки, которые, как известно, в японских ресторанах отдают в гардероб, а в зал входят в одних носках.

Микимото уже в то время обладал необычайно развитым чувством рекламы. Несомненно, в этой области он опередил современных ему деловых людей. Микимото пригласил в свое жем-

чужие королевство принца Коматсу — кузена императора Мейдзи. Его высочество соблаговолило прибыть в Нидзиямада, конечную железнодорожную станцию на пути к Жемчужному острову. В наши дни путь продолжают либо в автобусе, либо в такси, но в то время путешественника поджидало четырехчасовое путешествие на рикше через горы и долины. Однако Микимото решил избавить ягодицы принца от неудобств четырехчасового пути по выбоинам и колдобинам японских дорог.

Микимото нанял специальные команды, состоящие из самых сильных мужчин в округе, которые тащили и подталкивали экипаж принца Коматсу, пока не доставили его почтенную особу за два часа в государство короля жемчуга. Несчастные рикши падали от усталости, когда расставленные по пути скороходы принимали от них эту увесистую ношу, чтобы продолжать бег по направлению к местности Угата. Там принц соблаговолил усесться на пароход, который и доставил его на Татоку, как в то время назывался нынешний Жемчужный остров.

### **Жемчугу необходима реклама**

Принц Коматсу получил в подарок дюжину полуовальных жемчужин и пять круглых, поскольку



Микимото с горечью пояснил, что круглые жемчужины попадают только случайно. Следующую партию жемчуга принц взял у Микимото на коронацию Эдуарда VII в Лондон в качестве дара от императора Японии. Попутно жемчужины эти пробудили интерес у лондонских и парижских ювелиров. Жемчугом заинтересовалась и пресса. Корреспондент «Нью-Йорк геральд» писал в 1904 году, что жемчуг в Японии будут разводить теперь на фермах точно так же, как картофель в Соединенных Штатах. Корреспондент разговаривал с министром Микимото, который объяснил ему, что в тело «живого моллюска секретным способом вводится жемчужная основа, а затем раковину снова бросают в море на четыре года, в течение которых выделения моллюска покрывают эту пылинку, создавая тем самым жемчужину».

Американский журналист сокрушался по поводу того, что не все жемчужины получают круглыми, но выражал при этом уверенность, что жемчуг Микимото будет благосклонно принят публикой.

Всего лишь через год после этого, а точнее, в 1905 году, когда японская империя выслала свои войска на поля Маньчжурии, где японские рыбаки и крестьяне сражались против русских и польских крестьян, господин Микимото насчитывал уже на своих

подводных полях миллион жемчужных раковин. Господин Микимото был перенасыщен патристическими чувствами. Он отказался от курения, хотя в свое время он на пари проделал весь путь от Кобе до Токио, прикуривая одну папиросу от другой. Господин Микимото приказал девушкам нырять в ледяную воду и в феврале, лишь бы только спасти своих питомцев от «красной волны». Господин Микимото ни на минуту не сомневался в той миссии, которая выпала на долю его скромной особе: «На суше и на море японские солдаты сражались с русскими под градом огня и железа. Я же сражался против «красной волны». В войне между двумя странами необходимо оружие. В деловой войне необходимы деньги. И поэтому я собрал всех девушек-ныряльщиц, каких только мне удалось найти...»

Однако ныряющие девушки спасли от «красной волны» только часть его плантаций. Восемьсот пятьдесят тысяч раковин погибли, не принеся никакой пользы господину Микимото. Вскоре после этого король жемчуга стал приближаться к вершине своей мечты: все большее количество круглых жемчужин начал находить на его плантациях. А когда после поражения царской России в близлежащий храм Исе прибыл император, чтобы сообщить своим предкам о великой побе-

де, он посетил также и Микимото. И пошла по Японии весть о том, что сын богов посвятил целых семнадцать минут разговору с почтенным господином Микимото.

«В те дни я походил на жонглера, который подбрасывает в воздух несколько шаров, и должен их все одновременно не выпускать из поля зрения», — говорил Микимото, которому в одиночку приходилось разрабатывать технологию производства, методы торговли и диктовать цены. Его продукция совершала далекие путешествия по выставкам всего мира — от Московской выставки декоративного искусства в 1908 году вплоть до Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году, где он выступал с копией «Колокола свободы», целиком сделанного из жемчужин.

## Король жемчуга

Кажется, прозвище Короля жемчуга было дано Микимото покойным репортером местной газеты, который посетил его однажды в его резиденции.

Микимото всегда соединял глубокий патриотизм с еще более глубокой заботой о собственных интересах. Японские хроники упоминают о том, как Микимото реагировал на смерть императора Мейдзи, последовавшей в 1912 году: «Кончину императора он

пережил очень тяжело... Для того чтобы отдать честь памяти императора, Микимото отправился в свои владения, где полностью отделил себя от внешнего мира душой и телом, целиком отдав себя созданию японской жемчужной промышленности». В письме к своей дочери Микимото писал, что питается исключительно рисом с маринованными сливами и вскакивает с постели в половине шестого утра, чтобы, искупавшись в морской воде, сразу же приниматься за работу.

Несколько лет спустя Микимото отправился в далекий путь. В Шанхае он горстями раздавал деньги танцовщицам, «чтобы они вспоминали его», однако люди из его окружения вовсе не были обеспокоены внезапной щедростью их шефа. Они прекрасно знали, что бывший жонглер-любитель имеет в своих карманах старательно отсчитанные количества монет и что мнимая щедрость его призвана создать вокруг особы Короля жемчуга ореол богача, а тем самым и привлечь к нему внимание прессы, столь жадной до всяческих сенсаций. Ибо конкуренция была очень серьезной — на трех местных рынках жемчуга купцы из Индии и южных морей выставили свои товары.

На помощь господину Микимото пришли шанхайские воры, которые совершили кражу со взломом в его лавке, ограбив при

этом сейф с жемчугом. На следующий же день в газетах на первой странице появилось объявление о том, что богатый японец, господин Микимото, предлагает тысячу юаней награды тому, кто укажет преступника. Вора, правда, так никогда и не нашли, однако жемчуг отыскался... в пруду городского сада. По крайней мере так утверждал владелец жемчуга...

В 1924 году Микимото сделался «поставщиком жемчуга и драгоценностей двора его императорского величества», а также был избран в палату пэров благодаря высокому доходному налогу, выплачиваемому им.

И вот теперь в качестве народного представителя Микимото в сопровождении двух врачей отправляется в путешествие в Соединенные Штаты.

В Америке у Микимото, как принято выражаться, была хорошая пресса. Он посетил несколько местных королей стали и торговли, а Эдисон сообщил ему, что и сам пытался создать искусственным путем жемчуг в пробирке, но потом забросил все попытки. Восхищенный этим предприятием неудавшегося конкурента, Микимото наговорил великому изобретателю множество любезностей, выдержанных в японском стиле: «Если ты являешься луной в мире изобретателей, то я являюсь совершенно незаметной звездочкой...»

Перед могилой Джорджа Вашингтона Микимото произнес на японском языке целую речь, в которой сообщал великому американцу о способе выращивания жемчуга. Сообщение умершим информации о текущем состоянии дел настолько принято у японцев, что Король жемчуга считал свое выступление совершенно естественным и не способным не заинтересовать Джорджа Вашингтона. Более практичным занятием было собирание пресноводных моллюсков в реке Миссисипи, осколки раковин которых и по сей день вводятся в японские моллюски.

### Настоящие или поддельные?

Тем временем Лондонская торговая палата проголосовала за решение называть жемчуг Микимото искусственным. Во Франции торговцы старались вытребовать распоряжение о том, чтобы жемчуг Микимото использовался только для орнаментов, изделий, предназначавшихся для дальнейшего экспорта, но уже под марками французских фирм. Дело дошло до многочисленных стычек в судах и профсоюзных организациях, где Микимото в конце концов одержал верх. Отличным рекламным трюком явилась проведенная самим Микимото операция по скупке в Японии

жемчуга самого низшего сорта, который он самолично сжег перед зданием Промышленно-торговой палаты в Кобе. Многочисленные толпы в молчании глядели на то, как Микимото в праздничном кимоно черного цвета сгребает лопатой 750 тысяч жемчужин стоимостью в 25 тысяч долларов и бросает их в огонь. Естественно, что дело здесь было также и в том, чтобы исключить из обращения на рынках товар низкого качества.

Микимото всегда был реалистом. Путешествовал он обычно вагонами третьего класса, считая не без оснований, что к конечной станции третий класс прибудет одновременно с первым. Реализм его проявился в еще большей мере, когда в 1945 году токийское радио сообщило народу о том, что война проиграна. Спустя некоторое время на письменном столе Короля жемчуга зазвонил телефон. Микимото предупредили о том, что американские машины направились в его владения. Микимото правильно понял предостережение. «Сейчас же принесите мне флаг»,— приказал верный слуга императора.

Кто-то из его окружения появился с великолепным флагом Восходящего солнца в руках. «Не зтот, болван! Поддай мне американский флаг!»— возопил образец патриотизма, член пала-

ты пэров и поставщик двора его императорского величества.

Когда звездно-полосатый флаг затрепетал на ветру, Король жемчуга спешно переоделся в парадное кимоно, чтобы достойно встретить одинокого американского сержанта, который появился перед его домом. Микимото уже перед воротами отдавал надлежащие почести пришельцу, ибо торгашеский патриотизм — вещь столь же гибкая, как колебания цен на рынке жемчуга. Американские генералы быстро пошли по пути одинокого сержанта, и остров скоро превратился в место паломничества высокоих чинов оккупационных войск. Прежние сотрудники начали возвращаться из плена, куда они попали после поражения императорской армии и флота, а девушки в белых нарядах снова начали нырять в очищенные от мин воды.

### Девушки в белом

Король жемчуга расстался с этим миром в возрасте 96 лет, оставив 54 потомка и огромную промышленность, он оставил по себе память в образе жемчужин, которые сияют на шеях миллионов женщин по всему свету. А когда хоронили Короля жемчуга, в процессии шагали дети, а в толпе указывали на шестиде-

сятилетнюю женщину, которая на протяжении 45 лет ныряла, отыскивая на дне океана жемчуг для Кокици Микимото.

Я побывал в Тоба. Мы вышли в открытое море, где вблизи небольшого островка, на котором стоит статуя богини — покровительницы ныряющих девушек; несмотря на морозную погоду, молодые девушки ныряли в поисках раковин моллюсков. Раковины эти привезли на остров Та-току, где им будет сделана операция, при помощи которой через четыре года смогут они сложить жизнь на алтаре фирмы Микимото. Так выслушайте же, пожалуйста, несколько подробностей об этой необычайной профессии!

Молодежь этих мест чувствует себя в волнах океана так же свободно, как и в маленьких бумажных домиках, в которых за раздвижными дверями имеются лишь разостланные на полу маты, плетенные из травы. Японцы считают, что объем легких и сопротивляемость холоду делает тамошних девушек значительно лучшими ныряльщиками, чем юношей. Я полагаю, что здесь еще имеет место и столь характерная для Японии тенденция взваливать на девушек такие тяжелые работы, которые в других странах выполняют исключительно мужчины. В японских отелях и по сегодняшний день только женщины носят багаж постояль-

цев, работают посыльными, то есть выполняют самую тяжелую работу.

Уже с очень давних времен японская поэзия прославляет девушек с юга, которые опускаются в морские глубины в поисках съедобных раковин или водорослей, составляющих обязательный ассортимент японской кухни. Постоянное общение с морем и в самом деле выработало у тамошних женщин необычайную силу и выносливость. Ороку Китакура — та самая женщина, которая шагала в похоронной процессии Короля жемчуга и для которого она сорок пять лет опускалась на морское дно, объясняет это так: «Мы, женщины-ныряльщицы, можем нырять постоянно, но, конечно, дыхание у нас бывает более коротким, и мы не можем слишком долго оставаться под водой во время беременности...»

Кокици Микимото обратил внимание на девушек, которые представляли собой столь дешевую рабочую силу и которые к тому же были великолепными ныряльщицами. Триста девушек были мобилизованы на помощь, когда «красная волна» в третий раз создала угрозу подводному царству моллюсков, принадлежащих господину Микимото. Триста девушек бросились в морские волны, чтобы спасти оказавшиеся в опасности раковины, собирая их в плетенные из бам-

бука корзинки. Плыли они быстро, их короткие тела быстро продвигались среди волн, направляемые ударами сильных и мускулистых рук. За ними двигались на лодках мужчины, которые принимали у них корзинки с жемчужными раковинами, доставляли их на берег, снова возвращались и снова гребли к берегу со своим драгоценным грузом. Двое суток девушки практически не выходили из моря, а когда моллюски оказались на берегу, то на песок прибрежного пляжа, совершенно обессиленные, выходили девушки, которые спасли имущество Короля жемчуга.

#### Ама и осьминоги

Обучение искусству ныряния начинается с детства, когда девушкам по 11—12 лет, а они уже ныряют ради заработков. Сначала на малых глубинах, а потом все глубже и глубже. Семнадцатилетние девушки могут уже отрывать моллюски от морского дна в течение двух-трех минут. Когда-то девушки ныряли совершенно голые, теперь у них имеются сшитые по мерке белые костюмы. Утверждают, что белый цвет якобы отпугивает акул, которые выходят на поиски добычи именно в тех местах, где люди ныряют в погоне за жемчугом. Однако акул не удалось переубедить теориями о белом цвете, не очень действуют на них

и благосклонность богини, красиво изваянной на приморском островке и призванной покровительствовать девушкам. В 1957 году акулы утащили в морские глубины двух девушек. Никто их уже больше не видел, и никогда больше они не вернутся в маленькие домики на пригорках вокруг Тоба. Море выбросило на берег только корзинки для раковин. Акулы не едят бамбуковые корзины, они предпочитают молодых девушек. Туристы не видели этой короткой драмы. Туристы наблюдают за тем, что происходит на берегу, куда пристают прогулочные пароходы. Господа с интересом присматриваются к тому, как вода обтекает костюм молодой девушки, и с интересом следят за тем, как тут же на их глазах прямо на берегу открывают ракушки и достают из них маленькие жемчужины. Туристы не ведают, что раковины эти были доставлены сюда еще предыдущим вечером, когда осмотр уже был закончен и нужно было подготовить следующую порцию сильных впечатлений, для следующей группы простаков. Туристы не знают, что девушки, ныряющие здесь у самого берега, не рискуют ничем, что их на несколько дней выделили из числа подруг, которые ныряют в открытом море, там, где можно встретить в глубине и настоящие жемчужные раковины и настоящую акулу.

В открытом море девушки, называемые здесь «ама», ныряют с небольшим балластом, привязанным к веревке. Они ныряют с лодок и веревкой подают сигнал, когда их следует вытащить на поверхность. В лодках они сбрасывают с себя костюмы и, дрожа от холода, прижимаются друг к другу, чтобы хоть как-нибудь согреться. Ныряют девушки и зимою. Они неохотно опускаются на дно, когда идет дождь или когда погода слишком пасмурная, потому что тогда видимость сильно уменьшается.

Дирекция фирмы Микимото предпочитает замужних женщин. Девицы более рассеянны, у них, помимо работы, есть и другие заботы — так утверждают господа, которые в хорошо отапливаемых современных зданиях на холмах Тоба руководят работой ныряльщиц. Они утверждают, что лучше всего ныряют женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Однако довольно странными бывают прихоти этих пролетариев моря. Они с неохотой опускаются в открытом море на дно с лодок, если в лодках этих на веслах не сидят их мужья. Мужчины в таких случаях следят за веревкой, этой связью между женщиной на дне и ее мужем в лодке. Женщины утверждают, что иногда сигналы, подаваемые ими со дна при помощи веревки, бывают настолько слабыми, что их не почувствует никто, кто не заинтересован всем

сердцем в судьбе той, которая на глубине многих метров под лодкой отрывает раковины от морского дна. Да, странные бывают женские прихоти...

Незабвенной памяти господин Микимото наказывал своим работникам вести суровый образ жизни. Всего только три дня в году разрешается на Жемчужном острове пить рисовое вино, курение же вообще было запрещено самым строжайшим образом. Когда же достопочтеннейший господин Кейго Кийоура, член императорского совета, появился там в 1910 году и кто-то из его свиты попросил у работников господина Микимото папиросу, в ответ ему раздался дружный взрыв хохота. Оказалось, что на целом острове нет ни единого заведения императорской табачной монополии.

Господин Микимото наказывал своим девушкам трудиться на протяжении целого года. Праздники и свободные от работы дни назначал он самолично. Таким образом, не ныряли 11-го числа каждого месяца — для празднования дня, когда была найдена первая полукруглая жемчужина, не ныряли 25-го каждого месяца, поскольку сам Король жемчуга родился 25-го. 18-го тоже не работали, поскольку следовало отметить дату отправки императорскому двору первой партии жемчуга. Все же остальные дни работа кипела. Работники Микимото должны были трудиться.

Девушки в белом не раз спасали имущество своего хлебодателя, а вернее сказать — рисодателя. Они боролись с «красной волной». Это они в 1911 году спасли Микимото еще от одной опасности. Хроники того времени вспоминают, что многотысячные орды осьминогов бросились в тот год на штурм подводных пастбищ Микимото. Море просто кишело их отвратительными телами, а покрытые буграми щупальца ловко открывали раковины и вытаскивали из них мясо моллюсков.

Встревоженный Микимото приказал расставить ловушки, но всех ловушек целой Японии не хватило бы для осьминогов, напавших

на моллюсков господина Микимото. Намного проще было выслать против них девушек с острогами. И снова целыми часами и днями до полного изнеможения юные девушки погружались с острогами в морские глубины. На дне шла суровая борьба, когда осьминоги пытались пробиться к лакомству, атакуя странные создания в белом, которые острыми жалами наносили им беспощадные удары. Битву эту девушки проиграли. Ведь у самой ловкой девушки из Тоба всего две руки, тогда как у осьминога их значительно больше...

Перевел с польского  
М. БРУХНОВ



## РАБЫ, КОТОРЫХ Я ВИДЕЛ

●  
Фолько  
куиличи



●  
На протяжении всего времени экспедиции я неустанно твержу себе: «Мы ищем караван рабов», — и все же никак не могу осознать смысла этих слов. Хотя именно за этим мы пустились в долгий путь через девять государств Черной Африки, южнее

Сахары. С этой целью мы упрямо облетаем 4000-километровую кромку пустыни, высматривая следы работоргового каравана. Теперь наш крохотный военный самолет барражирует район, где, по утверждению властей африканских республик Чад и Камерун, подобная встреча возможна.

Здесь, через пустынную зону на стыке Чада и Судана, проходят караванные тропы, ведущие из глубины Черной Африки к Красному морю, а оттуда — в Саудовскую Аравию, на крупнейший из ныне существующих рынков работорговли.

— Хотя в 1962 году Аравия официально отменила рабство, положение мало изменилось. Вот почему специальные пограничные отряды разыскивают и перехватывают работорговые караваны.

— И часто это случается?

— Увы, нет... Нас всего горстка, снаряжение не ахти какое, патрулировать приходится огромную зону...

Мы с Лаурой, моей женой, занимаем летчика. Несколько часов лёта дают представление о безбрежности плоского отчаяния пустыни.

Наконец под нами горы Эннеди: граница с Суданом. Эрозия и засуха сообщают нагромождению этот циклопический пейзаж — мешанину из торчащих пиков, гигантских арок и странных каменных мумий.

Наутро мы выехали на поиски в специальном автофургончике.

Выщербленная дорога змеилась вдоль долин, а горы над головой впечатывали в небо свои огненно-красные силуэты. Скалы сопротивляются эрозии, одеваясь в окись железа, до удивления похожую местами на ржавчину. Здесь проходит граница.

Военные, что летели со мной в самолете, а сейчас сгрудились в кузове автофургона, — французы: у Чада пока не хватает специальных частей для подобных операций. Поэтому французское правительство выделило в распоряжение местных властей добровольцев, прошедших специальную подготовку применительно к трудным условиям таких глухих, заброшенных зон.

Вчера летчики-наблюдатели засекли возле колодца Гуруан караван, идущий к Судану. Мы немедленно едем к колодцу.

— Это единственный источник в округе километров на триста, — объясняет мне офицер. — Все караваны, идущие из Чада в Судан, должны остановиться и взять там воду. Если караван по дороге к источнику обходит Фада, не завернув к нам для досмотра, значит там что-то не чисто.

За восемь часов мы с трудом преодолели 76 километров горной дороги. Когда мы добрались до места, караван еще запасался водой; источник течет меж узких стен ущелья, настолько глубокого, что солнце почти не проникает сюда.

При нашем приближении караванчики, не обращая на нас внимания, продолжают заниматься своим делом. Солдаты контрольной группы прохаживаются между верблюдами, тюками и ящиками. Они подчеркнуто безоружны, но карабины лежат наготове в машине. Солдаты действуют точно так же, как таможенники в поисках контрабанды, с той лишь разницей, что контрабандный товар здесь не сигареты, а живые люди.

Так проходит часа два, вдруг проводник окликает нас: кажется, он что-то обнаружил. Бросаемся на зов; караванчики, однако, сохраняют на лицах бесстрастную маску и остаются возле поклажи.

Проводник показывает нам на пещеру, где в темноте вырисовывается сваленная гора тюков. У входа на земле сидит караванщик с копьем в руке; кажется, его совершенно не интересует наше присутствие.

— Взгляните-ка на тюки, — говорит проводник.

Один из солдат подходит и поднимает джутовую мешковину: под ней ничком на песке лежат мальчики! Детей охватывает такой ужас, что они вскакивают на ноги и в страхе разбегаются в разные стороны. Под соседней циновкой мы обнаруживаем девочек-подростков и совсем маленьких девочек, очень хорошеньких и еще более перепуганных, чем мальчики. Их бьет такая дрожь, что они не в силах ни бежать, ни кричать.

Они смотрят на нас безумными от страха глазами, смирившись со своей участью.

Мы потрясены. Но — фантастическая вещь! — караванщики невозмутимо объясняют:

— Ребятишки спрятались сами. Это вы напугали их, когда примчались сюда на своей машине.

— А кто же связал их?

Действительно, у большинства детей кисти рук скованы тонкими цепями. Но и этот вопрос нисколько не смущает наших собеседников. Они передают через переводчика:

— Многие подростки не желают работать и убегают на стоянках от каравана, не зная, что их ждет смерть в песках от жажды. И вот если мы видим, что кто-то собирается бежать, мы его наказываем. А самым строптивым надеваем цепи.

Если верить караванщикам, перед нами не тайный груз живого товара, а кучка наказанных проказников.

Разговор в таком тоне может продолжаться часами.

— Ладно, — прерывает офицер. — Старший караванщик поедет с нами на базу для проверки документов.

Тем не менее, чтобы установить истину, понадобятся еще сотни допросов и показаний, бесконечные переговоры, и возможно, даже процесс в центре провинции или в столице.

Следствию легко будет устано-

вить, что ребенок не приходится родственником ни одному караванщику. Однако заставить говорить юного пленника или пленницу почти невозможно, ибо стражи пригрозили им страшными карами. Если удастся найти семью узника, она, разумеется, потребует, чтобы ребенка вернули ей назад... на что власти с недавнего времени идут не очень охотно. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев родители сами продают одного из своих многочисленных отпрысков и хотят остаться «честными» в торге, боясь, как бы перекупщик не пришел требовать назад уплаченное. Вот что объясняет мне офицер:

— Эти люди самым искренним образом верят, что ведут честный торг, несправедливо поставленный вне закона недавними указами. Родители тешут себя мыслью, что, продав ребенка, они обеспечивают ему сытую жизнь; торговцы же твердят, что сполна заплатили за купленный товар. Нам случилось вновь сталкиваться с мальчиками и девочками, обнаруженными в тайных работорговых караванах: их возвращали в родные семьи, а те «помещали» детей в гарем или в свиту окрестных князьков. Поэтому сейчас после процесса детей отправляют в школы-интернаты, часто далеко в глубь страны.

Вскоре мне довелось присутствовать на одном из таких про-

цессов в Нигерии. Подсудимый обвинялся в торговле людьми, точнее — в продаже четырех мальчиков в возрасте до десяти лет. Обвиняемый выбрал простую и непроверяемо логичную систему защиты:

— Вы знаете, что я не виновен, — твердит он. — За этих четырех ребят я заплатил сполна, сколько было уговорено. Я ни у кого ничего не украл. За что меня судят? Я честный коммерсант, спросите у любого человека в округе...

За окном толпятся лагосские небоскребы. Телевизор в отеле показывает две местные программы. Весь город усеян новостройками. Но рабство, хотя и сурово преследуется по закону, нельзя ликвидировать единым махом, как сияют бульдозером старые лагуги.

Судья-африканец, несмотря на 45-градусную жару, стоически облачился в тяжелый белый парик, букли которого обрамляют черное лицо чистокровного йоруба: парики XVII века — британские, как и юриспруденция. Я смотрю на него в видоискатель кинокамеры и с удивлением констатирую, что он ведет это дело как самый рядовой случай. Увы, так оно и есть. За несколько недель, что я провел в нигерийской столице, там разбиралось около десятка подобных дел. В одном случае это был лесоторговец, продавший жеиу, чтобы распла-

титься с долгами. Местные газеты, освещая процесс, просили читателей высказать свое мнение. На другом процессе фигурировал иначальник полиции одного из округов: его обвинили в том, что он купил трех рабов — двух мужчин и одну женщину.

Поиски работорговых караванов, лагосские процессы, первые документы моего досье выявили два аспекта рабства в наши дни. С одной стороны, это внутренняя проблема: покупка и продажа полиоправных граждан обоих полов. С другой стороны, это международная акция, где речь идет о перепродаже людей на рынки богатых нефтеисных государств Среднего Востока.

И сразу же я был сражен одним выводом: в обеих этих формах нынешнее рабство в известной степени добровольно.

Мы все представляем себе рабство в том виде, как оно описывалось в прошлом веке: бесконечные вереницы закованных в цепи мужчины и женщины, которых загоняют кнутом в трюмы невольничьих кораблей. Сейчас все выглядит иначе. После поездки по Черной Африке я убедился, что зачастую те, кто живет на положении рабов, сами выбрали этот образ жизни.

Типичный пример тому — пастухи фульбе. Они живут в сахеле, широкой степной полосе между Сахарой и Черной Африкой. Десять месяцев в году земля здесь



иссыхает до желтизны и лишь с августа по сентябрь, в короткий период дождей, покрывается изумрудной травой. Именно в это время разбросанные группы кочевников фульбе собираются в определенных традицией местах, чтобы избрать вождей, отпраздновать свадьбы и предложить свою службу хозяевам-арабам.

Ибо фульбе, народ пастухов, не владеет скотом. Те стада, что они перегоняют с пастбища на пастбище, принадлежат торговцам-арабам, и, чтобы их взяли в пастухи, фульбе должны в сезон «зеленых трав» показать, на что они способны. Арабы доверяют свои стада лишь тем, кто докажет, что сможет защитить их от любого покусителя. Избранные будут жить в полном рабстве — до такой степени, что хозяин может заставить их заплатить собственной жизнью за неисполнение обязанностей. Но попасть в рабы — значит обеспечить себя хлебом насушим...

К тому же фульбе с незапамятных времен привыкли жить в рабстве. На протяжении веков их мирный пастушечий нрав снижал им самую высокую репутацию среди торговцев живым товаром. Но раньше их захватывали и уводили в неволю летучие кавалерийские отряды. Теперь они сами предлагают себя.

Обряд испытания мужества у фульбе называется «шаро». Мне выдался случай присутствовать на

нем в одном местечке к северу от Зиндера, в Нигере. Церемония, как всегда, происходила среди бела дня перед сотнями собравшихся. Она началась песней, напоминающей древние стенания, под резкий дрожащий аккомпанемент флейты. Мелодию внезапно обрывает рокот тамтамов. Вождь фульбе подает сигнал к началу испытаний. В первых рядах зрителей стоят с бесстрастными лицами приехавшие верхом торговцы-арабы.

Меня предупредили, что будет дальше; я знал обо всех подробностях традиционного испытания.

— Бывает, что юноши умирают на месте, если слишком сильный удар отбивает у них печень. Причем самые садистские зрители — женщины. Все происходящее доставляет им безумную радость, они подзадоривают слабых духом держаться крепче.

И вот фульбе передо мной. Их черные тела покрыты рубцами и шрамами — это «сувеиры» от предыдущих соревнований. Вождь говорит мне с улыбкой:

— Чем больше у парня рубцов, тем больше у него шансов на благоклонность со стороны хозяев... и наших девушек.

Шестеро против шестерых, две группы юношей выстроились друг против друга. Они держатся за руки и глядят друг другу в глаза. В свободной руке каждый держит перевитый узлами прут и машет им в такт псалму.

Вокруг тесно встали женщины. Первые юноши из каждого ряда входят в круг. Пока первый уверяет палкой расстояние до тела соперника, тот поднимает руки, готовясь принять удар. Толпа продолжает тянуть монотонную песню. Тот, кто должен бить первым, делает несколько обманных движений, проверяя выдержку соперника. По традиции, он должен стоять не двигаясь, улыбаться и петь, несмотря на страх и боль.

Удар падает резко, неожиданное место удара из черного становится на мгновение белым, потом вспухает багровой полосой. Раненый юноша продолжает улыбаться, хотя на лице его крупными каплями выступил пот, выдавая боль. Старый флейтист подходит и вытирает ему лоб заботливым, почти отцовским жестом.

Удары сыплются все сильнее и сильнее. Богатые арабы рассеянно глядят на происходящее, стараясь отобрать наиболее стойких парней. Время от времени, выдержав особенно резкий удар, кандидат падает на колени и протягивает к ним руки, как бы говоря: «Возьмите меня, вы же видели, как я храбр и силен».

Час за часом фульбе обмениваются ударами — те сыплются все хлестче, все больнее; все так же покорно звучат песни, так же растягиваются в улыбке рты, а ритмические движения следуют

сами по себе, будто это танец, а не вызов боли. Даже забываешь о свирепости соревнования. Однако не следует поддаваться скороспелому суждению: их, дескать, влечет наследственная страсть в грубой силе и жестокости. Скорее соглашаешься с толкованием «шаро», которое дают сами вожди фульбе:

— Наше испытание — не только демонстрация храбрости перед богатыми нанимателями. Ритуальные движения соперников, их построение — все это имитирует долгий путь невольничьего каравана. Вереницы напоминают колонны наших предков, уведенных в рабство далеко от земли зеленых трав, а удары — память об истязаниях работоторговцев. Улыбка — это вызов, это наша победа над жестокостью.

Вот что означает улыбка фульбе: «Вы покорили нас, вы сильнее нас, и мы предлагаем себя в рабы. Но хотя вы владеете нашими телами, пленив их, дух наш был и останется свободным. Даже самая сильная боль не согнет нас. Вы можете заковать нас в цепи, увезти за тридевять земель и поселить на тысячу лет среди враждебных народов, но мы никогда не знаем страха».

Этот контраст гордости и унижения, взлета мужества и полного смирения — один из ключей, помогающих понять, почему в Африке все еще существует рабство; это позволяет увидеть, как

нищета и голод вынуждают сильных и мужественных людей молить торговцев взять их в рабы.

Подобный же контраст мне довелось наблюдать в другом районе Африки, где я столкнулся с абсолютно иной формой рабства. Это было на севере Камеруна, в массиве Адамуа, на плато Капсики, где живут кирди, народ отчаянной смелости и гордости, враждебный всякой форме порабощения. И тем не менее эти люди без тени возмущения принимают традицию, по которой все женщины племени, когда подходит срок, попадают в гарем вождя.

Кирди ходят совершенно обнаженными. Они отказываются надевать на себя даже набедренные повязки. Но с недавнего времени им запрещено спускаться в таком виде в долину или заходить в чужие поселки. Власти не желают больше видеть голых кирдов на дорогах: они рискуют извратить представление о стране и вызвать у иностранцев ложное впечатление, будто Камерун отстал на целый век от современной Африки. Пусть кирди одеваются, как все, или сидят безвылазно в своих горах!

Кирди выбрали второе. Так что тому, кто захочет увидеть их, придется поступить как нам: оставить внизу «джип», найти проводника и карабкаться по скалистым уступам Адамуа, а это не так просто, как кажется, осо-

беино в нескольких градусах от экватора.

Деревни строились так высоко из стратегических соображений. Когда-то кирди были полиовластные хозяева этих мест и жили в долинах. Однако под натиском новых пришельцев и в результате набегов арабской конницы, угонявшей их в рабство, кирдам пришлось уйти в горы. Они построили свои деревни в самых недоступных для конницы местах, укрепили их и принялись возделывать землю с тем же упорством и настойчивостью, что и в долинах. Веками кирди носили из долины наверх «украденную» землю, аккуратно раскладывали и разрыхляли ее. В результате им удалось превратить безводный и враждебный человеку мир в плодородный край.

В деревне Уджла проводник представляет нас вождю, осуществляющему здесь духовную и гражданскую власть. Мы приготовились к неосторожному, даже враждебному приему со стороны горцев. Но кирди остались «людьми долины» — живыми, общительными. Глава деревни встречает нас на пороге своего «дворца», любезно позволяет снимать. Мы смотрим на него с некоторым смущением: он представитель власти, и поэтому единственный ходит в одежде, а здесь это выглядит так же дико, как у нас голый человек, идущий по улице города.



На третий день нашего пребывания вождь позволил осмотреть и даже сфотографировать его гарем. Это позволило нам познакомиться, пожалуй, с наиболее любопытной формой полигамии, существующей ныне в Африке.

Изнутри гарем — саре — выглядит как маленькая оштукатуренная башенками средневековая крепость.

Саре главы деревни состоит из доброй сотни глиняных слепосных башен пятишестиметровой высоты, так что двор похож на громадную плантацию шампиньонов. Внутри этих «грибов» — груды проса.

Мы продвигаемся почти в темноте, настолько плотно башни лепятся друг к другу. Только когда глаза привыкают к сумраку, мы видим, что эти слепосные башни обитаемы. В каждой проделано отверстие, оно служит одновременно окном и дверью, ведущей в крохотную темную «комнату». И в глубине каждого логова мы различаем пристально следящие за нами глаза — напуганные и любопытные глаза супруги вождя.

Когда мы приходим в себя от удивления, проводник разъясняет нам структуру саре:

— Жители обязаны отдавать вождю всех женщин брачного возраста, то есть старше одиннадцати лет. Они должны также приносить ему весь урожай проса. Каждая девушка становится

таким образом на год-два супругой вождя, а одновременно управительницей просяного хранилища. Сколько башен в саре — столько и жен. Чтобы лучше справляться с обязанностями, женщины живут прямо внутри хранилища, у них там цинковка и каменный очаг, где они готовят пищу. Таким образом, саре не только большой гарем, но и богатый амбар. Если кто-то хочет жениться, вождь дает ему одну из жен и запас проса.

Как раз это и удивительно: вождь не оставляет себе жен, а беспрерывно обновляет их. Едва взяв в гарем женщину, он уже подбирает ей законного супруга. И если в других гаремах живут бок о бок молоденькие девушки и пожилые женщины, эта система позволяет вождю кирди обходиться без старых жен. В общем его саре — несколько затянувшееся право первой ночи над женщинами целого народа, во всем остальном дорожающего своей гордостью и достоинством.

Рабское положение женщин саре никогда не вызывало у них протеста. Даже то, что дети, родившиеся в гареме, остаются ответственностью вождя, который волен располагать ими по своему усмотрению и иногда обменивает или продает их. Напротив, кирди считают, что саре спланирует общину. Сам вождь говорил нам об этом так:

— Женщина проводит у меня в саре год-другой и уходит, научившись хорошим манерам, получив образование, даже умея считать. Ее новому мужу достается прекрасная супруга вместо неумелой девочки, и он благодарен за это мне.

Вождь говорит это как вещь само собой разумеющуюся, без тени бахвальства. Он просит задержаться на день с отъездом, чтобы показать церемонию посвящения в супруги.

На площадь перед сарей выходит весь гарем. Женщины становятся в круг и танцуют, потрясая серпами, которыми живут проса — это символ богатства. По сигналу барабанищика женщины прерывают танец и, сбившись в круг, подходят к главе деревни. Новый удар тамтама, и группа распадается, оставив на песке площади какую-то грудку тряпья. Вождь поднимается со своего места, подходит и отбрасывает тряпки в сторону: на земле остается дрожащее, сжавшееся в комок тело женщины, почти ребенка, новой жены.

Вновь бешеным ритмом врывается музыка, и юную кирди ведут в сарей. Кто-то из женщин подает ей чашку, сделанную из тыквы-калебаса: она будет служить мерой для проса; другая женщина указывает ей на сплоскую башню, где девочке предстоит проходить практику жены-рабыни и домоправительницы...

Мир кирдов кажется совершенно не реальным, когда попадаешь в большие центры южной Африки. Особенно это чувствуется в городах Дагомеи и Нигерии, куда мы отправились сразу же после посещения страны горцев. Однако там, в центре нигерийской столицы, в одном из бесчисленных ночных заведений Лагоса, мы впервые услышали про девушек-крокодилов. Вот они: мы смотрим на них, не в силах что-либо понять. Пока мы про них знаем лишь следующее:

— Это девушки-крокодилы. Попадают сюда в основном из свайных деревень йоруба, из глухой провинции. Они рабыни.

Больше пока не удастся узнать ничего. Разглядываем молоденьких герлс заведения: одеты в единую «форму» — нарядное платье стиля «для загородных приемов», на голове большие крахмальные кисейные баиты; в ушах и на шее броские бутафорские украшения. Они смеются и подпевают джазу. Ничто в их поведении не напоминает об их странном наименовании, вызывающем в представлении образы изуродованных женщин с продырявленными губами и мочками ушей. Маленькие лагосские герлс, все как на подбор, хорошие, с тонкими чертами лица, наивными и добрыми улыбками. Они здесь недавно, говорят нам. Не в силах пока разгадать

их тайну, мы снимаем девушек на пленку.

Прошло много дней, прежде чем мы узнали то, что было неизвестно самим девушкам: как они очутились здесь, в кабаре столицы. Их история тесно переплеталась с легендой о таинственных «людях-крокодилах». Но все прояснилось, лишь когда мы сами добрались до свайных деревень в районе больших лагун.

Отделенные от Атлантики длинным языком земли, лагуны растянулись на сотни квадратных километров, образуя лабиринты узких каналов, протоков и озер вдоль границы между Нигерией и Дагомеей. Долгий путь привел нас в Ганиве, самый крупный и самый красивый из свайных городков Африки. Здесь в хижинах на высоких «ногах» живет двадцать пять тысяч человек.

Дорогой я узнал, что в этих краях люди-крокодилы считаются хранителями душ верховных вождей, которые после смерти вселяются в самого сильного и опасного зверя округи — крокодила.

Возле деревни Себу я видел крокодилов, приученных ежедневно получать из рук мальчиков пищу, которой жители деревни потчуют своих предков: по цыпленку на крокодила. Один из ребятшек в Себу серьезно объяснил мне, указывая на застывшее в двух шагах чудовище:

— Это мой дедушка. Он умер и стал человеком-крокодилом.

— Но который из них твой дедушка? Их здесь много.

Действительно, едва мальчик вытащил из корзины живого цыпленка, и тот начал отчаянно пищать и махать крылышками, к берегу подползли, раскрыв пасть, еще несколько крокодилов.

— Вот он, мой дедушка, — без колебаний показал мальчик. Накормив родственника, мальчик стал преспокойно играть с ним: схватил за хвост и начал таскать взад и вперед по пляжу.

При подобных отношениях между людьми и животными не удивительно, что отдельные лица в Дагомее и Нигерии слынут за родственников священных крокодилов. Они даже создали свое тайное общество, некое подобие «мафии» и, используя свою оккультную власть, взимают с племен дань. Они-то и занимаются бизнесом по купле-продаже девушек, чью тайну я раскрыл в Ганиве.

Йоруба издавние ценятся перекупщиками живого товара как один из самых красивых и самых покладистых народов в Черной Африке. Девушек-йоруба привозят в город по контракту между сектой людей-крокодилов и беднейшими семьями Ганиве. Нищета, голод и несметное число детей толкают многих родителей на то, чтобы отделаться от девочек — они меньше мальчиков приспособлены к работе в лагунах.

Самые хорошенькие уже в нежном возрасте привлекают внимание торговцев, которые покупают их за четыре-пять фунтов стерлингов. Сделка всегда заключается ночью. Наутро девочка исчезает, остается лишь сохранить приличия. И родители бросаются рассказывать всем:

— Этой ночью наша дочь соединилась с предками! Она упала в воду, и ее растерзал священный крокодил.

Семья привязывает у входа в хижину деревянный фетиш — символ крокодила. После этого родители не только не стыдятся продажи своего ребенка, но становятся «отмеченными» лестным вниманием.

А увезенная в город девушка знает одно: если она возвратится в деревню, то навлечет на своих близких самые страшные несчастья, ибо ее привез сюда человек — крокодил, которого нельзя слушаться, не рискуя жизнью. Так девушка оказывается связанной душой и телом со своим хозяином, а тот prostituteирует ее, использует как приманку в кабаре или перепродает.

Всякая попытка прекратить эту торговлю извне оказывалась тщетной. Слишком сильно суеверие, привязывавшее жертву к эксплуататору. В этих условиях практически невозможно вести ни суд, ни следствие. Хотя все в Котону и в Лагосе знают, каким путем

появляются в городе девушки-крокодилы...

Каждый шаг в раскрепощенной женщины дается с большим трудом, особенно в странах, где правительствам еще не удалось покончить с практикой купли-продажи женщин под маской «свадебного выкупа».

Я видел в Чаде собственными глазами, как жену покупали за несколько больших кубов соли. В Камеруне и других местах ее оценивали в определенное число домашних животных. В деревне Уагау в Верхней Вольте мы смогли заснять сцену продажи совсем маленькой девочки за грудку пустых бутылок, которые очень ценятся в тамошних пустынных районах. А в Кано, в Нигерии, нам встретилась женщина, пытавшаяся бежать от мужа назад в родную деревню: с тех пор муж посылал ее на рынок, сковав перед этим ноги железным прутком. Он позволял ей обернуть тряпками лодыжки в тех местах, где железо натирало кожу. Никто на дороге даже не оборачивался ей вслед...

Среди моих спутников и знакомых нашлись люди, бывшие свидетелями подобных сцен.

В Томбукту лорд Робин Мозм, англичанин, собиравший по заданию ООН материалы по работорговле, смог купить двух девушек и одного подростка по 250 фунтов за каждого.



По данным ООН, в мире сейчас насчитывается около 12 миллионов рабов. Крупнейший рынок их находится в Мекке, где цены колеблются от 120 до 500 франков в зависимости от возраста, веса и физической силы раба. В отдельных случаях цена очень высока, например на светлых детей-метисов. Однако вмешательство ООН в эту область дало не больше результатов, чем все предыдущие международные соглашения, начиная с Брюссельского акта 2 апреля 1892 года, согласно которому Франция, Бельгия, Англия и Германия обязывались ликвидировать торговлю неграми на контролируемых ими территориях. Сегодняшние африканские государства справедливо опасаются вмешательства иностранных держав в свои внутренние дела, но сами пока не в силах покончить с нынешним положением вещей.

Как, скажем, бороться с торговлей людьми во время больших паломничеств в Мекку? Я присутствовал при впечатляющих сценах отъезда в святые места в мае месяце — как раз тогда наступает самое подходящее время для того, чтобы обрести прощение за грехи целой жизни. Все авиакомпании организуют в это время специальные рейсы для многих тысяч паломников.

Так вот, подсчитано, что с 1950 по 1960 год из Аравии не вернулось более трехсот тысяч палом-

ников обоих полов, и с тех пор пропорция «пропавших без вести», то есть не подающих вестей оставшимся в Африке семьям, не уменьшилась. Конечно, не все пропавшие стали рабами, но абсолютно точно известно — и это признает даже правительство Саудовской Аравии, — что подобная участь постигла большую часть из них.

Я узнал, что с недавнего времени излюбленный метод торговцев живым товаром — выдавать себя за мусульманских миссионеров, организующих для целой семьи паломничество в Мекку. Условия оплаты поездки остаются в тайне. Но по приезде в Мекку торговцы требуют, чтобы им отдали детей в залог уплаты за обратные билеты. Многие из этих ловкачей продают таким образом целые семьи, которые оказываются не в силах расплатиться с кредиторами.

Кроме того, некоторые родители в Аравии сами продают своих детей! Торговля эта стала настолько частой, что сей способ получил наименование «человеческого аккредитива». Глава семьи годами экономит, чтобы скопить денег на паломничество в Мекку. В большинстве случаев сбережений не хватает на поездку самолетом туда и обратно для всей семьи. Но отец знает, где взять деньги на пребывание в Мекке и на обратный путь: он без труда сможет продать на ме-

сте дочь, сына или даже жену... Вернувшись, он заявит властям о смерти или исчезновении одного из членов семьи. В одном только Форт-Лами, столице Чада, ежегодно регистрируют больше двух тысяч подобных случаев.

Глядя на паломников, теснившихся у трапа самолета, летчик говорил мне;

— Основные дела обделываются не в самой Мекке, а в Эр-Рияде или в порту Джидда. Отмена рабства в Аравии взвинтила цены похлестче, чем нефтяной бум. Там легко дадут пять тысяч франков за девочку-подростка тринадцати-шестнадцати лет и две тысячи франков за взрослого мужчину. А цена на мальчика-африканца, кастрированного в младенчестве и специально обученного, чтобы стать стражем в гареме, достигает двадцати тысяч франков. В Африке это знают, и в некоторых местах семьи сами тайком производят операцию над последним отрпыском многочисленного потомства. Затем они ищут контакта с перекупщиками, но по большей части сами продают ребенка во время паломничества в Мекку.

Бывает, что хозяева хорошо относятся к купленным рабам. Султан Омана даже платит своим рабам зарплату и предоставляет им уикэнд. Но это исключение. Только телохранители и шоферы находятся в привилеги-

рованном положении. Кое-кто из них даже дослуживается до должности секретаря или управляющего. Наложницы из гарема, родив ребенка, становятся в некоторых случаях полноправными супругами и иногда их даже отпускают на волю. Однако всякая попытка к бегству карается смертью.

Хитрость пришла на смену силе, но, по существу, мало что изменилось с тех времен, как португальские корабли-работоторговцы бросали якорь у берегов Западной Африки для массовой закупки живого товара. До конца прошлого века их верными «компаньонами» оставались несколько дагомейских князьков: они систематически совершали набеги на более слабые племена в глубине страны и гнали колонны закованных в цепи пленников к побережью.

Я встретился с последним представителем одной из работоторговых династий — с королем Тогнии. У него не осталось никакой политической власти, но он по-прежнему живет со своими сорока женами в своем дворце в Абомее. Две детали поражают при первом взгляде на этого насупленного грузного человека: плоть с изукрашенной рукояткой — символ власти, унаследованной от предков, и укрепленный под носом странный серебряный наморд-

ник. Когда он говорит, намордник придает голосу какой-то гнусавый, потусторонний, нечеловеческий тембр. В этом-то и есть его назначение: показать что суверен Абомея воплощает в себе души предков и посему говорит замогильным голосом. Правда, король надевает намордник только во время официальных церемоний или для приема почетных визитеров.

Я не без осторожности завожу с ним разговор о вековой торговле людьми. Но предмет разговора нисколько не смущает хозяина. Наоборот, он рассуждает о нем с гордостью: ведь работорговля создала могущество его династии. Он сам предлагает повезти нас на берег моря, туда, где пленников в свое время грузили в трюмы невольничьих кораблей.

Однако на пляже мы попадаем на непредусмотренную королем Тонгии церемонию — воскресную службу «небесных христиан» — протестантской секты, распространенной на западном побережье Черной Африки. Каждое воскресенье «небесные христиане» приходят длинными вереницами на берег молиться за увезенных в неволю братьев, чьи страдания воплощают для них хождение по мукам. Держа в руке пустую бутылку, они входят в воду, становятся на колени и под грохот волн поют свои псалмы. Затем каждый наполняет свою бутылочку морской водой, относит ее на берег,

крестит и проникновенно отпивает глоток. Они будут отпивать так по глотку каждый день до следующего воскресенья.

— В воде океана растворены слезы наших братьев, увезенных в рабство. Она священна для нас, и, глотая ее, мы соединяемся с душами тех, кто уже никогда не вернется.

Те, кто уже никогда не вернется... Вот что писал о них англичанин Дин, тот самый, который в 1886 году выступил в Конго против главного местного работорговца, знаменитого Типпо-Типа, полунегра, полуараба:

«Тропа усеяна человеческими костями и черепами. За несколько дней мы встретили три каравана с небольшим грузом слоновой кости и многие сотни рабов, скованных по десять-двадцать человек железным ошейником и тяжкими цепями. Самых слабых, женщин и детей, коим побег был невозможен, связывали веревками. Те, кто подлежал особому надзору, были в рогатине. Невозможно даже приблизительно описать ужасное состояние этих людей: руки и лодыжки у них были содраны до мяса, взгляд остановившийся, голова опущена; они шли навстречу неведомому будущему на запад, далеко от родимых краев, оторванные от своих жен и детей, отцов и матерей... Едва четверть этих несчастных доходила до берега. Здесь их продавали на вы-



воз или для использования на плантациях. Большие гачиенды внутри континента, такие, как Удики и Табора, известные своим крайне вредоносным климатом, нуждаются в большом количестве рабов, ибо раб, поставленный там на работы, не проживает и года».

Вплоть до начала гражданской войны в Америке Типпо-Тип торговал с плантаторами хлопководческих штатов юга США.

Ни одна общественная организация, ни одна политическая партия современной Африки не выступает прямо или косвенно в поддержку рабства. Но фактически в глубине континента местные князьки и султаны беспрепятственно держат рабов.

Султан Зиндера, в Нигерии, принял нас во дворце и даже разрешил снять на пленку жен его гарема.

Первое удивление: обилие детей во дворах и коридорах. Султан, царственно облаченный в белые расшитые золотом одежды, раздавал улыбки направо и налево, гладил детишек по головке. Я поинтересовался, как он запоминает дорогу в этом умопомрачительном лабиринте.

— Мой дворец строился долго и без всякого плана, — объясняет он. — Комнаты, дворы, коридоры множатся по мере того, как растет число моих жен. Сейчас их девяносто, молодых и в возрасте.

Он колеблется немного и добавляет с улыбкой:

— Мне и самому случается заблудиться, как пройти из одного помещения в другое. Что же делать арабским принципам, у которых по двести-триста жен и по тысяче комнат? Право, не представляю...

Этот приветливый мужчина лет пятидесяти — восторженный сторонник нынешних реформ. Именно поэтому он очень популярен в своих краях. Но хотя он и поддерживает все нововведения властей с момента обретения страной независимости, остается один пункт, в котором он непреклонен: ликвидация полигамии.

Перед тем как повести нас в свой гарем, он непременно пожелал высказаться по этому поводу. Вообще посещение гарема было каким-то чудом, мы были первыми, кто когда-либо получал разрешение снимать семейную обитель мусульманского владыки. Чем мы были обязаны такой чести? Европейцы, живущие в Зиндере, в один голос уверили меня, что нас допустили лишь потому, что я был с женой, а наш оператор был совсем седой и выглядел явно за шестьдесят.

Но вначале нам предстояло выслушать лекцию султана.

— Вы должны понять, — начал он торжественно, — что полигамия освящена традицией. Ее нельзя отменить или ликвидиро-

вать, ибо ее завещал нам пророк. Эта традиция стала важнейшим социальным фактором, приобрела гуманный смысл. Ибо если вы обратитесь сейчас к нашему народу и скажете: «Отвергните всех остальных жён, а себе оставьте одну», что ждёт отвергнутых? Пожилым уже не найти себе другого мужа, а молодые не смогут вернуться назад, в семью. Что же тогда? Первые умрут с голода, вторые будут вынуждены продавать себя...

Я осмеливаюсь задать ему вопрос, который так и вертится у меня на языке:

— Где и как находите вы жён для своего гарема?

Мой вопрос кажется ему вполне естественным.

— Большинство происходит из наиболее бедных и многодетных семей. Другие — из богатых и знатных фамилий. Для тех и других большая честь, что их дочь берут в гарем султана. Все знают, что их ждёт спокойная, сытая жизнь.

Я все же настаиваю:

— Но бедные семьи продают своих дочерей?

— Это не продажа! — быстро парирует он. — Это уплата приданого. Ведь даже у вас, в Европе, новобрачным дают приданое, не так ли?

Лучше не спорить. Дискуссия прекращается. Султан с широкой улыбкой отворяет двери в запретиую часть дворца. Идя впе-

реди, он величественно машет длинным, украшенным серебром жезлом и по очереди представляет нам жён.

— Здесь не только мои жёны, — уточняет он. — Здесь также супруги моих братьев и близких умерших родственников. Каждый мусульманин должен взять на себя заботу об оставшихся одинокими жёнах родственников. Пожилые присматривают за молодыми, и все вместе смотрят за детьми — радостью дома.

Действительно, за нами увязалась добрая сотня весело щебечущих ребятишек. Мы идем толпой к конечной цели нашего визита — во двор самой молодой и любимой жены султана. Это, кстати, единственная женщина в гареме, которую он нам не представил. Султан ограничивается тем, что показывает нам ее дом, скрытый в глубине цветущего сада. Зато пленница могла вдоволь полюбоваться нами сквозь окна дома.

Султан останавливается, как бы ожидая чего-то. Детишки рассаживаются вокруг и начинают распевать, сначала тихонько, а потом во все горло: «Варри-гида... Варри-гида...» Песня состоит из двух слов. Когда пронзительные голосочки смолкают, из сумрака окошка вырывается смех. «Варри-гида» — песенка состоит из имени любимой жены султана.

А имя означает на местном диалекте «Благоухание дома».

Наш визит прошел без инцидентов, мы были как нельзя более скромны и корректны. Поэтому вслед за султаном вождь пастушьей общины Зиндера раскрыл перед нами дверь своего гарема.

Здесь после долгой церемонии представлений и знакомств нас ждал сюрприз: у вождя оказались сразу три фаворитки. Вождь показывал их нам с такой же гордостью, с какой коллекционер демонстрирует редкие экземпляры своей коллекции. Женщины сидят на ковре в ярких одеждах, похожие на витрину ювелирного магазина — столько на них тяжелых коле, браслетов, бус, заколок, серег и амулетов матового серебра. В глаза сразу бросается серебряный крест с отверстием посередине — мы тотчас же узнаем талисман, виденный в свое время в одной из самых знатных туарегских семей Агадеса.

Да, все три фаворитки вождя из племени туарегов. Жены встречают нас безжизненным, каким-то отсутствующим взглядом, и выражение их лиц не меняется даже тогда, когда мы их фотографируем. Может, оттого, что лица густо накрашены желтой помадой, а вокруг глаз и на носу нарисованы красные и синие арабески?.. Мы подносим камеру почти вплотную. Но глаза женщин все так же смотрят в пространство.

Правда, теперь они улыбаются, но какой-то вымученной улыбкой.

Польщенный нашим интересом, их муж и хозяин говорит нам с помощью переводчика:

— Я люблю их не только потому, что они красивы, но и потому, что они туареги. Кочевники ведь привыкли жить на свободе. А мои жены так полюбили меня, что согласились жить в стенах моего дома. Кочевники редко соглашаются жить в гареме. А они согласились.

Мы не стали высказывать ему сомнение. Да и как уверить его, что женщины-туареги отказались от жизни в пустыне вовсе не из любви к этому человеку. Впоследствии мы узнали, что им ни разу в жизни не довелось увидеть пустыню. Они были совсем маленькими, когда племя, проходя мимо, продало их вождю, и они росли в стенах его дома, воспитывались старшими женами. А когда хозяин счел их достаточно взрослыми для удовлетворения своих желаний, они перешли в гарем.

Рабство многолико. Но для меня оно остается навсегда воспоминанием о смехе невидимой затворницы Варин-гида и отрешенном взоре женщин-туарегов, проданных еще до того, как они узнали пустыню...

Перевел с французского  
Марн БЕЛЕНЬКИЙ

## МЕСЯЦ ВВЕРХ НОГАМИ

Даниил  
ГРАНИН



### Над нами колокол

Когда человек приезжает из Франции, его не спрашивают: «Ну, как там Эйфелева башня? Стоит?» Про любую границу задают вполне осмысленные вопросы. Но

попробуйте приехать из Австралии...

Каждый, кто встречает вас, будь он даже лучший друг, задает один и тот же вопрос:

— Ну, как там кенгуру? Видел? Прыгают?

Любой разговор начинается с вопроса о кенгуру. Ни образование, ни возраст, ни должность роли тут не играют. В дальнейшем человек может проявить широту своих интересов, но первый вопрос неизменен. Наиболее чуткие люди, заметив мой тоскливый взгляд, смущаются и все-таки удержаться от этого вопроса не в силах. Кое-кто пытался извернуться, быть оригинальным. Лучше всех это удалось одному физик-у, известному своим острым умом и своеобразностью мышления.

— Небось замучили вас, все спрашивают про кенгуру? — сказал он.

— Точно, угадал! — обрадовался я.

— Пошлаки. Ну и что ты им отвечаешь? — И глаза его загорелись.

Можно подумать, что кенгуру у нас более популярны, чем в Австралии. В то же время сведения о кенгуру самые противоречивые, во всяком случае, интерес к кенгуру выше среднего уровня знаний о них. Женщин почему-то особенно волнует сумка, в которой кенгуру носит детенышей: какой формы сумка, на «молнии» ли она, в моде ли сейчас такие сумки...

Я настолько привык начинать свой рассказ об Австралии с кенгуру, что по-иному уже не умею. Рухнула моя надежда начать свои путевые записки как-то необычно, свежо, например описать полет над океаном, улыбки стюардесс, спасательные жилеты, огни городов под крылом самолета, едко высмеять деление внутри самолета на классы и заклеить буржуев из первого класса...

Разумеется, и этого я не упущу, но начну с той минуты, с того жаркого февральского дня в заповеднике, под Мельбурном, когда что-то огромное, сероватое перемахнуло почти над нашими головами переперек всей аллеи через кусты и обочины. От неожиданности я вздрогнул, и Джон Моррисон засмеялся:

— Кенгуру, — сказал он.

И тотчас вслед за Джоном засмеялся кто-то сверху, высоко в зелени эвкалипта. Этот тип наверху хохотал все громче, призывая полюбоваться на приезжего невежду. Я обиделся. Джон утешающе взял меня под руку.

— Кукабарра, — сказал он.

Кукабарре стало совсем смешно, она сорвалась и полетела, превратившись в довольно невзрачную птицу.

На шум из-за деревьев вышел эму. Он зашагал прямо к нам, балетно переставляя свои стройные ноги. Плоский черный глаз его взирал на нас с высоты по меньшей мере правительственной. Эму

остановился передо мной, и мне захотелось оправдаться перед ним, извиниться и обещать исправиться. Он был совсем не такой, как у Брема, и не такой, как в нашем зоосаде, он был с австралийского герба. Олицетворение закона. Напевая государственный гимн, он проводил нас до калитки. Внутрь загородки он не пошел, поскольку там нас встретил кенгуру, тоже с герба. Их двое на гербе Австралии — эму и кенгуру. Вместо львов, орлов и прочих хищников...

Довольно большая компания кенгуру окружила нас. Никаких глупых вопросов они не задавали. Они оглядывали, обнюхивали, этого им было достаточно. Рослая мамаша любезно показала нам некоторые обычаи. Она вытряхнула из сумки детеныша, вывернула сумку и ловко стала чистить ее передними лапками, коротенькими, как детские ручки. Малыш запрыгал ко мне, ткнулся мордой в колени. Я наклонился, погладил его, взрослые кенгуру спокойно следили за мной, полные доверия. Я осторожно бродил среди них, касаясь их шелковистого серого меха. Они были неистовимо доверчивы, от их веры в человека становилось совестно.

Мамаша закончила чистку своей сумки, и малыш прыгнул туда, закинув себя, как мяч в баскетбольную корзину. Ноги его и хвост торчали из сумки, затем он перевернулся, высунул свою мордашку.

И вдруг я почувствовал себя в Австралии. Я убедился, что это правда и я действительно нахожусь в этой стране. Аэродромы, взлеты, посадки, кварталы Сиднея, потоки автомашин, цветы, объятия, вспышки блицев — все, что беспорядочно сваливалось за последние дни в какую-то неразобранную грудку, было, оказывается, ожиданием. Мы уже побывали в Сиднее, но я все еще плохо верил в подлинность происходящего. Сидней, разумеется, был подлинный, а вот я находился по отношению к нему в каком-то ином измерении. Там, в городах, тайное сомнение не исчезало.

— Послушайте, кенгуру, — сказал я, — значит, все это правда?

— Наконец-то, — сказал старый кенгуру и отпрыгнул в сторону, чтобы я мог сфотографировать его.

Джон стоял поодаль под банковской, я сфотографировал и его. Я фотографировал какаду, черных лебедей, лирохвостов, летучих белок, медвежастых вомбатов, смешную серенькую птичку, которую звали «палач». Они все тут жили на свободе, почти естественной своей жизнью, так, как они жили здесь до прихода белого человека. А белый человек вел себя в заповеднике так, как должен был бы вести себя, если бы он был разумным существом. Он не хотел стрелять, хвататься, не дергал никого за хвост, не тыкал в морду сигаретой, не кидал в опоссумов

каменьями. Странная мысль занимала меня: может быть, есть смысл создавать побольше таких заповедников для воспитания людей? В заповедники привозят людей, и животные их там воспитывают, делают их людьми.

Фауна Австралии самой природой приспособлена для воспитательной работы. Здесь нет хищников. Единственный хищник — динго, и то его считают одичалой собакой, некогда привезенной сюда аборигенами.

Стоит увидеть блаженно-добрейшую физиономию коалы, и становится ясно, что такие наивные, доверчивые чудаки могли появиться лишь в стране, не знающей хищников. Коала — маленький медвежонок, величиной с подушку, не больше. Целыми днями он висит на деревьях. Поест листьев эвкалипта и дремлет. Он презирает суету, всяческие стремления и поиски. Он всем доволен, лишь бы его не беспокоили, он величайший эпикуреец. Другие страны его не интересуют, и он добился своего — ни в одном зоосаде мира коалы не бывает, поскольку он может питаться лишь определенным видом эвкалиптовых листьев.

Заповедник — это кусок буша. А буш — это австралийский лес.

— Австралия не Сидней, не Мельбурн и даже не фермы, — внушал нам писатель Алан Маршалл. — Наша страна — это прежде всего буш, и, пока вы не по-

бываете в буше, вы ничего не поймете.

И он отправил Джона Моррисона с нами в буш.

Еще в Москве мне попалась книга рассказов Моррисона. Он пишет предельно точно и серьезно. Его рассказы запоминались. Это, конечно, не обязательно, чтобы рассказы запоминались, это всего лишь свойство таланта. Писатель часто и не ставит себе такой задачи, получается это само по себе, в результате действия каких-то мало еще выясненных составляющих. Тем не менее я предпочитаю рассказы, которые запоминаются и остаются со мной.

Я знал, что Джон Моррисон работает садовником. Я знал, что на Западе редкие писатели могут прожить на литературные заработки. Но было грустно, что писатель такого таланта, как Джон Моррисон, вынужден работать садовником, в то время как писатели куда меньшего калибра могут нанимать себе садовников...

Когда в доме Алана Маршалла я познакомился с Моррисоном, не было никакого садовника, обиженного судьбой, несправедливостью, постылой работой. Был обаятельный, скромный, умудренный жизнью известный писатель Джон Моррисон. Он расспрашивал о новинках советской литературы, о своих московских знакомых, он был мягок, деликатен, даже несколько изыскан. Только здесь, в буше, он стал другим: походка

сделалась упругой, руки большими, тяжелыми. Он все видел, все замечал: легкие запахи, самые малые травы, птиц, затаившихся в кустах. Он давно научился пользоваться льготами своей трудной жизни. Это был завидный талант — превращать тяготы в преимущество.

Мы долго ходили по заповеднику, болтали с маленькими попугайчиками, раскрашенными с неистощимой выдумкой. Палитра природы поражала любое воображение. Бесчисленные, самые, казалось бы, невероятные сочетания цветов отличались безукоризненным вкусом. Почему-то природа не бывает безвкусной в подборе красок. Из тысячи попугаев — какаду, лори, какапо и еще бог знает скольких видов — мы не нашли ни одного, про которого можно было бы сказать: «Разодет, как попугай». Ничего не повторялось, и все было красиво.

В застекленном бассейне ныряли утконосы, бродили красавцы лирохвосты, пробегали безобидные и поэтому страшные на вид огромные ящерицы, ползали австралийские черепахи, толкались неповоротливые вомбаты... И среди всего этого коброго, забавного племени Джон был как пастырь Ной на своем ковчеге.

Мы устали и сели в тени на скамейку, закурили.

— Послушай, — сказал Джон.

Сверху раздался звук колокола. Чистый и звонкий. Ему отклик-

нулся другой, потом третий. В вышине перезванивались колокола. Частые удары неслись с вершин эвкалиптов, как будто на зеленых колокольных невидимый звонарь вызывает торжественное и радостное; что-то мне это напоминало, как будто со мной уже было такое.

— Это такая птица, — говорил Джон, — птица-колокол. Пан-пан-панелла, — пропел он, подражая.

Кукабара с ее смехом не так удивила меня, как этот колокол. Чего только не изготавливает природа в своих мастерских! Я позавидовал Джону, его близости к этому миру. Мир природы, мир птиц, цветов, животных, деревьев, по-прежнему еще выигрывал перед миром физики, миром лабораторий, машин, приборов. Не очень правильным было это противопоставление, и все же я невольно занимался им и завидовал Джону. Вот тогда-то Джон Моррисон-садовник, Джен Моррисон — бывший докер и Джон Моррисон-писатель воссоединились для меня в одно.

И кроме того, я завидовал Джону, что он мог показать мне чудеса своей родины не в тесных, вонючих клетках зоопарка, а в этом солнечном, просторном естестве. И в Сиднее Мона Бренд водила нас в заповедник.

Мне тоже хотелось бы показывать гостям природу моего Севера, не такую броскую, яркую, но не менее милую. Лес, где бес-

страшно бегали бы ежи, и зайцы, и белки, и летали бы утки, журавли, бродили бы лоси, куковали кукушки, пели соловьи, и чтобы в реке возились бобры и выдры, и чтобы стучали дятлы, токовали глухари...

Но мне негде показывать. Пригородных заповедников у нас нет, а пригородные леса наши давно опустели.

Заповедников-парков нет пока еще ни под Ленинградом, ни под Москвой. Гости гостями, но, может быть, еще больше пригородные заповедники нужны нам самим. Ни ботанический сад, ни зоологический не заменяют естественности заповедника.

В чужой стране всегда сравниваешь. Путешествуя, мы невольно отбирали лучшие из незнакомых нам обычаев и быта народа: может быть, что-то пригодится. Немало вещей нас огорчало, а порой и возмущало, и мы старались говорить об этом прямо там же. Наши друзья не обижались, они чувствовали искренность и то, что мы были честны. Мы смотрели страну, не предавая, мы радовались всему хорошему, не скрывали своего восхищения, мы судили об этой стране, доверяя себе и им, людям, которые многие годы борются за правду о своей родине.

Птички колокола звонили, и вдруг, глядя на счастливое лицо Джона, я вспомнил Ростов-Ярославский, ветреный осенний день,



когда мы стояли на звоннице под колоколами. Пятнадцать колоколов, начиная от огромного, язык которого одному человеку не раскачать. Ефим Дорош рассказывал, как восстанавливали этот удивительный, единственный инструмент с его знаменитыми лолузабытыми звонами, этот своего рода орган, рассчитанный на тысячные толлы. Я вспомнил, как тогда любовался самим Дорошем и его влюбленностью в Ростовский кремль.

Вместо того чтобы глядеть во все стороны, записывать, заломинать, я предавался мыслям о Дороше и ростовских колоколах, как будто мне предстояли не дни, а годы жизни в Австралии. Хуже всего, что я не желал ничего записывать. Потом я часто расплачиваюсь за это, но невозможно наслаждаться и записывать свое наслаждение. Нелриятно даже думать, что подсматриваешь тут ради того, чтобы переложить эту красоту во фразы, главы и авторские листы... Я хотел быть честным к этому дню. Может быть, когда-нибудь он сам ло себе всльвет в памяти так же свежо, как тот день в Ростове.

Мы продолжали сидеть на скамейке, и всякое зверье подходило осматривать нас. Джон относился к этому влолне серьезно, как будто он представлял меня на приеме. Мы не смотрели на часы, не думали о налряженном раслсании наших встреч, визитов, приемов. Мы освобождались от

мучительной болезни путешественников — скорей увидеть еще одну площадь, еще один памятник, чего-нибудь не улустить, еще с кем-то лознакомиться. И вот сейчас, мысленно повторяя проделанный луть, я благодарен Джону за его мудрую медлительность. Около восьми тысяч километров пролетели и лроехали мы внутри континента, осмотрели шесть городов, лобережья, горы, проселки, фермы. Мы видели много и многое узнали, но если мы что-то почувствовали, лоняли, то происходило это в немногие неторолливые часы, когда мы лереставали путешествовать. Так было в лавоведнике под Мельбурном, мы сидели на скамейке с Джоном Моррисоном, курили и слушали лтицу-колокол.

## По порядку

Путешествие, если рассказы-вать по лорядку, началось с того, что я лоехал на Васильевский остров, в Музей антролологии и этнографии Академии наук. Последний раз я был в этом музее, когда меня интересовали индейцы, скальпы, Фенимор Кулер.

На дверях музея, конечно, висело: «Выходной день». Действовал неумолимый закон, согласно которому вы подходите к автобусной остановке как раз тогда, когда отходит нужный вам номер, бутерброд ладает маслом вниз, а

дождь — когда вы без плаща и посреди площади. «Приходите завтра», — сказал вахтер. Но у меня не было завтра. Вечером я уезжал в Москву. А оттуда в Австралию. Я все отложил на последний день. И музей. В глубине души я не верил. В любую минуту Австралия могла сорваться. У такой дальней поездки есть масса возможностей сорваться. Где-то, кто-то, что-то... Визы, посольства, валюта, разрешения, международная обстановка, внутренняя обстановка.

С зарубежной поездкой нужно обращаться умело. Лучше всего относиться к ней свысока. Ее не следует ждать, и ни в коем случае к ней нельзя готовиться: читать книги или смотреть на карту. Она любит, когда ее бранят, когда от нее отмахиваются: зачем эта поездка, не нужна она, не до нее сейчас, отрывает от работы, путает планы! Опытный путешественник — тот вообще помалкивает, на вопросы неохотно бурчит: «Выдумали какую-то Австралию, шут ее знает, где она, жили мы без Австралии и хлопот не знали!»

Любезный и чуткий от скуки вахтер сообщил, что, кроме музея, тут есть институт того же названия. Я позвонил из проходной.

Длинная, заставленная книжными шкафом комната была отделом Австралии. Ничего особенного я не увидел в этой комнате. В глубине ее сидели двое научных со-

трудников в пиджаках и брюках и пили чай с соевыми батончиками. Я подозрительно огляделся и попросил рассказать мне про Австралию.

Некоторое время они деликатно пытались выяснить, что именно меня интересует: история, промышленность, искусство, фауна. Я никогда не подозревал, что все эти штуки есть в Австралии. Перед размахом моего невежества они быстро скили. Позже я узнал, что в своих научных спорах они отличались твердостью и беспощадностью, но тут они вели себя беспомощно. На них жалко смотреть. С виноватым видом они показывали книги — десятки, сотни книг, справочники, альбомы, от тиски своих научных работ. Хуже нет иметь дело со специалистами. Я им прямо сказал.

— Не буду я ничего читать. Не надейтесь. Лучше уж я поеду так. Непосредственно. Как Джемс Кук. — Тут я спохватился и добавил: — Если я вообще поеду, потому что некогда мне ездить.

Они улыбнулись как-то опечаленно. Никто из них, оказалось, в Австралии не был. Всю жизнь они изучали Австралию как астрономы, издали. Они знали про Австралию все: ее краски, ее людей, запахи, легенды, песни, живопись. Точность их знаний я мог оценить, лишь вернувшись из Австралии. Я пришел в институт рассказать о поездке и не заме-

тил, как стал слушать их рассказы.

А в тот первый раз Владимир Рафаилович повел меня в музей. В пустом, полутемном зале сидели за стеклом пыльные аборигены среди своих бумерангов, топоров и копьеметалок. Коллекция составлена Миклухо-Маклаем и затем Яценко. С тех пор, как 60 лет назад в Австралии побывал Яценко, особых пополнений музей не получает. Экспедиций не посылают. Владимир Рафаилович — один из тех наших австраловедов, которые изучают аборигенскую жизнь во всех подробностях, его можно пустить к аборигенам, и никто не отличил бы его от любого обывателя-аборигена. Но, сидя на Васильевском острове, Миклухо-Маклаем не становишься. Слушая его, я чувствовал, что он готов хоть на плоту, как Тур Хейердал, добираться до своей Австралии. Сколько возможных Миклухо-Маклаев, энтузиастов, мужественных, самоотверженных, несостоявшихся путешественников вынуждены проводить свою жизнь в этих комнатах, заставленных книжными шкафами!

— Дались вам эти аборигены! — говорил я, ища слова утешения. — Первобытная нация! Что они могут дать нашему веку?

В глазах Владимира Рафаиловича появилась древняя тоска этнографа от древнего людского невежества.

— Раса! — устало поправил он. —

Раса, а не нация! Целая человеческая раса. Одна из четырех рас. Они самое первобытное общество из оставшихся на земле. Поймите, как это важно для науки! — И он безнадежно махнул рукой.

Я вышел на набережную, получив первое свое австралийское расстройство.

Лед на Неве лежал еще крепкий. Лыжники возле университета садились в автобус. Легкий снег медленно кружился, не падая, а поднимаясь вверх. Навстречу мне шел Лева Игнатов.

— Откуда, куда? — спросил он.

Он не дослушал меня. Недоверие — не то слово. Он воспринял новость как глуповатую шутку.

— Какая Австралия? Неостроумно. Сорок градусов жары и купание? Не существует. — Он поднял воротник. — Австралия? Понятия не имею. Это что-то вроде Атлантиды. Ты видал когда-нибудь чело- века, который был в Австралии? То-то. Старик, очнись, мы же с тобой не школьники! Австралия! Антиподы! Люди, которые ходят вверх ногами! Мистика! Неужели ты до сих пор веришь? Тебе надо проветриться, махнем лучше в Кавголово, на лыжах?

Его румяная морозная физиономия выражала такую уверенность, что Австралия растаяла, показалась выдумкой, и такой она оставалась долго, пока мы не ступили на раскаленные плиты Сиднейского аэродрома.

## Мы

В путевых очерках принято писать не «я», а «мы». Мы не будем нарушать обычая. «Мы» — признак скромности. «Мы» — не такая ответственность. «Мы» — более типично, ибо «мы» ездим, «мы» ходим, «мы» — так оно спокойнее. Конечно, тут есть свои сложности. «Мы увидели», «Мы сказали» — еще куда ни шло, а вот попробуйте: «Мы чихнули», «Мы подумали», «Мы хлопнули дверью».

Мы действительно были «мы». Нас было двое. Вся наша делегация — Оксана Кругерская, консультант Союза писателей, специалист по английской и австралийской литературе, и я.

Наше «Мы сказали» — тоже правда. Сперва говорил я по-русски, а потом Оксана то же самое изображала по-английски. Под конец, это уже бывало не потом, я еле поспевал за ней, я ей только мешал.

Ночной аэропорт Тегерана был пуст. На стенах светились цветные диапозитивы иранских мечетей. Стоянка длилась час, и весь час мы стояли перед витриной и разглядывали иранские миниатюры на слоновой кости.

Так они и запоминались, аэропорты с роскошными, волнующими названиями: Калькутта, Карачи, Сингапур, — по узорчатым дамасским браслетам, сафьяновым алым туфелькам с золотым тиснением.

Самолет летел наискосок к рассвету, мы поглядывали на карты, проверяя очертания материков, земля кружилась далеко внизу, словно подвешенная в авоське меридианов и параллелей. Горизонт опустился, открылась вся земля со всеми ее секретами и выпуклостями, она была и вправду круглой, и горы выглядели измятыми, послушно извивались реки, как на физической карте, планета состояла только из моря и суши, лесов и пустынь, первородная планета, еще без границ, без вокзалов.

В Сингапуре мы задохнулись. Там была парилка. Тело, одежда — все сразу стало мокрым. Мы еле добрались до аэровокзала. Под его стеклянным колпаком, надрынаясь, нагоняли кондиционированный воздух «Эр-кондишн».

— CACI CACI

Пассажирам САС выдавали за счет авиакомпании джус.

В другом углу конкуренты кричали:

— Эриндиа!

Там давали кофе.

Сингапур был перекрестком. Десятки авиакомпаний переманивали к себе пассажиров, угощая, развлекаая, обещая. Круглые сутки шла торговля фотоаппаратами, транзисторами, магнитофонами. Здесь для авиапассажиров японские, английские, американские, голландские изделия продавались без пошлины.

Мужчины молча разглядывали

маленькие новейшие японские телевизоры и совсем крохотные магнитофоны. Женщины обступали парфюмерию, а дети и мы сидели на корточках перед электронгрушками.

Самолеты, жужжа, бегали по полю, загорались сигнальные огни, самолет останавливался, разворачивался, умолкал, вдруг опять двигался, траектория его была неожиданной. Навстречу ему ползли танки. Башни их поворачивались, пушки стреляли. Тут же ходили слоны, скакали обезьяны. Роскошные лимузны и старинные паровозы, старинные автомобили и мощные локомотивы, вертолеты, ракеты — в такие игрушки взрослые хотели играть больше, чем дети.

Самолет поднимался над Сингапуром, и возникал город, огни его реклам, через несколько минут он съезжался, и сам становился игрушечным, и вовсе терялся среди островов и тускло поблескивающего выпуклого океана.

От Москвы земля была в снегу, черно-белая, как на фотографич. Краски проступали несмело, серо-зеленые, затем появились коричневые пустыни Пакистана, соленые озера — высохшие, грязновато-молочные, без блеска. И какие-то красные, ярко-красные озера. Таких я никогда не видел. Опять пустыни. А в тесном Карачи бродят тысячи бездомных, ищут работы, превращаются в ни-

щих, попрошайек, жизни уходят впустую. На высоте девяти тысяч метров мыслишь иначе: не видно государств, границ, и земля становится единой.

Самолет пересек экватор. Нам вручили на память об этом удостоверение, подписанное командиром корабля, — пеструю грамоту, разрисованную всяческими тропическими животными. Вместо купания напоили джусом. Итак, мы на другой половине земного шара. Мы вверх ногам. Мы антиподы.

Посадок больше не будет, все пассажиры летят в Австралию. Среди них есть коренные антиподы. Я прошелся по самолету, пробуя, каково быть антиподом. Вроде ничего, вроде нормально, как будто так и надо: быстро я приспособился. Тут я вспомнил, что, в сущности, человеческий глаз видит все предметы перевернутыми, а уже наш мозг восстанавливает их нормальное положение. Дело в привычке. И с нами, наверное, происходило что-то похожее.

Внизу поползли островки, черно-зеленые островки Малайзии, эскадры больших и малых островов. Где-то там плыли корабли Магеллана, Кука, Лаперуза, Крузенштерна, Лазарева, Коцебу. Гравюра в затрепанной книге детства: гибель капитана Кука. Туземцы с копьями убивают на берегу храброго капитана. На каком-то из этих островов погиб Магеллан, погиб Лаперуз. И все

же, несмотря на все тяготы и неприятности, отличная профессия — первооткрыватель. Они вкладывают свой талант и жизнь в наиболее устойчивое дело. Открыт Тихий океан, открыта Новая Зеландия, и никто этого отнять уже не сможет. Бессмертие обеспечено. Слава полностью расцветает примерно лет через сто, но зато далее не теряется. Она не зависит от конъюнктуры, от новых открытий. Стоят себе памятники — их не сносят, упоминают тебя в путеводителях — не вычеркивают, не пересматривают. Поколения гидов восхищенно твердят о тебе одно и то же, что бы ни творилось в мире.

Слава первооткрывателей никогда не стареет. Стройная бронзовая фигурка Крузенштерна на берегу Невы в старинном мундире с эполетами с годами становится романтичнее. Рядом с огромными лайнерами, атомным ледоколом, дерриками судостроителей он не кажется ни старомодным, ни наивным. Они все обладают этим удивительным свойством — памятник Джемсу Куку в Сиднее и памятник Колумбу на Кубе, памятник Нансену, — все они, которые искали неведомые земли, которым хотелось дойти, увидеть то, что еще никто не знал.

«Будьте, пожалуйста, первооткрывателями! Если вы ищете, куда вложить отпущенную вам смелость, силу, положенную вам славу, вкладывайте их в первоот-

крывательство. Надежно! Гарантировано!» Вот что следовало бы вывесить на трансконтинентальных линиях, аэропортах, самолетах.

## Терра инногита

Рассвет набегал на закат, солнце оказывалось то слева, то справа, время спуталось, может быть, мы летели вторые сутки, может быть, неделю, то и дело приходилось переводить часы, завтраки, ужины, ленчи — все смешалось. Одна лишь усталость отсчитывала истинное время.

Превосходный голландский мореход Абель Тасман, чтобы открыть свою Тасманию, плыл к ней три месяца. Команда питалась сухарями и солониной. Это было в 1642 году. Большинство великих открытий XVI—XVII веков было сделано на сухарях и солонине. Консервов не существовало, и витаминизированные также. Из каждых четырех матросов трое болели цингой. Кук первый взял с собой сушеные фрукты, чтобы как-то спастись от цинги. А мы устали, сидя в мягких креслах. Перед едой нам приносили замороженные душистые салфетки, пропитанные лосьоном, чтобы вытереть лицо, руки.

И тем не менее немножко мы чувствовали себя первооткрывателями.

В Аэрофлоте девушки, бывалые, с глазами зеркальными, никого не видящими, при слове «Австралия»

подняли головы, и что-то нездешнее оживило их лица.

На этой искоженной земле, окузывается, еще остались дальние страны. Километры пути тут ни при чем. США уже не дальние, и Куба не дальняя. А например, Тибет или Турция еще дальние, загадочные. И Австралия.

Terra Australis Incognita — Неведомая Южная Земля. Она появилась как гипотеза еще в древности, некий огромный материк в южном полушарии, должный уравновешивать Северный материк. Одна за другой снаряжались экспедиции в поисках австралийской земли. Искали ее где-то южнее настоящей Австралии. В те времена об Антарктике не было известно ничего, ни один корабль не заходил дальше мыса Горн. Сбиваясь с пути, некоторые корабли приставали к Австралии. Но так как на ней надписи не было, то называли ее по-всякому: «Великой Явой», «Новой Голландией», «Новым Южным Уэльсом».

Австралию открывали мучительно долго. Перипетии ее открытия могли бы многому научить, если бы люди желали учиться. Это поучительная страница в истории человеческих заблуждений.

Начинают эту страничку античные географы во II веке нашей эры. Птолемей, автор многих великих заблуждений, считал, что на юг от Индийского океана должен существовать огромный массив суши. Со свойственной ему само-

уверенностью он изобразил ее на своей карте. Документ есть документ, и полторы тысячи лет таинственный материк послушно наносили на карту под названием «Еще Неведомая Южная Земля».

Одна за другой экспедиции голландцев, англичан, испанцев, французов бороздили Тихий океан, разыскивая Южную Землю. Попутно открывали острова, архипелаги, а Южной Земли не было. Не находили. Между тем миф обрастал новыми подробностями. Географы вычисляли площадь Южного материка, он получился равным всем цивилизованным странам северного полушария — 180 миллионов квадратных километров (то есть в 22 раза больше нынешней Австралии и в 12 раз больше Антарктиды).

Шло время, была открыта Америка, рухнула птолемеяевская система мира, погасли костры инквизиции. Галилей отказался от физики Аристотеля, Ньютон создал новую механику, представления о вселенной расширились в тысячи раз, а легенда о Неведомой Южной Земле здравствовала и процветала. Заблуждение становилось мифом. Миф обзавелся теорией — солидной теорией равновесия: материковые массы северного и южного полушарий должны находиться в равновесии.

Человечество давно сбросило астрологический колпак, алхимики переучились на химиков,

вместо «электрической жидкости» появились первые серьезные теории электричества, и, несмотря на все это, всерьез обсуждалась работа географов, которые считали, сколько населения должно проживать на искомом Южном материке: не меньше 50 миллионов! С ними мечтали встретиться... Смешно?

Совсем недавно мы сами мечтали встретиться с марсианами, строителями марсианских каналов. Тоже смешно? Кто знает, сколько еще мифов и заблуждений окружают нас сегодня, сколькими мифами мы живем! Что станет смешным для наших потомков? Боюсь, что им даже не слишком интересно будет читать о наших ошибках. Так же как и нас не слишком волнуют перипетии с открытием Южного материка.

Если бы мы научились распознавать свои собственные мифы и заблуждения, если бы мы изучали историю великих заблуждений, если бы, наконец, кто-нибудь занимался этой историей! Но историки предпочитают историю открытий, историю удач и успехов. Заблуждения кажутся слишком нелепыми, непонятно, как люди могли так подолгу жить с ними и верить в них.

Экспедиция Джемса Кука, которая установила истинные очертания Австралии, отправлялась не за этим, она искала пресловутый Южный материк, так

что некоторым образом легенда о Южном материке помогла открытию Австралии. В мифах было и нечто прогрессивное, часто именно ради них пускались в путь, под них выделялись всякие фонды и средства.

Снежный человек.  
Сигналы из вселенной.  
Тунгусский метеорит.  
Остров Пасхи.  
Телепатия.  
Атлантида...

Разочарования ничему меня не научили, каждый раз я неохотно расставался с обещанным чудом, ну, если не чудом, то, во всяком случае, с тайной. Приятно было думать, что есть в нашем мире что-то таинственно-необъяснимое, загадки, рожденные не в лаборатории.

Австралия терпеливо ждала, и, когда люди убедились, что никакой другой Южной Земли нет, она утвердила, наконец, свое имя.

С тех пор, за каких-нибудь полтора столетия, Австралия сделала блестящую карьеру. Она стала частью света, одной из шести, сочинила свой гимн, вошла во все школьные программы географии, статистические справочники, развела овец, автомобили, коттеджи. Но все равно что-то осталось в ней от мифа, от ее предка — легенды о неведомом, таинственном материке.

Под крылом самолета поплыли ее красноватые земли.

«Плотность населения Австра-



лии — примерно один человек на квадратный километр».

Как он встретит нас, этот человек, на своем квадратном километре, и что он за человек?

Из статистического справочника, преподнесенного мне ленинградскими австраловедами, он появлялся, окруженный пятнадцатью приходившимися на него овцами. На душу его приходилось 100 килограммов мяса в год, 300 килограммов стали, три грамма золота украшали его душу и много разных цветных металлов.

Я слепил из этих данных австралийца, затем стал воображать себе Австралию, и нас в этой Австралии, и наши приключения, а потом я подумал, как через три-четыре недели мы будем лететь обратно и со мной будет уже увиденная Австралия. Совпадут ли они и какая из них будет лучше? Вспомню ли я нынешнюю? Будет такой же самолет, те же салфетки и кресла, а мы станем другими. Вспомню ли я нынешнее чувство, с каким я подлетаю к этой земле, а если вспомню, то как отнесусь к нему, к моему волнению и ожиданиям?

## Интервью

Обычное демисезонное пальто повисло на руке нелепой толстой шубой. Пока оформляли паспорт, мы потели, задыхались, со страхом ожидали, что станет с нами, когда мы выйдем из аэро-

вокзала на улицу. Встречающих в таможенный зал не пускали. А мы понятия не имели, встречается ли нас кто-нибудь. Посольство в Канберре, а тут, в Сиднее, ни консульства, никого из советских людей.

— В крайнем случае, позвоним в Союз писателей, — сказал я Оксане.

Лишь спустя неделю я оценил наивность своего утешения.

Последний чиновник хлопнул последней печатью, и мы вышли в общий зал.

Мы в Австралии. Я собирался ощутить торжественность этой минуты, но тут все завертелось быстро-быстро, как на старой киноленте. Букеты, объятия, улыбки, сухощавое знакомое лицо Фрэнка Харди, имена, имена:

— Мона Брэнд:

— Лен Фокс.

— Джон Хейсс.

И еще, еще...

— Как долетели? Устали? Хотите кофэ? Где багаж?

— Мэри Арнс.

— Терри Рэни.

Мы целовали, нас целовали, я не успел разобраться, кто из них Джон, а кто Мэри, вдруг нас куда-то потащили, скорей, скорей, и мы оказались в маленькой комнатке, странно пустой комнатке с диванчиком, нас толкнули на этот диванчик, зажглись юпитеры, на нас покатались сверкающие циклопы телевизионных аппаратов, зажужжала кинокамера, завспы-

хивали блицы, вокруг нас не осталось никого из тех, кто обнимал, целовал, а появились какие-то молодые люди с блокнотами, с микрофонами, они зажали нас со всех сторон, в маленькую комнатку было не пропихнуться, стало еще жарче, уже совсем жарко.

— Есть ли в СССР свобода печати? — громко спросила меня Оксана. — Зачем вы приехали в Австралию?

Я смотрел на нее с ужасом. Только что она была здоровой. С неподвижной беззаботной улыбкой она продолжала:

— С кем вы собираетесь тут встретиться? — И, не меняя голоса, она сказала: — Пресс-конференция. — И крепко взяла меня за руку, мешая вскочить, бежать.

— Какая пресс-конференция? Зачем? Не хочу! Пустите меня!

Первое, что пришло мне в голову, — это схватить штатив киноаппарата и, вертя его над головой, пробиваться к выходу.

Я не хотел никакой пресс-конференции, я хотел пить, я хотел курить, хотел вытереть пот, я был грязный, небритый, я хотел под душ, я мечтал отделаться от своего пальто. Я был готов к чему угодно, только не к пресс-конференции.

«Советский писатель в Австралии!

В ответ на вопросы он опустил-ся на четвереньки, укусил вашего

корреспондента, рыча, выбежал из аэропорта и скрылся в соседней пустыне...»

«— Товарищи, учтите, возможны всякие провокации, реакционные круги этой страны могут встретить вас враждебно...

— Ты слушай меня, я человек опытный, я эту буржуазную журналистику — как свои пять. Они любят, когда им отвечают быстро, остроумно. Что-нибудь такое находчивое. И оригинальное. Чтобы вынести в заголовок. Например: «Остановись, мгновенье, — ты прекрасно», или: «Собака лает — ветер носит». Действуй в таком роде.

— Буржуазные журналисты, они могут приписать тебе что угодно. Говорил ты, не говорил, это их не остановит, потом ходи доказывая!»

Со всех сторон нависли занесенные шариковые ручки.

Господи, как я ненавидел этих журналистов — чистых, выбритых, в легких рубашках!..

— Зачем мы приехали? Не для того, чтобы потеть на пресс-конференциях. Прodelать шесть тысяч километров, чтобы рассказывать вам про Достоевского?

Я огрызнулся, накидывался на них — ничего не получалось. Они не обиделись и не ушли. Они

весело строчили в блокнотах, как будто им нравился мой тон.

В дверях я увидел Фрэнка Харди. Он полыхивал трубкой и незаметно подмигивал мне: нормально, мол, можешь в таком духе.

— Печатаете ли вы несоциалистических реалистов?

— Богатые ли вы люди?

— А можете вы сами напечатать свой роман?

— Что сейчас делает Пастернак?

Сверкнули блицы, фиксируя мои вытупленные от изумления глаза. Я вдруг рассмеялся. Каждый из них умел стенографировать, у них были отличные портативные магнитофончики и превосходные фотоаппараты, они были оснащены по последнему слову журналистской техники, но до чего ж они мало знали, до чего ж нелепы были приготовленные вопросы! Я смеялся над собой и над ними. Я увидел, что передо мной сидят замороженные газетные работники, малознающие, малокультурные.

— Кто вам нравится из современных западных писателей?

— Хемингуэй, — сказал я. Я вспомнил одного нашего критика и в пику ему добавил: — Кафка.

— Кто?

— Кафка, — повторила Оксана.

И по их физиономиям я понял, что никакого Кафку они не знают, первый раз слышат. С таким же успехом я мог назвать

им Овидия, Бронислава Кежуна, Вольфа Мессинга. Они ни черта не знали, ни западной, ни советской литературы, а потом выяснилось, что они и своей австралийской литературы не знали. Журналистка одной из центральных газет Австралии приехала к Катарине Причард взять у нее интервью по какому-то вопросам женского движения. Она спросила:

— Говорят, что вы пишете романы? Вы писательница?

Мы часто недооцениваем широту собственных знаний, своего образования. Нам все кажется, что они знают больше. Мы и не представляем, как много мы изучили за последние годы.

Еще сыпались вопросы, а радио уже объявило посадку на Канберру, и нас в том же темпе потащили на поле, и бобслей раскручивался в обратном порядке, пока мы не очутились в воздухе. И тут мы обнаружили, что проклятые журналисты украли у нас встречу с друзьями, украли чувство приезда, встречу с Австралией. Мы пытались выяснить с Оксаной, что мы наговорили. Осталось ощущение бедлама, суматохи, мельтешни. Нет, быть первооткрывателем тоже нелегко.

«Итак, туземцы с фотоаппаратами вместо копий отбили первую попытку высадиться в Австралии, мы вынуждены были подняться в воздух». Мы задумались над судьбой нашей поездки. Плата

за экзотику оказывалась слишком высокой.

В дальнейшем мы, конечно, как-то приспособились. К славе тоже можно привыкнуть, тем более что слава была не наша. Это был интерес к советской культуре, к советским писателям, которые тут бывали редко. В конце концов мы ехали сюда работать. Пресс-конференции были тоже работой. Встречи, приемы, выступления по радио, телевидению, доклады, визиты каждый день — обычная работа всех подобных делегаций. Из-за этого многого интересного мы не успели посмотреть. Из-за этого уставали, надоедало говорить одно и то же, но я все-таки рад, что у нас было дело, а не туристская поездка. Мы жили. Мы ошибались, попадали впромах, что-то нам не удавалось, зато что-то мы смогли рассказать и сделать: завоевать друзей, разоблачить ложь... Мы были участниками, а не только зрителями.

— А что ты видел в Австралии?

Я начинал перечислять и вдруг убеждался, что все это я мог узнать и не выезжая из Ленинграда. Почему-то никому не приходило в голову спросить:

— А что вы делали там?

Хотя больше всего хотелось рассказать, что делали. Потому что это наше, об этом нигде не прочтешь, кроме как в нашем коротеньком служебном отчете, который подшивается к денежному отчету для бухгалтерии.

## Столица

Такой странной столицы я еще не видал и вряд ли увижу. Канберра — дитя многолетней распри Сиднея и Мельбурна. Каждый из двух крупных городов страны хотел стать столицей. Ожесточенные споры долго мешали самоуправляющимся штатам создать федерацию. Наконец в 1901 году договорились: «ни нам, ни вам» — сделать столицу где-то между обоими городами. Двенадцать лет выбирали место. Еще двенадцать лет кряхтели, чесали затылки, пока начали строить столицу на пустынном пастбище, окруженном холмами. Строили неохотно, еще лет сорок, и так и не выстроили. И сейчас строят. Бенгт Даниельссон, спутник Хейердала, путешествовал в 1955 году по Австралии.

Он написал интересную книгу «Бумеранг», где едко высмеял Канберру — скучнейшую деревню, потерянный город, единственную в мире столицу, где чиновники по дороге со службы могут собирать грибы и стрелять кроликов с балкона.

Все правильно. Однако за последние десять лет Канберра изменилась. Группы коттеджей, раскиданные, по словам Даниельссона, на грязном пустыре, оказались теперь на берегу искусственного озера. Водная гладь объединила разрозненные поселки, оживила долину. Вода часто

создает физиономию города. Немыслимо представить себе Ленинград без набережных, мостов, каналов. Попробуйте тот же Сидней отодвинуть от залива.

Канберра построена далеко от океана — пока не было озера, она выглядела, наверное, безобразно. Сейчас у нее появилось что-то свое. Еще не характер — приметы. Деревенская скука осталась. Еще нет центра города, нет толпы, вечернего Бродвея, нет огней рекламы, кабаре, театров. Приходится придумывать развлечения самим.

Скучающие чиновники приехали акулу, пустили ее в озеро. Поднялась паника, но то ли от пресной воды, то ли от канберрской скуки акула сама издохла.

Чем еще можно заняться? Канберра живет в коттеджах. Она не признает квартир, общих домов, только коттеджи. И занимаются коттеджами.

Коттеджи-щеголи, коттеджи-пикеры, стилиаги, снэбсы, аристократы, коттеджи-хвастуны, коттеджи-завистники. Все они современные, каменные: красный кирпич, белый кирпич, пестрый кирпич. Вокруг коттеджа садик. Мой садик прилагается к твоему садику. У тебя клумбы, а у меня алые кусты, у тебя фикусы, а у меня араукарии, и я еще посажу всякие ботанические тропики. На травае-мураве целый день крутится поливалка. У тебя шланг розовый, тогда у меня бирюзовый.

Водяные хаосты радужно переливаются на солнце. С улицы смотреть — красотища. И смотрится хорошо — никаких заборов, никаких оград тут нет. Но на улице пусто. Один беленький шпиг сидит на веранде. Красные глаза его налиты умопомрачающей тоской. Лаять не на кого. И не предаидится. Выморочные пространства асфальта лишены челоаеческой плоти. Крашеное железо проносится с вонью и скоростью, бессмысленной для погони. Пешехода в Канберре нет. Ему и тротуаров не выстроено. Автомобиль и автобус — единственные движущиеся существа. Тротуарная площадь сожрана обильными дорогами, по которым можно добраться в любое учреждение. Ровно в полдень из министерства, из Пентагона — есть тут свой Пентагончик, — обгоняя друг друга, несутся машины. Ленч. Разбегаются по извилам асфальтов до коттеджей. Через час так же стекаются, несутся обратно и стройно скапливаются на площадях перед светлыми государственными параллелепипедами. Небесному наблюдателю бегающие авто кажутся единственными жителями столицы. Настоявшись на площади, они расползаются по своим коттеджам, забираются в гаражи, откуда выбегают утречком помытые и заправленные для дальнейшего движения к государственным стоянкам.

Мы дважды прилетали в Канберру. Большинство пассажиров — чиновники с портфелями; в свою столицу чиновник летит без радости, он совсем не похож на оживленного чиновника, летящего из столицы.

Канберра в некотором смысле идеальная столица; туда не рвутся командировочные, в отелях всегда есть номера. Периферийные граждане из самой глухомани и те не мечтают переехать в столицу. Только отъявленные карьеристы, чтобы сделать государственную карьеру, готовы поступиться многими радостями жизни. Карьерист оставляет их в Сиднее, в Мельбурне. Или продвигаться, или развлекаться.

На университетском обеде в честь нашей делегации профессор Менинг Кларк познакомил нас с писателями и литераторами Канберры, с ее Союзом писателей — Феллоушип. Мы привыкли, что слова «Союз писателей» связаны с каким-то клубом, помещением, где есть кабинеты, письменные столы, телефоны. Феллоушип ничего этого не имеет. Однажды, когда мы сидели дома у секретаря Феллоушип Линден Роуз, она вытащила папку — все хозяйство писательской организации; в папке помещались канцелярия, отдел кадров, отчетность, бухгалтерия, переписка. Та же папка фигурирует в Феллоушип каждого из семи штатов. Руководит австралийским союзом по

очереди в течение года организация одного из штатов. Сейчас обязанности председателя исполнял Феллоушип Тасмании. Нам ни разу не удалось позаседать в кабинетах с графинами, с секретаршами. Не было протоколов и стенограмм. Все дела решались в кафе, на обедах, со стаканом пива в руках.

Дэвид Кемпбелл читал стихи. У него были огромные руки фермера. Когда он взмахивал ими, пламя свечей колебалось и тени шатались. Мы обедали при свечах. На деревянном непокрытом столе в деревянном зале. Это была первая встреча с нами, и все держались немного настороже, избегали трудных вопросов. А стоит только начать избегать, как любая тема становится опасной. Менинг Кларк обеспокоенно поглядывал в нашу сторону. Ему очень хотелось, чтобы нам здесь понравилось. И другие тоже старались. Рядом со мной сидел Гарри. Он преподавал в университете славистику.

— Можно мне помочь вам посмотреть Канберру? — сказал он по-русски.

— А вы не заняты?

— Я освобожусь, — он как-то робко запылся, — если вам, конечно, не помешаю, у вас свои планы.

— Чудесно, — сказал я.

— Я бы заехал за вами, если это возможно.

Он нерешительно оговаривал-

ся, готовый в любую минуту отступить, словно опасаясь чего-то. По одной его обмолвке я вдруг понял, что он бонится поставить нас в неудобное положение: он не знал, можно ли нам общаться с неизвестными лицами. Имеем ли мы вообще право действовать, не согласовав с кем-то. Может быть, нам положен специальный провожатый?

Я чуть было не обиделся, но разве он был в этом виноват?

Кемпбелл читал стихи так, как читают хорошие поэты, — слушая самого себя. Даже не зная языка, всегда можно определить на слух, чего стоят стихи.

В хороших стихах много музыки. Один австралийский поэт прочел свой перевод Пушкина, и я по ритму узнал «Чудное мгновение» — такой это был отличный перевод.

Официант налил мне немного вина для пробы. Он стоял, ожидая, и все за столом смотрели, как я пробую. Вино было отличное, но я помотал головой, чтобы достигнуть репутации знатока. Официант вернулся с другой бутылкой. Я задумчиво почмокал, это была изрядная кислятина, я не выдержал, сморщился, кто-то улыбнулся, я тоже улыбнулся, и все засмеялись, за столом стало просто и весело, и начались австралийские тосты, которые короче тостов всех других пьющих народов.

Прежде чем гулять по Какбер-

ре, мы отправились в посольство получить свои паспорта.

— А зачем вам паспорта? — спросил консул.

— Странно, — сказали мы, — как же мы можем без документов в чужой стране?

Нам даже диким показался его вопрос и улыбка его.

— Не беспокойтесь, — сказал он, — не нужны вам никакие паспорта. Никто их у вас не спросит.

— Ну, Канберра, допустим, но ведь мы поедим дальше по стране.

— И там они вам не пригодятся. Поедете без паспортов, так спокойнее. Не потеряете. Они тут все живут беспаспортные.

Мы осторожно проверили у Гарри — он не имел паспорта.

— Как же вы живете без паспорта?

Он удивился:

— А для чего он мне?

— Ну как же? — Мы тоже удивились. — А если приезжаете в гостиницу?

— И что?

— А как вас зарегистрировать?

— Запишут фамилию — и вся регистрация.

— А откуда они узнают фамилию?

— Я скажу.

Мы опять удивились и задумались.

— А для полиции? Если вы нарушите?

Гарри еще больше удивился.

— Зачем тогда паспорт, меня и без него приговорят к штрафу.

Мы опять удивились еще больше. Мы никак не могли представить себе жизнь без паспорта, а он никак не мог представить себе, зачем человеку может понадобиться паспорт.

Откровенно говоря, уезжая из Канберры, мы без документов чувствовали себя неуютно. Ни в одном из городов Австралии нет ни советских консульств, никаких представителей, кто же удостоверит нашу личность? Нам почему-то обязательно хотелось, чтобы нас могли сверить с документом, как будто личности наши главным образом находились в паспортах.

Мы объехали значительную часть страны, с нами происходили разные приключения, и ни разу никто у нас не спросил паспорта. Он нам просто не понадобился.

В каждой стране свое понимание порядка. Например, в Карачи, когда мы остановились там на несколько дней, мы должны были заполнить анкету, какая и не снилась нашим отделам кадров в самые отчаянные времена. Это была самая доскональная анкета в моей жизни. Там были такие вопросы:

«Почему вы уехали из той страны, из которой вы уехали?»

«Что вы хотите купить в нашей стране?»

«Девичья фамилия матери вашей матери?»

«Что вы делали вчера, позавчера, третьего дня?»

Уезжая из Канберры, мы угостили Юрия Яснева, корреспондента «Правды», поехать с нами по стране. Он настоящий журналист, общительный, с крепкой хваткой и безошибочными вопросами, работага — словом, идеальный спутник, да к тому же знающий страну. Но Яснев только вздохнул. Несмотря на вольную беспаспортную жизнь, он не имел права выехать из Канберры. О разрешении надо заранее хлопотать в австралийских министерствах.

Он провожал нас на самолет. По дороге он произнес речь о Канберре. Я слушал его и радовался. Казалось бы, что человеку надо: у него комфортабельный коттедж, машина, библиотека, — и вот, оказывается, грош этому цена, если нет возможности свободно ездить, знакомиться — заниматься своим делом. Я давно не слышал такой сильной речи, жаль, что ее нельзя тут привести. Ее невозможно даже процитировать. Но, честное слово, это была великая речь, выстраданная и продуманная тоскливыми канберрскими вечерами.

## Сидней

Мы летели из Канберры в Сидней поздно вечером. Стюардессы в салоне погасили свет, чтобы лучше был виден город. Таков



обычай. В самолете, кроме нас, все были австралийцы, и все равно они оторвались от своих банок с пивом и прильнули к окнам. Сидней вползал под крыло огромный, как Млечный Путь, со своими созвездиями и галактиками. С одной стороны, огни резко обрывались чернотой залива, а с другой — им не было конца, они распылялись хвостом кометы, теряясь в ночи. На реактивной высоте, откуда все кажется крохотным, Сидней оставался большим, чересчур большим, непонятно большим. Сверху разобраться в этом было нельзя. И когда в другой раз мы подлетали к Сиднею днем, красный черепичный прибой его крыш поражал размерами. С земли Сидней выглядит иначе. Он низкорослый, состоящий из двухэтажных коттеджей, и лишь центр несколько выше. Город как бы сплюснен, раскатан как блин. Он беспорядочно сложен из тех же коттеджей, прослоенных неизменными садиками. Поэтому город разросся невероятно. Расстояния в двадцать, тридцать километров от дома до работы считаются здесь обычными. Сложность такой жизни стала нарастать в последние годы. Город хочет расти в высоту. Словно фонтаны из бетона и стекла, прорываются вверх высотные дома. В прорывах еще нет системы. Они беспорядочны, как гейзеры. Рядом с новыми громадами коттеджи становятся милым

прошлым. В деловых кварталах солидные, облицованные мрамором банки, офисы, построенные каких-нибудь 40—50 лет назад, выглядят старообразно. Процесс старения происходит ускоренно. Сидней обзаводится своей стариной, появляется старый Сидней. Загадочная штука эта старина. Почему-то старинный дом всегда считается красивым. Мне никогда не попадалось, чтобы храм, допустим XIII или XIV века, был уродлив. Он обязательно великолепный, изумительный, гармоничный. Как будто тогда не существовало бездарных архитекторов. Никому не приходит в голову, что Коллизей был когда-то новостройкой, и древние римляне поносили последними словами этот стадион за современность, излишества, подражательство — смотря по тому, какая тогда была установка.

Но пока что в Сиднее нет настоящей музейной старины, и этим он мил, и отличается от всех других великих городов мира. Никаких раскопок, храмов, фресок, старых костелов, исторических мест. Сидней не имеет перечня обязательных памятников для осмотра. В Сиднее я впервые избавился от страха что-то упустить, не увидеть. В Сиднее можно не толкаться по музеям. Сидней свободен от процессий туристов, листающих путеводители, гидов с микрофонами, от исторических ценностей, восторгов, императоров, классиков и цитат. В Сиднее

надо просто бродить по улицам, магазинам, сидеть в баре, знакомиться.

Человек городской, питерский, я сразу признал Сидней своим. Это город, что называется, с головы до пят, на его улицах, в порту среди докеров, в кварталах Вула-Мулла мы чувствовали себя свободию, мы подпевали его песенкам, смеялись шуткам. Сидней стал нашей слабостью. Мы принимали его — пусть поверхиостию, пусть некритичию, — но таким, каким мы увидели его, таким он и остался в памяти. Наконец, именно такой Сидней показывали нам наши друзья сидиейцы, по жизнию и ярости влюбленные в свой город.

Рядом с нашим отелем строился дом. Площадка была огорожена глухим забором, в заборе были пропилены квадратные окошечки. Я долго не мог понять их назначения. Иногда прохожие совали туда головы. Однажды я спросил у Моны Бреид: в чем тут дело?

— Видишь ли, сидиейцы ужасно любопытны. Раз есть забор, они обязательно хотят выяснить, что за забором. Кроме того, сидиейцы любят вмешиваться, подавать советы, поэтому для удобства сделали окошки. И надпись, видишь, — «Для советчиков».

Сидией — это целая страна, еще мало изученная. Мы как-то шли с Моной и совершенно случайно обнаружили метро. Мона,

которая обожает свой город, обрадовалась чрезвычайно. Она не могла скрыть удивления, когда мы спустились вниз и поехали на подземке. Открытие исколько не смутило ее; никто не может похвастаться, что знает Сидней. Мы ехали однажды с Терри в машине, и я, заметив посреди площади конную статую, попробовал выяснить у Терри, кому это. Надо было видеть физиономию Терри, когда он, притормозив машину, с глубоким интересом оглядел памятник. Еще некоторое время он ехал задумавшись, потом уверенно сказал:

— Я полагаю, что это какому-то королю.

Ручаюсь, что он видел этот памятник впервые. Он слишком хорошо знал свой город, чтобы его могли интересовать детали. Он не знал, кому памятник, но зато он знал каждого газетчика, бармена, хозяев магазинчиков, кажется, он знает всех сидиейцев. Впрочем, когда я присмотрелся, оказалось, что вообще все в Сиднее знакомы между собой. Чтобы вступить в разговор, не нужно никакого предлога. Разговор начинают с середины, как закадычные друзья. Я стоял днем на Книг-кроссе и фотографировал. Мужчину, несший на голове ящик, остановился и сказал:

— Чего ты тут ищешь, приятель? Только зря пленку изводишь. Здесь лучше вечером снимать. Господи, сразу видно, что приез-

жий. Откуда? Ого! Из Москвы! А я, между прочим, из Шотландии. Коплю деньги, хочу туда съездить, я ведь мальчишкой из дому уехал. Что ни говори, все же родина. Согласен?

— Конечно, — сказал я.

— Послушай, ты мне нужен, посоветоваться. Может быть, мне лучше в Москву поехать? Посуди сам, что я дома не видал? А про вас столько болтают, и все разное. Надо самому разобраться. Согласен?

— Также правильно.

— Опять ты соглашаешься. Черт возьми, это же серьезное дело. Я четыре года коплю. Пока у меня нет детей, надо ездить. Потом не сдвинешься. Надо бы толком обсудить, да некогда мне. Прошу тебя, перестань пленку тратить! Приходи сюда вечером, упрямая твоя голова, тогда убедишься, кто прав.

И зашагал дальше, придерживая ящик на голове.

Обычная наша сдержанность бросалась здесь в глаза, выглядела нелюдимостью. Мне хотелось научиться вот так же, с ходу, открываться людям, не требуя взамен ничего, и не бояться того, что покажешься бесцеремонным, или назойливым, или смешным, или тебя не поймут.

Чем больше они причиняют мне неприятностей,  
Тем лучше я чувствую себя  
в Сиднее. —

подпевали мы вместе со всеми  
привев песенки Фрэнка Харди.

Лично нам они не причиняли никаких неприятностей, но все равно нам было приятно чувствовать себя вместе со всеми: бунтовщиками, непокорными, вольнолюбивыми сиднейцами.

Они повышают налоги, высекают меня из моего квартала Вула-Мулла, но они ничего не могут поделать со мной, я все лучше чувствую себя в своем городе Сиднее.

Песенку «Сидней-город» распевают повсюду. За короткое время ее дерзкие, насмешливые куплеты выучил весь город, она отлично выражает мнение горожан о всевозможных городских делах, о здании оперы, которое строится бог знает сколько лет, о сиднейских девушках, о пивных, о железной дороге, о домах Вула-Муллы.

Власти задумали снести старый рабочий квартал Вула-Муллы и построить там какие-то казенные здания. Домишки немедленно оштетинились, украсились язвительными надписями. Каждый дом — это эпиграмма в адрес властей. Огромные буквы выются между окон, изгибаются над дверью: «Пожалуйста, мы уедем отсюда в ваш особняк, господин министр!» Предместье подняло войну с властями. Не желаем! Не уедем! Плевали мы на ваши постановления! Только троньте нас, проклятые спекулянты!

Если что-то исходит сверху, от властей, это уже плохо. Сидней-

цы терпеть не могут всякие предписания и распоряжения. Подчиняться им — ни за что. Раз это делают они, значит, сиднеец против.

Женщина с мокрыми, красными от стирки руками вышла на крыльцо и сказала нам вызывающе:

— Да, дух каторжников! А мы не стыдимся своих предков. Буржуи, те стыдятся. А мы гордимся. Сюда ссылали бунтовщиков, а не воришек.

Насчет бунтовщиков — не знаю, но ссылали сюда главным образом бродяг — разоренных ремесленников, согнанных с земли английских крестьян, осужденных за бродяжничество.

Дух каторжников... Забылось, что и впрямь еще каких-нибудь полтора столетия назад этот город начинался как место поселения ссыльных.

В 1788 году английские корабли высадили первую партию ссыльных. На лесистом берегу будущего Сиднея 850 человек начали строить жилища и каменный дом губернатора новой колонии. В одной из старых книг я нашел описание Сиднея 1826 года, с его нравами: разделением на ссыльных «отпущенников», то есть уже освобожденных, и ссыльных, продолжающих отбывать свой срок, на свободных колонистов, на правительственных чиновников.

Уже тогда город показался Дюмон-Дюрвиллю, капитану француз-

ского флота, совершенно европейским, «где корабли, магазины, укрепления, улицы напоминают Англию».

Уже тогда «большая часть домов разбросана, разделена дворами, огородами, и поэтому Сидней занимает обширное пространство. Строения почти все в один и два этажа. Улицы прямые, с приличной шириной...»

Поразительно, до чего неискореним оказался этот изначальный характер города. Сидней относится к тем счастливым городам, которые рождаются с готовым характером, и десятилетия, столетия ничего поделывать с ним не могут. Таковы Ленинград, и Одесса, и Севастополь, и Веймар, самые разные города: они словно подчиняются законам природы для живых существ — как родился голубоглазым, так на всю жизнь.

Конечно, за полтора века Сидней разжирел, отстроился, приукрасился. Роскошные универмаги его не уступают американским. Появились парки, фонтаны, уличные кафе, уставленные старинными белыми креслами — как в Париже, стилизованные деревянные домики-магазины в центре — как в Шотландии, и тем не менее его всегда можно будет узнать, отличить от всех других городов.

Его глубокий голубоватый залив, с цветными парусами, катерами и акулами. Громадные пля-

жи и маленькие пляжи-кулальни, огороженные сетками от тех же акул. Его огромный лорт, мускулистые докеры с их неторопливыми движениями. Печальный лустой центр Сиднея в воскресные дни. Его ритм — в Сиднее нам всегда было некогда, там мы двигались быстрее, там чаще смеешься и громче говоришь, там понимают с полуслова, там готовы подшучивать над чем угодно, там все кончается смехом или забастовкой...

Описывать, перечисляя — приятное занятие. Мне всегда нравились перечисления; припасы, инструменты, животные, трофеи. Беда в том, что перечисление — слишком легкий способ изложения. Он хорош для записной книжки — не больше.

Сидней можно перечислять по-всякому, у каждого свой перечень. И даже из моего перечня для человека, знающего Сидней, возникает совсем иной город. Впечатление находится между строками перечня. Я увез свой Сидней, совсем другой, чем Оксана, и не похожий на Сидней Фрэнка Харди или Терри Рени. Мой Сидней — всего лишь впечатление. Ни на что большее я не претендую.

Впечатление хорошо тем, что это неуязвимая штука. Я могу написать: «Сидней мне казался самым живым и энергичным городом Австралии», — и ничего не возразишь. Показался, и все

тут. Но попробуй я написать, что Сидней самый живой и энергичный город, тут меня уличат и опротестуют, и пропала моя дружба с мельбурнцами. Или, например: «Мне нравится, как ходят девушки по улицам — в коротких шортах, босиком».

— Ну и что? — скажу я редактору. — Разве я пролаганирую, я обнаруживаю лишь собственную безразличность.

И кроме того, это будет правдой — у меня гораздо больше впечатлений, чем сведений. Я не хочу утверждать, что впечатления более ценная вещь. Вряд ли. Они слишком субъективны: они зависят от настроения, предрассудков. Я хотел бы описать Сидней беспристрастно и обстоятельно, как умели делать путешественники XIX века. Читая книгу Дюмон-Дюрвиля, я наслаждался подробностями обстановки, костюмов, описаниями зданий и умением видеть издали, рядом. «Не забываясь о будущем, колонисты уничтожили леса, окружавшие город, и поэтому вид его печален и открыт. Несколько лет, как насаждают европейские деревья, но они растут тихо и часто изнемогают на здешней горячей и дикой почве».

Путешественник старался описать все, что может оставить картину той жизни, так, чтобы лотомки и через сто и через двести лет могли представить ее наглядно. Он уважал свое время,

он считал его значительным, ценным для истории, но, кроме того, он чувствовал себя как бы ответственным перед будущим. Сейчас это качество в значительной мере утрачено. Мне не придет в голову описывать общий вид Сиднея, из какого камня там строят дома, есть ли там трамвай, как устроены магазины. Мне кажется, что все это уже описано другими, и сами сиднейцы это опнут лучше, а кроме того, есть кино, фотографии, газеты, они зафиксируют, они дополнят. А они, между прочим, и не фиксируют.

В роскошных фотоальбомах о Сиднее — парадные архитектурные ансамбли, знаменитый сиднейских мост, центральные улицы, ботанический сад. Но зато там нет домиков Вула-Мулла, нет крохотных садиков, дымящих пивных, китайских ресторанчиков, нет субботней торопливой толпы в универмагах, когда цены снижаются на шиллинг, нет того, что составляет быт города. Точно так же, как и в наших фотоальбомах, не увидишь базара, тесно заставленной коммунальной кухни, очереди у филармонии, старых дворов с деревянными клетками.

Не типично, не отражает, — может быть, оно и так, но тем более это уходит в прошлое, оно должно сохраниться в документах, описаниях, фотоальбомах — вот как мы жили, и так жили, и так, по-разному жили.

Попробуйте сегодня рассказать

о годах первых пятилеток. Где, в какой Истории есть фотографии очередей за хлебом, карточек, торгсннов, но ведь это тоже было бытом. Даже из газет того времени ничего не вычитаешь об ордерах на рубашку. Так и сегодня из газет ничего не узнать о том, как хоронили Пастернака, и о том, как выглядыт в 1965 году служба в церквах.

Иногда мы не пишем об этом только потому, что нам кажется, что все это и так знают. Путешественник обладает совсем иным видением. Вот почему одно из лучших описаний Сиднея сделал француз Дюмон-Дюрвиль. А Англия так прекрасно описал Карел Чапек. А Ирландию — Генрих Белль.

— Вы будете писать о Сиднее? — спросили нас журналисты.

— Обязательно, — сказал я. — Наверное, мне не избежать ошибок, наверное, многое будет нивным, но, может быть, там будет и что-то интересное. Сидней, каким он видится человеку другой, совсем другой страны.

— А о чем конкретно вы напишете?

— О Книг-кроссе, о стомпе, о докерах...

— А про наш мост? Обязательно напишите про наш мост. Что это будет за рассказ о Сиднее, если там не будет моста?

— Ладно, — сказал я. — И про

мост. Но боюсь, что из этого ничего хорошего не получится.

У первого впечатления есть свои законы. Ему отпущено точное время, еще немного, и оно скиснет, свернется, дальше начинается знание, неполное, куцее, от которого одно расстройство.

Нас пригласили в сиднейский «Новый театр». Через слабо освещенный подъезд мы поднялись в фойе, бедное, никак не обставленное, зрительный зал напоминал сарай, лампы свисали с голых стропил, освещая плохо побеленные кирпичные стены. Шла пьеса местного автора — чуть под брехтовскую «Трехгрошовую оперу», про гангстеров, трусливых и жалких. Играли хорошо, а нам казалось, что играют превосходно. Мы хлопали изо всех сил, и дешевые стулья пронзительно скрипели под нами: На тесной сцене вздрагивали фанерные декорации, и они казались нам трогательными. Объяснялось все просто: мы знали, что театр построен рабочими Сиднея, на их деньги, делали сцену и это фойе коммунисты и их друзья. Артисты труппы играют бесплатно, театр существует на энтузиазме. Плата за билеты еле покрывает расходы по аренде. Все остальное — декорации, костюмы — делает сама труппа.

На третьем, четвертом спектаклях убогие декорации нас бы уже не растрогали, мы заметили бы неровный состав участников, и

скрип стульев мешал бы нам, но я не знаю, было бы ли это большей истиной, чем наше первое впечатление.

## Мост

### 1

«Был прекрасный летний вечер, когда рейсовый самолет компании ТАА совершил посадку в сиднейском аэропорту. В толпе австралийцев выделялись небритый хмурый господин с невысокой черноволосой женщиной. Легкий акцент выдавал в ней иностранку. Господин не обладал никаким акцентом, поскольку он не говорил по-английски. Полицейский, стоящий на площади, не обнаружил ничего подозрительного в группе встречающих, которые приветливо похлопывали иностранцев и несли их сумки. Иностранцы устало улыбались. Перед ними открыли дверцы низенького красного «холдейка».

— В отель! — зачем-то громко сказал огромного роста мужчина, и глаза его загадочно блеснули.

Машина рванулась и помчалась к Сиднею».

### 2

«Темнота скрывала лица спутников. Ничем не выдавая себя, они расспрашивали о полете, искусно ведя непринужденный разговор. Иностранный господин устало отвечал, а иностранная женщина, чью бдительность усы-

пила иностранная веселость, беспечно смеялась.

— Отель! — сказал кто-то.

Слово это иностранец понимал. Запекшиеся губы его дрогнули в слабой мечтательной улыбке.

— Слава богу, наконец-то, — сказал он.

Ответом ему был злоеший смех. Машина, не замедляя ход, мчалась дальше.

— Куда вы? Остановитесь! — воскликнул он.

— Как бы не так! — процедил огромный мужчина.

— Что это значит? — крикнул иностранец.

— А то, что отель мы проехали, — последовал хладнокровный ответ.

— Куда же вы нас везете? — в ужасе воскликнула иностранная женщина.

С переднего сиденья к ним обернулась местная женщина. Во тьме белело ее прекрасное лицо, но сейчас оно было холодно и жестоко.

— К мосту.

— Какой мост, не нужен мне мост, я хочу в постель! — С этими словами иностранец пытался выпрыгнуть из машины, на него навалились, последовала борьба, и он затих.

3

«Напрасно иностранная женщина молила о пощаде, похитители были неумолимы, куда девалась их недавняя любезность!

На перекрестке машина остановилась, пережидая сигнала. Иностранцы закричали что-то среднее между русским «караул» и «help our». В соседних, рядом стоящих машинах люди оборачивались, подмигивали друг другу.

— А, иностранцы! К мосту везут сердешных! Смотри, пихаются. Держи его шибче! Ишь, дикарь! Убежать хотел! Утописты.

— Слушайте, слушайте, — сказала еще недавно прекрасная местная женщина, — слушайте, что говорит народ. Смиритесь. Таков закон. Лучше смотрите, о чужеземцы, вот он, наш Великий Мост!

Ужасная бледность покрыла лица иностранцев. Машина двигалась в стальном коридоре конструкций. Несчастные потеряли счет времени. Где-то внизу сверкала начищенная до глянца вода залива. На другом берегу машина повернула обратно.

Хозяева молитвенными голосами принялись исполнять славу своему мосту. Стало ясно, что пленников будут продолжать возить по мосту, пока они не сдадутся.

Мужество покинуло иностранцев. Погасшими глухими голосами они покаялись, что:

1. Сиднейский мост самый красивый и при этом самый длинный и красивый мост в мире.

2. Мельбурицы клеветают, называя его вешалкой, у них самих



мост самый дрянной из всех мостов.

3. Великий Сиднейский мост необходимо осмотреть днем, на рассвете, на закате и при солнечном затмении.

4. В течение всей оставшейся жизни иностранцы, где бы они ни были, обязуются хвалить мост, рассказывать про мост, описывать мост.

5. Они видели своими глазами, что мост имеет два трамвайных пути, два железнодорожных, проезжую часть в шесть рядов автомашин, обзорную вышку и сетку для самоубийц.

6. Все вышеизложенное признаю совершенно добровольно и глубококому внутреннему убеждению.

После этого лленников заставили несколько раз воскликнуть: «Спасибо, что нас сюда привезли!», «Страшно лодумать, если бы мы его не увидели», «Какое счастье иметь такой мост!»

Если в этой истории что и увеличено, то самая малость. Я понимаю, что у каждого города есть свои слабости, но хуже всего, когда это мост, да еще такой длинный. Пока по нему идешь, забываешь, зачем ты отправился на тот берег. Построив мост, Сидней залез в долги, с каждой проезжей машины взимают шил-

линг, и неизвестно, когда это кончится. Мост постоянно красят. Пока доберутся до конца, начало уже облупилось. У парней, которые висят в люльках, были счастливые, спокойные физиономии. Работа им обеспечена пожизненно.

Как-то под вечер, блуждая по Сиднею, мы вышли к заливу. Набережных в Сиднее нет. Город повернулся спиной к воде. Берег был застроен угрюмыми лаггаузами. А вдали мы увидели мост. Он был удивителен. Он лоднимался над заливом, как глубокий вздох. В облаке света он парил среди грязноватых скучных берегов. Дуга его вздувалась стальным бицепсом. Он был бы еще краше, если бы им не заставляли любоваться. Красоту лучше открывать самому. Но тут же я вспомнил, как сам вожу по Ленинграду гостей и заставляю их любоваться Невой, дворцами и требую похвал. Зачем мне это нужно? До чего ж мы все одинаковы! Это не бог весть какое открытие обрадовало меня, я находился в нем даже что-то замечательное: за столько тысяч километров люди подвержены тем же слабостям, так же наивны и тщеславны. Очень приятно. Ничто так не сближает, как слабость. Хитрость в том, чтобы искать их не у других, а у себя. Честно признаваться в них — вот это почему-то оказывается самым сложным.

— Он не типичен для нашего города, — объясняли нам, — нельзя судить о Сиднее по этому проклятому Кинг-кроссу.

Кинг-кросса почти стыдились, о нем избегали писать, не любили говорить. Нас просили не ходить на Кинг-кросс, не советовали, не то чтоб там было что-то «такое», просто не стоит терять время.

Иногда вечером мы проезжали Кинг-кросс. Там было много народа и много света. Казалось, что-то происходит на этой улице. Гулянье? А может, киносъемки? Чем-то отличался ее густой, людской поток от обычных прохожих.

Меня всегда привлекали двери с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Мало того, что я неисправимо любопытен, я еще терпеть не могу запретов. Наверное, Фрэнк Харди страдал той же болезнью, он подмигнул нам, и при первом удобном случае мы отправились на Кинг-кросс.

Мы двигались не торопясь, в плотной толпе, разглядывая встречных, и встречные разглядывали нас. Это не было ленивым любопытством театрального фойе. Что-то связывало толпу. Она не гуляла, она была чем-то занята.

Сама улица скрывалась за ослепительным светом. Освещение было настолько пронзительным,

что создавало ощущение события. Как ночная игра на стадионе. Как праздничная иллюминация. Дома были плотно начинены всевозможными кабаре и рестораничками. Узкие спуски в подвалы чички светились щитами с цветными фото стриптизов. Сквозь открытые двери баров блестели стойки, миксеры и прочая аппаратура для коктейлей. Подмигивал русский ресторан «Балалайка». За стеклами кафе в зеленоватом свете, как в аквариуме, скользили пары. А были сидящие недвижно над рюмкой, естественные, как манекены.

В небе мчались, плясали слова реклам, вспыхивали вывески ревя, под ними светились обнаженные груди девиц всех мастей, прозрачные прекрасные груди и длинные голые ноги. Перед ними кружились, толпились пятнадцатилетние юнцы и постарше, причудливо разряженные — в алых рубашках, черных трико, бородастые, в больших черных очках, какие-то типы с накрашенными губами.

На углу стояло нечто диковинное — существо с красивой золотистой косой и золотистыми усами. Я подошел ближе. Коса была натуральная, пышная, усы тоже натуральные, тонко закрученные. Остальное составляли черная рубашка, черные джинсы, внутри которых разместился здоровенный парень. Его толстая заплетенная коса лежала на плече. Он обни-

мался с коротко остриженной девушкой. Тут я стал замечать, что он не одинок: как на маскараде, мимо двигались и другие пары с головами по последней моде: длинные, рассыпанные по плечам локоны, женские прически, они шли с отличными девушками, стриженными по-мужски, с девушками, волосы которых были раскрашены в розовое, голубое, зеленоватое. Проститутки совершенно терялись в этой толпе. Шныряли продавцы чего-то, шептались в подъездах, кто-то зачарованно столбенел у витрин, кругом пили, курили, и все это колыхалось, мельтешило, словно облако вечерней мошкеры. Музыка ресторанов, транзисторов, радиол складывалась в общее завывание. В теплоте вечераплыли запахи бензина и косметики. Все было насыщено блеском глаз, жадной каких-то встреч, приключений, ожиданием необычного.

По мостовой так же слитно двигалась толпа машин.

На перекрестке, огибаемый потоком машин, стоял полицейский. Толпа скапливалась у перехода, ожидая сигнала. Кто-то поторопил полицейского, и тот нахмурился. С другого угла крикнули:

— Душечка, тебе там не скучно?

Полицейский рассвирепел, и это подначило шутников. Выкрики полетели в него с обеих сто-

рон. Видно было, как челюсти его сжались, он стоял, недоступный, защищенный идущими машинами,— олицетворение власти—и не пускал толпу. Ему хватило бы машин, чтобы держать нас часами. Перекресток вопил, народу прибывало, теперь полицейский усмехался, он наглядно показывал могущество диктатуры.

Наконец кому-то удалось его рассмешить, полицейский поднял руку, машины остановились, все закричали «ура!» и бросились на мостовую в погоне за чем-то.

Я тоже спешил и оглядывался, мне все время казалось, что где-то рядом что-то произошло, а может, именно сейчас происходит—впереди, за спиной, в перелюлке.

Кинг-кросс существует не для увеселения туристов, это не парижская площадь Пигаль. Кинг-кросс сам для себя. Чьи-то подведенные глаза следят из-за стекла. Старуха, свесая из окна, часами завороченно смотрит на безостановочное кружение.

Город давно опустел, заперся в коттеджах, уткнулся в пухлые, по пятьдесят страниц, газеты, в телевизоры, остался только Кинг-кросс, хоть как-то утешающий жажду общения.

Время от времени нам попадалась пара—босая девушка и парень в деревянных сандалетах. На груди у него висел транзистор. Они шли, обнявшись, слу-

шая музыку, и глазели по сторонам. Между собой они не говорили. Лица их были безмятежно довольны. Транзистор и Кинг-кросс освобождали их от необходимости развлекать друг друга.

Я представил себе, как они встречаются здесь по вечерам и гуляют, часами не обмениваясь ни словом. Иногда идут в кино, там тоже не нужно говорить. У телевизора тоже сидят молча. Вряд ли они приступали к разговорам в постели. Им незачем утруждать себя, искать темы разговора, нужные слова, интонации.

На Кинг-кроссе разговаривать некогда, бояться что-то пропустить, и думать некогда: мелькание лиц, реклам, вывесок, и ведь вроде бы жили бурно, ярко, в длинной возбужденной толпе, они-то ведь недаром там были, что-то, значит, происходило, должно было происходить. Живешь всюю — глазами, ногами, что-то жуешь, пьешь, куришь, участвует все, кроме головы. Как будто ее нет. Она не нужна. Очень удобно, а главное — современно. Можно ни о чем не думать. Глотаешь пустоту. Великолепно оформленную пустоту.

## 2

В центре Кинг-кросса сверкала большущая вывеска: «Стомп». Я посмотрел на Оксану. Она не знала, что это. Фрэнк засмеялся и успокоил ее. Ни в одном из

английских словарей еще не было этого слова.

— Зашли? — подмигнул он.

И мы зашли.

Потолок, стены огромного дансинга терялись где-то в синеватой мгле. На высокой эстраде, сбоку работали четверо парней. Они играли почти непрерывно. Рубашки их потемнели от пота. Подменяя друг друга, они выбегали к микрофону и просто выкрикивали. Слов не было, один ритм, хриплый, укачивающий ритм. Внизу сотни людей танцевали. Танец назывался «стомп». Такого танца я еще не видал. Танцевали вроде бы парами, но это были не пары. Каждый танцевал сам по себе. Танцующие топтались, покачиваясь из стороны в сторону, на расстоянии нескольких шагов друг от друга, топтались, и больше ничего, иногда они теряли партнера в толпе и не искали его, возможно, они и не замечали его отсутствия. Танец одиноких, им не нужен был партнер. Каждый танцевал сам для себя, полускрыв глаза, уйдя в полузабытье. Большинство составляли подростки: пятнадцать, семнадцать лет. Девочки скидывали туфли, некоторые были в брюках, в шортах, не существовало никаких ограничений. И при этом танец был лишен всякого секса, в нем не было ничего эротического, ничего волнующего. Наши ханжи и те бы растерялись, а для меня, любителя потанцевать,

это выглядело наихудшим извращением. Никакого смысла я не видел в таком танце, скорее он походил на некий религиозный обряд. Стомп почти не требовал умения, не было пар, выделяющихся искусством. Волнообразно и одинаково они раскачивались в такт набегающему ритму. Порой из толпы выходили, садились за столики рядом с нами, и я видел, как постепенно лица их освобождались от стомпа, начинали улыбаться, становились разными — лица обычных мальчиков и девочек. Они пили лимонад, пиво и даже ухаживали друг за другом. А на синтетической подстилке однообразно колыхались лишенные гримет тела.

— Ну и танец, — сказал Фрэнк. — Ни прижать, ни обнять. В чем тут смысл?

Фрэнк тоже впервые попал сюда. Дези пожалла плечами.

— А они и не ищут смысла.

— Чего ж они ищут?

Дези прищурилась.

— Может быть, они хотят потерять себя?

Дези была артистка. Она сама иногда ходила сюда потанцевать и знала этих ребят.

— В ваши годы, — сказала ей одна из девочек, — в ваши годы танцевали буги-вуги и рок, а мы танцуем стомп, у нас свои танцы.

Имея двадцать три года, Дези была снисходительна.

— Видите, у них все свое, — сказала она. — Они не желают ни-

чего нашего. Парни будут ходить с косами, девочки будут делать зеленые брови, лишь бы не так, как у старших.

Похоже было, что в чем-то она права. На эстраде по-прежнему надрывались, хрипели четверо парней, они явно подражали битлам. Настоящие битлы, неплохие ребята из Ливерпуля, вряд ли представляли себе, что вырастет из их славы.

Внизу так же топтались с одинаково отрешенными лицами, полузакрытыми глазами, почти не двигаясь с места. Танцевали только стомп, все время стомп.

Слова Дези не выходили у меня из головы. Потерять себя — но зачем? Она не могла мне это объяснить. А может быть, я не мог понять ее? Фрэнк тоже не все понимал.

— Как же так, — сказал я Фрэнку, — ты вырос здесь. Ты политик, ты писатель, ты социолог, это же твоя страна, твоя молодежь.

— А ты у себя все можешь объяснить? — сердито сказал Фрэнк. Он раскурил трубку, и мы вышли из дансинга на Кинг-кросс.

Сидя на панели, какой-то сумасшедший поэт продавал свои книжки и, завывая, нараспев читал стихи. Ночь выжимала из города диковинных типов. Какое-то отребье выпадало из ночи, как осадок, оно мусором кружилось в центре воронки.

На дверях белого домика висел картон: «Коммуна Ван-Гога». По лестнице поднимался босой разломаченный парень. Фрэнк ухватил его за пояс и радостно сказал:

— Привет! Как поживаешь?

Я уже убедился, что не существует никаких признаков, чтобы определить, знаком Фрэнк с человеком много лет или видит его впервые.

Фрэнк вел себя, как хозяин, и ему охотно подчинялись. Он дал команду, и вскоре комната наполнилась парнями и девушками. Я знал только Дениса — отличного молодого австралийского поэта. Кроме него, пришли художники из этой коммуны, и художники-абстракционисты не из этой коммуны, артисты, веснушчатый мляг, которого все звали Космос, он работал грузчиком и писал, какой-то молодой юрист. Они рассаживались вокруг нас на полу, на кроватях с таким видом: ну, посмотрим на это представление, чего нам покажут советские коммунисты, которых привел сюда австралийский коммунист, готовься, ребята, к агитации. Сейчас нас начнут «вербовать».

А нам некогда было их агитировать, нам хотелось узнать про их коммуну, про молодую живопись Австралии. Я стал их спрашивать и сам не заметил, как на-

чал отвечать, они закидали меня вопросами про заработки художников, про выставки, а потом про МХАТ, про Брехта, про разводы и свадьбы. Повторилась обычная история, всякий раз я попадался на эту удочку. На любом приеме, встрече австралийцы после двух-трех минут серьезного разговора — больше они не выдерживали — ловко соскальзывали в шутку, в анекдот и сами начинали меня расспрашивать, и дальше я уже не мог выбраться из-под вороха их вопросов. Но тут я заупрямился.

— Какого черта! — сказал я. — Кто к кому приехал? Кто из нас гости?

В самом деле, когда к нам приезжают иностранцы, они нас расспрашивают, когда мы приезжаем за границу — опять нас расспрашивают.

— Ладно! Сдаемся! — Они подняли руки вверх.

И я потребовал, чтобы они выложили мне свое мнение про стомп и Кинг-кросс.

Я и сам толком не мог объяснить свои сомнения. Но мне претило пользоваться шаблонными схемами, которые валяются под рукой. Обличать Кинг-кросс было проще простого. Сами сиднейцы не рвались защищать его. О нем говорили нехотя — «квартал богемы», «злачное место», «контрасты большого города».

— Нет, — сказал я, — и что-то еще там есть.

— Что?

— Не знаю, я не понял. Наверное, я что-то пропустил.

Они переглянулись, заулыбались.

— Это всем так кажется.

«Вот оно в чем дело! Может быть, в этом-то и весь секрет Кинг-красса, чтобы каждому казалось...» — подумал я, но не спросил, потому что они в это время говорили про стопп.

— ...а что можно предложить этим ребятам взамен стоппа? — говорили они. — Религию, наживу, бизнес? Они бунтуют против обывательщины. Бунт, ничего другого у них нет. Бунт без особых идей. Всякие идеи, поиски смысла жизни, идеалы изуродованы жизнью, об этом не хочется и думать. У них примерно такие рассуждения: «Лгите друг другу без нас. Мы не участвуем в ваших играх. Изменить в этом мире ничего нельзя. Мы ничего знать не хотим, мы не протестуем, не переживаем. Мы ни при чем, нас нет, мы танцуем, оставьте нас в покое».

Перед отъездом, утром, я отправился на Кинг-кросс. Пройдя несколько кварталов, я вернулся, ничего не понимая.

Зеленщик развешивал над прилавком связки ананасов.

— Это и есть Кинг-кросс, — сказал он мне.

Но это не был Кинг-кросс. Ни кабаре, ни стриптизов, ни ревю — была самая обыкновенная не-

взрачная улица с низенькими облезлыми домами. В ожидании автобуса стояла очередь из добропорядочных клерков. Шли хозяйки с сумками, шел старенький патер, в кафе бойскауты пили оранжад, под тенью маркиз инвалид листал газету.

Напрасно я аглядывался в лица деловитых прохожих. Они делали наивные глаза, никто ничего не помнил, и знать они ничего не знали, их ни в чем нельзя было уличить. «Полтора шиллинга — лучшие огурцы. Рубашка — одиннадцать шиллингов. Пожалуйста, другая, drip-dry — не нужно гладить...»

И никаких других обещаний.

Случайно наверху, над крышами домов, я различил железные каркасы ночной рекламы. Они чернели навывлет, как рентгеновский снимок. Единственная улочка. Но куда же делось все остальное, весь блистающий таинственный мир? Куда исчез Кинг-кросс? Существует ли он? Был ли тот первый вечер и потом еще и еще?

В полдень мы улетели, и поэтому больше ничего достоверного о Кинг-кроссе я выяснить не мог.

## Песни

Мы вышли на улицу после театра. Было половина двенадцатой ночи. Нам не хотелось домой, в гостиницу.

— А куда у вас в Москве можно пойти в это время? — спросил Джон Хейс. В тоне его не было никакого подвоха. Он спросил это совершенно просто, просто из любопытства.

Фрэнк, который бывал в Москве, хмыкнул и стал раскуривать трубку. Мэри тоже бывала в Москве, но у нее не было трубки, и она с интересом ждала, что мы скажем.

— Дорогой Джон, — сказал я, — приезжайте к нам, и вы не пожалеете.

— Какой блестящий совет! — сказал Фрэнк. — Как много ты узнал, Джон!

— Да, у нас нет стриптизов и всяких ночных кабаре, — начал я.

— Не защищайся, — сказала Мэри, — не обращай на них внимания, на этих диких австралийцев.

— Ладно, — сказал Фрэнк, — так и быть, в следующий раз, когда мы приедем в Москву, может быть, ты действительно сможешь нас куда-нибудь свезти в двенадцать часов ночи. А сейчас поехали, и никаких вопросов.

Темный дом имел темный вход. Мы ошупью двинулись через какой-то зал с перевернутыми стульями, узкий коридор, много конторки, где сидело несколько парней. Фрэнк о чем-то пошептался с ними, хлопнул одного из них по плечу, и тот повел нас

дальше по каким-то переходам, потом вниз по крутой лестничке, мы спустились и спустились, пока не очутились в слабо освещенном подвале. На полу сидели и лежали парни и девушки. Там было человек сорок. Курили, пили пиво, джус. Мы с трудом нашли себе место недалеко от маленькой сцены. Дощатый помост не имел ни занавеси, ни задника. Мы сели на пол, спутницы наши сбросили туфли, как и все остальные женщины, и легли рядом. Это был самый обыкновенный подвал с худо выбеленными стенами, и никаких украшений.

Парень, который провожал нас, вышел на помост и объявил второе отделение. Его встретила аплодисментами. Он сел на стул, взял гитару и запел. Первая песня его на меня не произвела впечатления. Он пел почти без всякого выражения, рассеянно, словно думая о чем-то другом, как напевают про себя, когда никто не слышит. У него был красивый голос, но он не хотел им пользоваться. Потом он запел смешную песенку о девушках Брисбейна, кругом смеялись дружно, громко, ритмично, смех звучал, как припев. Пока что вызывающая убогость подвала и эти голоногие девушки и парни, потягивающие пиво, воспринимались мною как манерность, эстетство наизусть. Но они хорошо смеялись. А потом они перестали смеяться, когда Кивен Путча, так



звали этого парня, запел, жестко спрашивая: «Что же вы сделали с миром?» И это тоже было здорово, что они вот так. вдруг замолчали.

Он спрашивал не их, скорее он вместе с ними спрашивал других. Песни были жесткие, одна жестче другой. Ничто не менялось в ленивых позах разлегшихся парней и девушек. Никто не вскакивал, не сжимал кулаки. Но что-то происходило. Еле заметно изменились лица. Стало чуть тише.

Я попробую приблизительно передать текст одной из песен:

Вы, хозяева войн,  
Вы, кто покупает пушки,  
Кто продает самолеты и бомбы  
И кто прячется за спинами  
рабочих,

Кто прячется в офисах  
за столами!

Я хочу, чтобы вас знали.  
Вы, которые сами ничего

не создали.  
Вы играете с миром, как

с игрушкой.  
А потом вы поворачиваетесь

и убегаете.  
Когда пушки начинают стрелять.

Вы, как всегда, ждете  
и обманываете,

Как будто мировую войну может  
кто-то выиграть,

И хотите, чтобы я поверил.  
Я вижу вас насквозь,

Ваши мозги за черепными  
коробками,

Вашу кровь, как стоячую воду.  
Вы прячетесь в ваших особняках

И ждете, чтоб наша смерть  
принесла вам

Побольше прибыли.  
Вы родили самый ужасный

страх —  
Страх рожать детей,

Вы угрожаете моему ребенку,  
Еще не рожденному.

Вы скажете, что я молод.  
Но я знаю, что даже Христос

Не простил бы того, что  
делаете вы.

Никакие деньги, никакие  
пожертвования

Не смогут купить вам прощения.  
Когда смерть придет к вам.  
Я надеюсь, что вы погибнете,

и скоро.  
Я пойду за вашим гробом

И буду следить, как вас уложат  
в могилу,

И буду стоять, пока не увижу,  
Что вас зарыли.

Это грубый подстрочник. В оригинале это хорошие стихи, песня с четкой мелодией. Больше всего я жалел, что у меня нет с собой магнитофона, простого, маленького, как фотоаппарат, магнитофона, чтобы потом можно было снова услышать этот вечер в подвале. Тогда вы могли бы понять, чем он отличается от любого концерта. У нас песни о мире распевают свободно, издаются песенники, выпускаются пластинки. У нас это носит совсем иной характер, иногда даже излишне обязательный.

Для Кивена Путча его песни — личный протест, их никто не поощряет, не пропагандирует по радио. Они звучат из подвалов, наперекор власть имущим, речам премьера, всему тому, что зовется государственной пропагандой.

Он пел песни о забастовке стригалей, о Джоне, вернувшемся с войны; «Где твои ноги, Джони, ты уже не танцуешь...»

Здесь песня за мир пелась иначе, чем у нас. Она была вызовом, дерзостью, она боролась с приевшимися песенками, день и ночь журчащими по радио, телевизору, из сотен тысяч транзисторов, со всех астрад кабаре,

дансингов, на всевозможных шоу и ревю.

И аплодисменты тут были дружные.

Концерт кончился, мы вышли на улицу, дождался Кивена. На улице он выглядел обыкновенным парнем, никак не скажешь: это певец. Сколько раз я наблюдал превращение, которое происходит с артистом; только что он блистал на сцене, недостижимый, ни на кого не похожий, и вот он на улице, неотличимый от прохожих.

Фрэнк познакомил нас. Мы стояли, улыбаясь, хвалили песню, опять улыбаясь.

Было жаль расставаться, тем более что расставаться приходилось навсегда. В Австралии каждая встреча была единственной, каждое прощание — навсегда.

Кивен устал: в этот вечер было два выступления: был час ночи, и все же, нарушая все правила приличия, мы не хотели расставаться, у нас было такое чувство, что вечер не кончен. Надо доверять своему чувству, оказалось, что у всех такое чувство, все обрадовались, и Кивен обрадовался, и даже наш чинный Джон Хейсс обрадовался.

— Поехали, — сказал Кивен.

Мы не стали его спрашивать куда. Мы кружили за ним по пустым улицам Сиднея. Остановились у низкого светлого коттеджа. Кивен постучал в окно, зажегся свет, замелькали тени. Кивен ис-

чез, потом появился, мы пошли за ним.

Молодая женщина сворачивала матрац на полу, ее муж, огромный, о котором нельзя было сказать, чего в нем больше — высоты или ужина, — он натягивал на себя рубаху. Ясно, что мы их разбудили. Они принимали нас мужественно, с тем гостеприимством, какое могут оказать очень хорошие люди, которых подняли с постели.

Парень протянул нам руку:

— Дейлин Эфлин.

Рука у него была огромная. У него все было огромное: рубаха, голос, черты лица, улыбка. Он был тоже певец, так же как и Кивен. Жена его достала из шкафа несколько бутылок с остатками вина, потом мы вместе с хозяевами принялись варить кофе, потом начались песни. Дейлин пел ирландские песни, песни пастухов, песни протеста. Это были песни против воинской повинности, против войны, песни студентов, не желающих идти в армию. Когда Дейлин уставал, его сменял Кивен. Они пели так разное, их нельзя было сравнивать и решать, кто лучше. Голос Дейлина был для площадей — медленный, мощный голос, которого ничто не могло заглушить. Вдруг он запел наши советские песни, а потом песню Фрэнка «Сидней-город». Он даже не знал, что ее сочинил Фрэнк, он и Фрэнк видел впервые. Он мед-

ленно удивился, а Фрэнк был в восторге.

Джон Хейсс, как самый старший среди нас, сидел на единственном стуле. Джону было много за шестьдесят, и мы боялись его переутомить. Но он разошелся. Было три часа ночи, а он и не думал о сне. Он сидел сияющий и удивленный. За последние два дня его удивление нарастало. Он менялся у нас на глазах. Поначалу это был вполне respectable господин, который любезно сопровождал нас, как президент Феллоушип писателей Сиднея, он поехал с нами на собачьи бега, на которых он никогда не бывал, он вместе с нами впервые посетил Новый театр, потом этот подвал и театр Декмена. Он вдруг открыл для себя Сиднея, о котором он и не подозревал, хоть прожил тут всю жизнь.

Кивен Путча, Дейлин, Рольф — в Сиднее появляется все больше таких певцов, выступающих во всех рабочих клубах, кафе, подвальных. Иногда они сами сочиняют свои песни, перекладывают на музыку стихи австралийских поэтов.

В Перте мы познакомились с певцом Джозефом Длионом. Он подошел к нам на собрании писателей и подарил несколько своих пластинок. Посреди разговора Джозеф вдруг встал и запел во весь голос. Без аккомпанемента. Ни с того ни с сего, от пол-

ноты чувств. Вскоре мы привыкли к тому, что он может петь в любой обстановке, по первой просьбе и без всякой просьбы. Он пел за рулем машины, он пел у себя дома и ночью в парке. Он пел песню в память Альберта Наматжиры, песни стронтелей, золотонкателей, песни солдат.

— Это ведь не совсем моя песня, — говорил он, — я пою то, что подслушал у костров, на досках страны. — Он был охотником, шофером, каменщиком, дорожником и всегда — певцом. Его очень интересовало, есть ли у нас что-то похожее. Я назвал Окуджаву, Городинцкого, Матвееву, Галича, я сам не ожидал, сколько их набиралось, а скольких я не знал...

### Однорукий бандит

Джон Хейсс пригласил нас в свой клуб пообедать. Представления о клубах у меня были случайные.

Я знал, что клубов в Австралии много, что они совсем не похожи на наши клубы.

Последнее подтвердилось немедленно: у входа в клуб меня не пускали без галстука.

— Ага, что я говорил! — сказал я, хотя ничего такого я не говорил.

Джон Хейсс виновато улыбнулся: дурацкое правило, но ничего не поделаешь, каждый клуб стоит из правил.

Посредством улыбки Джон Хейсс мог выразить что угодно: там, где другим необходим был монолог, ему достаточно было улыбнуться, при этом его улыбка всегда оставалась доброй и деликатной. Имея такую улыбку, Джон не нуждался в переводчике. Я понимал его свободно. Будучи президентом Феллоушип писателей Сиднея, Джон Хейсс выходил на трибуну и улыбался, это заменяло вступительную речь. Если я и преувеличиваю, то ненамного.

Итак, Джон Хейсс улыбнулся, а я развел руками. Галстука у меня не было. И в отеле, в чемодане у меня не было галстука. Даже дома, в Ленинграде, у меня не было галстука. Так же, как Джон провел свою жизнь в галстуке, так я провел ее без галстука.

Мне жаль было огорчать Джона, кроме того, мне хотелось посмотреть австралийский клуб; мы подумывали, не пойти ли нам купить галстук, но в это время портье сказал:

— Минуточку! — И вытащил из ящика связку галстуков.

Я плохо разбираюсь в галстуках, но я надеюсь, что таких страшных галстуков еще никто не носил. Совершенно одинаковые, вяло-рыжие, они не подходили ни к какому костюму, они были как возмездие за мою не любовь к галстукам.

Я сунул голову в петлю, портье

затянул ее на моей шее и подмигнул:

— Не горюй, веревочная петля хуже!

Это меня утешило. Правила были соблюдены, мы могли войти в клуб.

Он занимал два этажа. В бильярдной джентльмены играли в бильярд, в читальне читали, в баре пили.

Клуб назывался клубом любителей-автомобилистов. Джон не был любителем и не имел автомобиля. Оказывается, это ничего не значило. Джон вступил в клуб потому, что ему нравился клубный ресторан.

Впрочем, любителей-автомобилистов тоже принимают в этот клуб. Для вступления нужно получить рекомендации членов клуба и заплатить взносы. Кроме этого клуба, Джон — член еще двух клубов, также чем-то удобных ему.

Есть клубы рыбаков, журналистов, холостяков, спортивные клубы, женские. Нет ничего легче, как организовать новый клуб. Любой клуб: любителей бифштексов, любителей детективных романов, клуб глухих, клуб сторонников солнечных часов...

Приятней всего создавать клуб в знак протеста — против старого руководства клуба, против казначея, против всякого руководства. Это всегда находит поддержку. Австралиец терпеть не может руководства — будь то председа-

тель клуба, полицейский, министр, профсоюзный вождь. Попробуйте создать клуб по указанию сверху. Навязанное отвергается яростно, как насилие.

Ни в одном клубе, ни в одном общественном заведении я не видел портретов главы правительства, министров, английского генерал-губернатора. Почтение к властям — признак дурного тона. Портреты английской королевы скорее привычка, чем любовь к монархии.

В ресторане у Джона был свой любимый столик; официанты знали его привычки, его меню, пока мы обедали, его несколько раз вызывали к телефону, было известно, что с двенадцати до двух он находится здесь.

И этот клуб и другие, в которых мы бывали, — довольно демократичные организации, они пользуются популярностью во всех слоях населения, — можно посидеть в компании приятных тебе людей, встретиться с друзьями, член клуба имеет право пригласить гостей.

Рядом с рестораном помещалась небольшая комната, где стояли автоматы для игры в покер. Вечером мы ужинали в другом клубе, там тоже была такая комната.

Разумеется, я не мог удержаться и сыграл в покер с автоматом. Процедура была проста: я опустил в щель шиллинг, затем потянул рукоятку на себя и отпустил.

Завертелись диски с цифрами, замигали лампочки: жжж-жжж... и ничего. В зависимости от того, как совпадут цифры, можно выиграть фунт, десять фунтов, двадцать. Это по условиям, так сказать, теоретически. Я сыграл еще и еще. Казалось, что стоит немножко иначе дернуть рукоятку, и выиграешь. Не совпадает вроде чуть-чуть, всякий раз чуть-чуть.

Во время ужина то и дело кто-либо из нашей компании вскакивал и бежал в эту комнату сыграть «с одноруким бандитом» — такое прозвище у автоматов.

Прозвали их так недаром. Цены в клубных ресторанах дешевле, чем в обычных. Члены клуба получают скидки за счет прибыли от этих самых покер-автоматов. Но позвольте, ведь играют на них те же члены клубов? Совершенно верно, на первый взгляд это нелепость, на самом же деле точный психологический расчет. Посетитель обычно рассуждает так: я сэкономлю на обеде три шиллинга, почему бы на них не сыграть? Играет, и снова играет, и проигрывает куда больше трех шиллингов. Никто не заставляет играть, можно просто съесть свой дешевый обед, но в том-то и дело, что большинство играет.

Нам объяснили механику этого хитрого расчета, объясняли, что львиная доля прибыли идет в карманы владельцев автоматов, объясняли, возмущались, все

про все понимал и, посмеиваясь над собой, уходил к автоматам.

Тут действовал тот же психологический трюк, что и в магазинах. На витринах цены выглядели так: «7 фунтов 19 шиллингов 11 пенсов». Независимо, что с восемью фунтов (или теперь — долларов) вы получаете сдачу всего один пенс, цена выглядит все же семь фунтов, а не восемь. И это действует не только на туристов, но и на самых коренных, тертых австралийцев. Большой медный пенс много весит во всех смыслах.

Я обратил внимание, что перед покер-автоматами сидят люди: они не играли, они наблюдали, как играют другие. Иногда они что-то записывали и следили внимательно, словно занимались научной работой. Они искали секрет автоматов. Что надо сделать, чтобы выиграть.

Однажды такой способ был найден. Фрэнк Харди рассказал нам эту историю.

Несколько парней, потратив год-полтора, научились поворачивать рукоятку, получая выигрышную комбинацию цифр. Чуть на себя и обратно, до еле слышного щелчка колесика, снова на себя и обратно, пока щелкнет второе, и т. д. Они принялись посещать один клуб за другим. Выдавали десятки, а то и сотни фунтов из автоматов за вечер. Над владельцами игровых машин нависла

угроза разорения. Этим «доильщиками» выследили. Закрыли им доступ в клубы. Они уехали в Мельбурн. Там повторилась та же история. «Доильщики» переезжали из города в город, за ними посылали фотографии, агентов. Владельцы автоматов объединились. «Доильщики» улетели в США.

Дело в том, что покер-автоматы — предмет национального экспорта Австралии. Ее, так сказать, вклад в технику развлечений. Австралийские автоматы установлены во многих странах. Охота за «доильщиками» перекинулась за океан. Надо было спасти репутацию игровых автоматов. Сложность заключалась в том, что все автоматы, установленные в разных странах, изготавливались по единой схеме. Окруженные со всех сторон, «доильщики» выдвинули условия капитуляции. Они сложат оружие за определенную сумму. Иначе они опубликуют свой способ для всеобщего пользования. То ли сумма была велика, то ли гарантии сомнительны, но сделка не состоялась, владельцы решили переделать все автоматы.

Расписанная газетами история воодушевила многих игроков, и вот уже несколько лет они сидят перед новыми автоматами — ищут, изучают, исследуют.

Мысленно я пожелал им удач. Что это такое в самом деле? Стоит людям найти возможность собраться — глядишь, уж тут как

тут пристраивается паразит, извлекающий из этого деньги. И ведь нашлись инженеры, конструкторы, которые сидели, придумывали, рассчитывали, начинали автомат счетными устройствами, блокировкой — новейшей автоматикой, те же узлы, которые применяются в счетных машинах.

«Однорукий бандит» не нападал из-за угла, не приставал к проходящим, он преспокойно расположился в отведенной ему комнате. Люди сами покорно приходили к нему и отдавали деньги. Они знали, что он бандит, грабитель, и все-таки шли. Не столько факт грабежа меня возмущал, сколько способ. Я почувствовал, как его рукоять зацепила и вытягивает из меня игροка, где-то в подвалах моей натуры, оказывается, дремала эта порочная слабость, — игрок, которому дай волю, и он вырастет, завладеет... Я наблюдал за окружающими, мне казалось, что и они побаиваются в себе того же. Вероятно, кто-нибудь из них возразит: «С чего вы взяли? Много ли вы видели, чтобы судить о нас, пускаться в рассуждения о нашей жизни? Подумаешь, покер-автоматы, не это типично».

Но я и не настаиваю на типичности. И если я говорю о каком-то австралийце вообще, то он состоит всего-навсего из двух-трех десятков австралийцев, с которыми я успел близко познакомиться.

Однако я давно заметил, что человек хуже всего представляет, каким он выглядит со стороны. Например, я сам не знаю, что у меня за физиономия, когда я спорю, волнуясь, размышляю. Я никогда не видел себя в такие минуты. В зеркале я вижу не себя, а человека, который рассматривает меня. Как-то один писатель вывел меня в своем рассказе. Обстоятельства были изложены точно, и тем не менее мне и в голову не пришло, что я читаю о самом себе. Ничего плохого там не было, но я не имел к этому субъекту никакого отношения и не желал иметь. А все кругом смеялись и показывали на меня пальцем.

А иногда бывает обратное. Ко мне явился научный сотрудник одного из институтов и заявил, что его профессор возмущен тем, что я вывел его в романе.

Я никогда и в глаза не видел этого профессора и понятия о нем не имел, а он узнал себя вплоть до внешнего вида и привычек.

«Однорукий бандит» не давал мне покоя. Впервые предо мною была машина полностью враждебная, которую никак нельзя было приспособить, приладить для общества, в котором я жил. Техника бесклассовая, это я знал твердо, но тут я споткнулся. Он был замыслен как бандит, он не мог быть не чем иным, как бандитом, поэтому он подлежал уничтоже-

нию вместе с силами, породившими его.

Есть еще особые клубы-пивные.

Пивные тоже клуб, только без «одноруких бандитов», без членства, без галстуков. Пивные, или, как их называют, паб, почти одинаковы повсюду. Стены выложены белым кафелем, цементный пол, длинная стойка, несколько стаканов. Большей частью пьют стоя, расхаживают со стаканами в руке от одной компании к другой. Австралийский паб — это не какая-нибудь забегаловка: выпил и отправился восвояси. Конечно, есть женщины, которые считают, что если купить мужчине несколько бутылок пива, то он может и не ходить в паб. Им не понять, что паб незаменим. Паб не похож на немецкие пивные, на чешские пивные, в которых есть своя прелесть, не похож он и на наши пивные, в которых тоже могла бы быть прелесть, если б их было больше.

Мы зашли с Гарри в паб, и через несколько минут все знали, что я из Ленинграда, прилетел вчера, уеду в субботу, воевал танкистом. Тут же я поспорил с двумя каменщиками насчет самолетов и дирижаблей, сыграл с кем-то в кости, мясник пригласил меня на день рождения дочери. Гарри организовал дискуссию о социализме, тем временем седенький клерк рассказал мне, как спастись от акул, а я ему — как кататься на лыжах.

В пабе нет незнакомых. Представляться друг другу некогда. Тут нет профессоров, студентов, скваттеров, докеров, министров. Главный тот, у кого есть в запасе интересная история, кто умеет рассказывать, у кого громче голос.

За каких-то двадцать минут мы с Гарри выпили шесть огромных стаканов пива. Подобная скорость возможна лишь в пабе. По количеству выпитого пива на душу населения Австралия занимает третье место в мире. Однако душа эта потребляет, пожалуй, самое крепкое пиво. Если литры помножить на градусы, то Австралия может поспорить с чехами. Вопрос этот сейчас живо обсуждается и делается все, чтобы страна добилась первенства. Мы тоже пытались помочь австралийцам и сразу ощутили всю сложность их положения. Конечно, по сравнению, допустим, с чехами австралийцам куда хуже. Чех, он может пить свое пиво не торопясь. Чеха никто не понукает, сиди себе у Томаша, у Калеха хоть за полночь. В Австралии пить труднее. Работа кончается в пять, пивные закрываются в шесть. Таково требование женщин. За какой-нибудь час попробуй догнать чеха. В таких условиях и третье место — чудо.

Обидно все-таки, что статистика не учитывает обстоятельств. Итак, с пяти до шести мужчины пьют и говорят. Прежде всего обсуж-



даются предстоящие скачки, бега, спортивные новости, профсоюзные дела, рассказываются всевозможные истории, немного политики, анекдоты.

Женщины в пивные не ходят: не принято. Поэтому в течение этого часа мужчины испытывают блженное чувство полной свободы. Никаких замечаний, осуждающих взглядов и забот о здоровье. В одном углу поют, у стойки играют в кости. Молчать некогда. Надо успеть наговориться и выпить.

Ровно в шесть пивные краны закрываются. Требование австралийских женщин удовлетворено законом. Хочешь не хочешь, приходится идти домой. Напиться никто не успел, но самолюбие удовлетворено, и обе половины рода человеческого довольны. Один час в день свободы и независимости тоже немало, почти достаточно, чтобы почувствовать себя мужчиной.

## Воскресенье

Небо проснулось все так же безнадежно-чистым, ни облачко на стерильной голубизне. К полудню оно вылиняет, солнце расплавится на его поверхности, как масло на сковородке. Утро для нас — это прежде всего прохлада, спасительные тени домов, сухая кожа. Из нашего гостиничного закоулка мы вышли на главную

улицу Аделаиды и ничего не поняли. Мы посмотрели на часы, сверили время — восемь часов. Все правильно. Все, как обычно. Что же случилось? Почему на улице ни души? Те же сплошные линии магазинов под сплошным козырьком, те же сплошные линии авто вдоль тротуара, и пусто. Шаги звучали гулко в неестественной тишине. Один квартал, второй — ни одного встречного, не у кого спросить, только манекены следят за нами из глубины витрин. Бары закрыты, кафе закрыты. Окна домов закрыты жалюзи. Город пуст, но как пуст — в самую глухую ночь он не был таким пустынным.

Мы свернули на площадь. Перед костелом никого, большая, залитая солнцем площадь пуста. Я вышел на середину площади и закричал. Может быть, где-нибудь откроется окно, люди придут на помощь или хотя бы полюбопытствуют. Может, появится полицейский.

— Люди, где вы? Что случилось?

Оголенный, покинутый город напоминал об атомной войне, о вымершей планете. Наглядное пособие к борьбе за мир — жаль, что нет зрителей. Город был как уцелевшая Помпея, как музей. Внезапно все лишилось смысла, нелепыми стали крикливые плакаты о распродаже, роскошные универмаги Давида, универмаги. Вулворта и какого-то Джона Мартен-

са, они были так же не нужны, как маленькая лавочка Стюарта. Смешно было видеть объявления, запрещающие парковаться, линии белых пунктиров на площади, автоматы и даже собор. Смысл слетал с улиц, оставляя груды затейливо уложенного раскрашенного кирпича, скелет суматошной, нелепой и милой истории, которая называлась XX веком. Улыбаясь, можно разглядывать ее издали, как ту же Помпею, в каком это было веке: в первом? До нашей эры или после? Мы очутились на таком расстоянии, что легко могли ошибиться, — XX век, XVIII... какая разница! Просто давным-давно, забавно они жили в этом давным-давно.

Воображение наше разыгралось вместе с аппетитом. Мы хотели есть. Голод связывает любое прошлое с любым будущим, это такое чувство, которое действительно в любую эру. Мы присели на ступеньки закрытого бара и начали выращивать свой голод. Нужно было довести его до таких размеров, когда он станет сильнее предрассудков и позволит взломать бар.

Неизвестно откуда перед нами появился Джон Брей. Он нежно прижимал к груди банки с пивом. Джон Брей нам понравился с первой минуты, но сейчас он был лучшим человеком в Аделаиде.

— Что случилось? — спросил я. — Где население? Где трудящиеся, где буржуазия?

— Воскресенье! — сказал Джон Брей.

Поэтому он легко нашел нас, единственных людей в каменной пустыне.

— Воскресенье, — повторил Джон. — Торжество одиночества и заброшенности. Посреди города можно умереть от голода. Можно от жажды. От чего вам будет угодно. Никто никого не смеет беспокоить. Большинство самоубийств происходит по воскресеньям.

— Где же все люди?

— Те, кто не кончает с собой, уезжают на пляж, сидят у телевизора, копаются в садике. А как у вас?

— У нас все иначе, — сказал я. — У нас улицы полны народом. Мы ходим в гости, устраиваем коллективные вылазки за город и коллективно едем за грибами.

Джон открыл несколько банок, и мы стали пить пиво.

— Я нарушил закон, — сказал он. — Купил в воскресенье пиво.

Джон был известный адвокат, и у меня не было оснований ему не верить.

Все дело в обычаях, рассуждал я, но почему такие разные обычаи?

Я вспомнил воскресное утро в Польше, переполненные костелы, вечернее гулянье на Старой площади в Кракове, воскресную главную улицу Варны, отданную гуляющим, воскресные итальянские карусели, кукольников, танцы.

И вот, пожалуйста, австралийцы, такие общительные, простые, веселые люди, зачем-то заперлись в своих домах. Закрыты театры, кино, кабаре. Ни выпить, ни потанцевать, никакого культурного досуга. Торжество одиночества.

— Раз в неделю человеку следует остаться наедине с собой, — сказал Джо. — Очень полезно. Собирайтесь, мы едем на пикник.

Он не видел в этом никакого противоречия. Самое естественное для него было поступить необычно. Он и сам был весь необычен. Он был похож на гризли или Фальстафа. Выбрать окончательно я не могу, потому что ни того, ни другого я не видел. Ходил он переваливаясь, громадные волосатые руки его были всегда растопырены. Брюки свисали, темные пятна пота выступали на рубашке, и при этом он каким-то образом сохранял утонченное изящество. Есть такие люди, у которых изящество никак не связано с их внешним видом: выпирает брюхо, растрепаны седые волосы, потный, пылящий, — и все ему идет.

Кроме того, он был поэт и адвокат. В его конторе висел диплом королевского адвоката: из этой бумаги следовало, что он особо важный адвокат, заслуженный. Он позволял себе не считаться ни с кем и брался за безнадежные дела, бесплатно вел процессы бедняков, аборигенов, ему позволялось то, что нельзя

было другим. Никто не удивился, если бы увидел Джона навеселе и в расхлябанном виде. А вот, например, Флекс не имел права появляться без галстука. Каждому было положено свое.

Машина мчалась сквозь безлюдную Аделаиду, некогда шумную, говорливую, занятую в будни куплей-продажей, американским боевиком «Клеопатра», приездом английского дюка...

— Одиночество — дефицитная штука в наше время, — говорил Джон. — Людям некогда заниматься собой. Годами не успевают добраться до себя. Раньше книги заставляли человека думать, теперь читают для того, чтобы не думать...

Поля, низкорослые рощи, лиловые и красные холмы вздымались и опадали. Цвели высокие алые банксии, и пропадало ощущение пустынности, мир наполнился красками, запахами. Хорошо, что для природы не существовало воскресенья, отсутствие людей несколько не портило ее.

На шоссе становилось оживленнее. Мы нагоняли одну за другой машины. На их крышах блестели привязанные серфинги — легкие доски с килем, сделанные из сербристого пенопласта.

Стоя на таких досках, австралийцы скользят вниз с высокой волны так же, как мы на лыжах. Только вместо снежной горы — водяная; вместо двух лыж — одна доска, вместо свитера — тру-

сики. Всего-навсего. Вместо мороза — февральская жара, солнце движется в другую сторону, на севере теплей, чем на юге, мохнатые звери высиживают яйца, деревья меняют не листья, а кору — все шиворот-навыворот, страна наоборот, как говорится в одном стихотворении Галины Усовой.

Австралия — страна наоборот.  
Она располагается под нами.  
Там, очевидно, ходят вверх ногами;

Там неизвестно вывернутый год.  
Там расцветают в октябре сады,  
Там в январе, а не в июле, лето,  
Там протекают реки без воды  
(Они в пустыне пропадают где-то).

Там в зарослях следы бескрылых птиц.

Там кошкам в пищу достаются змеи,  
Рождаются зверята из яиц.  
И там собаки лаять не умеют.

Деревья сами лезут из коры,  
Там кролики страшней, чем наводнение,  
Спасает юг от северной жары.  
Столица не имеет населения.

Австралия — страна наоборот.  
Ее исток — на Лондонском причале:  
Для хищников дорогу рассчитали  
Изгнанники и наторопный народ.  
Австралия — страна наоборот.

Мы проносились сквозь пустынные городки, и я думал о том, что так никогда и не увижу их многолюдными. Господь бог решил в воскресенье отдохнуть, уже были созданы земля и небо и Австралия с акулами, он почил от трудов своих, но все же что он делал в этот первый выходной день? Как он отдыхал? Это была такая же загадка, как то,

что творилось за прикрытыми жалюзи коттеджей.

Машину вел Флекс. Первее, что он сообщил нам, встретив в аэропорту, что у него новая машина. Уже потом он сказал, что у него вышла новая книга, что жена выздоровела и что они переехали в другой дом. Все это были новости второго порядка. Флекс наслаждался новой машиной.

— Вы не боитесь быстрой езды? — спросил он.

Я посмотрел на спидометр. Стрелки подходили к последнему делению, к цифре «100».

— Прекрасно, — сказал я.

Он благодарно улыбнулся, и стрелка уперлась в «сто». Поселки мелькали со свистом. Крыши сливались в одну крышу, окна — в одно окно. Только благодаря массе Джона Брея наша машина не взлетала в воздух. Я наклонился к спидометру. Под цифрой «100» была вторая мелкая цифра «160». Так я понял раз и навсегда, чем отличаются мили от километров. Но теперь это не могло мне помочь. В таких случаях лучше не смотреть на дорогу. Тем более что Флекс тоже не часто смотрел на нее. Он рассказывал о своей школе, он там директорствует, потом он стал сбъяснять философские стихи Джона. Я старался не отвечать, чтобы прекратить разговор. Получилось еще хуже. Флекс поворачивался ко мне, обеспокоенный

молчанием. Он начисто забывал о дороге, выясняя мое настроение. Когда я отвечал, Флекс успокаивался и продолжал, размахивая руками, цитировать стихи. Он не мог читать и держаться за руль. У каждого своя манера читать стихи. Я не встречал ни одного австралийца-водителя, который бы умел разговаривать, смотря при этом на дорогу. Одни считают долгом вежливости смотреть на тебя, когда ты говоришь. Другие поворачиваются к собеседнику, когда он слушает их объяснения. Видите ли, их интересует реакция. Молчаливые водители мне не попадались.

Мы остановились заправиться. У бензоколонки стояло несколько машин, набитых детьми, корзинами со снедью, надувными матрасами. Все это напоминало эвакуацию. Парни в голубых униформах окутали нашу машину шлангами — заливали бензин, масло, добавили сжатого воздуха в шины. Как ни быстро они орудовали, машина еще быстрее раскалялась. Остановка на таком пекле — гибель. Машина превращается в духовку. Мы корчились в ней, как грешники. С какой нежностью вспоминается из этого ада слякоть, туман, насморк и прочая ленинградская благодать! Что происходит с нашим чахлым, гриппозным солнышком на этой половине земного шара? Никакое оно не солнышко — это насос, который безостановочно выкачи-

вает из тебя пот. Вкуснейшие ананасные джусы, и апельсиновые джусы, и виски с ледяной содовой, пиво, кофе — все перегоняется в липкий, соленый пот. Потет вся страна. Никто не борется за место под солнцем. Полезная площадь страны исчисляется в такие часы количеством тени на одного человека. Качественной, густой тени не найти, тень жиденькая, в тени градусов сто. Наш Цельсий гуманней ихнего Фаренгейта. Я пробую умножить Фаренгейта на мили... В этой жаре мысли мои, не успевая созреть, усыхают, от них остаются наиболее крепкие прилагательные. Подумать только, что за все время я не видел здесь ни одного стоящего облака. Куда девается то огромное количество воды, которое ежесекундно испаряется из населения?!

Машина все еще стоит. Выйти нельзя, потому что потом не сядешь. Сиденье накаляется так, что сгорят штаны и все остальное.

Австралийцы тоже мучаются, но они умеют сохранять при этом хорошее настроение. Флекс предложил опускаться в такие дни Австралию в океан, хотя бы на полминуты. Пошипит, но все же охладится.

Джон вскрыл банку, и, глядя, как они с Флексом, обливаясь потом, пили пиво и рассказывали анекдоты, я подумал, что это великий народ. Потом я вспом-

нил, что у нас сейчас на перроне Финляндского вокзала замерзший Лева Игнатов со своими лыжниками ест эскимо и стаканчики с мороженым, и обрадовался тому, что мы тоже великий народ. Но, признаюсь, была такая жара, что я не мог доказывать, что мы более великий народ.

Так же, как у нас, инженеры ищут, как бы защитить здание от мороза, здесь инженеры защищают дома от тепла. Крыши снабжают асбестовыми кладками, комнаты — фенами, аппаратами «Эр-кондишн». Пока что это помогает, пока что, ибо солнце увеличивается в размерах, излучение возрастает, температура земли неуклонно повышается, дело идет к тому, что океаны начнут кипеть и жара разрушит всю существующую жизнь. Я мрачно вспоминал предсказания астрономов, пока мы не двинулись в путь. Машина набрала скорость. Ветер выдул зной, кузов остывал, и я вспомнил, что некоторое время у нас в запасе имеется, поскольку все это случится через два миллиарда лет.

С главного шоссе на узкую асфальтовую дорогу, с дороги на проселок, и мы на ферме Роджера Макнайта. Здесь состоится пикник. Подъехала еще машина с семьей Луфусов, выгружают корзины с припасами, бутылки вина, пива. Женщины

надевают фартуки, мужчины разжигают костер. Роджер — поэт. Фермер-поэт. Или поэт-фермер. В Канберре мы познакомились с Кемпбеллом. Он хороший поэт и тоже фермер. Белл Дзвидсон — известный прозаик и тоже фермер. Писатель-профессионал в Австралии редкость. Поэтов, которые могли бы жить на литературный заработок, кажется, вообще нет.

Костер разводили на дворе фермы со всеми предосторожностями. Обычно пикник устраивают в глубине буша. Австралийский пикник имеет свои правила и традиции. Но нынче костер в буше зажигать нельзя. Третий месяц не было дождя. С холма, на котором стояла ферма, были далеко видны сухие поля, лесистые склоны. Темная зелень буша выглядела настороженной. Сейчас достаточно малейшей искры, чтобы буш запылал. Эвкалипты всех видов, испаряющие эфирные масла, вспыхивают мгновенно, как бензин. Окрестности затаились, словно в ожидании беды. На ферме Роджера все было готово на случай пожара. Спасать дома, строения бесполезно: огонь распространяется со скоростью бегства. Спасаться можно только самим — на машине. Пожары — бедствие страны. Страх перед пожарами живет в душе каждого австралийца. Европейцам это трудно понять. Однажды мы си-

дели в прокуренном зале ресторана в Канберре, когда посреди разговора Фернберг беспокойно принялся. «Пожар», — сказал он. Мы вышли на балкон. Вечерняя Канберра спокойно блистала огнями. Я добросовестно принялся и ничего не чувствовал.

— Буш горит, — определил Фернберг. — Далеко. — И показал на восток.

Беседа наша расстроилась. Я не понимал тогда, почему Фернберга, преподавателя университета, журналиста, так беспокоит далекий пожар. Кто-то сказал мне, что Фернберг — фермер. Но это была лишь часть объяснения. Запах гари для австралийца, наверно, то же самое, что для ленинградца в годы блокады вой сирены.

И когда Роджер вел нас по своим полям, мы шли, как по складу горючего, — следили друг за другом, чтобы никто не курил. А в остальном все было прекрасно и свободно.

Роджер оказался превосходным парнем.

Во-первых:

он был солдатом. В эту войну он воевал с японцами. К солдатам у меня отношение особое, они пользуются решающими льготами, поскольку солдат понимает то, чего никто другой не поймет. Сколько бы лет ни прошло, солдатское несмываемо, оно как татуировка.

Во-вторых:

он был поэтом. Хорошим поэтом. И не спешил печататься. Ему важно было написать и прочесть друзьям. Плевал он на публикации. Он не желал тратить время, ездить в город и ходить по редакциям. Ему интересно было стоять в поле и слушать, как растет трава. Жена застала его, когда он разговаривал с травой. Он читал стихи траве.

Природа лучше понимает, когда с ней говорят стихами.

В-третьих:

он был фермером. После войны он надеялся чего-то добиться. У него были хорошие руки, хорошая голова. Через несколько лет городской жизни, оказалось, что он ничего не приобрел, кроме разочарований. Роджер загнал свой скarb и с женой забрался в эту глушь. Он взял в кредит участок земли — сплошной буш, взял в кредит машины и принялся за работу. Он начал с ничего. Они с женой вбили столб и на дощечке написали название фермы «Дошли до ручьи». Все — поле, пастбище для коров — расчищено, огорожено этими руками. Сложнее всего было обеспечить стадо водой. На участке имелось несколько ручьев. Роджер построил плотины, сделал запруды. Добуриться к воде здесь невозможно. Для фермы воду собирали в период дождей в огромные цистерны-танки.

Три серебристые цистерны стояли у дома — хранилища воды, а значит, и жизни семьи.

Роджер до сих пор в долгах, но он не унывает. Он работает на себя, ему интересно что-то придумывать, строить.

Сухая трава хрустела под нашими ногами. Пыль стлалась по полю. Пустыня это была, а не поле. Повсюду мертво лежали перекаленные желтые пустоши, и желтого-то в них не осталось, а была лишь бесцветность праха, и травы не осталось, а был лишь хрупкий остов. Что тут делать коровам?

Роджер сорвал пучок, потер в ладонях. Посыпалась сухая труха.

— Вы думаете, она мертва? — Роджер протянул ладонь — там лежали черные горошины.

На вкус они были сладковатые, напоминали «кашку» клевера.

Могучие коровы сочувственно разглядывали наши физиономии, принимая нас за еще одно стадо, которое хозяин куда-то гоняет. Коров было семьдесят. Роджер обслуживал их сам, никаких работников. Ему помогала собака и после школы одиннадцатилетний сын. Жена занималась домом и варила сыр.

— Я бы мог держать еще столько же, — сказал Роджер, — но тогда не останется времени на стихи.

Сынишка сидел за рулем трактора. За трактором катился прицеп с сеном, заботливо укрытым

брезентом. Мы разлеглись на брезенте и поехали мимо плотин, проволочных изгородей, загонов, через мостики над мутно-желтыми запрудами. Коровы спускались к воде, пили, заходили по брюхо, спасаясь от зноя. Ошалелая лайка с восторгом носилась вокруг, вспугивая птиц. Роджер стоял, широко расставив ноги на тряском прицепе, и показывал, и читал стихи. Сено пахло сеном и еще детством, с годами прибавляется этот запах, счастливые запахи детства.

Тень оврага накрыла нас сырой свежестью. Это был единственный невырубленный участок, явно бесполезный, убыточный, окутанный лианами, наполненный птичьими песнями. Роджер не трогал его ради ребят и орхидей. Лепестки их извивались в зеленоватом настое прохлады.

— Да здравствует поэзия! — кричал Флекс.

Мясо к нашему возвращению поджарилось. Оно томилось на железной сетке над густым беспламенным жаром тлеющего эвкалипта. Сладкий дым эвкалипта курился по двору фермы, уставленной дощатыми столами с вином, пивом, салатами. Запах эвкалипта — это запах Австралии.

— Когда австралиец скучает на чужбине, — сказал Роджер, — друзья посылают ему листок эвкалипта. В утешение. В память о родине.



Австралийский пикник состоит из питья, из песен, жареной баранины, фруктов, внезапной тишины, безотчетных прыжков, желания всех обнять, лазить по деревьям. Австралийцы не происходят от обезьян. Они происходят от кенгуру и коалы — мохнатых добряков с круглыми детскими глазами. Пикник — бунт против сервиса. Долой крахмальные конусы салфеток, долой подогретые тарелки, холодильники, платные стоянки, автоматы!..

Жена Роджера разносила сыры, изготовленные ею. Сыры были прекрасны. Жена Флекса высоким сильным голосом пела песни докеров, строителей, золотоискателей, прекрасные песни свободных людей, у которых все имущество — одеяло за плечами да умелые руки.

На низких яблонях блестили стеклянные нити — защита от птиц, и в этом наряде яблони были прекрасны.

Я поднял тост за Австралию, и все сочли этот тост прекрасным — такие это были прекрасные люди.

Никто из них ни одним словом, ни намеком не дал почувствовать, что весь этот пикник был организован ради нас. Я представлял, как заранее оборудовался для поездки по полям прицеп, — не будь нас, никому бы не пришло в голову ездить по полям, — как готовились столы и тюки с сеном. Никто не

предписывал этим заниматься, это было нечто большее, чем гостеприимство. Никто из них не бывал в нашей стране. Они не были коммунистами. Они не знали нас как писателей. Они вроде ничем не были нам обязаны. И меньше всего Роджер. Уж он-то, вынужденный считать каждый шиллинг, чего ради он тратился, готовился, что ему были мы?

Я слушал, как Роджер умножал двадцать литров молока от каждой коровы на семьдесят и делил на количество акров. Он не стеснялся считать, он вынужден был считать, иначе ему было не прожить. Беспечный поэт уживался в нем с расчетливым хозяином. Мужчины сочувственно помогали ему вычислить невыгодность мясного хозяйства. Огород держать тоже невыгодно. Час работы на огороде дает меньше, чем час работы с коровами.

— Надеюсь, в будущем, — говорил Роджер, — мы создадим кооператив с соседними фермами и избавимся от посредников, сами будем продавать!

— Да здравствует независимость! — кричал Флекс.

Поспел чай. Роджер раскручивал на веревке закопченный котелок с чаем. Он хотел показать нам всю процедуру приготовления австралийского чая, крепчайшего, черноту которого обычно забеливают молоком, чтобы бы-

ло не так страшно. Он хотел, чтобы этот день запомнился всем нам. Он принадлежал к счастливейшему типу людей, которые умеют делать сегодня главным днем жизни.

Но, может быть, действительно этот день значил для него так же много, как и для меня. Я посмотрел на его открытое лицо. Он встретил мой взгляд и, поняв, сказал:

— Хорошо, что вы приехали. Я запомню этот день.

В его глазах я увидел недосказанное, то, что люди не умеют выразить словами. Я тоже не могу это передать. Мы тут были ни при чем. Он принимал у себя на ферме нашу страну. Сколько за свою жизнь прочел он о ней всякой всячины, небылиц и напраслин, сколько было у него сомнений, разочарований, в конце концов что мы сделали для него? И все же он принимал нас по высшему разряду любви и дружбы.

Вот о чем я размышлял. О том, что мы не знаем, как мы выглядим со стороны, что значим для людей, казалось бы никак не связанных с нами, живущих где-то на другой половине земного шара, на маленькой ферме в штате Южная Австралия. Что бы там ни было, мы нужны, нужны каждому думающему человеку. Речь шла о самой сути, о сущности моей страны, о конечном смысле ее, который сохранился для

Роджера среди всех подлинных и приписанных нам грехов.

Мы возвращались под вечер. Машина ехала прямо в закат. Земля светилась золотом. Холмы стали сиреневыми, как на картинах Наматжиры. Мы возвращались другой дорогой, кругом лежали разомлелые поля, дикие долины, заросшие мутьгой, и снова поля, окрашенные чистыми красками — желтой, красной и зеленой. Белые колонны эвкалиптов уходили в небо. Некоторые из них цвели неистово алыми цветами. Закат был громадный, под стать этим огромным полям.

Такую щедрость простора я видел только у нас. Краски у нас были другие, природа другая, но что-то родственное было в здешнем приволье. Беспредельность этих земель отзывалась в людях свободолобием, душевным размахом, независимостью.

Нас мало что связывало в историю с Австралией, мы плохо знали друг друга, но в чем-то мы были схожи.

— Что произвело на вас наибольшее впечатление в Австралии? — спросили меня в Сиднее.

— Ферма, — сказал я. — Роджер Макнайт, ферма, весь этот день.

— Почему?

Я развел руками. Я не сумел объяснить журналистам закат, взгляд Роджера, вкус клевера. Может быть, если бы они приехали к нам, они бы поняли.

## К. С. Причард

В Канберре, в посольстве, нас ждало письмо Катарины Причард. Она просила составить маршрут так, чтобы побывать у нее. Не будь этого письма, мы все равно бы заехали к ней. Нелепо приехать в Австралию и не повидаться с Причард. По письму чувствовалось, как она ждала нас. И пока мы ехали к ней на машине из Перта, я думал о том, как трудно нам будет оправдать ее ожидание. Нас вез писатель Берт Виккерс. Он беспокоился: последнее время Причард болела и подолгу не вставала с постели. Ее болезнь волновала всех писателей штата. Даже писатели крайне правого толка спрашивали нас: вы были у Катарины, как она себя чувствует?

Они считали ее противником, порицали ее партию, и тем не менее они по-своему любили Причард и гордились ею.

Она встретила нас на террасе своего старого дома. Она стояла в белом платье, держась за темную от времени балясину; сидя голова ее была такой белоснежной, как и платье. Издали ее стройная фигурка казалась совсем юной. Мы шли к ней по аллее, а потом побежали.

На портретах она выглядела куда старше. Я обнял ее и расцеловал, не успев подумать, прилично ли так обращаться с классиком, которого видишь впервые

в жизни, да еще с заграничным классиком, да еще с женщиной.

В свои восемьдесят лет она прежде всего была женщина. Она чуть накрасила губы, припудрилась, глаза ее блестели. Оксана звала ее Катя, а я от почтения Катариной. Ее невозможно было звать миссис Причард.

Большой дом ее, ветхий, скрипучий, стоял неподалеку от шоссе, в заросшем саду. Мы расположились на террасе, увитой виноградом.

— Рассказывайте, — потребовала Причард. — Про Москву, Ленинград, про себя...

Она приготовилась слушать нас, как будто мы должны были привезти какие-то откровения. Она нарушала все обычаи поведения классиков. Я привык к тому, что классики и те, кто считает себя классиками, любят говорить сами, они вещают истины, роняют ценные мысли, чтобы слушатели почтительно заносили их изречения в записные книжки и публиковали в мемуарах. Причард самым легкомысленным образом нарушала традицию.

— Катарина! — взмолились мы, пытаясь призвать ее к порядку.

Она рассмеялась и принялась расспрашивать меня о моей работе. Она не давала опомниться; если ее что-то интересовало, бесполезно было противиться. Оказывается, перед нашим приездом она раздобыла английское

издание одной из моих книг, прочла — это будучи больной! — и теперь выпытывала подробности про места, которые не поняла, рассказывала свои впечатления. Я был огорашен. Я не привык к такому вниманию. Оно вызывает во мне глупое умиление. Разумеется, я понимал, что Катарина прочла бы книгу и любого другого писателя, приехавшего вместо меня. Она принадлежала к натурам, для которых максимум внимания к людям проявляется естественно, в любых обстоятельствах, это нормальность их жизни. Она считает, что иначе и быть не может. Ей неловко и странно слышать какие-то благодарности и слова по поводу такого поведения.

Однажды я попросил академика Смирнова принять меня. Договорились, что я приеду к нему на дачу к двенадцати часам. Счастье мое, что я случайно подошел к его даче вовремя. Владимир Иванович уже стоял на шоссе, ожидая меня. Вышел навстречу. Опять скажете, умиление нормальными вещами? Но я думал тогда, почему никому из людей моего поколения и младше меня не придет в голову выйти к назначенному времени навстречу гостю. Мы будем гостеприимны и радушны, но нам и не догадаться, что можно еще и так выразить свою внимательность к человеку. Сколько раз мы упускаем подобные возможности!

После пустоватой, веселой болтовни на приемах и коктейлях было приятно сидеть на этой старой террасе и говорить о серьезных вещах. Мы соскучились по серьезному разговору. Никто уже не внимал друг другу, мы спорили, бесцеремонно прерывали друг друга, шумели, радовались одинаковости каких-то сомнений.

— Мне трудно разбираться в современной науке, — жаловалась Катарина, — но я стараюсь понять, что же в конце концов может дать наука литературе. Сама я пишу о других временах, у каждого писателя есть свое время: в мое время здесь по дороге еще ездили на лошадях, а в нашем саду бегали опоссумы и ползали змеи. Змея заползла сюда, на веранду, и я поила ее молоком. Наверное, и в прошлое можно поехать на автомобиле, но я слишком стара, чтобы писать иначе. Однако я любопытна. Мне очень хочется понять, куда развивается литература.

В ней соединялись хрупкость и твердость, как в алмазе. На стенах висели старинные фотографии. Там Катарина была юной, в широкополой шляпе, на лошади, там все были юные — молодые люди в офицерских кепи, девушки со стеками, охотники в крагах. Катарину я узнавал сразу. Она была самой красивой. Конечно, сравнивать юность со старостью всегда грустно. Ино-

гда это вызывает уныние, но тут у меня было совсем иное чувство. Я втайне восхищался и завидовал такой мужественной старости, это редко бывает — столь пренебрежительное невнимание к своему возрасту: она его не замечала.

Еще выезжая из Перта, мы заметили, как Берт таинственно и осторожно укладывает какие-то свертки в багажник. Оказалось, что это обед. Он сам приготовил его, чтобы не затруднять Катарину, живущую очень скромно и одиноко.

Поэтому обед показался всем особо вкусным, мы ели и пили и Катарина пила, не отставая, потом мы варили кофе и смотрели новые книги Причард, и Оксана переводила ей письма из России. Удивительно, сколько писем шлют ей советские читатели! Мать из Новосибирска жаловалась ей на сына. Причард просила ее проявлять терпение. Я опускаю некоторые подробности, у меня нет права публиковать эту слишком частную переписку, я лишь хочу сказать о письме, которое пришло к Причард спустя четыре года. Мать написала, что Причард была права и советы ее помогли, сын женился, взял женщину с ребенком, любит ее и ребенка, стал прекрасным человеком... Причард не знает русского языка, и всякое письмо от нас причиняет ей массу хлопот, но она

не хочет отказываться от них, никто не пишет ей так много, как советский читатель.

Я уже знал, что в Австралии писатели живут бедно. В этой богатейшей стране творческая интеллигенция — наиболее скромно оплачиваемая часть населения, среди них писатели, пожалуй, самая бедствующая профессия. Объяснили нам это тем, что покупаются главным образом книги американских, английских авторов. Соревноваться с английской и американской литературой трудно, еще труднее конкурировать с английскими, американскими издательствами. Тиражи австралийских книг мизерны, цены высокие, гонорары ничтожны.

Однако я никак не полагал, что хотя бы в какой-то мере это приложено к К. С. Причард. Разумеется, ее издают и в Европе, и, может быть, там ее ценят и знают лучше, чем на родине. Австралия в глубине души не верит, что у нее есть своя собственная сильная литература. То ли не верит, то ли ее убеждают в этом. Во всяком случае, у нас К. Причард известна больше, чем у себя, ни в каких школьных программах Австралии ее нет: слишком «красная». Вообще от писателей в Австралии масса неприятностей. Большинство из них «красные». Премьер-министра спросили, почему правительство выдает поощрительные премии

«красным» писателям. А что делать, сказал он, как нам быть, если у нас нет других выдающихся писателей, большинство из них либо коммунисты, либо близкие к ним.

Мы перебирали с Причерд имена: Фрэнк Харди, Джуда Уотен, Дороти Хьюэт, Мона Бренд, Берт Виккерс, Алаи Маршалл, Джон Моррисон, Кьюсак, Белл Дэвидсон, Дэвид Слесор... — и убеждались, что премьер прав.

Она сияла от гордости, от заслуженного хозяйского чувства старейшины этого цеха. Она была похожа сейчас на свои юные портреты, она была совсем молодая, только дом был старый и сад.

### Электрический заяц

В австралийских клубах играют в механический покер.

Люди играют с автоматами. Автоматы играют с людьми.

За два шиллинга автомат честно отпускает возделенную порцию азарта. За один шиллинг в бере можно пострелять. Автоматический тир. Винтовка вделана в автомат-ящик; в глубине ящика перед прорезью прицела появляются, пробегают фигурки, кружки, цифры. Все, как в настоящем тире, только винтовку не надо заряжать, и нет никаких патронов, и выстрела нет, и приклад не от-

дает в плечо, автомат избавляет от лишних ощущений. Прицеливаетесь, нажимаете крючок, что-то гудит, мигает, и выскакивает результат: цифры, точные и бесстрастные. Есть автоматы-бильярд, автоматы-скачки, автоматы-футболы. Повсюду блещут никелированные щели, куда можно опустить монету и получить порцию развлечения. Сугубо личного, собственного, консервированного, готового к употреблению. Два шага от стойки бара — и перед вами разинуто множество щелей. От скучающих посетителей ничего не требуется. Они нажимают кнопку и стоят, потребляя удобное автоматическое удовольствие.

Научные фантасты описывают пугающий мир кибернетических машин. Роботы захватывают власть над человеком. Разумно-бесчувственные машины становятся хозяевами. В кибернетически организованной жизни не остается места для человека. Тысячи рассказов, романов, исполненных тревогой о будущем человечества, порождены научными спорами вокруг кибернетики: где предел ее возможностей, может ли машина превзойти человеческий мозг, что, если удастся построить машины, наделенные большим могуществом, чем человек, и способностью проводить свою линию поведения да еще воспроизводить самих себя, самосовершенствоваться и т. п. Пишут, читают и спорят, академично уверенные в

том, что речь идет о будущем, отдаленном от нас несколькими поколениями. Но вот я смотрю, как эти австралийские парни по-корю опускают монету в щель очередного автомата и как автомат начинает их развлекать, и мне кажется, что пока мы спорим, автоматы потихоньку делают свое дело. Незаметно они все же овладевают миром. Они уже сегодня захватили какие-то области жизни, власть их уже велика и с каждым днем разрастается все больше под видом таких беззаботных, таких веселых, подмигивающих машинок.

В Западной Европе их еще больше, но вряд ли где еще существует столь мощная индустрия азарта, как в Австралии. Бега, скачки, собачьи бега здесь не просто увлечение, не только популярный спорт, это скорее отрасль промышленности, умело, по последнему слову техники, технологии, рекламы эксплуатирующая национальные особенности характера. Австралиец всегда был азартен, австралиец был игроком, австралиец любил скачки, любил лошадей, вероятно, это идет от предков-золотоискателей, от времени золотой лихорадки прошлого века.

За последние годы искусно раздуваемый азарт стал массовой болезнью. Не эпидемией, а хронической болезнью страны. Играют все, во всяком случае, интересуются скачками, следят за скачка-

ми все. Многие превратились в скакоманов. Игра отнимает все свободное время, нервы, деньги. Как наркоманы, они должны постоянно поддерживать себя переживаниями «четвероногой лотереи». Их болезнь кормит сотни, тысячи людей — явных букмекеров, тайных букмекеров, кассиров, открытых повсюду тотализаторов, жокеев, скаковые конюшни, ипподромы...

Поначалу всеобщее увлечение скачками казалось мне забавным. Идешь по городу — там тотализатор, тут и вот еще. Визу в отеле разговор о скачках, в пабе изучают таблицу скачек, за ленчем клерки спорят о лошадях, повсюду заняты скачками. Телевизионные передачи о скачках самые популярные. Проводятся народные конкурсы: надо ответить, какой масти лошадь выиграла семь лет назад на скачках в Дарвине. В Сиднейском музее на почетном месте стоит чучело знаменитого, легендарного скакуна Фар Лапа. Биография Фар Лапа, покушение на Фар Лапа, мученическая смерть Фар Лапа известны каждому школьнику, так же, как жизнь Наполеона или Джемса Кука. 1926—1932 годы славной жизни Фар Лапа. Единственный в мире конный памятник без всадника.

Накануне скачек мы зашли в один из городских тотализаторов. Работало несколько касс. К окошкам стояли очереди. Принимали

ставки. Перед таблицами толкались игроки, выбирая, на кого поставить. Кое-кто открыто обсуждал шансы фаворитов, другие прислушивались, что-то шептали про себя, прикидывали. Я решительно выбрал Голубую Стрелу, это вызвало всеобщее размышление знатоков. Мы получили квитанции, и окружающий мир волшебным образом изменился. Повсюду я видел игроков, я узнавал их безошибочно по рассеянному блеску глаз, по нетерпению и надежде. После полудня я услышал ход скачек. Радио работало на полную громкость в такси, и в магазинах, и в отеле. Куда мы ни приходили, везде слышали захлебывающийся голос комментатора.

На ипподром не стремятся так, как у нас на футбольный стадион. Участие в скачках происходит издалека, как бы отстраненно. Зрелище скачек занимает гораздо меньше, чем результат. Важен ход скачек, а не красота скачущих лошадей. Я понятия не имел, как выглядит моя Голубая Стрела, я лишь узнавал, что на первом этапе она была третьей, затем четвертой и так четвертой и кончила.

Вечером мы отправились на собачьи бега.

У входа на стадион продавали газету. Выходит такая специальная десятистраничная иллюстрированная собачья газета. Скамьи трибун были почти пустые. Толпы кишели перед помостами букмеке-

ров. Происходило именно кишение. Беспорядочное и безостановочное нервное движение, лишенное видимой направленности. На деревянных подмостках, вроде ярмарочных, потные букмекеры зазывали, выкрикивали номера забегов, ставки, принимали ставки. Система ставок была сложная, с десятками манящих возможностей. Один за другим мы обходили эти вопящие, хриплые, полные ажиотажа тотализаторы. Кроме них, был еще общий, крупный тотализатор. Огромное световое табло возвышалось в ночном небе над скопищем людей. Там скользили неоновые диаграммы, вспыхивали какие-то клетки, выскакивали цифры, там шла игра на фунты. Шептали что-то на ухо подполные букмекеры. Кричало радио, прожекторные лучи трудно пробивали синий дым тысяч сигарет.

Гонг возвестил начало очередного забега. Владельцы вывели собак. Трибуны почему-то на сравнительно большом расстоянии от беговой дорожки, она где-то в глубине, отделенная сетками. Некоторые любопытные уходят на трибуны, но не садятся, а встают ногами на скамейки, большинство же не обращает внимания на начало бегов, по-прежнему толпится у касс и возле букмекеров. Выстрел. Собак скускают со сворки. Чучело зайца ускоряет ход, мчится по утоптанному рельсу. Собаки, подвывая, уст-



ремляются за ним. Распластанные тела их красиво вытягиваются, становятся длинными, они летят, как залпы ракет. Зрители кричат, скорее по привычке, без особой страсти, кричат, прислушиваясь к диктору, который орет за них. Диктор изображает их переживания, волнения, он нанятый болельщик. Искусство комментатора состоит в быстроте и непрерывности сообщений. Напряжение в его голосе с каждым метром дистанции нарастает. Слова произносятся все быстрее. «Ставлю Лондон против бульжника, — кричит он, — что эта собака...» Он беснуется, переходит на крик, вопль...

Стиль спортивного радиорепортера используется в самых неожиданных местах. Я наблюдал, как в Мельбурне молоденький продавец магазина мужских товаров рекламировал распродажу — тоже психологический трюк, широко применяемый в торговле. Он держал микрофон и сыпал туда слова с такой скоростью, что репродуктор на улице успевал выговаривать только часть. Не то что восклицательный знак — запятую невозможно было вставить между его фразами. Текст тут никакой роли не играл, важен был тон, тон надвигающейся катастрофы: еще минута, другая — и не останется ни одного галстука, ни одной пары трусов, остаток вашей жизни будет испорчен оттого, что вы упу-

стили такую распродажу, единственный шанс...

И так безостановочно, час за часом, при этом одновременно кланяется и улыбается входящим покупателям, свободной рукой показывает разложенные товары, свободным глазом косит на улицу. Только глухие могли спокойно проходить мимо.

Однако вернемся к нашим собакам. Подвывая, они несутся за скользящим чучелом зайца. Рядом со мной притопывает медноволосая девица с двумя совершенно одинаковыми близнецами. Все трое, лениво покричав, прикладываются к банкам пива. Они блестят повсюду, эти пивные банки из золотистой жести. В руках, под ногами. Пивные жестянки валяются на улицах, вдоль дорог, вокруг бензоколонок, в парках, кажется, что скоро весь континент будет завален этой золотистой жестью и коричневыми пивными бутылками.

Второй круг... Финиш! Фотоэлемент срабатывает, судьи утверждают результат, радио оповещает, номер победителя вспыхивает на табло, летят на землю разорванные талоны проигравших, кто-то бежит получать выигрыш, остальные делают новые ставки. Дрожащих от возбуждения собак уводят. Комментатор отдыхает, букмекеры повышают голоса, чучело электрического зайца медленно скользит по пустой дорожке. Забег продолжался каких-ни-

будь три-четыре минуты. Через несколько минут следующий. Помчатся другие собаки, истощено завопит радио, запрокинутся пивные жестянки, а впереди будет скользить недостижимый электрический заяц.

Скорость зайца регулируется так, что никогда гончая не сможет догнать, схватить его... Не сможет убедиться, что это всего лишь чучело.

И никто не смеется. Улыбка — редкость, она гаснет в плотной, непрестанно нагнетаемой атмосфере азарта. Кругом меня были лица, измотанные безостановочной погоней за случаем. Страсть, которая никогда не удовлетворяется. Выигрыш не освобождает, а затягивает. Жажда впечатлений остается неутоленной. Заяц скользит, всегда где-то впереди.

Что там — деньги, удача, впечатления? За чем гонятся? Кого хотят настигнуть? Все силы ума, изощренная хитрость, опыт, расчеты ради попытки выиграть. Выиграть — что?

Взамен подлинной жизни, взамен музыки, спорта, природы впереди скользит электрическое чучело. За ним собаки, за ними люди, за ними букмекеры, за ними, наверное, еще кто-то, не знаю.

Последний забег. Трибуны пустеют. Охрипшие букмекеры бредут к своим машинам. Гаснет табло. Блестят на асфальте жестянки, бутылки, все засыпано рваны-

ми, скомканными талонами, целлофаном сигаретных пачек. Сторож снимает чучело электрического зайца...

## Автомобили и пешеходы

Разумеется, автомобилей больше. К счастью, те, которые без водителя, — те стоят на месте. Пока что они сами по себе не двигаются. Они заполняют стоянки, они тянутся вдоль всех тротуаров, ими забиты шоссе, пустыри, они повсюду.

Но и люди не двигаются без машин.

Машина в Австралии — нечто вроде голландского велосипеда. Ходящих ногами голландцев, например, я не встречал, голландца я видел только на велосипеде. Голландское дитя сделает не первый шаг, а первый оборот педалью, и вырастает, не слезая с велосипеда. Все же дети рождаются не с велосипедными колесами, а по-прежнему с ручками и ножками, и, если такого голландского младенца вовремя увезти в другую страну, из него вырастает нормальный пешеход. В самой Голландии пешеходы давно вывелись, они только бывают привозные, в виде туристов.

В Австралии с пешеходами положение менее бедственное. Пешеход «вымирает». В некоторых городах еще сохранились тротуары. По ним идут к машинам или

из машин. На большее не решаются.

Казалось бы, простая вещь — перейти на другую сторону улицы. Оказывается, это поступок, требующий времени и мужества, и серьезных причин. Так просто, за здорово живешь, на другую сторону не ходят. Машины едут одна за другой без зазора, часами, неделями, годами. А так как количество машин с каждым часом в Австралии увеличивается, то стоять на тротуаре и ждать не имеет смысла, скорее можно попасть на другую сторону, сделав кругосветное путешествие.

Для нас переходы были особенно сложной операцией. Дело в том, что движение тут левостороннее. А когда я ступал на мостовую, голова моя согласно многолетней привычке автоматически поворачивалась налево, и так как слева ни одна машина не угрожала, все они мчались от меня, то ноги мои так же автоматически несли меня вперед, пока справа не раздавался визг тормозов, крики и всякая непередаваемая игра слов. Тут я вспоминал, что я в Австралии и надо глядеть наоборот, не влево, а вправо, я поворачивался вправо, но так как это было на середине улицы, где все менялось, то поворачивалось то же самое. Машины странным образом ехали на меня оттуда, куда я и не собирался смотреть. Пока меня тащили из-под колес, я вырабатывал услов-

ный рефлекс, теперь, прежде чем сойти на мостовую, я надолго задумывался. Рефлексы боролся во мне. Сперва я по привычке поворачивался влево, опомнившись, я быстро поворачивался вправо, затем на всякий случай опять налево и, снова вспомнив, — вправо. На середине улицы надо было перестраиваться — теперь следовало смотреть в другую сторону, наоборот по отношению к тому, что я привык, то есть к тому влево, которое стало вправо, а теперь становится наоборот, а на полонии мостовой наоборот снова поворачивается наоборот по отношению к тому наоборот, которое было наоборот... Голова у меня кружилась, я опускался на четвереньки и кусал правый бампер левой машины.

Когда я вернулся в Москву, некоторое время меня считали больным: переходя улицу, я держался во все стороны. Шея у меня долго болела; я закрывал глаза и просил прохожих: помогите, братцы.

Ездить на автомобиле, например по Мельбуриу, трудно, но еще труднее поставить машину — припарковаться. Когда я спросил у Гордона о проблемах, стоящих перед страной, он заявил, что одна из важнейших проблем — это паркование машин.

— Некоторые думают, — вежливо сказал он, изучая мою

улыбку, — что парковаться — значит найти свободное местечко и поставить машину.

Мы подъехали к ресторану, где происходил очередной прием. Там места для машины не нашлось. Мы медленно двигались вдоль переулка, плотно заставленного машинами, проехали один квартал, второй, впереди показалась свободная полоса, но там возвышалась надпись «No parking», — мы свернули на соседнюю улицу, там вообще было запрещено парковаться, мы свернули на следующую и снова поехали вдоль линии машин, мы ехали долго и молча, вдруг Гордон тормознул и дал задний ход: он увидел в зеркальце, как позади одна из машин отделилась от тротуара. Реакция его была мгновенной. К свободному месту рванулись еще какие-то машины. Гордон, рискуя, перед самым их носом втиснулся к обочине, и они, сердито скрипнув тормозами, поплелись дальше. На тротуаре стоял столбик с автоматом-счетчиком. Гордон опустил в автомат шиллинг. Автомат затикал, разрешая стоянку на сорок минут, затем надо снова опускать монету, иначе выскочит какой-то флажок и полиция оштрафует водителя на солидную сумму.

Теперь нам как-то надо было добраться до ресторана. Мы отъехали от него километра на два.

— Придется взять такси, — сказал Гордон.

Мы отправились ловить такси. Нам повезло; через десять минут мы нашли такси и поехали в ресторан.

— Хочу быть богатым, — мечтательно сказал Гордон, — я бы продал машину и ездил на такси.

В ресторане, когда все расселись за стол, Гордон тоскливо взглянул на немыслимой красоты салат и сэндвичи, взглянул на часы и вышел: его звал счетчик. В течение вечера Гордон появлялся на несколько минут и снова исчезал, и другие тоже время от времени исчезали, спеша к своим стоянкам, над которыми стучали счетчики.

От чего порой зависит цивилизация? Цицерон прерывает свою речь и бежит к счетчику. Ферми не может закончить эксперимент, больной убегает от врача, детектив от преступника.

А тем временем Австралия мчится на своих машинах к благословенному расцвету, где будет еще больше машин. Сидя в машине, смотрят кино, на машине едут по магазинам, на машине едут к своей машине.

Несомненно, машина, как установили социологи, формирует национальный характер:

1. Рискую сломать голову, австралиец мчится домой со скоростью сто двадцать — сто сорок километров и идет стричь свой газон. Таким образом, наличие машин способствует уходу за газонами.

2. Поскольку общая длина машин больше, чем длина австралийских тротуаров, то архитекторы решают, каким образом сделать тротуары длиннее улиц. Машина способствует созданию национальной архитектуры.

3. После длительного заточения в машине австралиец жаждет общения, последних достижений культуры, поэтому, выйдя из машины, он немедленно вступает в разговор, втискивается в пивную или бар.

4. Привыкнув держать руль в руках, австралиец вне машины хватается за лопату, ракетку или перо, он что-то должен держать в руках; некоторые считают, что поэтому в Австралии так много хороших писателей и спортсменов.

5. Рабочий, купив подержанную машину, имеет возможность чинить ее все воскресенье, что помогает сохранить трудный ритм.

В австралийских машинах привязываются к сиденьям ремнями. Широкий ремень, вроде самолетного, стягивается через плечо, как андреевская лента. Привязанный пассажир, согласно статистике, разбивается меньше непривязанного.

Накрепко привязанные к машине Гордона, ехали мы по тесной мельбурнской улице со скоростью каких-нибудь девяноста километров. Вдруг мимо нас с ревом проскочила машина, битком набитая парнями и девуш-

ками. И тотчас с другого бока, нагоняя, выскочила другая машина. Они неслись сквозь запруженную улицу, машины шарахались от них, они срезали углы, проскакивали под носом огромных двухэтажных автобусов.

— Что случилось? Что такое? — закричали мы.

— Гонки. Ребятишки устроили гонки, — сообщил Гордон.

Правила гонок, по его словам, несложные — выиграл тот, кто, не разбившись, быстрее доберется до центра. Иногда добираются. А кто первый разбился, тот, значит, проиграл.

Однажды в Аделаиде Ненси Кэйто и ее муж предложили поехать посмотреть автомобильные кладбища. Ночные улицы давно опустели. Дома спали, закрыв свои жалюзи. Мы подъезжали к пустырям. Они, единственные, были ярко освещены в полутемном городе. Там тесно, бок о бок, стояли подержанные машины. Они не слишком изношены, чтобы идти под пресс, они просто старые, устарелые. Их было слишком много и на каждой краской цена — очень дешево, в рассрочку, на любых условиях, только купите. Начищенные круглые фары смотрели на нас с безнадёжной пристальностью. Синие машины, желтые машины, черные, белые, широкие, узкие, приземистые, с крутыми, умными лбами стекол — безмолвные шэренги их вызвали чувство обра-

ченности. Недаром Ненси называла эти парки кладбищами.

Накопленный гнев против машин боролся с жалостью — сколько они смогли бы еще поработать! Я вспомнил пыльные улицы Карачи — верблюдов, запряженных в телеги, маленьких ишаков с непосильным грузом. Одно дело — читать в газете о бессмыслицах нашего мира, а другое — увидеть их своими глазами.

Под утро приснился кошмарный сон — все страны были запряжены машинами, земли уже не было видно, люди ехали на машинах по крышам машин, а потом я попал в фантастический город с широкими тротуарами, с цокотом копыт, с лицами людей, не отделенными от меня ветровыми стеклами, с людьми, не привязанными ремнями к своим машинам. Но и во сне я понимал, что это наивная, беспочвенная фантазия.

## Про аборигенов

### 1

Вернувшись из Австралии, я пошел в Музей антропологии и этнографии, что у нас на Васильевском острове, и вволю налюбовался аборигенами. Они сидели за стеклом в самом своем натуральном виде и добывали топливом огонь.

— Похоже? — спросили меня сотрудники музея.

Тот, что с бородой, был похож

на Льва Толстого. Только грифельного цвета.

— При чем тут Толстой? — сказали сотрудники. — На живого аборигена похож?

Он был действительно похож на фотографии, которые нам дарили, на снимки в брошюрах, которые нам тоже дарили — брошюры о положении аборигенов, о проблеме аборигенов.

— При чем тут брошюры? — сказали сотрудники. — Вы были у аборигенов?

В том-то и дело, что я не был у аборигенов и не видел, как они живут. Я вспомнил свои предотъездные мечты — пойти по Австралии, встретить аборигенов, посидеть с ними у костра, поговорить по душам о всяких колонизаторах, пошвырять бумеранг. Что касается бумерангов, нам их тоже дарили. Полированные, в виде настольного украшения бумеранги, щетку в виде бумеранга. Мы даже встречали людей, которые видели резервации аборигенов. Вообще в Австралии можно запросто увидеться с кем угодно. Например, на одном из приемов мы разговорились с каким-то седоусым джентльменом, а потом выяснилось, что он лорд и к тому же мэр Мельбурна. Он обрадовался, узнав, откуда мы, и попросил нас во что бы то ни стало передать привет своим знакомым — министру Громыко и министру Фурцевой. Трудно себе даже пред-

ставить, насколько демократична эта страна. Лорда там легче встретить, чем какого-нибудь аборигена.

Лорды в Австралии не переводятся, а вот с аборигенами хуже. Пока никаких лордов не было, в Австралии жило около трехсот тысяч аборигенов. Сейчас их осталось примерно тысяч пятьдесят.

В 1879 году Миклухо-Маклай писал из Сиднея:

«В Северной Австралии, где туземцы еще довольно многочисленны, в возмездие за убитую лошадь или корову белые колонисты собираются на охоту за людьми и убивают сколько удастся черных...»

Убивать перестали, когда скваттерам понадобились дешевые пастухи и объездчики овцеводческих станций.

Ныне аборигенами занимается великое множество людей, всевозможные комитеты защиты прав аборигенов, фонды помощи аборигенам, ассоциации, лиги. Ученые собирают фольклор аборигенов, этнографы изучают быт, в университетах работают отделения антропологов, исследующих аборигенов, резервациями аборигенов заняты государственные чиновники, аборигенами занимаются социологи, журналисты, учителя, миссионеры лютеранской церкви, миссионеры пресвитерианской церкви, миссионеры-сектанты, комиссионеры по про-

даже сувениров. Положение аборигенов обсуждается в дискуссионных клубах, в газетах, в парламенте, выпускаются специальные бюллетени, брошюры, книги.

Как только мы приехали в Канберру, нас повели смотреть фильмы о жизни аборигенов в резервациях. Мы увидели, как юные аборигены утром чистят зубы, играют в мяч, какие они веселые и как они выступают на фестивале.

И было непонятно, почему же существует какая-то проблема аборигенов.

Честно говоря, и для меня перед отъездом в Австралию все, что касается аборигенов, было просто. Проблема аборигенов — это выдумка буржуазных идеологов, которым надо оправдать политику порабощения, дискриминации, эксплуатации. Никаких проблем не существует: аборигенов надо освободить — и вся проблема.

Дома все чужеземные проблемы решаются легко, капиталистическая система как на ладони — нет ничего легче, как ее разоблачить.

Но проблема аборигенов, конечно, существует, доказывали нам австралийские друзья, вопрос лишь — какая.

Каждый определял ее иначе, по-своему, большинство сходилось на том, что существующее положение аборигенов в резервациях нетерпимо. Я убеждался,

что у каждого уважающего себя австралийца есть собственное решение проблемы аборигенов.

В начале XIX века белые колонизаторы, захватывая для овечьих пастбищ охотничьи территории аборигенов, постепенно оттесняли их в глубь материка, в пустыню. Племена аборигенов всегда жили охотой и собирательством растений; они находились, по выражению этнографов, «накануне земледелия», домашних животных не держали, жили рыболовством, собирали ягоды. Вскоре участки, богатые дичью, животными, лесами, землей, где тысячелетиями жили предки аборигенов, были захвачены белыми. Уцелевших аборигенов загоняли в резервации — пусть потихоньку домирают. В резервациях миссионеры взялись обращать их в новую веру. Детей отрывали от родителей и добивались своего — оторвали от старой веры, заодно оторвали их от древней культуры, обычаев, от языка. В резервациях, в чуждой обстановке оседлости, среди сколоченных из ящиков лачуг, они утратили искусство охоты, собирательства, врачевания, накопленный поколениями опыт. Оторванные от своей культуры, не получив взамен культуры белых, они оказались среди развалин, на перепутье.

Правительство под давлением прогрессивной общественности учредило нечто вроде государ-

ственной опеки с целью ассимиляции аборигенов. Кроме сторонников ассимиляции, есть сторонники так называемой интеграции. Передовая интеллигенция страны сходитя в своих требованиях дать полные гражданские права аборигенам. Она доказывает, что аборигены вовсе не низшая раса, у них своя этика, свое мировоззрение, им лишь надо дать возможность приспособиться к европейской цивилизации. Но как? Я попробовал записывать ответы разных людей, с которыми я разговаривал:

— Надо организовать сельскохозяйственные кооперативы аборигенов!

— Ничего подобного, нужно выделить удобные для них автономные области, и пусть они там вернутся к естественному для них образу жизни. Это может их спасти.

— А кто нам дал право решать их судьбу? Надо дать им возможность самим выбрать.

— Их может спасти только жестокое, насильственное приучение к производству, к машинам, к современному труду фермера... Иждивенчество в резервациях их губит.

— А есть ли вообще выход? Народ не в состоянии перескочить сразу из первобытного общества в современное.

— Что будет с аборигенами, если им всем дать сейчас все права белого человека?





И так далее и так далее. Лично я не успел встретить и двух австралийцев, полностью согласных между собой.

Мы хотели составить хоть какое-то собственное суждение.

В Перте мы попросили разрешения посетить резервацию. Любую резервацию, пусть показательную.

Безнадежная затея, предупредили нас. Но мы не хотели уклоняться. Пусть откажут — интересно, как откажут.

Отказ был упакован довольно изящно. Культура упаковки в Австралии стоит высоко. Любую безделушку вам уложат в специальный красочный конверт, заклеят, приделают ручку... Рубашку, например, мне подали в жестком целлофановом футляре, на обратной стороне футляра была рельефная цветная карта страны. Ради такого футляра можно купить любую рубашку. Я обернул футляр рубашкой, я вынимал футляр лишь в торжественных случаях — вот какой это был футляр!

Примерно в таком же роскошном футляре правительственный чиновник передал нам отказ:

— Вы передовые социалистические люди, и мы надеемся, что вы поймете нас лучше, чем английская писательница. Приехала специально писать про аборигенов. Как будто у нас мало литературы выходит! Мы не нашли с ней общего языка. Посудите

сами — мы считаем аборигенов полноправными гражданами, мы воспитываем в них чувство достоинства, разве мы можем превратить резервации в зверинец для любопытных! Вот если аборигены вас пригласят, тогда пожалуйста.

Как социалистические люди, мы хорошо поняли его. Не то что англичанка. Аборигены нас почему-то не пригласили. И сами не пришли, хотя мы очень хотели увидеться. И в университеты они не ходят, и в клубы, и в бары, поскольку это, очевидно, тоже зверинцы для любопытных. Они предпочитают голодать, и болеть, и подыхать в своих резервациях, как полноправные граждане этой прекрасной, богатой, передовой страны.

Почти в каждом доме, где мы бывали, так или иначе присутствуют аборигены. О них не хотят забывать, интеллигенты Австралии не стараются уйти от этой мучительной для них проблемы.

Я вспоминаю стены квартиры миссис Линден Роуз, увешанные большими фотографиями аборигенов, — она много путешествовала по Северной Австралии с племенами аборигенов;

у Клема Кристенса — собрание картин художников-аборигенов;

у профессора Клареса — его библиотеку по истории аборигенов.

И библиотеку Алана Маршалла о мифах и легендах аборигенов,

и чудесные книги об аборигенах, написанные Аланом, и снятые им копии рисунков чуринг — священных камней; он подарил нам эти рисунки. Бумеранги, копья, плетеные сумки, трубы, священные палочки, наконечники — что-нибудь да обязательно было в каждом доме.

В публичной библиотеке Аделаиды директор прежде всего выложил перед нами несколько толстенных томов — отчеты экспедиций научных сотрудников, музыка аборигенов, легенды, обряды.

Интерес к искусству аборигенов — это не мода. Через это часто выражается чувство ответственности и вины за судьбу аборигенов. Подчеркивается уважение к народу, к его древней культуре.

Культура белых австралийцев ищет свое национальное своеобразие, искусство еще формируется как самостоятельное, изучение искусства аборигенов, насчитывающего тысячелетние традиции, обогащает австралийское искусство. Лучшие писатели и художники Австралии давно уже связали свое творчество с защитой аборигенов. Из года в год романы, рассказы Причард, Маршалла, Виккерса, Дьюрак, Моррисона воспитывали общественное мнение, искореняли предрассудки. Литература боролась, литература работала. Она способствовала появлению литературы самих

аборигенов. Мы познакомились с первым поэтом-аборигеном Кэт Уокер. Ее сборник стихов на английском языке пользуется нарастающим успехом. Кэт рассказала нам о переиздании ее книги в других странах. Худенькая, спортивного вида женщина, в строгом английском костюме, она одна из немногих аборигенов имеет гражданские права, ее появление на приеме здесь, в Мельбурне, было удивительным. И в то же время сама она не вызывала никакого удивления — я наблюдал за ней с гордостью и с трудом удержался от восторженных умилений, а удержался потому, что вспомнил рассказ про прием в честь Наматжиры, где один восторженный дурень воскликнул, обращаясь к художнику: «Вы самый белый человек из всех, кого я знал!» Как будто это комплимент, как будто нам дано право мерить собою другие народы!

Может быть, с точки зрения аборигенов, современная цивилизация кажется нелепой. Их племенной строй без рабства, без эксплуатации близок к первобытному коммунизму, им непонятно и смешно, зачем белые люди работают друг на друга, почему одни богатые, другие бедные, зачем нужно богатство, столько вещей, зачем работать, если в магазинах столько еды, и есть жилье, и есть рубашка. Все имущество самих аборигенов уме-

щается в сумке женщины. Они свободны от вещей и денег. Им неприятна наша жизнь, но они не считают нас низшей расой, хотя, как заметил Лундквист, дикири живут на Западе.

В 1828 году, покидая Австралию, капитан французского королевского флота Дюмон-Дюрвиль писал:

«...повсюду, куда только мы появлялись поселенцы высшего образования, непременно уничтожались перед ними первобытные дикие жители. Все колонизации оканчивались истреблением первобытных туземцев, и Австралии, как Америке и Африке, не избежать подобной участи. Около Сидней дикие племена, видимо, убывают, и такая убыль доведет их до окончного истребления... Через два столетия Австралия будет Европою южного полушария, и тогда, может быть, тщетно будет искать в ней жителей первобытных; следы их останутся только в наших книгах...»

Двух столетий не прошло. Предупреждение французского капитана еще остается в силе.

Но я вспоминаю людей, с которыми я встречался в Австралии. Таких людей не было во времена капитана Дюмон-Дюрвиля. Они не филантропы, не миссионеры, они понимают, что, защищая аборигенов, они защищают Австралию. Они знают, чего они хотят, они еще не всегда знают, как это сделать, но это

уже другой вопрос. Кроме них, есть еще и сами аборигены, которые все активнее включаются в социальную борьбу. Наверное, окончательное решение проблемы при нынешнем строе невозможно, но и ждать сложа руки тоже нельзя. И еще одну вещь я понял для себя — что со стороны не всегда виднее. Мы уезжали, полные доверия к нашим друзьям. Конечно, история может сложиться и не в пользу их, может быть, они не успеют победить в своей борьбе. Но они будут не виноваты: они сделают все, что смогут.

## 2

С утра Берт Виккерс повез нас наосить визиты разным крупным писателям. Процедура была такова: мы преподносилн сувениры, получали сувениры, книги с автографами, выпивали чашку кофе, осматривали сад и прощались. Больше всех мне было жаль Оксану. Голос ее хрипел, как заиграющая пластинка: «Сколько вы будете в Австралии, куда еще поедете? Поиравился ли вам Перт, жарко ли вам у нас?»

Ответив на эти вопросы, мы следовали к следующему крупному писателю. Берт убежден, что каждый визит укрепляет австрало-советские отношения. Мы обвивали его в погоне за количеством, в показухе, в очковительстве. Но он был неумолим. Австрало-советские отношения

были ему дороже наших отношений.

Так мы добрались до Мэри Дьюрак, популярной поэтессы Западной Австралии. У Мэри сидела ее сестра, художница Элизабет Дьюрак, потом пришли их дочери, сыновья. Мы сидели в белой стильной гостиной, пили кофе, говорили. Берт поглядывала на часы. Оксана переводила, а я размышлял о том, что Мэри Дьюрак, наверное, интересный человек, но так она и останется для меня изящной светской дамой с веером в руках, ничего больше: десятиминутный визит делает всех одинаковыми. То ли дело у нас — приходишь в гости, так уж часов на пять, есть где развернуться, и людей посмотреть, и себя показать.

— Наверное, вам в нашей стране жарко? — переводила Оксана.

— Да, — одурело отвечал я. — Перт — очень красивый город.

Мы поднялись, чтобы откланяться. И тут Элизабет Дьюрак пригласила нас к себе в мастерскую. Она жила в соседнем квартале. Берт извинился, поскольку нам надо было поехать к следующему крупному писателю. Я тоже извинился, представив себе ее салонные картинки. Она выглядела изысканной дамочкой и должна была писать милые картинки «подарт». Кроме «поп-арт», есть и «подарт», наиболее живучее из всех направлений: под Ренуара, под Матисса, под Шага-

ла, под искусство, под моду. Под стать этой белой гостиной с модной мебелью под старину. Но тут я взглянул на ее руки. Это всегда любопытно — руки художников, хирургов, пианистов. У нее были усталые большие руки ткачихи или обмотчицы. Такие руки я видел на заводах, у женщин, которые всю жизнь работают руками.

Мне захотелось увидеть ее картины.

Мы с трудом умолили Бerta. Мы пробыли в мастерской Элизабет Дьюрак всего полчаса. Теперь, когда Австралия вновь стала далекой, недостижимой, я чувствую, как мало мне этих тридцати минут. Надо было взбунтоваться, сесть в ее мастерской и поработать. Заснять картины, сделать записи. Если б я писал один-единственный рассказ об Австралии, — я бы написал о картинах Элизабет Дьюрак.

Там были изображены дети аборигенов. Изглоданные голодом, болезненные, на тоненьких, подгибающихся ногах, они стояли, взявшись за руки, напоминая мне чем-то детей блокадной ленинградской зимы. Только вместо снега, заледенелых тротуаров кругом была желтая, выжженная, грязная пустыня. Я никогда не видел такой пустыни — замусоренной банками, отбросами... В огромных глазах каждого ребенка повторялся один и тот же вопрос: что нас ждет? Они

стояли на пороге небытия. Еще немного — и они исчезнут, их не станет. Есть ли у них будущее? Вот их отцы и матери. Когда-то сильные, красивые люди, они теперь бесцельно бродят, точно призраки, среди шалашей из мешковины и ящиков. Они-то наверняка лишены будущего. Заблудившийся народ. Остывшие существа, которых чуть подкармливают. А вот их везут на грузовике в пустыню для «моциона». А вот аборигены сидят, безнадежно уставившись в пространство. Так проходит их жизнь. Невозможно представить себе, что это те люди, которые были ловкими охотниками, умели выслеживать кенгуру, подкрадываться по совершенно открытой равнине, метать без промаха копье, неутомимые бегуны, способные часами, сутками преследовать стада, взбираться по голым стволам эвкалиптов за опосумами.

Обугленные зноем краски на картинах Элизабет Дьюрак напоминали рисунки аборигенов, красноватую кору эвкалиптов, и от этого достоверность усиливалась.

Дети, «закцивилизованные» миссионерами, маленькие, истощенные, озлобленные старички — успеют ли спасти их будущее? Матери, которые не знают, зачем они растят и нянчат своих детей...

Осознала ли сама Элизабет

Дьюрак силу своих картин? Не знаю. Скорее всего она была пленником пережитого. Она жила на ферме у брата, где работали аборигены, она бывала в резервациях. Не в тех резервациях, которые мы видели в кино. Но я подумал, что, если б даже нас пустили в эти резервации, мы не сумели бы открыть для себя той глубины трагедии народа, какая предстала в ее картинах. Снова и снова я убеждался, какой силы гражданственности может достигать талант живописца. Не хотелось вникать в технику, в приемы; стоило появиться такому озабоченному болью, несправедливостью, протестом, требующему ответа искусству — и всякие споры о новаторстве, о форме отодвигались...

Оставался мучительный вопрос, поставленный художником.

Что будет с этим народом? Как спасти их?

Вот о чем спрашивали ее картины.

Они требовали поступка. Их надо было отпечатать в тысячах репродукций, развесить в уютных коттеджах, в роскошных офисах, чтобы испортить настроение этой жирной страны.

...Я был несправедлив. Я познакомился со многими людьми, которые самоотверженно боролись с дискриминацией аборигенов, которые уже много сделали для защиты этого народа. Я был

несправедлив, но, глядя на эти картины, я не хотел быть справедливым.

Старенький автомобиль Берта мчался, нагоняя упущенное время. Мы опаздывали на очередной визит. Кремовые, терракотовые, оливковые коттеджи млели под солнцем среди цветущих роз и синих норфолькских елей и сигаретных деревьев, где так удачно сочетается красное с серовато-пепельным.

Нас обгоняли длинные блестящие лимузины. В садах крутились поливалки. Уличка, стилизованная под старую Англию времен Шекспира: свинцовые переплеты узких окон, грабленые фонари, узорчатые кованые решетки. Очень милая уличка. А ресторан в Кингс-парке! А какой вид на город открывается, если смотреть с памятника жертвам войны! Не хотите ли кофе? Понравился ли вам Перт? Наверное, вас замучила жара?

\* \* \*

В сущности, это был магазин, магазин художественных изделий, магазин изделий аборигенов, можно было назвать его салоном, но он называется галереей. Хозяином был Рекс Бэттерби. Известный австралийский художник, один из двух учителей великого художника-аборигена Альберта Наматжиры. В первых залах были выставлены изделия абориге-

нов. Человеческие фигурки, вырезанные из коры, расписные бумеранги, щиты, копьеметалки, корзины, всякая утварь, инструменты, орудия. Висели картины, сделанные на коричневой коре эвкалипта. Это была самая что ни на есть самобытная живопись аборигенов. Ничего общего с европейскими акварелями Наматжиры и его последователей.

Картины были двух сортов, они разделялись на манеры, или два способа видения. Первый, где животные изображались как бы в плане. Там были крокодилы, черепахи, змеи, то есть те животные, которые лучше просматриваются сверху. Вторая группа картин — животные, которых в плане изобразить нельзя, — зму, кенгуру, опоссумы; их рисовали нормально, сбоку. Но при этом они были прозрачны! С внутренностями — желудок, спинной хребет, сердце, кишки. Как в анатомическом атласе. С той разницей, что кенгуру не чувствовали себя препарированными, они прыгали и радовались жизни вместе со всеми своими кишками. Казалось бы, натурализм! Ничего подобного, наоборот, это была поэзия детского восприятия мира. Дети ведь тоже рисуют не только то, что они видят, но и то, что знают. Художник-абориген не отделяет видимое от известного ему. Раз он знает, что должно быть внутри, он и рисует. Любопытно, что и фантасти-

ческие, придуманные животные тоже имеют свою фантастическую анатомию. Только изображения человека не рентгеновские. Человек не предмет охоты.

«А может быть, они хотят выразить этим другое, — подумал я, — может быть, они хотят сказать, что никто не знает, что таится в человеке, что у него там, внутри?»

Орнамент, окружающий животных, большей частью что-то обозначает.

На картине, которую мне подарили, крокодил, оказывается, пересекает тропу воинов. По рисунку на полоске-тропе можно определить, где находится эта тропа и воины какого племени ходят по ней.

Своеобразное искусство аборигенов оказало влияние на австралийскую живопись. Некоторые мотивы используются художниками, особенно я почувствовал это в мастерской Элизабет Дьюрак.

Галерея Бэттерби была бы совсем хороша, если бы у каждой картины, у каждой фигурки не висели бы этикетки с ценой. Для меня всегда было загадкой, как определяют стоимость картины. Ясно, например, что невозможно назначить цену Рембрандту. Ну, а Наматжире?

Его картины висели в последнем зале. Там были картины его братьев, племянников и несколько картин самого Наматжиры.

Я слышал об этом художнике

давно, много лет назад. Я знал историю Наматжиры — как его мальчиком наняли быть погонщиком у художников Бэттерби и Гарденера и как взамен он просил научить его рисовать. Как они учили его во время путешествия по пустыне и как он сам стал писать красками, приобрел известность и вскоре стал художником с мировым именем. Он получил звание академика живописи, права гражданства, но это ему не помогло. То, что простили бы белому, не прощали аборигену: он нарушил закон, как же — он давал виски аборигенам! То, что это были его соплеменники, с которыми он вместе пил, то, что до него и после него аборигенов спаивали, превращали их в алкоголиков, — всего этого судья не желал слушать. Наматжиру приговорили к тюремному заключению. Неправедливость приговора потрясла Наматжиру. Он попробовал апеллировать в верховный суд — все было напрасно. Заключение действовало на него угнетающе. В книге о Наматжире художник Виктор Холл писал: «...Испытание было сверхчеловеческим. Редко кто подвергался тяге таких раздирающих сил... Ему надо было найти средний путь между привычным миром его племени и миром, куда его талант открыл ему вход... Журналисты, писатели, ни о чем не желающие думать бизнесмены, коммерсанты — все внесли свой



вклад в падение Наматжиры, который, несомненно, заслуживал звания великого человека». Общественному мнению удалось все же добиться того, чтобы остаток срока Наматжире разрешили провести в резервации. Он уже был сломан, душевно болен и вскоре, в 1959 году, умер.

В картинной галерее Сиднея я первым делом стал искать полотна Наматжиры. Других австралийских художников я тогда не знал. Наматжиры не было. В Мельбурне повторилась та же история. Ни одной картины Наматжиры в экспозиции не оказалось. Мне говорили, что это случайность, многие австралийцы удивлялись; не может быть, невероятно, но это факт, и я еще раз подтверждаю, что в феврале 1965 года в картинных галереях Сиднея и Мельбурна полотна Наматжиры выставлены не были.

Впервые я увидел подлинного Наматжиру в Аделаиде, в галерее Рекса Бэттерби. Увидел и в первую минуту разочаровался.

Красивенькие, чистенькие акварельки — идиллические пейзажи, очень аккуратно, тонко прорисованные пейзажи.

Но у больших художников есть такая повадка — они не любят раскрываться сразу, они требуют времени и внимания. С ними надо повозиться.

Я повозился и увидел то, что прежде соскальзывало, не задевая воображения. Наматжира по-

казал мне поэзию австралийских степей, какие удивительные краски именуют горы, мимо которых я проезжал, — сиреневые, рыжие, огненно-красные. Он часто изображал на переднем плане эвкалипт. И я вдруг вспомнил странное чувство, которое вызывали их светлые стволы перед наступлением темноты. Привидения — Наматжира точно уловил этот образ. Фотографически достоверные фигуры эвкалиптов у него представляли фантастически призрачными, что-то человечески трагичное виделось в линиях гладко-белых ветвей. Очертания их создавали характеры, вызывая мысли о людских судьбах.

Было ли это в замысле художника? Не знаю. Вроде бы он ни в чем не отступал от подлинности пейзажа, нельзя было уловить малейшую подгонку, нарочитость. Пейзаж был точен и в то же время вызывал определенные чувства. В нем присутствовала незримая добавка личности художника, и этого было достаточно.

Мы удивлялись: как же так получилось — ведь все это мы видели и не замечали этой красоты?

В глазах Рекса Бэттерби мы, очевидно, выдержали экзамен, и в награду он вынес откуда-то собственного, непродажного Наматжиру — несколько первоклассных картин — грустных, в лилово-серых, уходящих в ночь тонах,

долины и те же горы, запыленные кусты, пересохшие русла.

Родственники Наматжире, сыновья его продолжают рисовать в манере отца, картины их пользуются спросом, сам Рекс считает некоторых не менее талантливыми, чем Наматжире, их работы висят тут же, в зале, и для меня они были примечательны прежде всего доказательством художественной одаренности аборигенов. Никаких училищ, академий; они увидели, как рисует Наматжире, увидели, что за картины платят деньги, и немалые, — а чем мы хуже? — и начали рисовать. И выяснилось, что не так уж хуже, их сейчас пятнадцать-двадцать художников из племени араида.

Наш интерес к Наматжире и то, что о нем знают в Советском Союзе, возбудили множество разговоров. В университете Аделаиды после нашего выступления писательница Неиси Кэйто подвела нас к высокому слепому человеку. Он протянул руку.

— Виктор Холл.

Он приехал издалека только ради того, чтобы подарить нам свою монографию о Наматжире. Длинные пальцы его тронули мои плечи, голову, ему хотелось как-то почувствовать нас.

— Какие они? — спросил он жену. — Как они выглядят, эти русские, которым интересен Наматжире?

Это была самая трогательная

и трудная из всех наших встреч в Австралии. Виктор Холл был художником. На войне его ранило, он стал терять зрение и в 1959 году полностью ослеп. Он не мог писать картины, он стал писать о художниках. Его книга о Наматжире — одна из лучших. Я смотрел, как он надписывал четко и уверенно между строк заголовка. Он помнил краски на картинах Наматжире и встречи с ним.

Мы хотели расспросить Холла о нем самом, но Неиси шепнула нам, что нельзя их задерживать, было поздно, а им предстоял долгий путь домой.

### Голый человек

Камни из-под ног, колючая трава, тропка, заборчики, освещенные окна висят в черноте, огни справа, огни слева, впереди меня колышется большая волосатая спина Джоан Брея. Белизна ее светит сквозь волосы и ночь. Где-то перед ним сбегает вшиз Неиси. Смех ее прыгает по камням, отскакивает от невидимых стен невидимых домов. И вдруг впереди огромная теплая темнота. Она еле слышно дышит. Затаялась или спит. Это океан. Я скидываю полотенце и сандалии в общую кучу. Темный песок пляжа хранит дневную жару. Я подхожу к океану; трогаю его ногой, вступаю, иду. Я вхожу

в него по пояс. Отличный этот Индийский океан. Джон Брей погружается в него, как корабль со стапелей. К нам бежит Ненси. Вода вокруг ее тела светится. Я загребая рукой, и у меня вода начинает вспыхивать, там что-то разбудилось, переблескивается. Мы плывем, оставляя за собой светящийся след. Мы забираемся в океан. В крошечной дали его — острова, бури, теплоходы, кораблекрушения, акулы. Ненси объясняет, что ночью акул у берега нет, они уходят спать, разве что какая-нибудь загулявшая. Лица Ненси не видно. И у Джона не видно лица. Мы как в черных масках. Поэтому мы болтаем что взбредет в голову. Ненси хочет показать мне Южный Крест. Я с трудом понимаю ее. Она не умеет говорить медленно. Она не может повторять одно и то же. Вероятно, речь ее выглядит так:

— Смотри сюда, вот он, Южный Крест. О господи, да не там, видишь Центавр, так вот Крест — часть созвездия! Прямо над тобой. Крест, ну, Христа распяли. Евангелие. Смешно, как ты мог подумать, конечно, я атеистка! Левое Млечного Пути. Молоко, понимаешь? Дорога, понимаешь? Автомобиль. Да куда мы не поедem. Джон, я замучилась с ним!

Джон ткнул своей ручищей в небо, прямо в середину Южного Креста, и я увидел наверху четыре звездочки. Ничего особен-

ного в них не было. Звездочки, каких тысячи. Просто им повезло в смысле расположения. Вот про них и насочиняли, сотни лет сочиняют стихи и песни.

Я перевернулся на спину, и весь небосвод со всеми созвездиями заколыхался надо мной. Я плыл среди них между Скорпионом, Стрельцом, Павлином, мне вспомнилась школьная карта в нашем кабинете астрономии и прекрасные слова — Орион, Козерог, Водолей, Змееносец. Они все были где-то здесь, под рукой, их надо было лишь соединить линиями, нарисовать Козерога и Водолея. Фантазия первых астрономов дошла к нам через тысячелетия. Они были просто пастухи, это я тоже помнил из школы. Они сочиняли звездами на небе — самый стойкий материал.

Время исчезло. Наше земное, маленькое время затерялось в пространстве вселенной. Только океан мог что-то уследить в жизни звезд. Часы внутри меня остановились. Тиканье их умокло. Тело мое плыло и плыло в этой теплой невесомости, пока я не увидел даль огней на берегу. Куда мне возвращаться, я понятия не имел. И пока я добирался к берегу, я уже знал, что потерял Ненси и Джона. Я шел по пляжу, кричал и прислушивался. Никто не отвечал. Я не представлял себе, в какой стороне дом Ненси, как искать его. Я был один

на берегу Австралии, голый человек, приплывший из океана. А может, это была не Австралия?

Песок не хранил следов. Он тянулся одинаковый, без примет. Я ненавидел песок, покорность песка, равнодушие песка, его беспомощность, его мертвость. Нет ничего мертвее песка. Он не способен ни к чему, кроме уничтожения. Песок — это смерть, это враг всякой жизни.

Дорога слабо светилась меж холмов. Я уходил от берега. Длинные сараи тянулись вдоль обочины. Потом сад. Потом коттеджи. Там горели торшеры, были окна, где голубовато пульсировали телевизоры. Был ли это тот песок или другой — огни тянулись вдоль всего побережья, сколько хватало глаз. Редкие прохожие и не оглядывались на меня, не удивлялись. За низкой оградой горели костры. Мужчины и женщины бродили, чинили полосатые паруса. Многие были так же, как и я, в одних трусах, в купальниках. Я толкнул калитку и вошел во двор, никто не обращал на меня внимания. Я ничем не отличался от них. Я протянул руки к костру, можно было подумывать, что здесь пристанище для тех, кто вышел из моря. Вероятно, это был спортклуб, но мне хотелось думать, что сюда приходят люди из океана, голые заблудившиеся люди. Я грелся вместе с ними, слушал их песни,

я мог бы лечь тут спать на циновке. Пока я молчал, я был неотличим. Смуглые девушки сидели на корточках у огня. Раскачиваясь, они тихо пели. Бородатый парень сыпал чай в котелок. Над пламенем, вертясь, пролетел бумеранг. Двое мальчиков танцевали вокруг ошалелого от света и шума кролика. Девушка, с белой доской серфинга на плече, улыбалась. Она осмотрелась, с кем бы поделиться своей улыбкой, встретила мой взгляд и подарила улыбку мне. Это был прекрасный подарок. Мне как раз сейчас не хватало улыбки, и я с ней пошел в темноту.

Я поднимался по каменным ступеням, вырубленным в скале, мимо перевернутых смоленых шлюпок, развешанных сетей, мимо бочек, грузовиков, мачт с высокими красными огнями. Шоссе жарко блеснуло гибкой лентой. Узкие неоновые буквы освещали бензостанцию. Кудрявый золотой баран горел над ней. Я шел по шоссе. Неоновые отсветы тонули в темной глубине асфальта. Машины обгоняли меня. Мокрые следы тянулись за мной. Они быстро исчезали, высыхая. Я отпрыгнул в темноту на обочину. В машине ехала женщина. Она видела несколько следов босых ног перед собой. Следы начинались посреди шоссе и обрывались. Несколько следов. Как будто кто-то спустился сверху, прошелся по шоссе и опять

взлетел. Машина проехала. Мне было обидно, что никого не заинтересовала странность. Никто не хотел удивляться одинокому следу на асфальте. Я стоял под звалиптом и смотрел на этот последний одинокий след. Представлял себе огромный пустынный пляж, океан, солнце и посреди отмели на плотном песке тяжело вдавленный один след одной бо-сой ноги. Необъяснимость этого пугала.

Я почувствовал себя легким и внезапно свободным. Как будто жизнь начиналась сначала, с ничего, как будто я только что родился, и все мои чувства воспринимали окружающее в новинку. Не было ни памяти, ни тревоги, я еще ничего не знал, я еще не был ни в каких других путешествиях, у меня еще нет биографии.

Память не мешала, как будто прошлого не существовало, а вместе с ним исчезли все заботы, планы, расписания, напряженная готовность ко всяким каверзным вопросам, страх, что не успею записать, запомнить имена, даты, возможные истории, куда ходили, что делали... — все это стало ерундой, ерундистикой, сгнуло.

Положение мое было настолько нелепым и безнадежным, что не стоило ни о чем беспокоиться. Если бы я заблудился нормально, как «заблуждаются» опытные люди, то есть имея деньги, одетый, то, конечно, я бы пытался куда-то звонить, что-то выяснять, по-

думал бы о ночлеге. Но на мне были только мокрые трусы, и что я мог сказать прохожим на своем ужасном английском языке! Все это я соображаю теперь, а тогда даже не размышлял на эту тему.

Где-то на берегу стоял дом Ненси с окнами на море, с большим холлом, вместо стола там стойка наподобие бара, в холле остались все, кто не пошел купаться, они сидели в креслах, пили кофе, трепались, ожидая нас. Может, искали, волновались. И это тоже меня не трогало. Оно перестало иметь ко мне отношение. Оно отделилось от меня, вернее — я отделился от всего, что со мной было до сих пор, осталось лишь то, что со мной, — вот эти ноги, руки и мотив, который я высвистывал. Никаких должностей, положения — только то, что я умею. Сейчас я не понимаю, как же я не испугался. Я пытаюсь как-то оправдать себя и понять то счастливое состояние. Я шлепал по шоссе, наслаждаясь прохладой, и свистел, и пританцовывал. Кто-то древний высвободился из моей оболочки, распрямился в своем натуральном естестве и, торжествуя, убежал от всего нажитого. В темноте белели звалипты, светлые, оголенные стволы их, причудливо перекрученные, появлялись, как призраки. Процессия их следовала за мной вдоль шоссе, заламывая руки, кланяясь, изгибаясь уло-

ватыми туловищами. Ветви со вздутыми бицепсами тянулись к небу.

Южный Крест горел надо мной — единственное знакомое мне созвездие. Я все видел и чувствовал — запахи, спутанные ночью краски и легкие звуки, я жил наибольшей полнотой ощущений, какая бывает только в детстве, с готовностью принимать все окружающее, удивляться красоте и странности мира. Это было начисто забытое состояние.

Просто жизнь в чистом виде, без примеси цели.

Давным-давно я разучился так жить. Гулять я ходил, чтобы проветриться. Ездил за впечатлениями. Смотрел то, что мне надо было увидеть или узнать. Я отвык, как в детстве, просто пойти в лес, мне нужна какая-то цель — собирать грибы, охотиться или пройти столько-то километров. А было время, когда я мог бродить часами, воображать, смотреть, не стараясь ничего запомнить, записать, чтобы потом использовать. Я ходил по лесу и чувствовал себя путешественником, заблудившимся в какой-то неведомой стране. Я пробирался к капиталистам и готовил там революцию, собирал отчаянных, как Овод, смельчаков.

Никому не было дела до моего детства, его никто не посещал, с годами оно заросло, как запущенный сад.

У ярко освещенной бензоколонки перед шикарным «мерседесом» стояли трое мужчин и маленькая женщина в очках. В их громком разговоре я услышал слова: гангстер... играть... шок. При виде меня они стихли, а я продолжал свистеть. Насвистывая, я прошел сквозь их молчание и вдруг почувствовал, что они опасаются меня. Это было забавно. Я никого не боялся. Я был свободен от всего и от страха. У меня нечего было взять. У меня были все преимущества бедности, абсолютной нищеты. Я не обладал ничем, поэтому мог претендовать на что угодно. Я был опасен. И я почувствовал заманчивую потребность восстания.

Шоссе разветвлялось. Издали я увидел перекресток и огромную рекламу кока-колы. Единственное, чего мне не хотелось, — это выбирать дорогу. Впервые я тогда подумал о том, что меня ожидает, что будущее мое зависит от выбора, пойду я направо или налево. Это еще не были отчетливые мысли, это было самое начало их, предчувствие, тишина, как перед дождем.

Под пыльным щитом стояли две фигуры. Женщина и мужчина. Они о чем-то шумно спорили. Мужчина оглянулся в мою сторону.

— Хелло! — И помахал мне рукой.

Это был Джон Брей. И рядом с ним Неиси.

Джон кинул мне купальное полотенце.

— Бр-р, где ты ходил так долго? Пошли, пошли!

Неиси побежала вперед, мы за ней, она на ходу еще что-то доказывала Джоу, и он отвечал ей.

В холле пили кофе и, когда я вошел, мне сказали:

— Бери сосиски. Вот твоя порция. Не остыли?

— Не беспокойтесь, — сказал я, — все в порядке.

Сосиски действительно были еще горячие.

## Белая ночь

Большей частью путешественник берется за перо оттого, что ему не дают выговориться. Он не находит слушателей. Древнее искусство слушать почти утрачено. Хороший слушатель — сейчас редкость, иарасхват.

По возвращении приходят друзья-товарищи, вроде бы специально приходят узнать, как съездил, что за Австралия, и уже через десять минут каждый ждет не дождется, чтобы прервать тебя своими новостями. А прощаясь, жалуются — плохо, мол, рассказ, слова из него не выжмешь. Всем некогда, ходишь, ходишь со своей Австралией, через две недели от тебя уже отмахивают-

ся — знаем, слышали, сколько можно.

Австралия как таковая тут, конечно, ии при чем, у Колумба были такие же неприятности с Америкой.

— А, Христофор! Где пропал? Говорят, открывал эту самую... Ну, что там новенького? А у нас, брат, слыхал про папу Александра? Анекдот!

Так ему и не дали рассказать, поэтому до сих пор историкам приходится возиться со всякими иеясностями.

Писать путевые записки иелегко, но еще труднее их кончить.

Надо бы рассказать еще о том, как мы с Джоном Моррисом посетили школу. Джон опасался, что нас, советских людей, не пустят, а нас приняли с удовольствием, повели в класс, мы разговаривали с ребятами о литературе, и это было очень интересно.

Я хотел бы написать отдельный рассказ о радиорепортере, как он приходил брать интервью; у него был список довольно пошлых вопросов, и мы почувствовали, что ему это неприятно, потом мы разговорились, и он оказался отличным парнем и тихоенько подсказывал нам хлесткие ответы, и мы вместе с ним занимались коммунистической пропагандой на всю железку.

Надо бы написать о встрече с социологами и о встрече на кафедре русской литературы в Мельбурнском университете,

вообще о русских в Австралии и еще о друзьях, детском писателе Винценте Сервенти, который занимается природой Австралии так же, как у нас Бианки, о руководителе Нового театра Мэр Аронс, о Робин и ее семье. Может быть, это было бы интереснее того, о чем я написал. Записки — второе путешествие, тут сам выбираешь маршрут и события, но никогда не знаешь, правильно ли ты выбрал.

Когда я писал эти записки, в Ленинград приехал Фрэнк Харди. Он собирал материалы для своей книги о Советском Союзе. Мы поехали с ним в порт, и Фрэнк долго беседовал там с грузчиками, как я в Сиднее с докерами. Потом он ходил по Ленинграду. Два дня мы ходили по Ленинграду, я спрашивал его о всяких австралийских делах, а он о советских. Он задавал наивные вопросы, и я понимал, что мои вопросы несколько не лучше.

— Послушай, — сказал Фрэнк, — а почему бы нам не поменяться? Ты напишешь о Советском Союзе, я об Австралии, и мы избавимся от глупых вопросов и всяких ошибок.

— В самом деле, — сказал я, — с какой стати мы мучаемся! Мы шли и мечтали о том, как было бы хорошо нам поменяться,

— Look! — вдруг сказал Фрэнк. — Why? Пичиму? — повторил он по-русски.

Я осмотрелся. Мы вышли на набережную Невы. Был час ночи, но еще было светло, кончались белые ночи. У парапета стояли парочки. Гуляли десятиклассницы в белых платьях. С пристани объявляли последний рейс «Комоты» на Острова и обратно. На скамейке ребята под гитару пели песни Саши Городниченко.

— Что почему? — удивился я.

Я не понимал, что тут особенного увидел Фрэнк. Что его так взволновало? Все было как обычно, как всегда бывает в белые ночи. Фрэнк записывал, оглядывался, вглядывался в лица девушек, потом он бросил меня, подошел к поющей компании и через минуту сидел среди них и пел им свой «Sydney-town».

И тут я сообразил, почему он должен написать про Советский Союз. А я про Австралию, у меня была моя Австралия.

Фрэнк никогда не увидит мою Австралию, пусть малую ее часть, но мою. Так же, как я давно перестал удивляться ленинградским набережным, и песням в белые ночи, и многому другому, чему, наверное, следует удивляться.









1 р. 14 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

